

Д.Н. МАМИН  
СИБИРЯК

Д.Н. МАМИН  
СИБИРЯК

## Annotation

Мамин-Сибиряк – подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности – мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк – один из самых оптимистических писателей своей эпохи.

В пятый том вошли рассказы из цикла «Сибирские рассказы».

<https://ruslit.traumlibrary.net>

---

- [Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк](#)
  - [Сибирские рассказы](#)
    - [Сибирские орлы\\*](#)
    - [Главный барин\\*](#)
    - [Зверство\\*](#)
    - [На перевале\\*](#)
    - [Не у дел\\*](#)
    - [Подснежник\\*](#)
    - [Клад\\*](#)
    - [Морок\\*](#)
    - [Приисковый мальчик\\*](#)
    - [Крестник\\*](#)
    - [Удивленный человек\\*](#)
    - [Мизгирь\\*](#)
    - [Пир горой\\*](#)
    - [Не укажешь...\\*](#)
    - [Оборотень\\*](#)
    - [Семейная радость\\*](#)
    - [Старики не запомнят\\*](#)
    - [Ночевка\\*](#)
    - [Друзья детства\\*](#)
    - [М-те Квист, Бликс и Ко\\*](#)
    - [Последняя веточка\\*](#)
    - [Сократ Иваныч\\*](#)
    - [В последний раз\\*](#)

- [Старый шайтан\\*](#)
  - [В болоте\\*](#)
  - [Говорок\\*](#)
  - [Комбинация\\*](#)
  - [Пан Копачинский\\*](#)
  - [Комментарии](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)
    - [8](#)
    - [9](#)
    - [10](#)
    - [11](#)
-

**Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк**  
**Собрание сочинений в десяти томах**  
**Том 5. Сибирские рассказы**

# Сибирские рассказы

## Сибирские орлы\*

### I

На одном из промежуточных вокзалов только что открытой Тюменской дороги собралось много публики. Ждали проезда известного сибирского магната Мансветова-Гирей. Многие приехали на станцию с специальной целью, чтобы только взглянуть на великое светило. В числе собравшейся публики особенное внимание обращал на себя содой высокий старик в потертой и выцветшей шинели, с гимназическим ранцем за плечами. Старая военная косточка сказывалась во всем – и в костюме, и в выправке, и в манере себя держать. Заплатанные ботфорты были вычищены ваксой, как на смотр; кепи упраздненного французского покроя было надето набекрень, что уже совсем не гармонировало с серебряными сединами почтенного старца. Меня поражала в этом субъекте удивительная бодрость и розовый цвет лица. Ему, по крайней мере, было лет семьдесят. Только военная николаевская выправка создавала таких богатырей.

Мне приходилось ждать поезда, и от нечего делать я наблюдал железнодорожную публику. Какая неизмеримая разница с прежним сибирским трактом, когда гужом ехали все такие основательные люди: купцы, сибирские администраторы и просто деловые люди! Железная дорога привела с собой много такого люда, общественное положение которого нельзя определить никаким химическим анализом. Куда идут эти неведомые люди, зачем они так торопятся и откуда они взялись?.. На каждом лице деловая тревога, глаза так и бегают, а общее выражение такое, как будто человека ожидают вот сейчас и невесть какие важные дела. Таинственные незнакомцы хлынули в Сибирь из неведомых глубин коренной России и везде понесли с собой московскую расторопность, изворотливость и просто шитое на живую нитку плутовство. Их присутствие на этой станции для меня являлось неразъяснимой загадкой. Но они были тут и суетились больше всех. Другое дело – служащие Мансветова, которые

явились встретить патрона по обязанности. Они так и держали себя, как гости, приехавшие на именины.

– Monsieur, несколько крейцеров... – проговорил над моим ухом хриплый, неприятный голос. – Извините, но мои седины позволяют быть настолько неделикатным, что...

Это был старик с ранцем. Я только теперь заметил его большие темные глаза, глядевшие насквозь с таким странным блеском. Он не протягивал руки, не корчил жалобной рожи, а требовал, как должного. Получив какую-то мелочь, он спокойно проговорил:

– А как вы полагаете, сколько мне лет?

– Лет семьдесят...

– Извините-с, ровно восемьдесят. Да-с... Георгию Самсоновичу восемьдесят, и мне восемьдесят; по годам мы с ним равны. Евангельский богач и убогий Лазарь, а годы равны-с... Не правда ли, какое странное совпадение-с?.. Даже и не Лазарь, а сам Иов в дни его несчастья... Вы слышали про заболотского полицеймейстера Неупоконников? Нет? Жаль... Он к вашим услугам.

Эта манера называть Мансветова по имени и отчеству: Георгий Самсонович – выдавала старого проходимца с головой. Выгнанный со службы сибирский чин сказался в двух словах. Дескать, и мы в свое время были с Георгием Самсоновичем запанибрата, когда еще он и т. д. Это обычный прием столичных трактирных жуликов и сибирских чиновников не у дел. Мне лично такой оборот разговора очень не понравился, гораздо хуже того, что человек позаимствует у вас несколько крейцеров. Русский человек уж так устроен, что настоящему бедняку не подаст, а вот такому субъекту посовестится отказать, и мне было обидно за себя, что я не отказал полицеймейстеру Неупоконникову. К довершению всего старик отправился без стеснения прямо к буфету третьего класса и развязно потребовал рюмку водки. Оставалось ждать, как он заявится опять, дохнет прогорелым вином и фамильярно подсядет. Явилось даже малодушное желание куда-нибудь спрятаться, но это было невозможно: вокзал был невелик, а до поезда оставалось еще полчаса.

– Я тут у знакомого попа гостил, а теперь пробираюсь в Питер... – заговорил возвратившийся старик, действительно подсаживаясь ко мне на дубовый диванчик. – Скитаюсь из страны в страну... взыскующий града... да...

Я очутился в довольно глупом положении, но потом подумал: что же, ведь он меня не съест в эти полчаса. Пусть его поговорит, если хочется...

– Вы долго служили в Заболотье? – спросил я.

– Да порядочно-таки... И в Восточной Сибири служил и в Западной, а кончил Заболотьем. Очень любил я хороших лошадей... Сам выезжал. Да... Интересно, узнает меня Георгий Самсонович или не удостоит? Когда он венчался, в коляске у него была заложена моя пара... Только выехали из церкви молодые, я еду впереди, как полицеймейстер, а кучер-ворона и распусти вожжи... ну, лошади понесли коляску, а я выскочил из своего экипажа и остановил. Тройку на полном ходу останавливал... Мы, казаки, около лошадей с детства, так оно привычное дело.

– Вы из каких казаков?

– А из Сибирского казачьего войска. Как же, казак с ног до головы. И землю свою имею, но только земля-то спорная. Еду хлопотать... Да. Так Георгий Самсонович тогда меня на свадьбе из щеки в щеку расцеловал... Мы с ним давно знакомы были, когда я еще тюремным смотрителем на Чернореченском заводе служил. Это рукой подать от Заболотья, и в Чернореченском заводе была каторга. Да... Упразднена в 1863 году.

– Какой же это завод был?

– Винокуренный, казенный-с... Это еще при откупках было. Несколько таких заводов было в Сибири, и казна сдавала их в аренду. Георгий-то Самсонович и арендовал тогда Чернореченский завод. Можно сказать, что там были их первые шаги... Потом уж они развернулись до необъятности. Еще и теперь в Чернореченском заводе на берегу три березки стоят, а под ними Георгий Самсонович любили вечером посидеть и помечтать-с. Да-с... Под этими березками, может быть, какие мысли-то обдумывались? Я вам скажу прямо: Георгий Самсонович – гений... и я их боготворю. Вчуже сердце радуется, и точно сам молодеешь... Вот какие прежде-то люди были: орлы! Да-с... И взгляд орлиный имели, прямо сказать. Когда Георгий-то Самсонович арендовал Чернореченский завод, так рабочие были все каторжные. Другие в кандалах у заторных чанов стояли... О чем я хотел сказать, позвольте...

– О Мансветове.



– Да, да... Извините, захлестывает у меня иногда, потому что и стар, и дряхл, и обременен годами... Говорил уж я, кажется? Да, так о Георгии Самсоновиче речь идет. Был такой случай у меня. Я смотрителем каторги был, так раз ночью и докладывают, что в общей камере произошло убийство. Конечно, сейчас следствие, розыски, но ничего обнаружить невозможно. Известно, каторжные... На следующий день вызываю к допросу всю камеру. Следствия у нас производились тут же, в конторе. Ну, выстроили в шеренгу человек двадцать таких подлецов, что картина. «Знать не знаем, ведать не ведаем...» По старым судам это много помогало. Бьемся день, бьемся другой, а толку все нет. На третий день в каторжную контору к нам и заверни Георгий Самсонович... «Не нашли виноватого?» «Никак нет-с!» «Эх, плохо вы следствие производите... Ну-ка, я не буду ли счастливее!» Вышел это к арестантам, обошел шеренгу, посмотрел на всех издали, а потом прямо к одному подходит и прямо его по уху: «Твоих рук дело, подлец!» Могучий был человек, и никто не устаивал на ногах... Ну, арестант, известно, свалился и сейчас на колени: «Виноват, ваше благородие...» Вот какой взгляд был у человека!

– Да, действительно... взгляд.

– И другой случай был... Это уж в Заболотье. У одного чиновника в доме появились вдруг духи. Все бьют, все ломают, по ночам стук и треск – житья не стало. Хорошо-с... А чиновник-то не маленький, и, как семейный человек, конечно, ему неприятно. Узнал про духов Георгий Самсонович и говорит чиновнику: «Хорошо, я как-нибудь заеду познакомиться с твоими духами»... А сам смеется... Признаться сказать, он тогда еще вольтерьянцем был и, как говорится, ни в бога, ни в черта не верил. Действительно, спустя некоторое время приезжает он к этому чиновнику. Осмотрел расположение комнат, разбитые зеркала, печи, а потом и говорит: «Действительно, духи у вас очень уж расшалились». Чиновница тут же стоит и слушает в оба уха, а Георгий Самсонович попросил ее выйти на минуточку и прислать няньку-старуху да горничную. Те приходят, а Георгий Самсонович к ним и прямо: рраз! рраз! Ха-ха... Ну, конечно, сейчас же повинились бабенки. Крепостные были и хотели барыне досадить. Так я и говорю: вот какой взгляд был у прежних людей. А нынче куда... даже, знаете, смешно говорить-с.

– Маленькие нынче люди...

– Нет, вы послушайте, что дальше-то было... Эта самая горничная, которая духов изображала, – из-за нее я вот в настоящем виде и очутился, – после того, как пришла в себя, от всего отперлась, ну, попала ко мне в лапы на предварительное дознание... хорошо-с...

Свисток подходившего поезда прервал рассказ сибирского орла на самом интересном месте.

## II

Поезд подходил, медленно и тяжело сдерживая свое движение. Слышно было, как дрогнула земля. Публика из вокзала вышла на платформу. Нужно было видеть, каким молодцом вытянулся жандарм, как засуетился начальник станции, а публика замерла, впившись глазами в вагон первого класса, где в отдельном купе ехал он. У публики есть инстинкт угадывать присутствие своего любимца: было два вагона первого класса, но все обратили внимание именно на второй. Он должен быть здесь... Сибирский полицеймейстер, конечно, был впереди всех и, когда подходил поезд, вытянулся во фронт и даже сделал под козырек.

– Господа, не напирайте...

Большинство толпилось на платформе из любопытства, загораживая дорогу тем, кому нужно было явиться к Мансветову.

– Поезд стоит тридцать минут!.. – надтреснутым тенорком выкрикивал кондуктор, пробегая мимо линии вагонов какой-та особенной дробной походкой, как ходят только половые в московских трактирах да вымуштрованная железнодорожная прислуга.

Мансветов так и не показался из вагона. «Нужные люди» по очереди отправлялись к нему на исповедь и быстро возвращались – магнат никого не задерживал. Сопровождавшая его свита подкрепилась в буфете и весело галдела на разных языках. Кого тут только не было... У Мансветова было золотое умение распознавать людей, и раз попавший к нему на службу мог считать свою карьеру обеспеченной. Магнат не давал преимущества ни одной национальности.

– Когда же я-то, господа? – растерянно спрашивал Неупоконников, напрасно стараясь попасть в очередь.

– Послушайте, господин, да вам зачем?

Старику пришлось ждать долго, но он-таки добился своего. Я видел, как он вышел назад, точно ошпаренный, и шел по платформе, машинально повертывая свое кепи в руках. Как мне показалось, у него на глазах были слезы.

– Не узнал... нет, не узнал... – бормотал он. – Конечно, где же узнать... столько лет...

В вагоне третьего класса публики ехало не особенно много, так что на каждого нашлась свободная лавочка. Я поместился у окна и смотрел на летевшую мимо ленту полей, перелесков, оврагов и насыпей. Поезд мчался с особенной быстротой: машинист понимал, что везет цезаря и его счастье. На одной из маленьких станций Неупокойников отыскал меня и подсел на соседней лавочке. В течение какого-нибудь часа он точно постарел на несколько лет – сгорбился, съежился и даже как будто сделался ниже. Водкой от него пахло по-прежнему, но старческой молодцеватости не осталось и следа.

– Не узнали-с... – заявил он с грустной ноткой в голосе и махнул рукой. – Да и где же узнать, помилуйте!.. Хуже...

– А что?

Старик оглянулся и хриплым шепотом добавил:

– Захожу-с... Георгий Самсонович полулежит на кушетке... я их сразу узнал: один взгляд чего стоит. Конечно, года... ну, орел, одним словом. На лице такая усталость и некоторая задумчивость... Я остановился в дверях и только хотел отрекомендоваться, а они... Нет, совестно даже выговорить! Георгий Самсонович так вскользя всплянули на меня и трехрублевый билет подают... Господи, что же это такое?.. У меня даже горло сдавило, слова не могу сказать... Так и ушел, и деньги бросил: не могу. От чужого возьму и даже сам обращусь, а тут свой брат... помилуйте, хлеб-соль прежде водили...

– Он просто не узнал вас.

Старик опять оглянулся кругом, точно боялся засады, и уже на ухо мне прошептал:

– Это я себя обманываю, что не узнали... Помилуйте, Георгий Самсонович – да не узнает! Этакий-то орел... Сразу узнали, а мне совестно стало... за них, что они притворились. Ей-богу... У них все, у меня ничего, и мне же совестно. И вдруг: трешницу... А я, признаться сказать, недели две проживался по здешним местам,

чтобы встретить их – последняя надежда, можно сказать... Теперь уж все кончено: если Георгий Самсонович отвернулись, то чего же ждать? *Finita la commedia*...

У старика опять выступили на глазах слезы, и он напрасно мигал красными, опухшими веками, чтобы скрыть их. Если женские слезы возбуждают сожаление, то мужские производят неприятное и жуткое чувство – нет, значит, выхода... Наступила пауза.

– Вы за что же, собственно, пострадали? – спросил я.

– А... что?.. – точно проснулся Неупокройников, – За что пострадал?.. Да очень просто, за эту горничную с духами... Действительно: я шутить не любил, допросил ее собственноручно, а она и умри... кто же бы мог подозревать, что у простой девки и вдруг порок сердца?.. Тут уж на меня, имярек, и налетели злые коршуны и давай щипать, и вот что произвели: наг, сир, гладей и хладен... Ну, отними все, возьми, но не дай вконец погибнуть... да-с. А то как уволили с волчьим паспортом, по третьему пункту – и пропал. Находил и место и занятия, все ничего, а как дойдет дело до паспорта и увидит человек мой третий пункт – даже замычит. Да я сам не принял бы самого себя никуда с этакой рекомендацией.

– Кажется, подобные истории в Сибири довольно обыкновенны, и пугаться третьего пункта довольно странно.

– Да ведь Неупокройников по третьему пункту уволен, а Неупокройникова вся Сибирь знает, скажу не хвастаясь... Вернее, знала. Ведь нужно сказать вам, как я жил: князь... принц... Только в сказках можно прочесть. В Заболотье-то золотопромышленники и сивушные короли тогда развернулись... Господи, что было, что только было!.. Какие люди, какое время... А горные инженеры? Представьте вы себе, что в ничтожнейшем и жалком городишке вдруг скопились десятки миллионов совершенно диких денег... Великие были люди: Аника Терентьевич, Тит Поликарпыч... да мало ли их, всех не перечесть. И мы с Георгием Самсоновичем перебрались: он свою линию повел, а я свою... Даже страшно выговорить: полицеймейстер в Заболотье. Силища... Я и на службу поступил по приглашению от золотопромышленников: знали меня на каторге-то. Молод, красив, удал... Еще подходишь к дамочке, а она уж не знает, куда ей деваться: сама не своя. Тройку на всем скаку останавливал... Нарочно за мной в Чернореченский завод из Заболотья посылали, потому что был еще у

меня один талант: русские песни никто лучше меня не умел петь. Развеселится компания и за мной: спой, голубчик... Слушают и плачут – вот какой голос бог дает человеку. Да где же вы найдете другого такого полицеймейстера?.. Ну, и попал сыр в масло: квартира первая в городе, в конюшне двадцать лошадей, вин целый погреб – и хлебосол и угодник. И вкус имел: ни одной хорошенькой вещички мимо не пропущу, вообще артист. И английский хрусталь, и китайская бронза, и японские лаки, и бухарский шелк, и картины – все было. Дом – полная чаша. Каждая горничная – пиши картину, а главный кучер – морское чудовище, ей-богу. Голосина у него, у подлеца: как рывкнет на улице – человек и оторопеет.

А больше-то всего любили меня, если говорить правду, за удаль... Ведь сторона дикая, народ-варнак, ходи да оглядывайся, а у меня в городе ни гу-гу. Каждую ночь переоденусь в полушубок, подвяжу бороду и везде побываю. Только скажешь, бывало: «Неупокойникова знаешь?» «Виноват, вашескородие». Был такой случай. По тракту разбойничал татарин Карагуз. Мужчина пудов двенадцати весом. Один обоз останавливал... А взять его не могли... Не в моем он участке разбойничал. Ну, меня и подразнили: «Неупокойников, возьми-ка Карагуза, ежели смел». «Я? Голыми руками возьму...» Признаться сказать, захвалился я: в поле Никола бог, и татарин силищи непомерной. Хорошо-с... Сказал слово, надо его держать. Нарядился – купцом, – посадил кучером мальчишку и марш в дорогу прямо на Карагуза, где он пошаливал... Едем. Ночь волчья, снежок падает. Лес по сторонам... Только обгоняет меня кошева и поперек дороги, – известная разбойничья замашка. «Стой!..» Выскочил я и прямо к нему: он, Кардгуз. Ну, я бормочу по-купечески: «Возьми все, отпусти душу на покаяние...» Понял, собака, с кем дело имеет, – как размахнется железной укрючиной, да как свистнет... А я увернулся по-казачьи, а укрючиной-то полу полушубка как ножом отрезало. Я ему, идолу, под ноги брошусь, тоже ваша казачья ухватка, он через меня, как дерево дубовое, а я на него... Выхватил укрючину-то и укомплектовал. Сам привез еле живого, а Карагуз на второй день и душу своему аллаху отдал. Купцы тогда по подписке серебряный сервиз мне – поднесли, а Георгий Самсонович публично расцеловали. Все у меня было, и ничего больше не желал, а и тогда я преклонялся перед Георгием Самсоновичем, которого почитал за гения... И вдруг

из-за этой самой горничной все прахом. Пошли суды да следствия, и я точно растаял... Даже удивительно, как всего общипали эти железные носы, всего, по перышку. Ничего не осталось, кроме третьего пункта...

Рассказчик даже глаза закрыл, видимо, прислушиваясь к звуку собственных слов.

– А давно все это было? – спросил я.

– Да уж порядочно... Теперь уж лет тридцать, как я на волчьем положении... Сегодня вот привел господь принять последнее поношение... обидно... Что стоило Георгию-то Самсоновичу воскресить человека? Ведь всего одно слово – возродился бы из праха.

# Главный барин\*

## Рассказ

### I

Каждый раз, подъезжая к лесной деревушке Грязнухе, засевавшей в глухом лесном углу, я испытывал особенное чувство, которое трудно назвать: это был край света, совершенно особый мир, страничка из русской истории XVII столетия. Где-то там далеко творились чудеса цивилизации, где-то складывались громадные промышленные центры, открывались новые пути, делались великие открытия, совершались страшные кровопролития, а Грязнуха оставалась все такой же Грязнухой, чуждая и чудесам, и открытиям, и кровопролитиям. Около двух лет назад пришел какой-то поселящик Евстрат, темный человек, скрывавшийся, вероятно, от какого-нибудь московского розыска, высмотрел глухое местечко на гнилой речонке Грязнухе и здесь осел. Это был корень, из которого выросла нынешняя деревня, – в ней все жители носили одну фамилию, Евстратовы, по родоначальнику. Чужой человек удивился бы, что деревня Грязнуха засела в болоте, когда всего в версте от нее великолепное светлое озеро Вежай с такими удобными берегами для селитьбы, но родоначальник Евстрат поселился именно в болоте, как скрывается по чащам и зарослям травленный волк, – ему нужно было укрыться от грозного государева ока. И Евстрат не ошибся: он не только сохранил свою личную неприкосновенность, но вывел целую семью, и теперь «Евстратовых» дворов тридцать. Деревенская косность сохраняла за собой родительское место и ни за что не хотела уходить к озеру: не сами, по родителям. Самое интересное было то, что сама по себе Грязнуха решительно была никому не нужна и сама ни в ком не нуждалась. Мимо нее никто и никуда не ездил, не было здесь никакого торжка – одним словом, как есть ничего, и все эти Евстратовы жили, наверно, так же, как жил их родоначальник Евстрат. Сюда не проникли даже такие всеразрушающие элементы, как самовар-туляк и линючие

московские ситцы. Все ходили в домотканой пестрядине, носили домотканую сермягу, укрывались своей домашней овчиной. Большинство баб нигде за пределами Грязнухи не бывали и боялись всего, что было за этими пределами, – это был родительский страх. Бывальцами в Грязнухе считалось двое мужиков – отставной солдат Македошка, отчаянный пьянюга, и охотник Сысой, возивший набитую на озере Вежае дичь в город. Они являлись исключениями, и коренные, настоящие грязнухинцы относились к ним с большим недоверием, как к людям испорченным и зараженным.

Мне случалось раза два в лето приезжать в Грязнуху с специальной целью поохотиться на гусей, укрывавшихся по «ситникам» и «лавдам» озера Вежая. Ситник – высокая и жесткая озерная трава, похожая на камыш; ею зарастают озерные берега на большое пространство, иногда в несколько верст. Из ситника же образовались живые плавучие острова – это и есть лавды. Озеро Вежай разлепось в обоих лесистых берегах на несколько верст, и в его ситниках можно было заблудиться. Дело в том, что в береговых зарослях пробиты узкие ходы, по которым с трудом можно было пробраться только на лодке-душегубке. Эти ходы так запутаны, что неопытный человек мог по ним блуждать несколько дней, как по лабиринту, и все-таки не выбрался бы на открытое озеро. Легенда говорила о двух таких охотниках, погибших в ситниках. Зато для дикой птицы здесь настоящее приволье, и она плодилась здесь массами. Гусь – сторожкая, умная птица и не будет вить гнезда в сомнительном месте, а здесь гуси вились из года в год, и их покой нарушал только один Сысой.

Итак, я подъезжал в осенний денек к Грязнухе с тем чувством, как будто погружался в глубины XVII столетия. Стояли светлые сентябрьские дни «бабьего лета». Узкая проселочная дорога была избита до невозможности, и мой дорожный коробок делал какие-то судорожные движения, точно его била жестокая лихорадка, – пенье, коренье, камень и непролазные великие «грязи», как писали приказные из Москвы.

– А застанем мы Сысою дома? – спросил я своего возницу, начиная испытывать беспокойство.

– Куды ему деться-то, Сысою? – уверенно ответил бывалый городской человек. – Известно, дома...



Тоже особенность Грязнухи: всегда и все были дома, следовательно, и Сысой должен быть дома.

У Грязнухи никакого вида не было, как у других деревень. Просто болото, а в болоте рассажались без всякого плана десятка три изб, да и те, по русскому обычаю, задами к реке. Изба Сысоя стояла в стороне. Мы к ней и подкатили, обратив на себя внимание одной только собаки Соболя, рвавшейся на цепи. Сысой действительно оказался дома. В избе сидел еще гость, солдат Македошка. Меня удивило с первого раза то, что Македошка сидел у стола и пил водку, – время самое не указанное для такого занятия. Сам Сысой налаживал старую мережку и оставался только благородным свидетелем. У печки возилась с ухватом его жена, сердито поглядывавшая на загулявшего солдата. Когда я вошел, Македошка посмотрел на меня презрительно прищуренными глазами и даже сплюнул на сторону, точно отгоняя какую-то неблагочестивую мысль.

– Ах, братец ты мой... – проговорил он наконец, крутя головой. – Д-даа... Как вы насчет этого самого полагаете, городской господин?.. Ах, братец ты мой...

Я ничего не мог полагать относительно «этого самого», и Македошка еще раз плюнул, причмокнул по-пьяному и провел рукой по лицу, точно не мог проснуться от какого-то сна. Меня удивило гордое настроение солдата, тем более, что раньше он всегда отличался заискивающей угодливостью спившегося человека.

– Ты бы, Македошка, шел домой, – предложил Сысой. – Только духу напустил своим винищем...

Вместо ответа Македошка хрипло засмеялся, а потом торопливо хлопнул стакан водки и проговорил:

– Баушка-то, значит, Домна... х-ха!.. Маланья, ты бы проведать ее сходила... Решилась баушка-то. Совсем как полоумная ходит. Верно...

– И то решилась... – ответила сердито Маланья, гремя ухватом. – Этакое счастье господь послал.

– Деньги куда-то спрятала, а сама все яйца считает... х-ха. А кто сруководствовал все дело? Все я, Македошка... На, получай, да не поминай лихом Македошку. Ах, братец ты мой...

– А Ермилку ты же научил? – спросил Сысой, оставляя работу.

– Ну, Ермилка-то другого поучит... Он, брат, сразу привесился. Шешнацать целковых, и тому делу конец. Значит, два раза самовар

наставляли, да вечером пермени сделали – только и всего. Новую лошадь, слышь, покупает на эти деньги... Вот он какой, Ермила-то!.. Ах, братец ты мой... А баушка Домна решилась ума, верно. Даве я заходил к ней, так она забилась в угол и от меня этак рукой: «Уйди, солдат! Уйди, грех!» Х-ха...

Македошка допил водку, еще раз с презрением посмотрел на меня, как-то фыркнул и, не простившись ни с кем, вышел из избы. Он был мертвецки пьян, хотя и держался еще на ногах. Видимо, он пил уже не первый день.

– Форсун... – сердито ворчала Маланья, когда дверь за солдатом затворилась. – Непутевая голова.

Сысой политично молчал. Очевидно, что случилось что-то и случилось очень важное, а Сысой был обстоятельный мужик и не любил болтать зря. Это был среднего роста плечистый мужик в полной поре... Я часто любовался этой живой мужицкой силой и какой-то особенной цельностью каждого слова и каждого движения. Охота для Сысоа служила только подспорьем, а по существу он был исправный, работающий мужик, что редко встречается между охотниками. Благообразная русая борода, карие умные глаза, степенные движения – все говорило в его пользу. И баба у него была славная. Все успевала сделать и мужа обряжала с деревенским достатком – все на Сысое было крепкое своей домашней крепостью. Я заметил, что в Грязнухе случилось что-то необычайное, что всех волновало и приводило в нервное настроение, особенно жену Сысоа. Спрашивать прямо я не хотел, потому что по-деревенски это было бы бестактностью.

– Поедем на охоту? – спросил я Сысоа.

– Поедем...

Он ответил неохотно, – видимо, ему было не до гусей. Признак был плохой.

Когда мы собирались выйти из избы, в окне показалась голова Македошки. Маланья даже вздрогнула. Солдатская рожа прильнула к оконному стеклу и хрипло хихикнула.

– Ах, братец ты мой... – бормотал он. – Сейчас был у баушки Домны... х-ха... То ли еще будет... Постой!..

Солдат даже погрозил кому-то кулаком. Когда мы с ружьями вышли на улицу, Македошка с гиканьем пронесся мимо нас на

неоседланной лошади.

– Сбесился, крупа, – ворчал Сысой, вскидывая на плечо свое ружье.

## II

До озера от Грязнухи было всего версты полторы. Мы свернули с дороги и шли тропой, пробитой по болоту в мелком «карандашнике», то есть мелкой болотной поросли из вербы, золотушной болотной березы-карлицы и ольхи. Сысой молчал. На низком песчаном мысу мы нашли лодку. Вода в озере была совсем темная, – рыбаки называют осеннюю воду тяжелой и уверяют, что именно поэтому осенью и не бывает крупной волны, как в Петровки, когда вода легкая. Когда мы уже садились в лодку, я обратил внимание на валявшиеся пустые жестянки из-под консервов.

– Кто-то приезжал на охоту? – попробовал я догадаться.

– Нет... нет... – уклончиво ответил Сысой, отпихивая лодку от берега. – Наезжали господа...

– Следователь?

– Нет... Как их назвать – не умею. Одним словом, чугунок нам хотят налаживать.

– А...

Для меня теперь сделалось ясно все, начиная с пьянства Македошки и кончая нервным настроением Маланьи. Сысой молча выгребал веслом. Лодка летела стрелой, делая судорожные движения при каждом взмахе. Мы перекосили озеро к дальним лавдам. От правого берега чинно отплыла чета лебедей с парой лебедей, – на Урале эту птицу не бьют, как не бьют голубей. Она еще пользуется привилегией заповедной птицы, которую убивать грешно. Где-то из ситников снялась утиная стая и со свистом пронеслась высоко над нашими головами.

– Птица грудиться стала... – объяснил Сысой. – Теперь молодых учат на отлет. Сильно теперь сторожатся.

Мы забрались в ситники, и скоро ничего не осталось, кроме двух зеленых стен по сторонам да неба над головой. Ситники в корне уже пожелтели, а жесткие зеленые листья шелестели как-то по-мертвому,

как шелестит высохшая осенняя трава. Не было того зеленого живого шума, которым полон лес в летнюю пору. И вода тоже была мертвая и как-то по-мертвому расходилась жидкими морщинами, точно это были конвульсии.

Охота как-то не задалась. В двух местах гуси снялись раньше, чем мы их заметили, потом мое ружье сделало осечку, потом Сысой «промазал» по кряковой. Он только плюнул и бросил ружье в лодку. Что уже тут хлопотать, когда не везет. Внутренне я обвинял его в этих неудачах, потому что, видимо, он сегодня относился к делу с самым обидным индифферентизмом, а когда нег священного охотничьего жара, все равно ничего не выйдет. В результате оказались убитыми два несчастных чирка, одна кряковая утка и гагара— последнюю Сысой убил от злости, чтобы разрядить ружье.

– Ну что же, остается ехать домой, – заметил я, подавляя в себе справедливое негодование. – Какая это охота...

Сысой только тряхнул головой.

– Домой выворотимся? – спросил он точно в свое оправдание.

– Выворотимся.

Оставалось для полноты неудачи заблудиться в лавдах, и это произошло. Сысой перепутал какой-то проход, и нам пришлось плавать по ситникам битый час. Эта последняя неудача сконфузила его, и он энергично выругался.

– Ах, братец ты мой!.. – ворчал Сысой, загребая веслом. – Ведь вот поди ты, притча какая... а?.. Н-нуу...

Обернувшись ко мне и пустив лодку по ветру, Сысой заговорил с тою особенной быстротой, когда является потребность выгрузить наболевшие мысли:

– Что у нас делается, барин... А-ах, братец ты мой! Вся деревня ума решилась. Ходим, как пьяные... То есть такое дело, такое дело!.. Вон баушка Домна совсем спятила с ума... Видите ли, как оно все вышло. Народ, прямо сказать, от пня, ничего не понимает. Живем в лесу... А тут вдруг пали до нас слухи: ведут чугунку, и прямо на нас. Ну, ведут, так ведут... Наше дело – сторона. И что бы ты думал, братец ты мой? Устигла она нас, чугунка, значит, и еще как устигла... Первое дело, слышим мы, что партия уже в Матвеевой, это где Ермила живет... Там у них село и, значит, кабак, и, значит, Македошка там руководствует в лучшем виде. Только этот раз глядим, а Македошка на

своей собственной лошади едет и пьяный-препьяный, и песни орет. Избенка у него заваливающая, женушка непутевая, хозяйство – ухват да вилы, тут прямо на своей лошади. Приехал он это и бахвалится: «Народы, грит, озолочу!» Известно, непутевый человек, зря орет. Одним словом, озорник... Хорошо. Вот он нам тут и рассказал про это самое дело. Грит, пришла это партия в Матвеево и сейчас, например, начальник: самовар. А самовар-то только у Ермилы... Справный мужик, свой кабак содержит. Хорошо. Выпили господа самовар, а потом есть захотели. А какая в деревне еда? Ну, тут Ермила опять свою линию, настряпала евоная хозяйка перменей и подает. Наутро опять самовар... А потом барин и говорит: «Сколько тебе следоват, мил-человек?» Ну, Ермила-то и ахнул: шешнадцать целковых... Тоже совесть у человека. На полтину всего-то добра справил, а он вон как завернул... Тоже и язык повернется у человека. Ведь заплатил барин-то, слова не молвил. А Македошка, значит, тут же толчется и все смотрит... Одним словом, пес кабацкий. И сейчас, напримерно, Македошка к партии пристроился, партия идет – и Македошка идет. От Матвеевой-то до нас верст с сорок, ну и идут. Партия идет позади, а главный барин поперед. Местов не знают, ну, а тут пересылку надо сделать – опять Македошка тут же. Барин-то и лошадь ему дал: езд, ищи. Ну, Македошка и ездит, а поденщина ему три целковых. Это как по-вашему?.. В месяц ему таких денег никто не даст... Хорошо. Только ездил-ездил таким манером Македошка, напился как-то да пьяный прилег к огню и бок себе спалил. Сам-то чуть не сгорел, окаянная душа... Хорошо. И что бы ты думал, какую штуку уколел он, Македошка? Горел-то он в партии, ну, начальник, который при партии, и пожалел его, пса, значит, дал шесть целковых: ступай, выздоравливай. А Македошка уж весь скус узнал и прямо к главному барину: так и так, чуть живота не решил. А главный барин добреющий и сейчас, напримерно, добывает четвертной билет и дает Македошке. На, не поминай лихом... И сейчас Македошка купил себе лошадь и прямо к нам в Грязнуху пригнал. Сбесился человек... Слова у него пустые, осатанел... Ездит по деревне и орет: «Всех озолочу!»

Сысой тяжело перевел дух, еще раз переживая все, что произошло.

– Нет, что он сделал, опять Македошка этот самый... Прожил этак дня с два, денги пропил и сейчас жену научил. Пошла она прямо

к главному барину, сейчас в ноги, сейчас завьла: так и так, муж помер... Запалил себе бок и помер. Тут главный барин опять ей четвертной билет прямо в зубы, только не реви. Ну, воротилась она в Грязнуху и деньги своему солдату принесла... Вот какое дело, барин. То есть никто ума не приложит... Хорошо. Только дошла партия и до нашей Грязнухи, а потом, того, и сам главный барин приехал. Ничего, хороший барин – глаз у него веселый, играет и все посмеивается. Известно, ежели денег у него нетолченная труба, ну и уважает свой характер. Пожил у нас он дня с два... да... И нагляделись мы! Ах, что только было, братец ты мой! Деньгами так и сыплет: на, получай. Македошка тогда и научил баушку Домну: «Ступай, баушка, яйца продавать барину и проси с него за десяток четыре целковых». Ну, побежала старуха, показывает яйца, а барин ей сейчас деньги... Что же это такое, а?.. По нашей-то цене всего восемь копеек они стоят, да и то некому продавать... По осени вон я цыплят вожу в город, так по пятаку плачу за штуку. Помутилась ведь умом старуха, потому как и а жисть свою таких денег не видывала... Другие бабы завидуют ей и поедом едят. А главное – никто ничего не понимает, как и что...

– А Македошка?

– У Македошки ошибочка вышла с баринком... Разлакомился уж очень пес. И стыда никакого... Барин в Грязнуху, а он сейчас к барину. «Да ведь ты помер?» «Никак нет, ваше высокое благородие». И сейчас, например, говорит: «Пожалуйста, грит, за бесчестье четвертной билет»... Ну, тут уж главный барин расетервенился и прямо Македошку в шею... Ах, что только было, братец ты мой, что было!.. Все мужики-то как оморощенные сделались, так и рвут... Ну, а потом партия ушла дальше, главный барин уехал, а мы вот остались опять на прежнем положении. Будем ждать чугунки...

Положение Грязнухи действительно было критическое. Из своего семнадцатого века она прямо перешагнула в самый конец девятнадцатого. Одно появление «главного барина» перевернуло сразу все вверх дном. Трущоба проснулась, а имеющая выстроиться железная дорога dokonчит остальное.

Я уезжал из Грязнухи с тяжелым чувством, как от труднобольного, которого не надеешься увидеть в следующий раз. Прощай и озеро Вежай, и гуси, и вся обстановка семнадцатого века...

Горячий летний день. Река точно застыла. Изнемогающие от зноя собаки напрасно ищут спасительной тени по разным заугольям. Красиво дремлет на крутом берегу кучка домиков, спрятавшихся на вековом бору. У самой воды вытянулось деревянное здание, где чающие исцеления пьют железную воду и принимают ванны. Это провинциальные «минерашки», забравшиеся на сибирскую сторону Урала. Местное название – Курьи. Публика уже привыкла к ним и охотно их посещает, особенно благодаря удобствам, которые доставляет Уральская железная дорога, – по ней до вод рукой подать. Скептики клятвенно уверяют, что курьинская вода не содержит ни одного атома железа, а верующие доказывают, что вода прекрасно действует. Мы знаем только то, что Курьи очень многим помогли, что они доступны самым небогатым людям и что наконец несколько деревень живут недурно благодаря «наезжающим господам». В зной публика прячется по квартирам или бродит по парку, и только самые неугомонные и точные курсовые дамы торопливо пробираются к ванным. Мне не помогут никакие воды, но я верю в животворящую силу солнца и по целым часам брожу на припеке. Солнце – все, оно податель жизни, главный двигатель, и есть основание подозревать, что оно же и починивает многое, что мы, по свойственному одному человеку безрассудству, так последовательно и упорно расстраиваем. Но наше северное солнце скупое, и приходится дорожить каждым солнечным днем. Итак, я иду по самому открытому месту; зной так и пышет. Сделав определенный круг по крутому угору, спускаюсь к реке и по пыльной дороге иду к парку, где так хорошо отдохнуть сейчас.

Территория собственно вод отделена от крестьянской земли деревянной изгородью. У главного въезда воротником стоит слепой парень, который молча кланяется каждому прохожему. На водах

парень уже свой человек. Мне нравится в нем известное спокойствие: он не пристаёт к прохожим, не канючит и принимает милостыню, как должное. Приезжих в лето набирается несколько сот, и если каждый подаст всего один пятак, то получится изрядная сумма. Слепой парень, видимо, спокоен за свое существование, тем более, что у него в руках призрак некоторой должности – он затворяет ворота, чтобы не пускать в парк жадную деревенскую скотину. Нужно видеть тревогу этого слепого лица, когда со стороны деревни послышится торопливый топот бойких овечьих ног. Овца не корова, так и норовит прорваться через заповедную грань, и слепой ужасно волнуется, когда почувствует приближение вороватой твари. Не стало ей, подлой, травы в поле, так нет, давай пролезу еще в парк... Я иногда разговариваю с слепым человеком, который узнает меня по шагам.

– Да ведь много ходит людей мимо, как же ты узнаешь? – спрашиваю я.

– Приобык, а потом в жару ты один ходишь... Я вот тоже на солнышке-то люблю... во как жарит!..

В описываемый день я еще издали увидел своего знакомца слепого в большой ажитации. Он размахивал руками и громко ругался с каким-то мужиком, который понуро сидел у самых ворот.

– Уйди от греха! – кричал парень и пробовал стащить за руку упрямого мужика, – Мое место... Ишь, выискался тоже, ловчак... Проваливай, говорят...

– А ты не тронь... – как-то равнодушно отвечал мужик, продолжая сидеть. – Жаль тебе места-то, ироду?

– Уйди от греха... Тебе говорят...

Единственной свидетельницей этой сцены была босоногая и белоголовая крестьянская девочка лет семи, которая стояла посреди дороги и с детским любопытством ждала, что будет дальше. Мои шаги заставили воевавшего слепца утихнуть, – нехорошо при постороннем-то барине ругаться. Когда я подошел совсем близко, дело разъяснилось: сидевший мужик также был слепой, следовательно, являлся конкурентом нашему курсовому слепцу. Это была профессиональная ненависть, как бывают профессиональные пороки и добродетели и даже профессиональная честь...

– В чем дело? – спросил я, останавливаясь.



– Гонит, – коротко ответил слепец-чужак. – И что я ему помешал? Слава богу, обоим места хватит и еще даже от нас останется...

– Да ведь я тут который год? – заспорил курсовой. – Я при должности состою... Обыщи себе свое место и сиди. Небось, я не полезу к тебе...

Курсовой слепой отемнел еще в детстве, может быть, он и родился «темным», так что его еще молодое лицо приняло типичный отпечаток неподвижности. Слепец-чужак являлся уже калекой: все лицо у него было обезображено, а вместо глаз оставались какие-то дыры. Но по подвижности этого обезображенного лица можно было предположить, что он таким сделался сравнительно недавно.

– Как же быть в самом-то деле?.. – вслух подумал я.

– Гонит яво, – проговорила девчонка, очевидно, принимавшая сторону чужака, которого и привела.

– А так и будет: сяду и буду сидеть, – равнодушно ответил мужик. – Ежели разобрать, так мне здесь самое настоящее место... Что тебе: один, как перст, а у меня семейство, поди, в деревне-то осталось. Себя воспитывай, да еще ребята... это как по-твоему?

– От себя отемнел, так нечего и жалиться, – уязвил курсовой слепец. – А я урожденный... моей причины никакой не было... Господь нашел.

– И меня господь нашел, – спорил чужак. – Еще как нашел-то!

– Ты недавно ослеп? – спросил я, заинтересованный этим спором.

– А второй год... По своей, значит, вине принял наказание божие, – с покорным равнодушием ответил он. – С земляком мы, значит, домой обращались, с заработков... Идем это к себе в деревню, остается еще верст со сто. Известно, прохарчились, обносились, устали. Я и говорю товарищу-то: «Скажемся бродягами...» Это чтобы за тепло не платить и за харчи. Добрые люди бродяжек даром пропитают... значит, для своей души спасение... Хорошо. Сказались мы бродягами... Попаило нам сразу: тут покормят, там пятак подадут... А нас уже из совести совсем вышибло! Набрали мы денег да в кабак, да еще с собой полуштоф водки... Приходим таким манером в деревню и уж смело в крайнюю избу: так и так, бродяги. Хозяин видит, что бессовестные, – только бы отвязаться от дорогих гостей. То-се, собрали на стол поесть, а мы полуштоф свой расчали... Поели, выпили и пошли дальше: сыты, пьяны... Только этак отошли

мы верстов с пять, а земляк-то и говорит: «Эх, – говорит, – посудину напрасно оставили. Воротимся...» Ну, идем мы это назад к деревне, а там дым столбом: горит деревня-то летним делом. Только мы увидали дым, а навстречу уж мужики бегут... «Вот, – кричат, – поджигатели, бродяги...» Ну, какой тут разговор: пымали нас и давай бить смертным боем... Били-били, проволокли на пожарище и хотели в огонь бросить, да раздумали: кто-то притащил купоросного масла, да купоросным маслом нас и облили... Ну, конечно, мы без памяти стали, а они, мужики-то, на телегу нас да к чужой деревне и подбросили. Тут уж нас обыскали, значит, и по начальству предоставили. В земском лазарете вылечили... А потом мужиков-то, которые нас отемнили купоросным маслом, в суде судили и в Сибирь засудили. А нам разве от этого легче? И наши семьи засиротели, да и у тех тоже... Обязали их будто воспитывать нас, а какое воспитание, когда у самих ничего нет... Вот какое дело, барин!.. За чужую милостыню нас господь нашел...

Вечером, проходя воротами, я опять увидел только одного курсового слепца, а чужака не было.

– Где тот, давешний-то слепой?

– А ушел...

– Куда ушел?

– Кто ево знат... Ушел куды-то.

## II

Ровно через неделю я встретил слепца-чужака на станции Уральской железной дороги Богданович.

Он пытался попасть на поезд, но без билета его не пускали: железная дорога не богадельня... Он так и остался на вокзале с протянутой рукой. Не нашлось настолько щедрого благодетеля, который заплатил бы за его проезд «до города». Это была совершенно бесполезная попытка прорваться в такое место, где слепой человек может рассчитывать на щедрое подаяние: его из города высылали уже несколько раз «по месту жительства».

В вагоне третьего класса, где вместе со мной возвращались с вод из Курей еще несколько курсовых, зашел разговор о несчастном

человеке. Одни жалели его, а другие порицали. Особенную жестокость проявил благообразный седенький старичок, по-видимому, дышавший голубиной кротостью.

– Так и следует их, варнаков, – повторял он настойчиво: – не притворяйся бродягой... Милостыню-то не им, варнакам, подают, а богу. Лепта... Вот теперь и казись за напрасную-то милостыню, да и другим закажи. Да...

– Это одна жестокость, – спорил курсовой отец дьякон. – Наказание несоразмерно с виной... Помилуйте, купоросным маслом выжечь глаза живому человеку!..

– Достаточно этого зверства среди мужиков, – присовокупил молодой купчик. – Даже ужасное зверство происходит... Страшно рассказывать. Про подкованную-то девку слышали? Мне это верный человек сказывал... как же-с!.. Тоже в деревне дело было... Девка-то гуляла, ну ее свои парни и захотели поучить. Привели в кузницу, поставили в лошадиный станок и сейчас кузнецу: «Подковывай!». Тот туда-сюда, а они ему ножом пригрозили. Что бы вы думали, ведь подковали, как лошадь куют: например, взяли подкову, накалили и сейчас, например, к левой ноге приставили и гвоздями-с... Так на обе ноги подковали и одну руку, а тут уж девка не стерпела: в станке померла-с.

– И поделом, не плешничай, – подсказал благообразный старец. – Разврат-с... Для нее же лучше, то есть для девки, что, например, еще на земле приняла казнь за свои грехи. Агроматный разврат идет теперь среди мужиков, не говоря о заводах или городах. Ослабел народ, в особенности женский пол... Их бы, блудниц этих самых, всех купоросным маслом!..

Легенду о подкованной девке мне приходилось слышать в нескольких вариациях, но достоверность ее еще требует подтверждения. В настоящем случае важно отношение к такому факту «посторонней публики». Благочестивый старичок напирал главным образом на «чернядь», на мужика, для которого требовал и кнут, и зеленую улицу, и застенок, а публику в собственном смысле выгораживал.

– Что такое мужик: зверь! – ораторствовал он уже с ожесточением. – Посмотрите, что мужики по деревням над своими бабами выделывают... Страсти господни! И вообще зверство... Как

окружный суд наедет куды-нибудь в Шадринск или в Ирбит, глядишь, за две-то недели лет двести каторги набежит. Одним словом, варнак народ по здешним местам... Озверели все.

– Все-таки несправедливо платить зверством за зверство! – возмущался кто-то в публике.

– Ею же мерою мерите, возмерится и вам, – отвечал старичок. – Нельзя-с: темнота... Я главным образом про мужиков выражаюсь, а не касаемо до прахтикованных людей, которые имеют свое понятие. Да... Одним словом, мужик-с!..

– Все хороши, взять хоть тех же купцов, – заявил не известий никому господин, слушавший до этого момента молча. – Знаете дело купца Валина, который в Шадринске жену из ружья застрелил? Да-с... Положим, они пьянствовали вместе и человеческий образ потеряли, а все-таки...

– А она ему рожу всю исцарапала, – спорил старик. – Это, значит, Валину, а потом и говорит: «Вот, – говорит, – ты после завтра именинник будешь, так покрасуйся с ободранной-то рожей». Ну, он и не стерпел...

– Хорошо, я допускаю, что пьяные люди могут сделать все, – согласился господин – я даже не защищаю убитую... Оба пьянствовали, бесчинствовали и кончили уголовщиной. Это между ними и останется... А вот что нехорошо: зачем оправдали Валина-то? Мало того, что оправдали, Валин-то потом к оставшемуся после жены имуществу еще права наследства предъявил... Пожалуйте, говорит, мою седьмую часть. Где же, например, совесть?..

– Это уж адвокаты научили...

Поезд летит по слегка всхолмленной равнине. Вдали мелькают какие-то деревни, перелески и шахматы полей. Картина самая мирная, которая совсем уже не вяжется с жестокими разговорами. Наступает долгая пауза. Благообразный жестокий старичок глядит в окно и тяжело вздыхает, сокрушаясь об ему одному известных грехах. Споривший с ним господин задумчиво крутит усы и время от времени вызывающе поглядывает на других. Очевидно, его так и подмывает еще раз сцепиться с жестоким старцем и договорить что-то недосказанное, что его, видимо, мучило. Одет он прилично и вообще приличен. Только в серых выкаченных глазах светится что-то такое желчное и беспокойное. Одним словом, довольно распространенный

тип человека, который «не позволит наступать себе на ногу». Он попробовал завести разговор с дьяконом, но из этого ничего не вышло: дьякон оказался таким кротким человеком, что соглашался уже вперед с каждым вашим словом.

– Нет, позвольте-с... – говорил желчный господин, споря с невидимым противником... – Так нельзя-с!.. Конечно, мужицкое зверство возмутительно, но это физическое зверство, где человека убивают, режут, ослепляют, увечат... Сравнительно это еще не так страшно, как нравственное зверство. Даже подкованная девка, в сущности говоря, терпима... Конечно, я говорю о сравнительной жестокости и хочу сказать то, что, перенеси эта девка операцию подкования, она стала бы жить калекой, как мужик с выжженными глазами. Так я говорю?

Вопрос был обращен к благоразумному старцу, точно желчный господин хотел выстрелить в него.

– Обнаковенно... – бормотал старец, напрасно стараясь проникнуть в скрытый подвох. – Темнота, вот что!

– А позвольте узнать, что вы называете темнотой? – прицепился желчный господин.

– Очень просто: когда человек неполированный... вообще...

– Понимаю. Только, по-моему, совершенно наоборот: полированный-то человек и вынет из вас душу. Про дело Миловзорова слышали? – обратился желчный господин уже ко всем. Ну, конечно, слышали... И в местной прессе было напечатано в качестве слуха. Да-с... Только все это дело публике неизвестно вполне, а я могу его рассказать.

– Господин, позвольте! – азартно вступился благообразный старец. – Про этакое дело сторонним людям даже и разговаривать-то невозможно, потому как промежду мужа и жены один бог судья. Да-с... Это даже и в законе сказано... Ежели, например, девица не соблюла себя и вдруг под венец... Это хоть кого касаемо, так не вытерпит. Таких-то в воде топить надо, вот что... Прямо будем говорить!

– Пет, уж извините! – закричал желчный господин, поправляя начинавший давить его ворот крахмальной сорочки. – Никакой зверь так-то не сделает, как ваш «практикованный» и полированный человек. Ужаснее всего то, что ваш Миловзоров ничего ужасного из

своей особы не представляет: самый обыкновенный средний человек... да. Я его давно знаю... в карты даже играл не один раз... Совсем приличный и скромный человек. Хорошо-с... Так вот стукнуло Миловзорову сорок лет, и вздумал он жениться: есть свой небольшой капиталчик, есть место какого-то доверенного, ждать больше уж нечего, значит, остается жениться. Стал высматривать невест и нашел подходящую... Семья большая, девушка красивая и на возрасте, а приданого нет. В гимназии училась, а тут у родителей жила в каком-то заводе, где и женихов нет. Поговаривали про нее, что была какая-то у ней любовная история, и женихи обегали ее. Хорошо... Все это Миловзорову на руку, конечно, потому что не по любви же восемнадцатилетняя девушка пойдет за него. Присватался, девушка в слезы, а родители рады пристроить ее... Ну, поплакала, погоревала, а потом родные, конечно, уломали ее. Миловзоров радуется, что на склоне лет такую красоту заполучил. Скрутили свадьбу, гости разъехались, молодые остались одни... Что у них было – неизвестно, а известно то, что утром Миловзоров потребовал почтовых лошадей, выгнал жену буквально в одной рубашке и на дорогу дал заряженный револьвер, из которого посоветовал застрелиться. Она тут же в спальне и записку написала, что, мол, прошу в моей смерти никого не обвинять. Одним словом, все по форме... полировано... Вот и едет несчастная женщина неизвестно куда... Нет, она знает, куда едет, потому что и записка написана и револьвер в руках. К родителям нельзя и носу показать, муж прогнал – одним словом, некуда ей идти, вот этой самой женщине с револьвером. Она виновата – это правда... Но, может быть, она надеялась, что муж ее простит, просто пожалеет ее молодость – мало ли на что надеется человек. И вдруг она видит, что ей в восемнадцать-то лет ничего, кроме смерти, не осталось. Будь она потерянная женщина, так она нашла бы утешителя, а тут другое: душу вынули из живого человека в одну ночь. Ведь Мило взоров не без греха прожил до сорока лет, а жене не мог простить... Сидит она с револьвером, колокольчики позванивают, звенит у ней в голове, и чувствует она, что кромешное зверство кругом: и тот человек, который обманул ее девичью неопытность, и молодой муж, и родители – все звери, один к одному. Целую станцию так-то она, бедная, ехала и все думала, а потом приехала на постоялый двор, забежала куда-то в конюшню и

бац из револьвера. Только рука дрогнула – не насмерть первая пуля, пожалуй, еще оживешь, – она второй раз бац и в третий. Так и кончилась...

– Сама виновата, – заключил седенький старец.

– Конечно, виновата, никто не спорит. А вот вы, например, не имеете греха на душе? Может быть, мы-то с вами в тысячу раз хуже ее, не может быть, наверное, и все-таки живем, потому что и сами озверели... Да. Ведь Миловзоров душу живую убил – и ничего; он служит на старом месте, его терпят, и, главное, он сам себя терпит. Даже больше, он считает себя правым, потому что и другие «прахтикованные» люди считают его таким. Он может спать, есть, пить, разговаривать с другими и даже, вероятно, женится в другой раз... Ведь такому зверству нет имени, нет меры?! Если бы он убил ее сам, так это по нашей жестокости еще понятно, как подкованная девка; но Миловзоров побоялся ответственности и довел несчастную восемнадцатилетнюю женщину до того, что она сама себя убила. Людоеды покажутся младенцами перед таким полированным человеком...

## На перевале\*

### *Из осенних мотивов*

#### *I*

Первый иней, от которого «закисает» лиственница, служит сигналом для охоты на глухарей. Чуть тронутая холодом мягкая хвоя служит лакомством для птицы, и охотники пользуются этим, чтобы бить по зарям усевшихся на лиственницах глухарей. В Среднем Урале это дерево достигает значительной высоты и над лесом поднимается целой головой. Обыкновенно встречаются отдельные деревья, а целые насаждения – очень редко, дальше к северу. Старинное дерево, эта лиственница: высокое, ветвистое, чуть посыпанное своей бледной и мягкой хвоей. По крепости оно тверже дуба, в воде не гниет и потому служит по преимуществу типом корабельного леса. В Среднем Урале лиственницы имеют такой голый, сиротский вид и широко расстилают свои узловатые коряжистые ветви, похожие на олени рога. Южнее эти деревья отличаются стройностью и достигают громадной величины. Так, около Златоуста нашли для телеграфного столба лиственницу, из которой вырубил столб в 36 аршин длины и 12 вершков в верхнем отрубе. Там же молодые лиственные заросли придают характерный отпечаток горной южноуральской растительности.

Итак, первый иней пал, и в садах лиственницы начинают желтеть. Едем на охоту. Осенняя птица жирная, и это лучшее время в своем роде. В самом слове «охота» вы уже чувствуете что-то такое доброе и освежающее... Да, едем. У всякого охотника есть свои облюбленные уголки, куда его непременно тянет, в известное время вы его найдете на своем посту. Для сравнения могу указать на усердных прихожан, которые в церкви станут непременно на свое место. У меня таким любимым местом служит осенью так называемый «перевал» – это горный водораздел, глухой уголок, оставшийся в стороне от растерзанных владельческих лесных дач, на



тридцать верст никакого жилья, и в самом интересном месте, на крутом берегу горного озера, стоит лесной кордон, где можно и чаю выпить и собрать необходимые сведения от Ивана Васильича, местного сторожа, который проживает здесь «по обязанностям службы».

Дорога из города идет сначала оставшимся за штатом знаменитым сибирским трактом, а потом поворачивает на глухой лесоворный проселок. Вы едете покосами, через мелкие лесные островки, по длинным еланям через болота, и опять островки, покосы и леса, уже настоящий лес, который, чем дальше от города, тем выше. Город – величайший враг лесу, и близость этого врага вы чувствуете издали: лучшие деревья срублены, на земле валяется мертвый хворост, молодым деревьям не дают подрасти в настоящую меру. Но чем дальше от города, тем легче и привольнее дышится, и травка не та, и дерево поднимается выше, и воздух такой чистый, хороший. Вот в стороне мелькнул знакомый кордон «на половинке», за ним чернеет смолокурня, где «гонят» деготь и смолу, еще дальше мелькают уже одни поленницы дров, сложенные в стороне полусаженками и осминниками. Подъема в гору вы почти не замечаете, а между тем экипаж на самой вершине водораздела. Вот и последняя болотистая речонка, которая сбегает в Исеть, за ней довольно крутой увал, за ним уже западный склон Урала. Собственно, гор здесь совсем нет, и самый перевал незаметен.

В последний раз я поднимался на водораздел в такой хороший осенний день, обещавший удачную охоту. Когда экипаж очутился на вершине горы, в просветах между редким сосняком серой блестящей полосой плянуло Глухое озеро, одно из той озерной цепи, которая залегла между верховьями рек Исети и Чусовой.

– Вот мы и в Расею заехали, – проговорил кучер Гагара, оборачивая ко мне свое «шадриное» красное лицо с плутоватыми, разномастными глазами. – Веда уже на Волгу отседа пошла... расейская вода...

Придерживая бойкую пристяжку, Гагара ловко спустился в крутой ложок, подтянул коренника и с ямщицким шиком подкатил на угор, где среди пихт и елец прятался кордон.

Очень красивое место, этот кордон, и только недостает какой-нибудь пустыньки или монастырька, чтобы оживить его. С высокого

берега открывался просторный вид на все озеро, разлегшееся среди невысоких лесистых увалов. В глубине, в камышах, спрятался исток, которым озеро соединяется с рекой Чусовой. Вот и собака Юлка выбежала с громким лаем навстречу нам, а в двух избушках показались любопытные лица – в одной обитал сам Иван Васильич в качестве начальства, а другая стояла так, на всякий случай: когда лесничий заедет, когда охотники, когда так кто-нибудь завернет.

– Вот и монашины... – говорил Гагара, осаживая пару у ворот. – Они теперь ягоды собирают в лесу. У Ивана Васильича важнецкая изба для проезжающих налажена, ну, монашины недели по три здесь выживают. Юлка, не узнала гостей?..

Собака в последний раз брехнула на лошадей и ласково завилыла хвостом. В окне избы «для проживающих» мелькнуло два темных монашеских платка. Ворота скрипнули, и показался сам Иван Васильич в своих неизменных резиновых калошах, в темных больших очках и сереньком пиджаке. Это был очень степенный господин с неторопливыми движениями и той солидностью, которая зависит от характера. Он распахнул большие ворота и впустил экипаж во двор.

– Хозяину... – здоровался Гагара с развязностью городского кучера. – Опять к тебе в гости, Иван Васильич.

– Милости просим... Живем в лесу, а гостям рады. Вы уж ко мне пожалуйста в избу, а там в другой избе у меня брусничный монастырь. Может, на свежем воздухе чайку пожелаете напитокся?

– Да, я думаю, что так будет лучше.

– Конечно, для вас это гораздо любопытнее. Ушку можно заварить...

У Ивана Васильича все делалось как-то само собой – и самовар вовремя будет готов, и ушка поспеет. Свой же парень съездит посмотреть в исток поставленную вчера морду и привезет свежих окуньков, а хозяйка оборудует самовар.

– А как глухари? – спрашиваю я, разминая ноги после тряской трехчасовой дороги.

– Глухари-с? Они свое дело в лучшем виде знают... Вчера двух спугнул по дороге к Кочкам. Тут есть ложок, а над ним этак осинничек пойдет, листьяночки – аккуратное место. Как раз только чайку напьетесь – тут и самое ваше занятие... Юлка орудует в лучшем виде.

– На дерево бросается?

– Сначала кидалась, а потом я ее отвадил... Тоже понимает, стерва. Сядет под дерево и брешет, а он, глухарь, на нее сверху: ту-ту-ту!.. Ну, и разговаривают. Даже смешно в другой раз слушать. А вы в самый момент приехали – теперь глухарь на чику...

Мы сидели на берегу под густой старой пихтой и долго беседовали о разных разностях. Холодное осеннее солнце быстро склонилось к зубчатой линии леса. По озеру разгуливала осенняя волна, сосавшая берег и с шипением уходившая в качавшуюся полосу жесткого ситника. Странное это время, осень! И погода ясная, и солнце светит, а вас так и сосет какая-то грустная, сиротская нотка! Есть своя поэзия осени, задумчивая прелесть звездных холодных ночей и целая гамма тонов умирающей зелени. Весело горит огонек на открытом воздухе, и дым уже не стелется по земле, как в туманную летнюю ночь, а вьется столбом прямо в небо. Гагара устроил цыганскую распорку и варит в котелке уху.

Юлка сидит невдалеке и ждет своей доли в общей трапезе.

– Ты луковку-то не торопись спускать, – советует Иван Васильич тоном специалиста. – Размокнет, как тряпица, какой в ней толк, а надо в плепорцию.

– Нет, ничего... Главное, спокойно. Летом я, как Осман-паша в неприступной Плевне, сижу: кругом болота, а дорога одна в Кочки. Лесоворам нечего делать, ну и отдыхаешь. Верст на сорок мой-то участок растянулся, и не углядел бы, если бы не болото.

Военные сравнения у Ивана Васильича провертываются часто: он сделал последнюю русско-турецкую кампанию и фельдфебелем какой-то стрелковой роты переходил Балканы. После того служил на железной дороге, но по слабости зрения должен был бросить эту «обязанность», потом служил урядником, – помилуйте, ни днем, ни ночью нет покоя, а народ какой здесь – того смотри, что голову оторвут, а у Ивана Васильича семья. Пензенский уроженец, он попал на Урал по той же причине, как и многие другие: дома нечего делать, а здешние места захвалили. Оно действительно, места обширные, и жить можно, да народ, сказать правду, варнак. Сердце Ивана Васильича возмущалось убойными сибирскими нравами.

Мы идем по лесу. Под ногами хрустят сучки. Трава совсем сухая. Иван Васильич шагает в своих резиновых калошах и несет длинного «туляка» (ружье) на плече, точно по команде «ружья вольно!» Юлка суетливо шныряет между деревьями, и я по лицу Ивана Васильича вижу, что он доволен собакой, которая «забирает верхним чутьем» и нейдет глухариными подъядами и кормежками. Вот и ложок и покрасневший от мороза осинник с своей яркой, точно ситцевой листвой – даже есть те линючие тона, какие производит московская мануфактура.

– Конечно, жалованье маловато, на пятнадцать рублей не много расширишься... – говорит Иван Васильич и останавливается, как вкопанный: Юлка брехнула на птицу, и глухарь забормотал на нее.

Это момент самый интересный на охоте: так и встрепенешься весь. Солнце уже село, но в лесу еще светло, и деревья отчетливо вырезаются своими контурами на отбелевшем осеннем небе. Мы расходимся. Иван Васильич предоставляет мне добычу, и я уже заметил высокую лиственницу, где бормочет глухарь. Небольшой перелесок отделяет меня от 1 этого дерева, но подойти ближе нельзя: чуткая птица, пожалуй, не пустит, а проклятые сучки так и хрустят под ногами.

Останавливаюсь и перевожу дыхание. Слышно, как бьется сердце. Еще несколько шагов – и добыча будет в роковом круге «поля поражения». Немного больше ста шагов, но винтовка Лебоди возьмет и дальше. Сквозь поредевшую листву просматриваю в последний раз глухаря – он сидит на длинном сучке и разговаривает с собакой. Вот пауза, нужно стоять смирно и стрелять, когда глухарь опять забормочет. В это время он не слышит выстрелов, и можно из малокалиберной винтовки «отвесить» по нем раз десять. Вот опять бормотание, выстрел, и облачко дыма мешает разглядеть результаты. Нет, глухарь сидит на старом месте и только сильнее вытянул шею по сучку, – значит, пуля пронесла верхом. Второй выстрел заставил его подскочить – пуля обнизил. Обыкновенно в таких случаях глухарь улетает, но этот непуганый и после небольшой паузы начинает опять разговаривать. Третий выстрел, и птица снялась с дерева широкими взмахами своих крыльев, сплывалась под пролеском и исчезла. Слышно, как Юлка заливается, но это уже не торжествующий,

осмысленный лай, а просто собачий азарт: она потеряла птицу. Ужасно досадно, и я в утешение себе рассматриваю свою винтовку: что с ней такое случилось?

– По сучку шлепнулась пулька-то... – за спиной у меня говорит неслышно подошедший Иван Васильич, – Теперь самый обманчивый свет: своя прицелка... Я вот к своему туляку вполне привесился и шагов на пятьдесят так шарраху, что даже сам удивляешься в другой раз.

Мы пошли дальше. Юлка затихла. Свет быстро исчез, точно его тушит какая-то невидимая рука. Делается холодно. На нашу беду подвернулся зайчонок, и Юлка бросилась за ним с особым завыванием, которое знакомо всем охотникам.

– Ах, проклятая!.. – ругался Иван Васильич, бросаясь в погоню за неверным псом. – Вот каждый раз так... Поймает и съест, подлая!.. Юлка-а! Я тебя, шельма-а!..

Тени сгущаются. Большие деревья трудно просмотреть, но на мое счастье опять попадается глухарь. Без собаки к нему трудно подойти, – приходится пользоваться только его бормотанием, когда едва успеешь сделать несколько шагов. Пожалуй, еще в ширф попадешь куда-нибудь... Подхожу на приличную дистанцию, начинаю выцеливать – плохо видно. Стреляю наугад, и глухарь благополучно улетает. Где-то близко грянул «туляк» Ивана Васильича. «Этот не промахнется», – думаю я, огорченный собственной неудачей. Действительно, появляется Иван Васильич и волокет за крыло убитую птицу.

– Агроматный мешок... – говорит он, останавливаясь. – Бегу за Юлкой, а он на меня сверху как забормочет... ей-богу!.. Вот какая повадка... Ну, я его и положил: так комом и свернулся, как мешок. Ведь сверху, когда летит, точно медведь... Юлки не видали?.. Вот, я вам скажу, бывает же такая несообразная тварина...

Мы возвращаемся. Охота кончена. В темноте дорога кажется длиннее. Но вон и знакомая пихта – мы дома. Огонь догорает. В «брусничном монастыре» теплится слабый огонек, и какая-то темная фигура стоит перед иконой в переднем углу.

– С полем! – кричит Гагара, наметавшийся с охотниками.

Юлка, уж дома. Заметив нас, она поджала хвост и виновато ползет по траве к пылающему гневом хозяину, который прописывает

ей встрепку и читает наставления. Юлка визжит больше для приличия и облизывается – она хорошо закусила.

Выплывший месяц осветил заснувшее озеро. Мы опять пристроились под своей пихтой и, греясь около огонька, гуторим о разных разностях. Хорошо вот так посидеть в лесу и поболтать с бывалым человеком. Иван Васильич покуривает трубочку и сплевывает на огонь. Гагара потрошит убитого глухаря, чтобы сделать из него похлебку. Ему помогает хозяйка, пожилая женщина в накинутой на плечи шубейке.

– Я вот часто так-то выйду на бережок, – повествует Иван Васильич, не торопясь, – и раздумаюсь... Ведь какое здесь место: настоящая грань. Одной ногой в Расее, другой – в Сибири. Да... Самое глухое место. Вон туда, к Чусовой, и дороги больше никакой нет: доехал до Кочек и ступай назад... Вон какое место...

– А зимой волки у вас бывают здесь?

– Нет, мало... С озера разве какой шальной забредет, а вот лесоворы тогда хуже всяких волков. Зимой-то везде дорога... Как начнут подчаливать в город бревна, тут держись только, а отвечать должен за всю дачу все я же. Она, милая, вон какая, дача-то: больше пятидесяти квадратных верст. Лесничий проехал, увидел свежую порубь... Настоящее военное положение, а одному-то не разорваться. Под Плевной лучше было: там все-таки не один.

Утром надо было вставать часа в три, чтобы взять птицу «на брезгу», то есть когда только начнет свет заниматься, а поэтому мы и залегли спать пораньше. В избе у Ивана Васильича было очень чисто, и старой ситцевой занавеской она делилась на две половины: в одной спал он с женой, а в другой расположился я. На полотах давно уже спал мальчик лег двенадцати. Городская привычка ложиться поздно сказалась и здесь – я долго ворочался с боку на бок, прежде чем мог заснуть. Даже это был и не сон, а какое-то полузабытье. Помню, как я опять «скрадывал» глухаря и как влзаивала Юлка, а потом сквозь сон в ухо лез какой-то бабий шепот:

– Разбуди, Аннушка, Ивана-то Васильича... ради истинного Христа!

– Да, может, поблазнило, сестрица?

– Нет, голубушка... Сначала этак мелькнуло будто на полянке, и Юлка брехнула, а сестра Агнеса и видит в окошко: он к стеклу-то и

припал... Мы так и ужаснулись все, а сестра Платонида и говорит: «Это, может, – говорит, – ихний, городской кучер...» А Юлка, нет-нет, и взлает, ну, а потом он опять к нашему окошку присунулся. Мы все видим, а никто слова молвить не может.

– Ихний-то кучер в повозке спит...

– Этот с бородой, а кучер безбородый. Ну, сестра Агнеса и послала к вам. Непременно, говорит, добудись...

Открываю глаза. Изба чуть освещена лунным светом, хозяйка в приотворенную дверь шепчется с невидимой монашиной, как я начинаю догадываться.

– Что такое случилось? – спрашиваю я.

– Да так... пустяки... – отвечает хозяйка. – Вот монашкам поблазило, будто какой человек к емя в окошко смотрел... А кому здесь омотреть-то? Мы и ворота сроду не записывали.

– Побуди Ивана-то Васильича-то... – просит голос.

– И то разбудить.

Хозяйка голыми ногами проходит за свою занавеску и начинает расталкивать домовладыку.

– А?... Что?... Мм... – мычит впросонье Иван Васильевич. Отстань, пожалста... умереть не дадут... Брусники наелись монашины, вот и увидали человека. Отстань.

В этот момент послышался топот нескольких пар босых ног, и в сенях раздалось более смелое шушуканье:

– Матушка моя, сидит... Своим глазом поглядите: у огонька сидит!.. Ох, до смертушки мы все перепугались...

– Да, может, кучер ихний сидит?

– Ох, нет... С бородой мужчина...

Это был уже весь «брусничный монастырь», столпившийся в наших сенях, как стадо овец. Иван Васильич в одной рубахе выпянул в окошко и проговорил:

– И то кто-то сидит, леший его задери...

Во дворе, заслышав суматоху, Юлка выбивалась из сил и с приступом бросалась в ворота. Иван Васильич, не торопясь, оделся. Я последовал его примеру.

– Разбудите Гагару... – шепотом приказывал он жене... – Мы его изловим, каналью... Вот еще притча какая...

– Да, может, он не один? – боязливо шептала хозяйка. – Как ножом полыхнет – вот и вся тут...

– Ну, ну, полыхнет... Не твоего ума дело!..

Иван Васильич опять выпянул в окошко: нет, сидит он у самого пепелища... Уж не оборотень ли какой?

### III

Мы устроили настоящую засаду: я занял ответственный пост у ворот, Гагара должен был обойти со стороны дороги и отрезать отступление, Иван Васильич перелез через забор прямо в лес и оттуда должен был открыть атаку на неприятеля. Юлка неистовствовала у ворот, монахини заперлись в избе на крючок, а он продолжал сидеть у едва тлевшего огонька и преспокойнейшим образом подбрасывал в него щепочек. В приотворенную калитку я видел широкую согнутую спину и голову без шапки. Раздался сигнальный свист, и мы открыли наступление. Первой бросилась на приступ Юлка.

– Эй, кто есть, жив человек, сдавайся!.. – кричал Иван Васильич, показываясь из лесу с ружьем в руках.

Молчание. Одна Юлка с визгом наступает на сгорбленную фигуру у огня и раза два, кажется, успела хватить зубом.

– Да ты умер, что ли? – слышится недоумевающий голос Ивана Васильича. – Сдавайся!

Мы с трех сторон подходим к огню, и Иван Васильич схватывает незнакомца полицейским приемом – за плечи сзади.

– Кто таков человек?

– Живой человек... – отвечает наконец незнакомец слабым, охрипшим голосом.

– Откуда взялся?

– Из лесу...

– Как зовут?..

– Косач... птица... бруснику ел, листвень ел, мох ел – и вышел косач.

– Видим, что птица... – спокойно говорит Иван Васильич. – Бродяга?..

– Около того... Говорят тебе: косач.



– Зачем ночью подходишь, дьявол? А как я бы да тебя хлсбыснул пулей...

– И стреляй... Сбился с дороги... отощал... три дня хвою да грибы ел... Вот огня не было, ноги не держат...

– От артели отстал?.

– От артели... боялся днем-то подойти...

Пленный был приведен в избу. При огне он оказался тщедушным мужиком с горбатой спиной и зеленым, испитым лицом. Один глаз вытек, а на его месте оставалось одно закрытое веко. Весь костюм состоял из одной заношенной рубахи, пестрядинных портов и какого-то отрепья на плечах. Войдя в избу, он перекрестился и проговорил:

– Дайте поись... смертушка пришла...

– Ну и зверя залобовали! – качал головой Иван Васильич, делая знак жене.

Появилась краюшка хлеба и чашка с квасом. Бродяга дрожащими руками ухватился за хлеб и принялся его есть с жадностью. Я протянул было руку к своим дорожным запасам, но Иван Васильич остановил меня:

– Не нужно... Очень уж сердяга отощал, не стерпит настоящей еды. Отвык от хлеба-то...

Столпившиеся у дверей монахини смотрели на несчастного бродягу со смешанным чувством страха и сожаления. Слышались вздохи.

– Дальний будешь, миленький? – осмелилась наконец спросить одна из сестер.

– Дальние, голубушка... из-под Иркутскова... – быстро ответил бродяга и посмотрел таким голодным взглядом на всех нас. – Отощал... из сил выбился.

– Господи, батюшка!.. – слышался благочестивый шепот.

– Ну, куда я теперь с тобой, косач? – спрашивал Иван Васильич, расхаживая по комнате. – Ну, куда?.. Шел бы своей дорогой... Вот не угодно ли! – обратился Иван Васильич уже ко мне. – Я же его и представляй в город... Это значит – тридцать верст вперед да тридцать верст назад. Нет, спасибо, голубчик... Это уж третий так-то ко мне навязывается: отобьется от артели, и вези его в город. У них, у бродяг, тракт по реке Исеги, а потом через горы перевалом: на реку Чуоовую идут – старинный тракт. Верстах в двадцати от кордона

ихняя бродяжья тропа. В лето-то, может, тысячи три человек пройдет: все в Расею, значит, обращаются... Ох-хо-хо!.. Когда урядником был, так до смерти, бывало, надоедят эти бродяги, особенно по осени, когда холодом их в горах достигнет. Артелями приходили: предоставь по начальству. Это они зимовать в острог просятся... И вот все такие орлы! Ну, что с ним поделаешь, с косачом?..

– Заплутался... – точно про себя говорил бродяга. – Отощал... все думал – выйду на дорогу, а самого уж вторые сутки мутит... с голоду мутит...

– Чем же ты кормился? – спрашивает сестра побойчее.

– Саранку копал да ел... медвежьё дудку, бруснику... огня не было, вот главная причина... Иззяб весь, ноги избил, отощал...

– Вот что, сестрицы, идите-ка с богом спать, – предложил Иван Васильич, позевывая. – Утро вечера мудренее.

Монашки придвинулись к двери и зашептались., – Боятся оне... – объяснила хозяйка. – Может, он не один: и отворит ночью ворота товарищам, всех и укокошат. Тоже бывали случаи...

– Пустяки!.. Идите, сестрицы, а для острастки Юлку возьмите...

Напуганные монахини едва решились уйти в свою избу, хозяйка улеглась за свою занавеску, а Иван Васильич продолжал ходить по избе и думал вслух:

– Ежели отпустить его, – пристанодержателем назовут...

В город везти – одна маята. Ну и задал же задачу... А?.. Ты вот что, косач, как мы уснем, ты и уходи потихоньку, а я скажу, что бежал... Не укараулили – и вся недолга.

– Нет уж, будь милостив, предоставь в острог...

– Ах, какой человек навязался! Охота мне тащиться тридцать верст да там по разным мытарствам ходить... Право, ночью и уходи своей дорогой.

– Не могу... обезножил... силы нет...

Бродяга был настолько жалок, что на него невозможно было даже рассердиться.

– Вы меня свяжите, а сами ложитесь спать... – предложил он нейтральную меру.

– Чего тебя вязать... Ах, ты, притча какая!.. Тебе бы только вон там по-за горой левее взять – тут сейчас и тропа выйдет. Все равно, перезимуешь в остроге и опять убежишь...

– Убегу...

– Ну, так по этой же дороге придется идти, притча этакая?..

– Нет, уж предоставь по начальству.

Я долго всматривался в несчастного бродягу. На вид ему можно было дать лет пятьдесят. Русые волосы, сбившиеся в кошму, и песочного цвета борода не были еще тронуты сединой. Но это лицо мне навсегда запало в память; худое, изможденное, с обтянувшимися около зубов губами, обострившимся носом и лихорадочно горевшим единственным глазом. Бродяга – это неизбежная принадлежность нашего уральского быта. Их каждый видал на тракту: идет обоз или экипаж катится, к ним из стороны выходит один или двое, снимают шапки и кланяются. Редкий не подаст куска хлеба или копеечки. Видал я бродяг в лесу, по волостным правлениям, на этапных пунктах, в камерах судебных следователей, на скамье подсудимых, но «косач» положительно выдавался своей отчаянной беспомощностью, голодным видом и упорным желанием попасть непременно в острог. Тысячи таких вот косачей бродят по лесу, перебираясь через Урал на родину, – даже страшно делается при одной мысли об этом волчьем существовании. Выбитые из колеи, они, эти бродяги, отрекаются от своего имени, последнего достояния, которое несет человек с собой даже в могилу... Косач – и все тут... Звери и птица живут без имени, и бродяги тоже. Это полная гражданская смерть, а между тем таких не помнящих родства бродяг тысячи. Нет, жизнь положительно – страшная вещь.

\* \* \*

Утром рано мы возвращались в город. За моим экипажем на телеге ехал Иван Васильич, а рядом с ним сидел косач. Он проспал в избе, не связанный, и выглядел при дневном свете еще несчастнее. Иван Васильич имел сосредоточенный, почти сердитый вид.

– Привезешь его в город, а там своим бродягам не рады, – ворчал он, усаживаясь в телегу. – Еще обругают, зачем привез...

Утро выдалось пасмурное. Начинал накрапывать мелкий дождь. В одном месте нам дорогу перебежал заяц – это уже окончательно взволновало Ивана Васильича, и он сердито начал отплевываться.

## Не у дел\*

### Рассказ

#### I

– Видели Марзака... – торжественно заявлял наш кучер, Яков, неподвижный и вялый хохол.

– Где видели?

– А по улице иде, пранци его батьке...

– Что же, его задержали, Марзака?..

– А зачем его держать: сам приде ночью у кабак – там и словимо.

– А если не придет?

– Приде... Куда вин денется, пранцеватый?..

При последнем слове Яков лениво улыбался, раскуривал трубочку и делал необходимые приготовления к предстоящей ночью баталии, то есть лез на печь и доставал чугунный пест от ступки – единственное оборонительное и наступательное оружие в нашем доме. Хохлацкое спокойствие производило на нас, детей, импонирующее впечатление, и мы смотрели на Якова с раскрытым ртом, как на героя: Яков будет ловить разбойника Марзака; Яков побежит в кабак с чугунным пестом в руках по первому удару набатного колокола крепостной заводской конторы; Яков будет вязать веревкой Марзака, и т. д.

– Яков, а тебе не страшно? – приставали мы к нему. Ведь Марзак с ножом...

– Нехай с ножом...

– Он тебя зарежет...

– А пест?

Мы, дети, страшно волновались и выслеживали каждый шаг Якова до того момента, когда нас отправили спать. Волновались и большие, хотя эта история повторялась через известные промежутки не один раз. Всего более смущала уверенность, что Марзак должен прийти именно в кабак и никуда больше. В этой мысли было что-то

роковое, неизбежное, как сама судьба, и фатализм положения пугал одинаково как больших, так и маленьких. В Марзаке чувствовалась какая-то стихийная сила, не укладывавшаяся в тесные рамки заурядного прозябания.

Вечером, когда все стихло, в калитку осторожно стучала какая-то невидимая, таинственная рука. Кучер Яков, не торопясь, выходил за ворота и долго с кем-то шептался, а потом возвращался в кухню и упорно молчал.

– Из конторы сотник приходил... – объясняла нам кухарка под величайшим секретом. – Народ сбивают... Легкое место сказать: одного человека пымать!.. тьфу!..

В кухарке сказывалось смутное сочувствие к геройству Марзака, и она любила рассказывать, как этот разбойник бросался с ножом на заводского приказчика, как его ловили, заковывали в кандалы, драли в «машинной», а потом увозили в Верхотурье, в острог. Марзак сидел несколько времени, а потом уходил и непременно возвращался опять к нам, на Шайтанский завод. Раз ушел он из острога зимой в одной рубахе; босой, и ничего, остался жив. Вообще получался легендарный человек, который умел заговаривать даже пули конвойных солдатиков. Все эти рассказы, конечно, припоминались именно в этот момент, когда весь завод ждал набата. Лежишь в своей теплой детской кроватке и со страхом думаешь о «машинной», где наказывали за всякую крепостную провинность розгами, о верхотурском остроге, о глубоких зимних снегах, по которым бежит босой Марзак, и детское сердце сжимается от ужаса. И жаль делается, и страшно, и какое-то тяжелое чувство поднимается в душе против неизвестного, расплывающегося в детском воображении зла. Приказчик Завертнев, на которого Марзак бросался с ножом, часто бывает в нашем доме, он такой веселый, добрый человек. И его тоже жаль... Зачем Марзак хотел зарезать этого Завертнева? В ушах даже поднимается звон кандалов, в которых мы видали Марзака не раз... Да и вот сейчас этот самый Марзак идет с ножом к кабаку, где его будут ловить... Детское сердце замирало от страха, и ухо старалось поймать малейший шорох.

Действие начиналось обыкновенно ночью.

Прежде всего повторялся таинственный стук в калитку, и кучер Яков, захватив чугунный пест, исчезал из кухни не менее таинственно.

Наступала зловещая тишина. Лежавшая на печи кухарка тяжело вздыхала и вполголоса начинала причитать:

– Микола милостивый... О-ох, согрешили мы, грешные!..

Делалось вообще ужасно страшно, так что для безопасности забираешься под одеяло с головой и даже затыкаешь уши, точно хотят ловить не Марзака, а тебя, такого маленького и беззащитного. Но никакое одеяло не спасает: ухо ловит осторожный топот торопливых шагов под окнами... Вот во весь опор пронеслась лошадь... От нашего дома до кабака всего сотни две шагов: подняться в гору, повернуть налево, и сейчас под горой, на берегу горной речонки Шайтанки стоит кабак. Из заводской конторы и господского дома, где жил приказчик, нужно идти мимо нашего дома, и по звуку шагов догадываешься, что невидимые люди бегут торопливо туда, к кабаку. Вот и набатный колокол залился лихорадочным звоном.

– Матушка, Казанская богородица... Помилуй нас! – уже громко молится кухарка, и в звуках ее голоса стоят дешевые бабьи слезы. – Микола милостивый... угодники бессребреники...

Такой набат возвещал, что Марзак в кабаке. На улице поднимался громкий топот бегущих – теперь уже никто не бережется. Народ бежал из фабрики и с Заречного конца. А колокол все звонит частыми смешанными ударами, точно пульс лихорадочного больного... Потом все сразу замирает – и колокол, и бегущие шаги, и конский топот, но эта зловещая тишина еще страшнее недавнего шума, и чувствуешь, как отзванивает набат в груди – собственное сердце, а в висках тяжело шумит кровь. Все чувства напрягаются до последней степени. Не слышно даже причитаний кухарки, которая тоже насторожилась, как птица. «Господи, что же будет: поймают Марзака или он кого-нибудь зарежет и уйдет?..» Точно в ответ, где-то там, под землей, глухо проносится смутный гул. Вот он ближе, ближе, точно поднимается какая-то волна. Опять топот, громкий говор, чей-то одинокий плач; по улице проходит целая толпа народа: это ведут в «машинную» пойманного Марзака.

– Ну что? – спрашивает отец, когда Яков возвращается.

– А пымали... и нож у сапоге, во який нож, – объясняет Яков, охваченный лихорадкой совершенного подвига. – Мы его у кабаке узяли... Подходим: сидит, постучали у дверь: сидит, вошли: сидит...

– То-то, поди, напугали мужика, аники-воины, – язвит кухарка. – Легкое место, всей-то ордой на одного человека навалились. Избили почти насмерть?..

– А як же?.. Вин с ножом...

Кухарка что-то ворчит себе под нос, Яков выкуривает для успокоения последнюю трубочку, и все засыпает, как засыпает и сам Марзак в «машинной». Всю ночь гремит одна фабрика да дымят без конца высокие трубы, рассыпая снопы красных искр.

Шайтанский завод принадлежит к числу тех медвежьих углов, которые редко попадают даже на Урале. Он залег своими бревенчатыми избами по западному склону горного кряжа и в описываемое нами время (конец пятидесятых годов) едва имел две тысячи населения, сосланного сюда с разных сторон, основанием служили раскольники, потом к ним прибавили туляков и хохлов, пригнанных из России. Наш кучер Яков был «пригнанный» хохол, а Марзак – туляк. Характерной особенностью крепостного нрава на заводах было то, что в это время создался контингент крепостных-беглых и крепостных-дураков. Бегал кержак Савка, потом хохол Окулко и Беспалый, но всех их выше по цельности типа стоял Марзак. По крайней мере, в нашем детском воображении он сложился в сказочного героя, которого не держали ни тюремные стены, ни кандалы, не говоря уже о «машинной» и своих заводских торгах. Всего сильнее действовал на воображение открытый характер его действия. Втайне все население сочувствовало ему, как живому протесту против жестоких заводских порядков, тем более, что Марзак никому, кроме заводских властей, никакого зла не делал.

Пойманный Марзак запирался в «машинную», то есть теплое помещение для пожарных машин, где жили заводские конюхи. Здесь обыкновенно производилась порка, и, проходя мимо заводской конторы, можно было частенько слышать отчаянные вопли истязуемых в «машинной». Самое здание конторы уже имело в себе казенный внушительный вид; низенький, рассеявшийся на две половины дом с высоким мезонином и белыми колоннами выстроен был в казарменно-классическом стиле времен Аракчеева и стоял «в самом горле», как говорили рабочие, то есть в конце плотины, так что всякий должен был проехать мимо этой конторы – другой дороги не было. Мы, дети, относились с каким-то особенным уважением к

этому таинственному месту, и только желание посмотреть на знаменитого разбойника Марзака побороло спасительное чувство страха. Помню, как под предводительством нашего кучера Якова мы отправились туда в первый раз прямо под белые колонны, где шел сквозной коридор с улицы на двор. Несколько кучеров, «отвечавших» и по заплечным делам, встретили Якова, как своего: русские кучера отличаются необыкновенной общительностью и братскими чувствами.

– А мы до Марзака... – равнодушно объяснял Яков, показывая на нас движением головы.

Нас повели через дверь к низенькому бревенчатому зданию, которое по наружному виду решительно ничего страшного не представляло; обыкновенный каретник, и только распашные двери были обиты кошмой. Это и была «машинная». Когда дверь растворилась, на нас пахнуло совсем хозяйственным воздухом: пахло дегтем, кожей, ржавым железом и злейшей кучерской махоркой. В «машинной» стояла полутьма, и глазу необходимо было к ней привыкнуть, чтобы различить ряд пожарных машин и внутреннюю дверь в следующее отделение. Небольшое оконце в этой двери, заделанное железной решеткой, глядело, как единственный глаз.

– Эй, Федя... – осторожно окликнул один из кучеров, заглядывая в решетчатое оконце.

Где-то в глубине резко грянули железные кандалы, и у оконца показалось красное лицо Марзака.

– Дайте табаку на сигарку... – как-то равнодушно попросил голос из-за решетки.

Наше любопытство было вполне удовлетворено: Марзак оказался настоящим разбойником – в кандалах, в красной рубахе, с хриплым голосом и одним глазом, а другой отсутствовал.

Через несколько дней, после приличной домашней экзекуции, его увозили в Верхотурье. Картина получалась самая импонирующая: Марзак сидит в телеге в своей кумачной рубахе, без шапки и, по старозаветному разбойничьему обычаю, истово раскланивается на все четыре стороны. Помню до мельчайших подробностей эту большую упловатую голову, на которой при каждом поклоне трепалась волна русых шелковых кудрей. Сотни народа бегут за телегой, а Марзак все



кланяется, пока его красная рубаха, точно кровавое пятно, не исчезла на повороте к роковому кабаку.

## II

В начале семидесятых годов, поздней осенью мне нужно было ехать в Петербург. Уральской железной дороги тогда еще не было, и проехать триста верст до Перми по убийственному гороблагодатскому тракту являлось таким подвигом, пред которым отступали завзятые храбрецы, – даже прославленный сибирский тракт в сравнении с ним являлся чуть не шоссе. Узнав, что с одной из верхних чусовских пристаней отправляется последний караван, я постарался воспользоваться этой оказией.

Осенний сплав по реке Чусовой не представляет опасностей, но требует терпения, – то расстояние, которое весной проходимся в трое суток, теперь могло потребовать трех недель. Но выбирать было не из чего, и я отправился. По «межени», то есть летом, по Чусовой могут проходить только полубарки с грузом от 5 до 7 тысяч пудов. На одном из таких суденышек я и поместился, – водолив уступил половину своей каютки, и это представляло громадные удобства. Отвал каравана с пристани составлял всегда событие, и я с удовольствием наблюдал суевившуюся на берегу толпу. Весной на Чусовой набирается до 20 тысяч пришлого «чужестранного» народа, сгоняемого сюда нуждой из соседних губерний, а осенью работают все свои пристанские или с ближайших заводов. Нужно заметить, что в бурлаки из заводских шли самые оголтелые и заматавшиеся рабочие, пользовавшиеся самой плохой репутацией. Так было и теперь. Коренные чусовляне перемешались с заводчиной, и получилась самая пестрая бытовая картина. Меня интересовал не самый сплав, который осенью ничего особенного для нас, уральцев, не представлял, а только бурлаки.

– Да не варнаки ли... а?... – орал водолив, который метался по полубарку во время отвала с таким азартом, точно нас осадил неприятель. – Куда прете?... Эй, бабенки, вы у меня смотрите... Ну и народец... а?!

Сходни сняты, снасть отдана, и барка медленно отделилась от берега.

– Шапки долой! – скомандовал сплавщик.

Головы обнажились. Посыпались торопливые кресты. В этот момент с берега из толпы вынырнул высокий мужик с котомкой за плечами, догнал медленно двигавшуюся барку и при помощи легонького шестика ловко перепрыгнул через воду. Он так плашмя и упал на палубу прямо под ноги изумленному водоливу, который в азарте хотел его столкнуть обратно в воду, но это было не так-то легко сделать: мужик ухватился одной рукой за канат и замер.

– Не тронь... – спокойно заметил он, не обращая внимания на пинки водолива.

– Эй, Данилыч, отвяжись, – окликнул водолива сплавщик. – Разве ослеп...

Бурлаки сначала захохотали, счастливые даровым представлением, а потом смолкли и зашептались.

Этот эпизод быстро затерялся в пестрой смене новых впечатлений. Плыли мимо оригинальные берега, подпиравшие реку разорванной линией чередовавшихся скал; показывались и быстро прятались глухие лесные деревеньки; прошумел первый перебор, где река, сдавленная камнями, неслась с шумом и ревом оперенными белой пеленой майданами, точно в тесноте бежало стадо белых овец; хмурое осеннее небо неприветливо глядело сверху из-за диких скал, и наконец медленно и настойчиво пошел осенний назойливый дождь, не знающий пощады. Ничего не оставалось, как уходить в каюту, где водолив Данилыч уже «смастачил» чай. Я нашел своего сожителя в полном отчаянии.

– Это не барка, а острог... – ругался Данилыч, обрадовавшись случаю поделиться своим горем. – Разбой, одно слово.

– Да что такое случилось?

– А Федька?.. Зарежет он нас всех...

– Какой Федька?..

– А Марзак? Ну, еще даве на шестике на барку перескочил; разбойник и есть разбойник...

Я не узнал героя своих детских воспоминаний и не мог удержаться, чтобы не выскочить из балагана и не посмотреть на знаменитого Федьку. Страшного, однако, ничего не оказалось. Федька, как ни в чем не бывало, стоял подгубщиком у поносного<sup>[1]</sup> и ворочал его, как матерый медведь. Картина бурлаков, работавших под дождем,

была самая жалкая. Что-то такое беззащитное и оторванное от всего чувствовалось под этими мокрыми лохмотьями, безмолвно шевелившимися на палубах по команде сплавщика. Федька работал за двоих, и сплавщик любовно смотрел на него, когда он «срывал» тяжелое поносное, как перышко. Теперь было понятно, почему сплавщик заступился за Федьку, когда расстервенившийся Данилыч хотел столкнуть его в воду.

Бойкий пристанский народ резко выделялся в среде заводчины. Чусовляне были, как у себя дома, а заводские, привыкшие к своей огненной или куренной работе, выглядели чужими, непривычными людьми. Исключение представлял один Марзак, видимо, ломавший не первый караван по Чусовой. В течение двух недель я внимательно присматривался к оригинальной бурлацкой артели, которая сложилась так же быстро, как и все другие мужицкие артели. Повторилось поразительное явление, которое меня всегда занимало: в течение нескольких часов сложилось твердое и бесповоротное общественное мнение, и каждому отведено было надлежащее место. Сделалось это само собой, по молчаливому соглашению, и вся барка представляла собою один организм с тонким распределением ролей, обязанностей и разных возможностей. И разбойник Марзак сразу занял свое особенное место: он не принимал никакого участия в бурлацком галденье, мелких ссорах и ругани, точно не замечал ничего кругом. Между тем, когда требовалось по какому-нибудь экстренному случаю, – села барка на мель, подрались бабы, – мнение бурлацкого круга, его голос имел решающее значение. Высказывал свою мысль Федька коротко, в нескольких словах, но здесь все было обдуманно и взвешено.

– Уж Федька скажет, точно гвоздь заколотит!.. – говорили про него бурлаки. – Такой уродился.

Ростом Марзак был невелик, но широк в плечах и, как все силачи, сильно сутуловат. Лицо было такое же красное, и все те же русые кудри шапкой стояли на угловатой голове. Вытекший глаз придавал этому лицу угрюмое выражение. Одет он был, как и все: синяя пестрядинная рубаха, рваный армяк, худые сапоги на ногах, шапка в форме вороньего гнезда, и все тут. Разбойничьей красной рубахи не было и в помине, а вместе с ней он точно снял и свое обаяние, как разбойник. Оставалась известная авторитетность человека,

привыкшего к опасностям, сказывался сильный, властный характер, но через эти остатки сквозила какая-то усталость, вернее сказать, грусть. Одним словом, это был человек, который сыграл свою роль и остался не у дел.

Однажды вечером мы затащили его в свой балаган выпить чаю. Он принял приглашение довольно непринужденно и так же непринужденно разговорился.

– Как ты тогда, Федя, из разбойников-то выпутался? – спрашивал сплавщик, любивший поболтать с хорошим человеком.

– А как волю объявили, ну, я в те поры в бегах состоял, – спокойно отвечал Марзак, глядя в сторону. – Ну, вижу, пошло уже совсем другое... Втроем мы тогда и объявились в Верхотурье по начальству: я, Савка и Беспалый. Так и так, мы, мол, самые и есть. Ну, нас судить, в острог, а у нас свое на уме. Таскали, таскали нас по судам...

– А вы, значит, свое: знать ничего не знаю, ведать не ведаю?..

– Знамо дело... Ну, надоело начальству, и выпустили в подозрении.

– Это по старым судам даже весьма много было... Главная причина, что вот бегать незачем стало: все вольные., – Мы свою-то волю раньше получили... по-волчьему... – Марзак оказался разговорчивым человеком и рассказывал о себе, как о постороннем: дело прошлое, нечего таиться, а что было, то было.

– Чем же ты теперь занимаешься? – спрашивал я его.

– А разное... Вот на сплав ухажу, потом на золотые промыслы. Работы после нас еще останется... Не прежняя пора: палкой на работу гоняли, да всякий над тобой же галеганится.

– А бывает тебе скучно иногда?

Этот вопрос точно испугал Марзака. Он быстро взглянул на меня своим единственным глазом, тряхнул головой и замолчал. Нечаянно я, кажется, попал в самое больное место.

–, Не в людях человек – вот какое мое дело, – ответил после длинной паузы Марзак. – Добрые люди как на зверя смотрят... имя-то осталось... Раньше-то хоть волком ходил, а теперь и этого не стало.

Биография Марзака оказалась несложной. Родился и вырос он в Шайтанском заводе, а подростком уже работал на фабрике в кричной. Тяжелая огненная работа Марзаку была нипочем, но стал попере

горла один крепостной уставщик. Завязалась отчаянная борьба между безгласным рабочим и микроскопическим начальством, выбившимся разными неправдами из простой рабочей среды: давил такой же рабочий.

Дело кончилось тем, что ни в чем неповинного Марзак отвели в «машинную» и прописали жестокую порку. Он обозлился и с ножом бросился на приказчика. Дальше следовала уже настоящая порка, кандалы и верхотурский острог, где Марзак закончил круг своего образования в обществе Савки и Беспалого. С ними он ушел из острога и под их руководством быстро прошел весь опытный курс бродяжничества. Впоследствии эту шайку обвиняли в ограблении заводской почты и в других шалостях, направленных против заводского начальства.

– Зачем же тебя черт в кабак-то приносил тогда? – удивился водолив Данилыч, успевший примириться с разбойником.

– Когда в бегах состоял?

– Ну, когда бегал... Захаживал и к нам на пристань, как же. Ну, и бегал бы по лесу, а то нет, надо в кабак... Да еще зря и в кабак-то придет. Все знают твою-то заразу, и сейчас ловить.

Марзак посмотрел на Данилыча и рассмеялся; это было в первый раз, что он развеселился.

– А ведь я и сам то же самое думал, Данилыч, – ответил он, встряхивая кудрявой головой. – Знаю, что поймают, а иду... Точно вот кто меня толкает. Намерзнешься в лесу. – то, наголодаешься, истомишься, оно и тянет в теплое место...

– Ах ты какой, Федя! Ну, послал кого за водкой – и вся тут.

– Ну, нет... Тут дело особенное: как увидели тебя на улице, значит, быть Федьке в кабаке. Да... Знаешь, что ждут уж тебя, будут ловить, ну вот поэтому по самому и идешь. Не боится, мол, вас Федька никого... Не одинова уходил из кабака-то целешенек, потому как все тебя боятся. Приступиться страшно к разбойнику... Нельзя не прийти.

В Перми мы расстались. Марзак дружелюбно мотнул мне головой и зашагал с толпой бурлаков.

– Ты куда это? – спрашивал я его на прощание.

– А вон... – указал он на ближайшую кабацкую вывеску.

– В кабак?

– По нашему положению некуда больше.

### III

В последний раз в Шайтанском заводе я был в восьмидесяти годах. Завод значительно увеличился, появилось много новых построек, но из старых, знакомых, дорогих по детским воспоминаниям, оставалось уже мало. Народилось и выросло молодое, незнакомое поколение, и успели сложиться уже некоторые новые формы заводского быта. Так окончательно вымер контингент дураков и дурочек. Вместо одного кабака с елкой, заменявшей вывеску, выросли целых пять питейных заведений. Да, много было нового, и в душе поднималось невольное старческое чувство, то особенное чувство, когда вас охватывают беспричинная грусть и беспокойные размышления о суете сует.

Поздним летним вечером, когда благочестивые люди улеглись спать, ко мне в квартиру завернул знакомый заводский служащий сообщить, что сейчас поймали двух бродяг и отвели их в волость.

– Разве есть опять беглые? – удивился я.

– Нет, не свои, а чужестранные, – объяснил служащий. – Надо полагать, сбились с дороги, поплутали-поплутали по горам, ну и зашли в жило<sup>[2]</sup>, а их здесь и накрыли. У них свой тракт: по реке Исети, а потом на Чусовую.

Мне захотелось взглянуть на бродяг, и мы отправились в волостное правление, до которого было десять шагов.

По заводам волости щеголяют своим приличным видом и даже богатством. Так, шайтанское волостное правление помещалось в каменном двухэтажном доме, выстроенном на «пропойные деньги», то есть на те тысячи рублей, какие выплачивались обществу кабатчиками за разрешение открыть в заводе известное число заведений. Во втором этаже брезжил еще огонек, и запоздавший над своими бумагами писарь встретил нас с недовольным и сердитым лицом.

– Бродяги, известно, бродяги и есть... – ворчал он, зажигая сальную свечу, чтобы проводить нас в нижний этаж, где помещался «карц». – Невидаль какую нашли...

Мы спустились в какой-то коридор, где пахло официальной вонью всех кутузок, холодных и всяких других узилищ.

– Варнаки какие-то, – уже добродушно объяснял писарь, пробуя на всякий случай крепкую деревянную дверь с решетчатым оконцем. – Эй, Федя, где у тебя ключ?..

Где-то в углу на лавке послышалась тяжелая возня, и из темноты выступила плечистая фигура каморника, пошатывавшегося спросонья. Повернулся ключ в замке, и дверь распахнулась.

– Эй вы, голуби... покажитесь! – командовал писарь, поднимая свечу кверху. – Один назвался «Не поминай лихом», а другой «Постой-ка». – Ну, пошевеливайтесь, господа, не помнящие родства... Который «Постой-ка»-то?..

– Я, – ответил разбитый тенорок из темного угла.

Бродяги оказались самыми обыкновенными, и попались они тоже самым обыкновенным образом. «Постой-ка» попросил табаку и равнодушно завалился опять на нары.

– А они не убегут у вас? – спрашивал служащий, поглядывая на деревянную стенку, отделявшую эту камеру от соседней комнаты.

– Ну, у нас-то уж не уйдут... – самодовольно ответил писарь и, мотнув головой на каморника, прибавил – Вон у нас какой благодетель для них приспособлен... хе-хе!.. Федя, непустишь?

– Не пуцую... – лениво ответил каморник. – Где им... Так, расейские. Их надо еще с ложки кашей кормить...

Это был Марзак. Я не узнал его сразу в темноте и только теперь рассмотрел хорошенько. Да, это был он – та же кудрявая голова, тот же закрытый глаз, та же сутулая, могучая спина.

– Не узнаешь? – спросил я его.

– Запомятовал, ваше скородие... – ответил Марзак тоном человека, приобщившегося к местной администрации.

– А вы его знаете? – спрашивал, в свою очередь, писарь. – Он у нас в сотских ходит вот уже третий год... Ну, Федя, запирай: сладенького понемножку.

# Подснежник\*

## Очерк

### I

– Васька, и нет у тебя стыда ни капли... Погляди-ка ты на себя-то, на рожу-то на свою... Ох, погибель ты моя, Васька, не глядели бы на тебя мои глазыньки!..

– Мамынька...

– Какая я тебе мамынька?.. Другим матерям дети-то на радость, а мне петля на шею. По станице идешь, так все пальцами тычут: вон Васькина мать идет. Приятно это матери-то, когда проходу нет от твоих качеств?..

– Мамынька...

– И не смей ты этого самого слова выговаривать, а то прокляну... Лучше уйди с глаз долой...

Страшный контраст представляли эти два споривших голоса: старая казачка Ульяна так и дребезжала, точно треснувшее стекло, а грубый голос Васьки гудел такой полной нотой, как гудит ворвавшийся в комнату шмель. Впрочем, достаточно было взглянуть на действующих лиц, чтобы понять эту разницу: высохшая, как щепка, Ульяна казалась девочкой рядом с своим сыном. Он сидел на лавке в накинутом на плечи татарском азяме и в белой войлочной киргизской шляпе на голове; красная кумачная рубаха врезалась воротом в красную могучую шею, а из широких киргизских кожаных шаровар, расшитых когда-то шелком, выставлялись голые ноги. Удивительный был человек этот Васька; он казался каким-то выходцем среди остальной человеческой мелочи, точно сорвался с какого-нибудь свитка увертливого московского подьячего, где означены были такие приметы: «волосом рус, кудреват, борода тоже русая, окладом надвое, над левой бровью к носу сечено на-полю да затерто зельем, глаза быстрые, из себя кряжист» и т. д. Такие молодцы



родились только в разинской Руси, и сама Ульяна не могла дать толку, в кого мог Васька уродиться таким богатырем.

– Мамынька, а... дай двоегривенный...

Именно этого и ждала Ульяна и вся точно вскипела: этакий лоб пришел обирать у матери последние деньги! Легкое место сказать: двоегривенный... Ведь ей, старухе, и в неделю его не выработать на пряже или полотьем гряд, а он все равно снесет его в кабак, двоегривенный-то. Взбешенная этой просьбой, Ульяна кинулась к сыну с кулаками.

– Двоегривенный, а?... – визжала она, наскакывая на своего богатыря. – Ты думаешь, я на тебя и управы не найду... а?... Сейчас побегу к атаману... Будет мне терпеть от тебя!

Старуха бросилась к двери, но вернулась и опять кинулась на Ваську с какой-то яростью, как раненый зверь.

– Да ты с кем разговариваешь-то, беспутная голова! – уже хрипела она и ловким ударом по затылку сшибла белую шляпу с Васькиной головы. – Бога-то хоть побойся... лезешь в шапке в избу, как орда какая...

Васька покорно нагнулся, чтобы поднять с полу шляпу, и свесившиеся русые кудри закрывали его лицо до самых усов. Разогнувшись, он исподлобья посмотрел на мать, движением головы откинул волосы назад и, улыбнувшись, проговорил:

– А ты погляди, мамынька, вот на это...

Скинув с правого плеча азам, Васька открыл висевшую, как плеть, руку: красная рубаха была разорвана, и на самом плече вздулся сине-багровый пузырь с кулак величиной. Ульяна только жалобно ахнула и зашаталась на месте.

– Васенька, голубчик, кто это тебя изувечил? – закричала она, привычным глазом осматривая кровоподтек. – Ах, разбойники!.. Ужо я тебе разотру в бане да травки приложу. Кость-то хоть целая ли осталась, а мясо заживет... Ах, разбойники, душегубцы проклятые!..

– У башкыр на байге<sup>[3]</sup> был... – бормотал Васька виновато, – Ну, так оглоблей и зацепили... В голову, подлецы, метились, да только промахнулись.

Я был единственным свидетелем этой сцены, потому что занимал небольшую комнату рядом. Собственно говоря, первая ее половина представляла довольно заурядное явление, потому что Васька

частенько завертывал к матери за двоегривенными и получал безропотно жестокую головомойку, но теперь весь интерес сосредоточивался на неожиданном финале.

Когда я показался на пороге, Ульяна жалобно запричитала, – свое, домашнее горе при постороннем человеке казалось еще больнее.

– Перестань выть, – останавливал ее Васька. – Не велика важность... Не это видывали...

– Где это тебя, Василий, угораздило?

– Да так, неустойка небольшая вышла... Уж и здоров же башкыретин попался мне: дерево дубовое. Как звезданет оглоблей...

– Ты бы к доктору съездил, – посоветовал я, с ужасом разглядывая синий пузырь на плече.

– Ничего, так износим... Вот мамынька разотрет в бане да травкой полечит.

– И то полечу, – упавшим голосом повторяла за сыном убитая горем Ульяна. – Есть и травка такая...

Как все старые казачки, Ульяна умела лечить всякие ушибы и раны, – в прежние времена, когда под Уметом проходила «линия», без этого было нельзя. Увлечшись медицинскими соображениями, старуха позабыла о «двоегривенном», а только охала и быстро что-то искала по разным печуркам, на полатах и в сундуке под лавкой. Нужно было видеть, с какой ловкостью Ульяна принялась растирать ушибленное место, а потом перевязала его.

– Ну и башкыретин попался! – бормотал Васька, покручивая кудрявой головой. – Ка-ак размахнется... ну и черт!..

Когда перевязка кончилась, в руках у Васьки появился точно сам собой двоегривенный, – это сунула Ульяна, уже без всякой просьбы, точно она хотела утешить поврежденное детище. Она выскочила за ворота, провожая уходившего в кабак Ваську. Он и шел не так, как другие, по самой середине улицы, волоча по пыли одну полу азяма. В дверях кабака ждала возвращения Васьки кучка кабацких завсегдатаев. Когда низенькая, расщелившаяся и захватанная грязными руками кабацкая дверь проглотила могучее Васькино тело, Ульяна вернулась в избу и, повалившись на лавку, глухо зарыдала. Нужно же было выплакать свое старое горе, свою материнскую любовь и женскую беспомощность.

Эта живая картинка с природы расстроила обычный порядок моего дня. Я долго ходил по комнате, прислушиваясь к подавленным всхлипываниям Ульяны, и какое-то тяжелое и гнетущее чувство мешало приняться за обычную работу, точно и комната сделалась вдруг меньше, и воздух сперся, и какой-то мертвой истомой дохнуло в открытое оконце с накаленной летним степным солнцем улицы. В такие жаркие июльские дни станица Умет точно вымирала. Даже станичные собаки, и те исчезали неизвестно куда. Действительно, степное солнце жжет так немилосердно, что не хочется двигаться, да и некуда, если бы даже явилась к тому охота, – кругом станицы разлегалась ковыльная степь, желтым ковром уходившая из глаз. Лес был вырублен самым безжалостным образом, и кизяк служил единственным топливом. Дождя не было уже около двух недель, и солнце по утрам поднималось в дымном мареве, красное и громадное, точно только что раскаленное где-нибудь в кузнечном горне. Жизнь в станице проявлялась только по утрам и вечерам, когда спадал степной зной.

– Ульяна, поставь мне самовар, – проговорил я наконец, чтобы хоть этим отвлечь внимание бедной старухи от ее горя.

– И то поставлю, барин, – отозвалась она своим обычным заботливым тоном. – Вон какая жарынь на дворе... Спалило совсем.

К особенностям Ульяны принадлежала способность необыкновенно быстро двигаться, хотя старухе было уже под семьдесят. Когда она спала, я не знаю, потому что в течение двух недель постоянно видел ее на ногах. Домик Ульяны в станице был лучшим, и я занимал в нем отдельную комнату, убранную с некоторой претензией на удобства. Беленая печка, деревянная кровать за ситцевым пологом, зеленый шкаф для посуды, оклеенный обоями передний угол и несколько деревянных стульев говорили о лучших временах, когда еще был жив муж Ульяны, станичный атаман. Она была дочерью атамана и вышла замуж за нового атамана. Впрочем, это было только одно громкое слово, так как станичные атаманы оренбургского казачьего войска мало чем отличаются от других рядовых казаков.

За самоваром по вечерам у нас с Ульяной велись длинные, душевные разговоры. Старушка любила чай, но должна была отказывать себе и в этом единственном удовольствии, потому что какие старушечьи недостатки, а от Васьки немного поживишься. Поставленный в неурочное время самовар сейчас являлся для Ульяны лучшим утешением, хотя она, по обычаю, из вежливости и отказывалась от чая. В этой высохшей старушке было так много деликатности и какой-то детской застенчивости, чем она мне особенно нравилась. Глядя на нее, так и казалось, что это уже не человек, а одна тень, – жизнь оставалась позади, в далеком прошлом. Переходы от одного чувства к другому совершались в ней тоже с детской быстротой, и, выпивая вторую чашку, Ульяна уже улыбалась.

– Васька-то, беспутный, на какого башкыретина натакался! – повторяла она с улыбкой, покачивая маленькой головкой, как у сушеной рыбы, точно говорила о ком-то постороннем. – А не ходи на байгу, не связывайся с ордой... Все равно уходят когда-нибудь, – прибавила она уже совсем равнодушно.

– Кого уходят, бабушка?

– А его же, Ваську... Не сносить ему своей головы, потому как сам везде лезет. Какой-то он смешной, право... Вот этак живет-живет в станице, год живет, два живет, а потом придет и говорит: «Мамынька, уйду я от вас... провалитесь вы совсем и с вашей станицей... Тошно мне и глядеть-то на вас». Ну, и уходи, коли тошно. А я уж знаю его повадку: уйти-то уйдет да и воротится, беспременно воротится. Тянет его в станицу... Теперь вот огоревал себе меленку, так сколько по-живется. Кабы у Васьки ум был, так как бы он жил-то... ох-хо-хо!.. В степе он гурты гонял, так приехал домой о двуконь, седло в наборе серебряном, на самом два шелковых халата, и мне привез шелковый платок. Тоже, значит, вспомнил мать-то... Право, такой отличный платок. Ну, а потом все и пропил и платок дареный у меня же из сундука выкрал. За этот самый платок ему же и досталось: замертво привезли... Ох-хо-хо! Сижу вот этак же под вечер у окошка, пряду шерстку, а Ваську на телеге и привозят. Так меня всю и захолонуло... Выскочила, пляжу, а он совсем мертвый, а от лица и званья нет. Одежда на ем вся испластана, сам в крови, плаза опухом затянуло, лежит в телеге и не шевельнется. Так замертво и в избу внесли... Уж я его обихаживала-обихаживала: и мыла, и натирала, и

мазью мазала, и в бане по три дня с одной старушкой правила, – нето-нето, мой Васька одыбался. Вот он какой, утешитель-то мой. А как открыли у нас вблизи золото да пошли промысла, так и способов никаких с Васькой не стало. Этак же вот одинова его в шахте нашли: ни рукой, ни ногой... Опять я же его налаживала. Стану его спрашивать: «Кто тебя, Васька, убил?» Молчит. Крепкий он на язык, не обмолвится. Сегодня вот про башкыретина сказал, а то головой своей беспутной тряхнет – и весь тут наш разговор. Въедаюсь я на него, и сильно въедаюсь, а в другой раз и согрешу – пожалею... Своя кровь, а материнское сердце зла не помнит. Да и какой-то он, Васька-то, особенный уродился: все люди как люди, а его ни к чему не применишь, точно он заговоренный.

Ульяна несколько раз во время своего рассказа принималась плакать, а потом смеялась сквозь слезы и переходила к новым подвигам своего беспутного Васьки. Но это была, так сказать, экстраординарная тема, вызванная исключительными событиями, и, когда материал исчерпался в достаточной степени, старушка перешла к наклонной плоскости своих старушечьих воспоминаний – главный предмет наших чайных бесед. Да и было о чем вспоминать Ульяне, этой пожелтевшей странице станичной летописи. Она помнила еще то время, когда на Умет нападали киргизы, то есть не на самую станицу, а на людей в поле.

– Как же, наезжала эта орда на нас, и баушку мою с матерней стороны кыргызы в полон увели, – рассказывала Ульяна. – Попа тоже тогда в полон увели, а чтобы он не убежал, так сило (конский волос) настригли, разрезали попу пятки, да в пятки и насыпали. Когда я еще совсем девчонкой была, так одного нашего казака кыргызы вон на том увале копьями скололи... Березнячок тогда рос по увалу-то, ну казак и идет по нему с покоса, а на них кыргызы и наехали. Жена-то побежала, а казак на кыргызов бросился, чтобы ущитить жену, ну, а они его искололи копьем. На другой день его еще живого привезли. Я бегала посмотреть: лежит в телеге и стонет, а из-под телеги кровь каплет... Кончился через день. Комендант у нас дрянной был, и солдаты все какие-то беззубые да кривые. Ну, он, комендант-то, заместо того, чтобы оборонять вдову, ее же за кыргыза Измаила замуж отдал, потому она стала бы просить свою вдовью часть с него, с

коменданта-то... Измаил-то и убил казака, а комендант ему вдову отдал.

– Да ведь Измаил-то не нашей веры был, так как православную отдавать за него?

– Говорю: дрянной комендант был... Линия-то тогда близко проходила под Уметом, ну, казаки и мешались с ордой: то наши девок-кыргызок, то кыргызы увезут наших девок. Дрянной был комендант...

Старая казачка часто повторяла одну и ту же фразу, точно пережевывая ее, а потом мысль, как ночная птица, делала неожиданно быстрый поворот к настоящему и прежде всего, конечно, к беспутному Ваське. Раньше бы родиться ему, Ваське, когда кыргызы на линию наезжали, в самый бы раз Ваське с кыргызами воевать, а то теперь также напрасно погибнет где-нибудь у кабака...

Летосчисление Ульяна вела по пожарам: большой пожар был лет двадцать назад, а поменьше – лет десять тому времени. Когда в девушках была, тоже вся станица выгорала раза два, а самый большой пожар случился в тот самый год, когда Ульяна «привела в дом жениха» – она была богатая атаманская дочь и жениха брала в дом, на все готовое. Последний пожар был прошлым летом, – половину станицы как языком слизнуло. Прежде хоть строиться легко было – лес под рукой, а нынче ближе ста верст жерди не найдешь. Вот Ваське на пожарах так цены нет, – кабы не он, так у ней изба уж давным-давно сгорела бы.

– С промыслами у нас народ совсем истварился, – рассказывала Ульяна. – Как пошло это золото по станицам, так все точно белены объелись... На моих памятях все дело было. Жили мы тут по старине, как еще отцы и деды наказывали, а тут вдруг золото... Точно кипятком народ-то обварило. Лет этак с пятьдесят, как золото началось в степе: сначала в Кочкаре оно объявилось, а потом до нас дошло.

Мужики-то все на промыслы бросились, а за ними и бабы поволоклись... Ох-хо-хо!.. До Умета золото дошло перед большим пожаром... Ну, мой-то Васька чем хуже других: на промыслах вконец изболтался. И теперь, сказывают, краденое золото скупает, только достигнуть его не может канпания. Давно его следует, а соследить не могут, потому как у вора одна дорога, а у выследчика целых сто. Горе наше казачье с этим золвтом... И как будто денег много зарабатывают, а бедность еще больше. Народ истварился совсем, из кабака не

выходят, а это какой же порядок? Землю запустили, от крестьянской работы отбились, одна надежда на золото... Канпания эта подсунулась, землю в аренд забрала. «Мы, – говорят, – вас кормим»...

### III

Казачья станица Умет, раскидавшая свои избы по берегу степной реки Уя, являлась сама по себе своего рода сфинксом: для чего она существует и как существует – для обыкновенного разума неразрешимая задача. Когда-то давно, когда вводили баушку Ульяны в полон, она еще имела значение, а сейчас решительно никакого, как сотни других казачьих станиц, раскиданных в земле оренбургского казачьего войска. Ради курьеза можно отметить хлесткие названия некоторых станиц: есть казачий Париж, есть Берлин, Кацбах, Ульм и т. д.

Река Уй выпадает с южного Урала и уходит в степь. По ее безлесным берегам рассажалось много казачьих станиц, а между прочим, и Умет. Место для этой станицы выбрано открытое, вольное, и только с одной стороны она прикрыта увалом. Кругом поля, луга и ковыльная степь. Станичное строение издали и вблизи имеет самый жалкий вид, как любая русская деревушка, – я говорю: русская, в отличие от громадных, семиверстных сибирских сел. Прежде всего резало глаз отсутствие всякой зелени – ни кустика, ни деревца, вообще хоть шаром покати. Казаки в этом случае перещеголяли даже башкир, которые оставляют лес хоть на своих кладбищах и вообще над могилами. Благодаря недостатку в строительном материале избы выстроены из березовых жердей и хозяйственные пристройки состоят из одного плетня. Сверху все это прикрыто соломой. Из этого общего описания можно себе представить внешнюю красоту этих казачьих Парижей и Берлинов, которые издали походят просто на неправильно раскиданные по полю кучи навоза. Печи делаются из битой глины кое-как, трубы поэтому лопаются, а отсюда вечные пожары казачьих станиц, пожары, которые нисколько не способствуют к их украшению, как это случается в деревянных русских городах. Если мазанки и плетни до известной степени красивы в Малороссии, где и климат другой, и притом везде вы встретите зеленый садочек, прикрывающий

хохлацкое убожество, то здесь, в степи, эти плетни и березовые избы просто жалки.

В Умете лучшим домом была изба Ульяны, поставленная еще в доброе старое время. Она сохранилась от постоянных пожаров каким-то чудом, а отчасти благодаря тому, что была поставлена на углу станичной площади. Внутри она делилась на две избы, – в одной жила сама хозяйка, а другая отдавалась внаймы. Последнее явилось статьей дохода только в последнее время, когда открыли золотые промыслы и по станицам начали шнырять разные юркие люди, искавшие легкой наживы. Кто даст двугривенный, кто тридцать копеек, а кто и целый рубль – в станице это большие деньги, и Ульяне завидовали все другие казачки. Да и как было не завидовать, когда добычливость ограничивалась своим домашним делом, а деревенской бабьей работе вся цена – расколотый грош.

Жизнь казачьей станицы летом напоминает тяжелый летаргический сон, нарушаемый только буйными возгласами кабацких завсегдатаев. Чувствуется какое-то изнеможенное бессилие и беспричинная степная апатия. День прошел – и слава богу... Если есть известное движение и стимул к такому движению, то это золотые промыслы, где кишмя кишат неведомые люди, жадные до степного золота. Достаточно сказать одно то, что эти таинственные незнакомцы сумели расшевелить даже казачью мертвую лень. При наделе в 15–30 десятин на душу великолепного чернозема оренбургский казак ухитрился добиться чисто башкирской бедности и с радостью отдает в аренду свой чернозем по 20–50 копеек за десятину, и вдруг он же, этот казак, идет на тяжелую промысловую работу. Секрет здесь в том, что у всякого есть расчет на легкую поживу, как в азартной игре, а пока этот всякий довольствуется и грошами. Другой расчет в том, что хлеб жди, когда еще он уродится, а уродился хлеб хорошо, так цена ему грош, а на промыслах расчет каждую неделю, и ленивый раб несет выручку прямо в кабак.

В течение какой-нибудь недели жизнь станицы, со всей ее внешней обстановкой и подводной частью, как на ладони – дальше и знакомиться не с чем, кроме бесконечных рассказов какой-нибудь Ульяны. Остаются промыслы, где жизнь кипит. Вечерком нет-нет да кто-нибудь и заглянет из промысловых служащих. Есть у меня среди них один приятель – Павел Митрич, который бывает чаще других и



приносит с собой последний запас новостей. Это рослый и красивый молодец с кудрявой головой и смелыми глазами. Он прошел всю лестницу разных промысловых обязанностей, а теперь занимает совершенно фантастическую должность «преследователя хищников», то есть ловит рабочих, тайно промывающих золото в даче компании. Каждое утро и вечер на горбоносом буланом коне Павел Митрич объезжает опасные пункты и частенько возвращается с добычей. Помню, раз в воскресенье я зашел в приисковую контору, – она стояла верстах в двух от Умета, на противоположном берегу Уя. Собственно говоря, это была почти лачуга или сарай, так что громкое название «контора» резало ухо. Не успел я поздороваться с дежурившим служащим, как на широкий конторский двор с треском влетела крестьянская телега, за которой неслись в карьер Павел Митрич и его верховая стража. В телеге кто-то лежал и громко стонал.

– Хищника привезли!.. – пронеслось по всем избушкам, окружавшим контору. – Павел Митрич хищника поймал...

Когда я вышел на двор, телега была окружена уже целой толпой. Тут сбежались и служащие, и прислуга, и рабочие, и разная безыменная приисковая челядь.

– Ох, убили!.. Ба-атюшки, убили... – стонал хищник в телеге.

– Врешь, шельмец!.. – ругался Павел Митрич, медленно слезая с своего буланка; он имел сегодня особенно торжественный вид, как герой дня. – У всех у вас одна повадка: убили... Ну-ка, ребята, поднимите его, сахара!..

Десятки рук бросились к телеге, и «сахар» предстал пред публикой в образе тщедушного мужичонки, босого и без шапки. Со страху у бедняги подгибались колени, и вообще он имел жалкий и несчастный вид, никак не вязавшийся с таким вредным словом, как «хищник». Сквозь толпу протискался точно из-под земли взявшийся Васька, схватил хищника своей железной рукой за плечо, встряхнул и торжественно поволок в контору. Мужик опять заохал и как будто весь сжался. Помню это запекшееся на солнце лицо, точно вылепленное из глины и растрескавшееся, как глина, убитый взгляд слезившихся серых глаз узкие плечи, болтавшийся на них заплатанный кафтанишко и необыкновенно длинные руки, – рядом с Васькой хищник походил на мокрую курицу.

– Развяжите ему руки! – командовал Павел Митрич, в волнении шагая по конторе.

Хищника развязали и посадили на железный сундук с кассой. Он опять заохал.

– Я тебе покажу, стервец!.. – кричал Павел Митрич. – Еду мимо Голиковского разреза, а он сидит у воды с ковшом и промывает пески... Да, с ковшом. Где ковш? Вот этот самый. Как увидел меня, сейчас бежать. Каков? И убежал бы, если бы я не верхом был. Я знаю их повадку, и меня не проведешь... Прямо в разрезе сидит, и ковш в руках!.. Не-ет, голубчик, у меня не уйдешь... покажу! У меня суд короткий...

Пока составляли подробный протокол, Павел Митрич все время бегал по конторе и с азартом повторял все одно и то же. Он совсем вошел в роль «преследователя хищников» и выступал каким-то петушиным шагом. А хищник понуро сидел на железном сундуке и все охал, придерживая одну руку.

– Ну, будет тебе два неполных... – шутил Васька, похаживая около хищника с видом заплечного мастера. – Туда же золото воровать!.. Ах ты, мусор!..

– Молчи, кошма! – огрызнулся хищник и сейчас же застонал.

Кошма – ругательное слово для всех оренбургских казаков, и поэтому Васька сейчас же вскипел.

– Павел Митрич, позволь мне уважить его, – просил он, засучивая рукава.

– Оставь!

Я не дождался конца этой тяжелой сцены и ушел.

Встретив через несколько дней Павла Митрича, я осведомился относительно дальнейшей судьбы пойманного хищника.

– Ах, да, тот?.. – равнодушно ответил Павел Митрич и махнул рукой. – Составили протокол и отпустили на все четыре стороны... Золота при нем не нашли, значит, тащить к мировому не стоит: только время даром потеряешь...

– Охота вам так беспокоиться из-за пустяков!

– Нельзя, служба, а второе – и им, подлецам, тоже потачки нельзя давать. Да...

– Да ведь Голиковский разрез давно выработан и брошен, так что же он мог достать со своим ковшом?

– Оно, конечно, ничего не достанет, а все-таки нельзя; компания требует преследования хищников. Позволь одному, а за ним сотня их является. Со мной раз какой случай был... Я тогда еще пешком ходил по промыслам – возьму ружье и иду. Раз этак иду и вижу: двое башкир сидят в разрезе и полощутся с ковшами. Я к ним, а они от меня. Да... Я за ними, а они бегом в гору и всю снасть за собой волокут. Хорошо... Я как из одного ствола выстрелю, конечно, на воздух – они пали, побросали лопаты и ковши да опять в гору. Они-то босиком дуют, а мне в сапогах за ними не поспеть. Очень уж трусливый народ и боится выстрела до смерти... Я как царапну из другого ствола, они опять на землю пали, а потом вскочили да, как зайцы, в разные стороны бросились. Так и ушли... Что, по-вашему, это красиво?

– А что?

– Нет, я-то в каких дураках остался? Башкиришки убежали и надо мной же, поди, посмеялись. Нет, с этим народом нельзя без строгости.

Павел Митрич, минуя его специальную обязанность, сам по себе был премилый человек. Собственно говоря, и его должность носила скорее комический характер, как в приведенном примере. Казаки отдавали компании свои земли на самых льготных условиях и потом сами же шли в кабалу к компании, сдавая ей добытое золото за полцены, – кто тут нрав и кто виноват, судить трудно. Башкиры так же делают: сдадут в аренду свои земли за бесценок, а потом сами же идут наниматься к арендатору в работу.

Свободное время, которого оставалось у Павла Митрича достаточно, он посвящал охоте, и мы изъездили и исходили с ним много места. Степная охота неважная, но все-таки развлечение.

#### *IV*

Незадолго до моего отъезда из Умета рано утром завернул ко мне Павел Митрич и, постучав в окно избы нагайкой, проговорил:

– Поедемте на мельницу к Ваське... У него на пруду пара диких гусей живет в камышах.

– Как же мы поедем: верхом на одной лошади?

– До конторы, а там возьмем коробок и закатимся. Васька хотя и плут, и я давно слежу за ним, но гуси-то не виноваты, что он краденое

золото скупает.

– Совершенно верно...

До Васькиной мельницы было верст пять, так что не стоило обращаться в контору. Я отправился пешком, а Павел Митрич ехал за мной верхом. Дорога шла вниз по Ую, через заливной луг. Ранним утром степь полна своеобразной прелести, – краски блещут еще ночной свежестью, даль уходит из глаз радужным туманом, и воздух дышит застоявшимся тяжелым ароматом пахучей степной травы. Желтоватые султаны ковыля точно проросли алмазными искрами – это ночная роса; в воздухе невидимо гремит жаворонок, над головой в недостигаемой выси неподвижными точками стоят степные ястреба, а солнце поднимается такое большое и совсем без лучей. День будет знойный, и вперед чувствуешь во всем теле наливающуюся истому.

– А я его, Ваську, все-таки достигну, – задумчиво повторяет Павел Митрич, распуская поводья, – потому не скупай нашего золота... да. Он думает, что дураки крупные и черт ему не брат. Погоди, голубчик...

– Как же это так, Павел Митрич: вы его выслеживаете, то есть Ваську, а он бывает у вас в конторе, и мы сейчас едем к нему же в гости?

– Это ничего не значит: хлебцем вместе, а табачком – врозь. Он свою линию ведет, а мы свою... Я ему давно, черту, говорю: «Васька, не уйдешь ты от моих рук». Да... У нас это просто.

Через час показалась и Васькина мельница, выплывшая на нас из-за крутого мыса. Уй был перегорожен широкой плотиной, и река красиво разлилась в плоских берегах, затянутых камышом. Самая мельница «раструска» имела довольно жалкий вид и стояла даже без крыши, как приготовленный к постройке сруб. В десяти шагах от нее красовалась вросшая в землю избенка, – она была также без крыши. Покачнувшийся плетень и соломенный навес дополняли хозяйственную обстановку мельника.

– Ишь, подлец, какое место убойное облюбовал! – ругался Павел Митрич, свешиваясь в седле по-киргизски на один бок. – Он у нас, как бельмо на глазу сидит, потому рабочим до его мельницы с промыслов рукой подать... А гусей мы у него все-таки залобуем!

Мы нашли Ваську дома. Он сидел в своей избенке перед самоваром в обществе какого-то башкира и того самого мужичонки-

хищника, которого Павел Митрич недавно представлял в контору с такой помпой.

– В гости к тебе приехали, – заявил Павел Митрич, входя в избу. – Ну, здравствуй...

– Мы гостям всегда рады, Павел Митрич, – степенно ответил Васька, протягивая свою невероятной величины длань. – Милости просим, господа почтенные... Урайка, поставь-ка нам самоварчик!

Башкир молча поднялся и, расставив широко руки, бережно вынес самовар из избы. Это был высокий и ражий детина с удивительно плоской рожой, на которой два узких черных глаза точно заблудились. Одетый в национальные лохмотья, он казался еще могучее самого Васьки.

В избушке было голо, как на ладони. Только на стене висело дрянное тульское ружье, да в углу валялся татарский азым. Единственная лавка и стол в переднем углу составляли всю меблировку.

– Ну и дворец у тебя! – говорил Павел Митрич, отыскивая место, куда бы положить свою фуражку. – Не стесняешь себя мебелью-то...

– А на что она мне, ваша мебель: и так хорошо. Кому надо, так и моей избушкой не брезгует. Тоже и нас добрые-то люди не обегают, Пал Митрич...

– Вижу, вижу... Это мой хищник-то? – ткнул Павел Митрич на сидевшего у стола мужика.

– Он самый, Пал Митрич... Надо же и ему куда-нибудь деться, вот он и пришел ко мне.

– Так, добрый ты человек... А башкыра где подцепил?

– Башкыра? – переспросил Васька и, почесав могучий за тылок, улыбнулся. – А это мой приятель будет... На байге-то тогда он самый оглоблей меня и хлестнул. И здоров же из себя, Пал Митрич, а мне любопытно... Вот чаем его накачиваю за ловкую ухватку, что Ваську умел садануть оглоблей... Илюшка, ты бы вышел из избы, а то Палу Митричу и глядеть-то на тебя обидно, – прибавил Васька, обращаясь к молча сидевшему хищнику. – Выдь на улицу да погляди, где у меня лошадь запропастилась...

Мужик покорно вышел из избы, пряча рваную шапку за спиной, точно он ее только что украл.

– А мы за твоими гусями пришли, – говорил Павел Митрич, довольный оказанной любезностью.

– Что же, доброе дело, а гуськи точно что есть... К самой мельнице третьева дни подплывали... Жирные они сейчас...

Рука у Васьки еще плохо зажила, и он обходился пока одной левой. Сегодня он имел вообще такой степенный вид, а кудрявые волосы были даже расчесаны и намазаны коровьим салом. Ситцевую розовую рубаху Васька как-то по-детски подвязал гарусным пояском, а на ногах у него красовались мягкие татарские сапоги с расшитыми зеленой бухарской шагренью задками. Вообще щеголь хоть куда, а деревенские бабы от Васьки «решились ума», как говорила Ульяна качая своей маленькой головой. Держался он просто, но с достоинством человека, выдавшего лучшие дни. За чаем сначала разговор плохо вязался, и Васька больше отмалчивался, разглаживая свою кудрявую бороду.

– Ну, а как ты нынче насчет женского пола? – шутил Павел Митрич, подмигивая. – Прежде большой охотник был...

– Пустой это предмет, Пал Митрич, – строго ответил Васька и даже благочестиво отплюнулся. – Прямо сказать: страм...

– Не любишь? Ха-ха... – заливался Павел Митрич, вытирая лицо платком. – Помнишь, видно, как дробью стреляли...

Васька скосил глаза на меня и укоризненно покачал своей головой: эх, дескать, Пал Митрич, разбалакался не к месту при чужом человеке!

– Ничего, былъ молодцу не укор, – успокаивал его Павел Митрич. – Да и дело самое житейское... Он тебя где подстрелил-то?.

– Кто?

– Ну, перестань прикидываться.

– Да я что, мне все равно... А только к тому говорю, что меня, может, сколько разов и дробью и пулей стреляли, так и перепутать не мудрено.

– Я про Маланьина мужа говорю, в Умете.

– А... Что же, было дело, Пал Митрич. Я, значит, в клети с Маланьей-то со своим делом, а муж шасть домой. Ну, зима, я в полушубке был, а он забежал в избу, ухватил ружье со стены да как полыхнет меня прямо в брюхо – против сердца метил, да обнизил... Только и всего...

– У него и теперь весь заряд в животе сидит, – объяснил мне Павел Митрич, заливаясь смехом. – Из пушки не прострелишь... – К ненастью чувствую ее, дробь-то, как она по брюху начнет перекатываться, – серьезно объяснял Васька. – В таком роде, как горох... Ежели бы у меня была кость жидкая, так прямо бы насквозь, а то стерпел.

– Так ты бежать из клетки, а Маланьин муж тебя прямо в упор: бац?! – переспрашивал Павел Митрич. – Ох, согресишь с тобой, Васька... Ты расскажи-ка нам, как сам-то кыргыза порешил под Троицком.

– Опять ты напрасно, Пал Митрич: ничего я не знаю...

– Да перестань отпираться! Этакая глупая привычка, точно ты у следователя.

– Лошадь у меня в те поры действительно была хорошая, Пал Митрич, – заговорил Васька с серьезным видом, – а про кыргыза, вот как перед истинным Христом, не покаюсь... Сам ничего не знаю! Тогда я с гуртом из степи шел, ну, под Троицким остановились пожировать. Хорошо. Я – в Троицк, да там и заболтался.

– Вожжа под хвост попала?

– Около того... Только ночью ко мне подручный и прискакал: «Кыргызы гурт отбивают»... Ну, я сейчас пал на лошадь, левольвер за пазуху и качу. Ах, хороша была лошадь, Пал Митрич! До гурта-то больше десяти верст я с небольшим в полчаса сделал. Пастухи мечутся, как угорелые, и объяснить ничего не могут, а только показывают, куда кыргызы моих баранов отогнали. Ночь – глаза выколи... Я за ними один бросился, потому надеюсь, что лошадь меня вполне оправдает. И действительно нагнал. Кричу: стой!.. Их трое, и все конные... Лопочут по-своему, а я понимаю ихний-то разговор; кунчать башка мне хотят. Ах, псы! Я сейчас на них да из левольвера... Убил кого, нет, ничего не знаю, а баранов привел всех назад. Только всей моей и причины было, что больно уж лошадь хороша у меня была...

– Одним словом, порешил, Васька... Нехорошо отпираться: дело прошлое.

– Ничего не знаю, Пал Митрич. Напраслиной обносите меня, как вот и насчет вашего золота...

– Ну, уж насчет золота-то мы сами знаем, что знаем, а тебе быть на веревочке. Уж это, брат, верно, как в аптеке...

– Ловите, а поймаете – ваше счастье.

– И поймаем... Дай срок, не увернешься.

– Н-но-о?.. Перестань, Пал Митрич, пужать, а то как раз застрашаешь мужика. Робок я больно, того гляди, занеможете я...

Охота у нас вышла неудачная. Гуси сильно сторожились и не допускали даже на два выстрела, несмотря на самое усиленное старание. Кончилось тем, что они поднялись и улетели по направлению к одному из степных «озеринок».

## V

В последний раз я видел Ваську накануне отъезда, когда он поздно вечером пришел пьяный к матери с своей обычной просьбой о деньгах. Повторилась с небольшими вариациями уже известная читателю сцена.

– Да у меня припасено для тебя? – кричала визгливо Ульяна. – Тогда пожалела, дала, а ты, может, и руку нарочно сам извел...

– Мамынька...

– Уйди с моих глаз долой!..

Чтобы удержаться и не дать двугривенного, Ульяна придумала новое средство: она оставила Ваську сидеть в избе одного, а сама ушла куда-то в соседи. Васька сидел на лавке, раскачиваясь из стороны в сторону, и время от времени повторял:

– Мамынька... а мамынька!.. Мамы-нька...

Мне надоело слушать эти возгласы, и я вышел сказать, что старухи нет дома. Васька с удовольствием посмотрел на меня мутными глазами и проговорил:

– А помнишь гусей-то?.. Пытал меня тогда Пал Митрич, насчет золота пытал, а оно тут было... было на двух ногах и из избы ушло... Вот как у нас!.. Я, может, этого ихнего золота в год-то через свои руки пропушу не один пуд, а только у Васьки ничего нет... Плевать мне и на ихнее золото!.. Да... Будет, шабаш... Брошу станицу и уйду куда глаза глядят. Надоело... Мамынька, а?..

– Да нет ее, ушла.



– Уйду, брошу все... – бормотал Васька, мотая головой. – все одно, где ни пропадать...

– Отчего ты на одном месте не хочешь устроиться?

– А тошно мне... устраивался сколько разов: одежду справлю, лошадь заведу, денег накоплю, а потом и прорвет. Для чего?.. Не с деньгами жить, а с добрыми людьми... Сила во мне непреоборимая ходит, ну и тоскуешь, потому как есть деваться мне некуда. Вот еще к месту своему тянет... мать-старуху тоже жаль... Плачется она на меня, а мне ее жаль. Мамынька родимая, прости ты меня, дурака!.. Земля меня не носит – вот я какой проклятый человек!

Васька сидел у стола облокотившись на него руками. С последними словами он уронил свою кудрявую голову на руки и глухо зарыдал. В окно глядела ясная месячная ночь, и где-то далеко перекликались журавли.

\* \* \*

Через год мне случилось проезжать через Умет. Я велел ямщику везти меня к Ульяне.

– Да нету ее, твоей Ульяны, – ответил ямщик.

– Как нету?

– А уж так... По осени-то другая половина Умета выгорела, ну и ее изба тоже. Захудала сильно старуха, а силы уж нету. Так кой-как перебивалась, сердяга: где день, где ночь. А по весне-то к святым местам ушла.

– А Васька где?

– Васька? И его нету...

– Тоже ушел куда-нибудь?

– Ушел-то он действительно ушел из станицы: ни слуху ни духу... А Ульяна одно твердит: воротится к своему месту. Чуяло ее сердце, что близко он. Подснежником и объявился Васька по весне...

– Каким подснежником?

– А по весне, значит, когда снег тает, так мертвяки и оказываются, ну, мы их подснежниками зовем, потому как из-под снега они объявляются. Так и Васька... Недалеко от мельницы нашли его. Как был в полушубке, так и лежит на правом боку. Уж кто его достиг –

ничего неизвестно... Много у нас таких подснежников объявляется по веснам. Ну, Ульяна-то сильно горевала, а потом к святым местам и ушла...

В уездном городе Кочетове «Сибирская гостиница» пользовалась плохой репутацией, как притон игроков и сомнительных сибирских «человеков», каких можно встретить только в сибирских трактовых городах, особенно с золотых промыслов. Чистая публика избегала останавливаться в номерах «Сибирской гостиницы», но навертывались иногда проезжающие, попадавшие в эту трущобу по неведению. Днем в гостинице всегда было тихо, но жизнь закипала по вечерам, и далеко за полночь окна гостиницы светились огнями: темные сибирские человеки играли в карты, кутили на чужие деньги и весело хороводились с подозрительными женщинами. Общая зала всегда оставалась пустой – сибирская публика еще не привыкла к трактиру, и только в бильярдной громко шелкали шары, точно открывалась и закрывалась какая-то громадная пасть, лязгавшая вершковыми зубами. Старик-маркер, в войлочных туфлях и длинном дипломате неопределенного цвета, разбитой старческой походкой шмыгал около бильярда и, считая очки, монотонно повторял недовольным тоном:

– Сорок семь и двадцать четыре... двадцать четыре и сорок семь!

Это был мрачный субъект с испитым, желтым лицом и моргавшими серыми глазами. Он часто морщился, потому что простуженные ноги давали себя чувствовать при каждом неловком шаге. Да и руки тоже болели у старика – сказывался старческий ревматизм. Коротко остриженные седые волосы покрывали угловатую голову, точно серебряной щетиной, а когда старик упорно глядел на кого-нибудь своими маленькими глазками – редкий выносил этот волчий взгляд.

– Чего уперся глазами-то, старый черт!.. – ругались самые отпетые бильярдные завсегдатаи.

Старик презрительно улыбался и машинально выкрикивал свои маркерские цифры. Не одну тысячу верст сделал он, ходя около бильярда, а еще в силах и может ответить за любого молодого. Широкая сутулая спина и длинные руки говорили о недюжинной силе, когда-то сидевшей в этом износившемся старом теле; но что было, то прошло, а теперь старый маркер все ходил около своего бильярда, как манекен. Прислуга в гостинице не любила его за неуживчивый нрав, но хозяин его держал как ловкого человека на всякий случай – он и из беды выручит и других не выдаст. Вообще серьезный был старик, выдавший виды, не то что остальная трактирная прислуга, набранная с бору да с сосенки. Звали старика Галанцем – эту кличку он принес с собой в Сибирь из Расеи. Кто он такой и откуда – никто не знал, да никто и не интересовался: просто маркер Галанец – и все тут. Только когда старика сердили, он говорил:

– Эх, вы, варнаки сибирские!..

– А ты как в Сибирь попал, дедка?

– Я? Я – другое... Я по своему делу попал, а не по кнуту. Помирать в Расею пойду... Надоело мне и глядеть-то на вас, варнаков.

После каждого такого объяснения Галанец делался особенно мрачен и ходил около своего бильярда темнее ночи. Разве они, холуи, могут что понимать? Он, Галанец, с полковниками в аглецком клубе играл... да. Меньше полковника туда и хода не было, а это что за публика, и публика холуйская, и прислуга тоже. Никакого обращения не понимает, потому что настоящего никто и не видал. Эх, кабы ноги Галанцу да прежний вострый глаз, бросил бы он давно эту немшоную Сибирь!.. Так, видно, на роду было написано, чтобы с холуями валандаться... От судьбы не уйдешь. Своих гостей старик презирал от всего сердца: разве это настоящие господа, – так, шантрапа разная набралась. Каждый норовит на грош да пошире – одним словом, варнацкая публика.

Тускло горят лампы в бильярдной. В буфете стенные часы пробили одиннадцать. Галанец ходит с машинкой в руках чуть не с обеда. Ноги у него сегодня особенно ноют – чувствуют, видно, ненастье старые кости. На беду игроки навязались неугомонные: Вася и проезжий адвокат. Оба играют хорошо, но Галанец следит за игрой с презрительной улыбкой: разве так играют?

– Смотри, распухнет шар-то! – дразнит адвокат Васю.

Вася надувается, краснеет и, выделив шар киём, делает промах. Каждая неудача заставляет его отплеиваться. Он в смятой крахмальной рубашке и потертом пиджаке, на ногах туфли, как и у маркера, – барыня, значит, осердилась и арестовала сапоги. Молодое, румяное лицо Васи хмурится, и он сердито взмахивает своей шапкой белокурых кудрей. Этот Вася настоящий мучитель для Галанца: как свяжется с кем играть, так и не уйдет, пока огней не погасят. И зачем только живет человек в «Сибирской гостинице»? Приехал с какой-то барыней да и околачивается третью неделю, а прислуга шу шу, шу-шу... Оказалось, что Вася состоит при барыне аманом, и чуть что напроказит, она сапоги с него снимет, а потом не велит обеда подавать. Сама запретя в своем номере и на глаза его не пускает. Целый день так-то Вася и перебивается в бильярдной, а прислуга смеется над ним же.

– Что, Вася, ножки, видно, заболели?..

– А ну вас к черту! – огрызается он. – Я вот ее задушу, тогда узнает, какой я человек... А сапоги – плевать. В туфлях еще свободнее.

Прислуга смеется, а Вася как ни в чем не бывало только башкой трясет, как хороший коренник. Барыня держала его в ежовых рукавицах. Да и было кому держать: высокая, здоровая, как есть в настоящем соку. Из номера она редко показывалась, и то больше по вечерам. Наверно, убежала от мужа с молодцом да и гарцует в свою бабью волю – так решила номерная прислуга. Мало ли народу околачивается в номерах – всякие и барыни бывают. Вася унижался до того, что выпрашивал у швейцара сапоги, а у официантов занимал по двугривенному.

Итак, Вася играет с адвокатом. Сначала он проигрывал, но, затянув партнера, кончил партию несколькими ударами, как делают ярмарочные жулики.

– Не вредно, – похвалил Галанец, прищуривая от удовольствия глаза, – Ловко сыграно.

– А ты как меня понимаешь, Галанец? – хвастался счастливым успехом Вася. – Не смотри, что я в туфлях сегодня... Тебе дам десять очков вперед.

– Подавишься...

– Я? Давай, сейчас намочу тебе хвост, старому черту...

Проигравшийся адвокат был рад отвязаться от партнера и тоже принялся поджигать старого маркера. Положим, этот адвокат был прохвост и, проживая в гостинице, занимался больше всего обыгрыванием захмелевших купеческих сынков, но старому Галанцу показалось обидно, что над ним смеются такие прохвосты, – они задели его за живое место. «Ах вы... шильники!» – ругался старик, молча выбирая кий. Он редко играл, но теперь нельзя было отказаться.

– Если обыграешь Ваську, закладываю рубль, – поощрял адвокат, усаживаясь на диван. – Да нет, где тебе, Галанец...

– Я могу даже закрыть левый глаз, – хвастался Вася, выпячивая грудь колесом. – С одним правым глазом буду играть.

– Ах вы, шильники!.. – ругался Галанец, размахивая кием. – Да я в аглицком клубе играл в Петербурге... с полковниками... Там меньше полковника не полагается, а не то чтобы какая-нибудь шантрапа. Чему смеетесь, желторотые!

Рассерженный Галанец сначала сделал несколько промахов, но потом успокоился и кончил партию с треском, как играют только старые маркеры. Вторую партию он кончил почти «с кия», не давая партнерудохнуть.

– Ах, ты... сахар!.. – ругался Вася, разбитый в пух и прах.

В это время Галанец только хотел сделать шара, но остановился, посмотрел на Васю сбоку и спросил:

– Как вы сказали, сударь?

– Я говорю: сахар...

У Галанца задрожал в руке кий. Он еще раз посмотрел на Васю и уже вполголоса прибавил:

– Карпу-то Лукичу сынком приходитеесь?..

– А ты почему знаешь?

– Да поговорка-то ихняя... Помилуйте, как мне-то этакое слова не знать? То-то я все присматриваюсь к вам: лицо знакомое, а узнать не могу. А вот поговорку-то узнал...

Вася был сконфужен этим открытием и только тарачил глаза на маркера.

– Ну, что же вы остановились? – спрашивал адвокат.

– Не могу... устал... – бормотал Галанец, бросая кий.

Ночью в каморке Галанца долго светился огонь. Каморка была крошечная, как нора, где-то под лестницей в номера, но все-таки свой угол, где сам большой, сам маленький. В углу на столе горела дешевая жестяная лампочка, и тут же стояла бутылка с водкой. Вася сидел на стуле, облокотившись руками на стол, а Галанец кружился по комнате.

– А про Поцелуиху слышали? – спрашивал старик.

– Это где клад-то?

– Шш!.. – зашипел старик, поднимая руку. – Что вы, Василий Карпыч, еще, пожалуй, услышат... Не таковское это дело, сударь.

Вася засмеялся и махнул рукой. Это движение обидело старика, но это было минутное чувство, которое сейчас же сменилось чем-то таким любовным и ласковым... Галанец все смотрел на него, вздыхал и время от времени повторял:

– Эх, Василий Карпыч... а?.. Вася... Ведь еще малюточкой, можно сказать, на руках тебя нашивал, и вдруг... Эх, Вася, Вася, нехорошо! Так нехорошо, что и не выговоришь... Какое уж это занятие – в аманах при барыне состоять! Наши-то холуи зубы моют-моют, даже со стороны тошно слушать.

– Замотался я... ослабел... – шептал Вася со слезами на глазах. – Сам себя презираю... Хошь бы в маркеры куда поступить. Уеду куда-нибудь подальше и поступлю... А то что же это за мода: чуть прогулял лишний час, она и сапоги долой.

– Да кто она-то, дама-то твоя?

– А исправничья дочь, исправника Чистого...

– Это Галактиона Павлыча?.. Ах, боже мой, боже мой!.. Как сейчас его вижу, голубчика... Значит, дочка она ему-то?

– Родная дочь... Она замужем, только уж очень избалована: если у мужа денег нет, Анна Галактионовна и уедет.

– А он-то как же, муж-то?

– Ну, он деньги и добывает, а как добудет – она и воротится. У ней своих много, ну и дурит... Мужа в черном теле держит. Я выпью, дедка.

– Пей, голубчик... Ах, какое дело, какое дело!.. И даже в уме-то не представишь себе... Ежели бы такая дама подвернулась покойничку Карпу Лукичу, да он бы ее узлом завязал. Вот какой был

человек необыкновенный... А вы, Василий Карпыч, насчет сапог не сумлевайтесь; мы это в лучшем виде оборудуем. Ах, какое дело, какое дело!..

– Мне вот только выпить, я ее убью, змею...

– Зачем убивать, Васенька... Пусть ее поживет: не ты, так другой найдется. Наскочит на такого хохоля, что овечкой сделает... Ну, да это все пустое. Погоди, оборудуем... Вот что, Вася, ты не ходи туда, в номер, а ночуй здесь, у меня. Я на полу прилягу, а ты на кровать...

– А она искать меня будет.

– Пусть поищет... А то я и сам схожу к ней. С полковниками разговаривал, небось, тоже в зубах у нас не завязнет. Так прямо и скажу: я и папеньку вашего Галактиона Павлыча даже весьма знал, уж вы извините, а это не порядок...

– Ну?

– А то как же, Вася? В женскую, мол, вашу часть я не вхожу, а свою мужскую могу понимать и даже превосходнее других прочих.

– Нет, ты не ходи: плевать... Пусть ее разорвет со злости.

Вася обрадовался предложению Галанца и сейчас же улегся на его кровать. Он даже улыбался при мысли, как будет рвать и метать Анна Галактионовна, э, плевать, пусть лопнет! Правда, кровать у Галанца, вымощенная из старых досок, гнула и трещала под ним, да и ноги пришлось согнуть, но все-таки лучше, чем слушать там, в номере, попреки да ругань. Старик в это время успел устроиться на полу, охая и побряхтывая. Он потушил свою лампочку и долго ворочался на своем жестком ложе.

– Василий Карпыч, вы спите?

– А... нет, не сплю... – бормотал впросонках Вася, – А что?

– Да так... Вот лежу и про клад все думаю.

– Про какой клад?

– А на Поцелуихе.

– И не думай лучше: ничего не придумаешь. Отец в землю от этого клада ушел...

– Ах, боже мой, кому ты сказываешь-то, Вася? Ты меня бы спросил лучше, как это самое дело было... Да. Тебя еще тогда и на свете не было...

– Рассказывай...



Пауза. Старик пошарил рукой по полу, угнетенно вздохнул и сел. Его старые глаза через окружавшую ночную темноту глядели вдаль, далеко, на то, что случилось тридцать лет назад. Ах, как все это было давно, и вместе точно все случилось вчера!

– Я тогда в аглецком клубе маркером служил, – начал старик, разводя руками, – Ну, а «Дрезден» в Конюшенной – модные номера так назывались. В «Дрездене» у меня швейцар был знакомый. Так вот этот швейцар – Никитой его звали – и приходит ко мне этак с утра, когда еще господа в номерах спали. «Григорий, – говорит, – дело до тебя есть». «Какая-та-кая потребность случилась?» – говорю я. «А такая, – говорит, – не вдруг и выговоришь...» Говорит это, а сам смеется. Хорошо. Ну, он и рассказывает: приехали, грит, в «Дрезден» два господина, не то, чтобы настоящие господа, да и к купцу нельзя применить. Заняли, грит, лучший номер и сейчас спать; целые сутки спали. Мы уж, грит, хотели полиции объявлять, ну, а они в этот раз и проснись. Потребовали самовар, водки и закуски. Фициант подает им все в порядке, как следует порядочным господам, а они его на смех подняли. «Ты, – грит, – за кого нас принимаешь?» Всю эту номерную закуску назад, а заказали себе целое блюдо телячьих почек и четверть водки. «Это, – грит, – по нашему, по-сибирски»... Ну, обнаковенно, прислуге это самое дело удивительно, а управляющий даже сконфузился, потому в «Дрездене» первые господа останавливаются, а тут сразу такое безобразие. Однако все исполнили... Что же ты думал, они вдвоем целую четверть выпили и целое блюдо почек оплели, а сами даже ни в одном глазу. Люди как люди. Повременили малое место и заказали обед, за обедом опять пили всячины, а сами опять ни в одном глазу. После обеда посылают за мной, чтобы я ложу им в оперу достал. «Как, – говорит Никита, – записать прикажете в кассе?» «Граф Кивакта<sup>[4]</sup> и князь Эншамо – так и запиши». Ну, Никита добыл им билет, вечером они поехали. Там уже капельдинеры встречают по-своему: ваше сиятельство, пожалуйста... Хорошо. Прислушали они одно действие, сходили в буфет, а потом и заснули в ложе-то. Натурально вся публика на них воззрилась... Сейчас капельдинер разбудил их и говорит: «Так и так, ваше сиятельство, никак невозможно, чтобы спать в театре». А те ему: «За свои-то деньги нельзя?» «Уж это как вам будет угодно, а только начальство... порядок...» Тогда они встали и ушли, а Никиту на другой день опять в

театр: откупи нам эту самую ложу на целый месяц. Хорошо... Вася, да ты никак спишь?

– Нет, не сплю... Кто же это такие были?

– А ты слушай... Откупили они ложу в театре, а сами опять призывают Никиту и прямо подносят чайный стакан водки. Никита и в рот этого вина не брал, да и должность у него такая, чтобы всегда быть в аккurate. «Не могу, – грит, – ваше сиятельство...» «А ежели, – грят, – не можешь, так пошли кого поумнее себя». Ну, один лакеишка выискался было, а только не вытерпел: на втором стакане ослабел, под руки его из номера вывели. А они в амбицию: что это, грят, у вас за номера такие, ежели удовольствия себе получить нельзя за свои деньги? Одним словом, куражатся, и никакого с ними способа. Вот Никита-то и пришел ко мне: выручи, Григорий. А надо тебе сказать, что смолоду я очень был набалован и водки принимал до неистовства – недаром Галанцем прозвали. На Васильевском острове галанцы летами наезжали, ну, так я с ними хороводился: никто супротив них не может устоять касательно выпивки, а я даже превосходнее их себя оказывал. Конечно, глупость это наша одна... Так за это качество и прозвали меня Галанцем. В праздник нарочно меня наши водили в гавань, чтобы галанцев конфузить. Хорошо... Вот Никита и пришел за мной, чтобы я в «Дрезден» к ним завернул ублаготворить ихних гостей. Опять-таки моя глупость была: пошел. Ну, прихожу это в номер и даже диву дался – таких два осетра, что даже попревосходнее галанцев настоящих будут. Как два дубовых корабельных бруса... ей-богу!.. Признаться сказать, я даже этак маленько оторопел, потому как сам ростом не дошел в настоящую меру. Они поглядели этак на меня: «Можешь?» «Могу, ваше сиятельство»... Натурально сейчас чайный стакан водки и сейчас другой, а я им: «Позвольте третьим закусить»... То-то глупость... Как я третий-то выпил, тогда один встал, подошел ко мне, обнял и расцеловал. «Вот это, – грит, – по-нашему, по-сибирски...» А потом: «Каков ты есть человек?» Очень я им понравился. Который меня целовал, и оказался вашим тятенкой, Карпом Лукичом Полуяновым, а другой-то Логин Евсеич Недошивин. Золотопромышленники сибирские, известное дело, приехали в Питер удовольствие себе сделать, а куда ни сунутся, везде им порядок: то нельзя, это нельзя, третье не полагается. Обидно им – сделалось, что препятствуют, значит, карактеру; зачем, грят, мы ехали-то такую даль?

А мне-то обрадовались, как родному, и сейчас вместо себя в ложу стали посылать, чтобы досадить кассиру. Ложа дорогая, а я каждый день и сижу в ней один. Из театра к ним в «Дрезден» и рассказываю все, как и что было... Очень довольные были. Потом заказали отыскать им подходящую французинку, потому как много были наслышаны об этой нации. Денег у них бугры, ну и чудили... Вася, ты никак совсем спишь?

– Да нет же... Рассказывай.

– А на чем я остановился-то?

– Да на француженке... А клад-то скоро?

– Погоди, будет и клад...

### III

– С этой французинкой у нас хлопот было весьма достаточно, – продолжал в темноте голос Галанца, – ну, кое-как приспособили. Настоящая французинка, свою квартиру держала на Малой Морской. Только прихожу я в «Дрезден» к Карпу Лукичу и докладываюсь: «Пожалуйста всякое удовольствие получить». А они этак переглянулись и смеются... Дело было за ихним завтраком: блюдо почек и четверть на столе, все по форме. «Кому же, – грят, – ехать?» «Это, – грю, – вам ближе знать, а французинка готова в полной форме». Ну, посмеялись, закусили и начали как будто собираться... Между собой-то перепираются, а я стою в дверях и молчу. Только – совсем уж собрались, а покойник Логин Евсеич и говорит: «Карп Лукич, знаешь, что я тебе – скажу? Чем к французинке ехать и беспокоить себя, удивим лучше Галактиона Павловича... Он думает, что мы в Питере проваландаемся до осени, а мы к нему прямо на именины и подкатим, как снег на голову». Вот тебе и французинка, думаю про себя, – всю музыку испортят. Тятенька ваш как обрадуется. «И в самом деле, – грит, – чего мы здесь дураков валяем – все нельзя... Удивим Галактиона Павлыча!» Ну, я уж не стерпел и говорю: «Как же, – говорю, – с французинкой? Она, например, ждет в полной форме»... «А ты, – грят, – и поезжай к ней, как в театр за нас ездил, а деньги, что следовало, заплатим: так и скажись – сибирский князь Эншамо».

– Ха-ха... ловко! Что же ты, ездил... а?

Пауза. Галанец в темноте отплевывается и тяжело вздыхает. Вася еще громче хохочет.

– Что же, действительно ездил... – заговорил Галанец, когда немного успокоился от благочестивого негодования. – Главная причина – опять моя же глупость была: пообещали мне всю пару новую, верхнее пальто, шляпу – одним словом, полный костюм от Корпуса. Карп-то Лукич разошелся и часы свои золотые на меня нацепил, а Недошивин перстни свои дал мне. Ох, согрешил я без конца перед господом богом...

– Что же француженка?

– Да ничего... Все одно, как и наши бабы, только одета чисто, даже до чрезвычайности чисто, и обращение имеет свободное. Ей удивительно посмотреть, какие такие сибирские князья бывают, а у меня своя глупость на уме – платье-то все у меня останется... Ох, глупость была, Васенька, а теперь вот и каюсь! Тьфу... Приезжаю я от францужинки в карете, а они уж совсеми в дорогу собрались. Посмеялись надо мной, попросили про францужинку, а потом и говорят: «Айда с нами в Сибирь, Галанец! Будешь доволен, а ты нам по нраву пришелся»... Даже подумать хорошенько не дали: собирайся... Что же, думаю, ежели уж такая удивительная линия подошла... Склался я в полчаса и покатил, не знаю сам куда. Дальше своей Ярославской губернии не бывал, а тут на край света... Все-таки ничего, думаю, купцы богатые, не оставят. Признаться сказать, с дороги малым делом чуть-чуть не воротился: так и тянет меня в Питер, и кончено. Как закрою этак глаза, и начнет представляться все: на Невском огни, музыка, швейка одна знакомая, полковники, с которыми на бильярде играл... Чем дальше едем, тем города мельче и народ совсем убогий живет, а бабы – одно только название, что бабы. Мне скучно, а им веселее. Едут и все Питер ругают... Очень уж это им слово не понравилось: «нельзя». Проплыли мы таким манером по Волге, повернули на Каму, а там уж по трахту закатали на двух тарантасах. Объехали эти самые горы и на сибирскую сторону перевалили... Чем дальше едем, тем веселее мои господа: «Вот это наше пошло». Сидят да похваляют... Ну, тут, действительно, и места начались другие и народ особенный. Прямо сказать: сибирский народ, варнак. Переехали Иртыш, катим по степи – и вдруг, братец ты

мой, на одной станции и накрыли Галактиона Павлыча. Значит, сам исправник Чистый... Мои благодетели так и охнули: нарочно из Питера приехали, чтобы ему сюрприз сделать, а он и встрелся. Даже приуныли совсем. Исправник-то расспрашивает их про Питер, а они на меня показывают. «Вот, – грят, – у нас Галанец все произошло». И опять пить меня заставляют: надо же чем-нибудь удивить Чистого. А я как примечаю, что моим благодетелям даже совестно против него: и из Питера уехали не солоно хлебавши и его не могли удивить именинами. Даже из лица спали, туманные такие ходят оба и водку перестали принимать... Чистый-то сметил, в чем дело, и их же впредь на смех поднимает. Хоть назад ворочаться, так в ту же пору. Что же ты думаешь, ведь удумали они штуку... Хе-хе!.. То есть в лучшем виде... Сидим это мы на станции, а Карп Лукич похаживает и говорит: «Ах, ты, сахар ты мой, Галактион Павлыч, соскучился я по тебе...» Ну, натурально, сейчас выпивка. Что ни слово, то хлоп да хлоп... Чистый пьет наряду с ними, могучий человек, а свое дело помнит: «Господа, а мне некогда – через два дня именинник, надо домой поспевать». «Поспеется, сахар ты наш, а именинник не медведь – в лес не уйдет». И опять рюмка за рюмкой... Только и народ был: медведю, кажется, столько не выдержать. И ведь уделали-таки Галактиона Павлыча... Пили они, пили, неочерпаемое, можно сказать, количество, пока он из настоящего разума не выступил. На ногах-то он держится, а разуму в нем уж нет. Помнит одно: ехать надо, потому именинник. Когда его нагрузили вполне, сейчас вывели под руки, усадили в экипаж и пожелали гладкой дороги. Лошади-то и не заложены, а Карп Лукич на козлы и по-ямщицьи ухаёт, а Недошивин дугу с колокольцами трясёт... Потеха чистая! Чистый только мычит: «Пшол!..», – ну и, натурально, заснул. Далн ему с час поспать, а Карп Лукич опять, на козлы, а Недошивин за дугу... Тпру!.. Приехали, ваше скородие. Ну, конечно, Чистый ничего не понимает. Вывели его из экипажа, будто на другую станцию приехали, и опять пить. «Мы с тобой, – грят, – вместе на именины едем»... Ну, таким манером двоим сутки Чистого из экипажа таскали в избу, а из избы в экипаж. А когда строк вышел, тятенька-то ваш разбудили Чистого, шапочку сняли и говорят: «С ангелом имеем честь поздравить, Галактион Павлыч»... Ей-богу! Что было смеху, что ругани... Чистый-то так расстервенился, что мы едва от него тогда ноги уплели... Все-таки свое сорвали: удивили его, как

он именинником-то проснулся. Ох, грехи тяжкие, точно все это вчера было, а никого уж и в живых нет!

– А клад-то когда будет?

– Да в свое время и клад.

#### IV

– Приехали мы и на место, Васенька. Понравилось мне, как жил Карп Лукич: дом – полная чаша, всего вволю, только птичьего молока недостает. И все этак на сибирскую руку приспособлено, не по-расейски, потому как жисть, значит, вполне привольная. Обзнакомился я со всем и живу себе. Выпал снежок, зима сибирская завернула, ну, мне уж и скучновато стало. Главная причина: делать мне нечего. Известно, нет-нет да и поманит на свою сторону, в Расею. Хорошо около меня, да только все чужое...

Раз этак около рождества очень уж я стосковался да и говорю Карпу Лукичу: «Отпустите меня домой, а то без дела чего же мне слоняться». А они только смеются: «Погоди, Григорий, в некоторое время ты мне пригодишься, а работа впереди. У нас все так; год на боку лежим, да одну неделю за два года работаем». Конечно, по-нашему, по-расейски, это даже весьма несообразно, ну, да делать нечего, нанялся – продался. Прошли святки, прошла масленая, а этак неделе на третьей поста Карп Лукич и говорит, чтобы я собирался в дорогу. Весь дом вверх дном повернули, точно вот на войну собираемся. Целый обоз снаряжился с нами – значит, в разведки поехали. Хорошо.

Рабочих с нами за пятьдесят человек, конюхи, вожаки – войско, да и только. Молебен отслужили, все честь честью справили и в путь. Мамынька ваша провожает нас, а сама как река льется, потому неведомо, когда воротимся. Почитай, весь город сбежался на проводы. Я в кошевой вместе с Карпом Лукичом еду, в том роде, как обережной или подручный. Успел за зиму-то к каждой ихней привычке вполне привеситься: они еще только подумают, а я уже сделал.

Едем мы таким родом день, едем два, свернули с трахту на проселок, а с проселка в тайгу: ни конца, ни краю вплоть до китайской границы. Поехали по тропам, по приметам... По дороге в двух местах

сделали разведки, да только попусту. Гляжу я на Карпа Лукича и дивуюсь: совсем другой человек, а водки даже ни-ни. Такой у него зарок был положен, что как на дело, так водки ни капли. На первых-то разведках мы позадержались лишнюю неделю, а тут нас весной накрыло. Обождали водополь и поехали дальше верхами, а на стану караул оставили. Ну, тут настоящую муку мы и приняли: то гора, то болото, а то и на горе болото. Переправа за переправой, а речки быстрый да студеныя...

Всего удивительнее для меня оказывали себя лошади: сколь же умна эта самая скотина! По болоту идет, так с кочки на кочку перескакивает, на гору по камням царапается, под гору на хвосте идет – человеку так не сделать, как эта самая таежная лошадь. В седле-то сидеть страшно, только и глядишь, на который бок половчее упасть, в случае чего... А каково такой лошади под Карпом Лукичом идти: четырех лошадей в сутки менял. Ну, думаю, по таким местам только душу спасать ездить... Приедем на стан – разогнуться нет возможности. Чем дальше едем, горы выше, а в горах опять холоднее. Начали лошади в болотах вязнуть. Пришлось их оставить на втором стану с конюхами, а сами – пошли пешком.

Грузен был Карп-то Лукич, не может по болоту идти. Тогда нас на лубках с ним через болота перетаскивали... С неделю мы таким манером промаялись, всю душеньку вымотали. Не утерпел я и спрашиваю Карпа Лукича: «Куда это мы идем?» А он мне: «Клад будем искать... Слышал про Поцелуиху?» Это почесть на самой китайской границе выходило, да и Поцелуих считали до десятка речонок – что ни речка, то и Поцелуиха, а дорога – пьяный черт ездил.

Долго ли, коротко ли, доехали мы до большой горы, Белок называется. Карп Лукич и говорит: «Здесь будет последний стан». Начали мы делать разведки в разные стороны. Везде есть знаки на золото, а настоящего дела все-таки нет: нестоящее золото для работы. Почесть целое лето мы таким манером прожили в лесу, обносились, озверели, на людей не стали походить. Этак раз, уж к осени дело было, отбились мы с Карпом Лукичом от партии. От своего Белка пошли к другой дороге, – со стану глядеть, так рукой подать. Мы с Карпом Лукичом да трое рабочих – и все тут. Шли-шли, а гора точно от нас уходит дальше. Однако к вечеру добрались. Место глухое лес – овчина

овчиной. Речка с горы выпала – опять, значит, Поцелуиха. Пошли вниз по речке. Вот тут нам и поблазнило...

Идем этак лесом, слышу, Карп Лукич кричит: «Стой!» Я-то позади всех плелся, потому измотался за день. Подхожу и вижу: стоит Карп Лукич осередь поляны и руками разводит, а на поляне камни чернеют. «Погди-ко, – говорит, – Галанец, какие камни-то»... Я приглядел и даже этак обомлел: на поляне-то все тумпасы, да по аршину ростом каждый... «Это самое место и есть», – шепчет мне Карп Лукич. Сколь же и местечко диковинное издалось, только вот в сказке рассказать! А речонка в двух шагах, и в ней такие же тумпасы, точно поросята, лежат в воде. Ударили уж в сумерках ширп на бережку: золото оказалось богатимое. Тут мы и заночевали...

А Карп Лукич всю ночь не спал: полежит-полежит у огонька и опять пойдет осматривать эти тумпасы, да к речке – и мне не дал спать. Еще, думаю, утонет... Ах, какое это удивительное место было!.. Едва дождались утра, и опять ширп, по ту сторону речки золото еще лучше. По самой речке взяли пробы – опять золото. «Вот он, клад-то», – шепчет мне Карп Лукич, а сам точно пьяный сделался. Ну, поставили мы разведочные столбы, накопили ям и пошли к своему Белку. По дороге рабочие затески делали на деревьях, чтобы не заплутаться. Одним словом, все устроили по форме.

Только, сударь ты мой, едва мы вышли к своему Белку: вот тут она, наша гора, совсем на глазах, а пойдём к ней – она точно в сторону отойдет... Оказия!.. Так мы засветло-то и не могли выйти на стан и заночевали где-то в болоте. Утром просыпаемся: Белок-то саженьх во ста от нас, мы, как кулики, в болоте мокли целую ночь. Только пошли мы на Белок уж с другой стороны, а не с той, где стан. В тайге это случается... Хорошо. Пришли на стан, поглядел Карп Лукич из-под ручки на гору, где мы были, и говорит: «Вон он, клад-то наш где спрятался»... «Так точно, – говорю я, – Карп Лукич: здесь Белок, тут болото, а там гора, а из горы вынала Поцелуиха с тумпасами».

По-настоящему нам надо было торопиться к лошадям, чтобы загодя выбраться из этих местов, а Карп Лукич не утерпел, еще раз захотел побывать на кладовом местечке. Я остался на стану, а он повел с собой почитай всю партию. И что бы вы думали, сударь мой: три дня и три ночи искали они эту речку с полянкой, где мы ширпы били, да так и не нашли... Темнее ночи воротился Карп Лукич и



только все спрашивали меня: «Галанец, ведь ты видел тумпасы?» «Точно так-с, Карп Лукич...» «Хоронится, – говорит, – от нас клад-то, точно сквозь землю провалилась полянка с тумпасами».

Что же бы вы думали, сударь мой, мы ведь так ни с чем и выехали из тайги... Первая причина – снега поопасались, а вторая – весь припас у нас вышел, и народ нечем кормить. Ну, приехали домой, Карп Лукич веселый такой: ждет не дождется опять поста, чтобы по последнему пути на Белок выезжать. Нанял рабочих уж по-настоящему, сделал всякую заготовку: харчи, одежду, машину, лошадей – в тайге-то негде взять, всякую малость с собой вези. Опять поехали на Белок по старой дороге и всю муку мученическую приняли в полной форме. Это легко рассказывать-то. Ну, и опять не нашли Поцелуихи. Так задарма целое лето пробродили по горам да по болотам, а домой опять воротились ни с чем. Затуманился мой Карп Лукич, потому как за два года шатания по тайге сильно деньгами подшибся. Однако на третью весну опять мы в поход собрались... Где только можно, везде денег добывали, а я стал примечать за Карпом Лукичом так, что будто он в исступлении ума делается. Начал даже затовариваться и все Поцелуихой этой бредит: видит ее во сне и наяву.

Опять поехали мы в тайгу и целое лето задаром прошатались, и все около Белка. Ближе осени было дело, надо ворочаться домой, а Карп Лукич говорит: «Помру здесь, а найду Поцелуиху»... Крепкий был человек, а тут изняло. Ходит по стану и бормочет: «Это Белок – тут болото... тут гора, с которой выпала Поцелуиха». Уж это лето нам и задалось же: мошки, комары – житья нет. Лошадей поморили, рабочие ропщут, а Карп Лукич все на своем стоит: здесь Белок, там болото, там гора, с которой Поцелуиха выпала.

Ближе уж осени было дело. Я в одной палатке с Карпом Лукичом жил. Только раз просыпаюсь ночью, а в палатке кто-то плачет. И так тихонько плачет, совсем по-ребячьи. Достал я огня, пляжу, а это Карп Лукич: сел на постель, ухватил голову руками да и заливается... Ах ты, боже мой, что же это такое? Я его утешать, а он пуще... Да и меня на сумление навел. «Скажи мне, – грит, – помнишь ты отлично, как все дело было, когда мы полянку с тумпасами нашли?..» «Даже, – говорю, – очень превосходно помню; как сейчас, вижу и полянку, и тумпасы, и речку, и место, где ширпы мы били». «Да, может, ты, – грит, – ошибся; обнесло нас, поблазнило... Мало ли что в лесу бывает

с человеком!» «Что вы, – говорю, – Карп Лукич, спросите рабочих, которые с нами были...» Конечно, что тут спрашивать: на свои глаза свидетелей не надо, а просто Карп Лукич начал мешаться в своем разуме. Тронулся человек... Да и меня, признаться, тоже оторопь взяла: в самом-то деле, не поблазнило ли тогда нам!..

Ну, сидим мы на стану под Белком, а уж пошли заморозки – того гляди, выпадет первый снежок, а тогда в тайге смерть без смерти. Лучшие вожаки плутают, потому как все приметы снегом засыплет, да и лес совсем другим оказывает. А Карп Лукич уперся – не пойду, и кончено тому дело. Уж мы его уговаривали и так и этак – приступу нет. Рабочие забунтовали... Ну, тут и вышел с нами грех. Ах, какой тяжкий грех, Васенька, случился, что, кажется, и не рассказать! Одна страсть...

Этак утром просыпаемся, выхожу я из палатки, а кругом бело, точно саваном покрыло все... Саван и был. Господи, что только тогда у нас было: рабочие-то совсем озверели и чуть Карпа Лукича не убили. Так с ножами к горлу и приступают... Известно, тоже не от ума люди на стену лезут. Ну, поругались, пошумели, забрали все, что можно, и ушли, а мы с Карпом-то Лукичом Едвоем и остались, да еще лошадь заморенная с нами. Я его уговариваю идти домок, а он свое толмит: помру здесь. А снег-то идет да идет. Ну, думаю, пришла наша смертынька с Карпом Лукичом, догуляли...

Запасов осталось у нас дня на три всего, как я уговорил-таки его идти – не помню. Пошли, а лошадь за нами... И умная это тварь, лошадь. Столь она умна, столь умна, что вот только не скажет: чувствую, мол, я, что подвержена я во всем человеку и без вас мне пропасть. А партия-то, что раньше нас вышла со стану, на вторые сутки заплуталась в тайге. Пошли споры да раздоры: одни говорят – туда идти, другие – совсем наоборот. Разбились кучками, и всяк в свою голову ломит. Ну, таким манером они почитай все выбились из сил, да в тайге и перемерзли: кто с голоду, кто с натуги, других зверь задавил... Ох, незамолимый грех!.. А Карп Лукич свое: «Хоть бы помереть скорее, Галанец: один конец, а домой и идти не к чему».

Все-таки идем сколько можем, а за нами лошадь колченогая ковыляет. Мы остановимся – и она встанет. Когда весь харч вышел, Карп Лукич и говорит; «Мы ее приколем»... Ну, мне это уж против сердца пришло. «Что вы, – говорю, – сударь, какие вы слова

выговариваете, точно на нас и креста нет... Да и не об этом теперь думать надо: хоть бы господь христианской кончины сподобил, а вы лошадь колоть. Не татары мы, слава богу...» В одном месте нашли замерзлого человека из нашей партии. Ну, совсем у смерти... конец...

И что же бы вы думали, сударь вы мой? Наша лошадь-то ковыляла за нами, а потом вперед нас пошла. И как идет: пойдет, пойдет и остановится, чтобы мы подошли. «Ой, – говорю Карпу Лукичу, – жилье она чует...» Голод уж очень донимать нас стал, отощали вконец и только кору осиновую жевали. Только этак мы идем за нашей лошадью, я вижу под снегом будто след. Показываю Карпу Лукичу, а он не верит: наваждение, говорит. И что бы вы думали, сударь мой? Ведь вывела! она нас, эта самая лошадь, прямо на партию привела – к Недошивину; храпом своим лошадиным учуяла живых людей. Пришли мы к Недошивину ни живы, ни мертвы, да так нас из тайги и домой отправили, а Карп Лукич с этого самого времени замолчали. До самой своей смерти ни единого словечка не вымолвили; то ли это с голоду, то ли с заботы, или поблазнило чем, – не умею сказать. Имение все разорили, – одним словом, все богатство по ветру разнесло... Вот он какой, клад-то, на Поцелуихе выдался нам... Вася, да ты никак спишь?

## V

Когда Анна Галактионовна проснулась на другой день в своем номере, первой ее мыслью было: где Васька? Положим, это не первый раз, что он ночевал где-нибудь в бильярдной, – и притом без сапог далеко не уйдешь, – но все-таки она встревожилась и позвонила.

– Позовите ко мне Василия Карпыча, – приказала она номерному лакею.

– Их нет-с...

– Как нет? Куда он без сапог уйдет?..

– Так точно... С нашим маркером ушли-с; Галанцем называется, то есть маркер. Он им и сапоги приспособил... Надели котомку и ушли...

– Это интересно, куда они могут уйти...

– А пошли какой-то клад разыскивать... Конечно, не от ума, а только у старика-то деньги с собой. На смертный час готовил, а теперь дело повернулось на клад...

\* \* \*

Через год в одной из сибирских газет было напечатано коротенькое известие, что поисковая партия наткнулась в тайге у китайской границы на два «неизвестных трупа» – очень может быть, что это были старик Галанец и Вася.

Зачем Никешка подымался ни свет ни заря, на Чумляцком заводе этого никто не мог сказать. А он все-таки вставал до свистка на фабрике, точно службу служил. Подымется на самом «брезгу», высунет свою лохматую голову в окно и глазеет на улицу, как сыч. Добрые люди на работу идут, а Никешка в окно глядит и не пропустит мимо ни одного человека, чтобы не обругать. Особенно доставалось от него соседям – старику Миرونу и дозорному Евграфу Ковшову. Мирон жил рядом, а Ковшов – напротив.

– Пропасти на тебя нет, Никешка! – говорил Мирон при каждой встрече и укоризненно качал головой. – Погляди-ка, ведь седой волос занялся у тебя в бороде, а ты все не в людях человек. Хошь бы уж помер, право...

– Сперва погляжу, как вы все передохнете, – отвечал Никешка с обычной дерзостью. – Получше других человек завелся, так вам бы в ноги ему кланяться... так я говорю? Вот ты, Мирон, за дочерями-то гляди в оба, чтобы прибыли какой не вышло.

– Никешка!..

– Я давно Никешка.

– Тьфу!.. Собака и есть собака.

Старый Мирон, благочестиво отплевавшись, поскорее убирался в свою пятистенную избу. Ему было всего пятьдесят лет, но на вид – старик стариком. Сказалась тяжелая огненная работа, на которой человек точно выгорает. Давно ли Мирон жил паном, дом был полная чаша, а потом разнемогся, и все богатство сплыло. Правда, осталась старуха-жена да три дочери, и только. Были два сына, поженились и ушли своим домом жить. Таких «стариков до времени» в Чумляцком заводе было много, и везде повторялась одна и та же история.

Другой сосед Никешки, дозорный Ковшов, жил крепко и богатым тугим мужицким богатством. Попав в заводское начальство, он не забывал себя: поправил домишко, обзавелся скотиной, купил ведерный самовар и быстро начал толстеть. Одним словом, человек попал на легкий хлеб и жил в свое удовольствие. Благополучие Ковшова отравлялось только соседством Никешки, который не давал ему проходу. Чтобы не встречаться со своим врагом, Ковшов уходил иногда на фабрику огородами, точно вор. Но все равно никакая политика не могла спасти его от Никешки. Идет Ковшов с фабрики с правилом в руке и старается не замечать своего соседа, но Никешка уже орет на всю улицу:

– Еграфу Палычу сорок одно с кисточкой... Эх, сосед, айда ко мне в помощники: я ничего не делаю, а ты помогать мне будешь!

Сохранить свое достоинство при таких обстоятельствах довольно трудно, и Ковшов должен был ругаться.

– Острог-то давно о тебе плачет, Никешка... Мотри, не ошибись: только даром время проводишь в своей избушке.

– А, вы Еграф Палыч, слава богу, мучки аржаной возик купили... – не унимался Никешка. – Где господь железка пошлет, где бревешко подвезут даром, где что, а хорошему человеку все на пользу... Вот как хорошие-то люди живут: у скотинки хвост трубой, в сундуках добро не проворотишь, а беднота кланяется Еграфу Палычу, потому как он сам перед начальством хвостом лют вилять. Так я говорю? Собаки чужие не лают на Еграфа Палыча... Дым у него из трубы столбом идет...

– Тьфу, окаянная душа!..

Все, что делалось в доме Ковшова, Никешка знал лучше, чем свои собственные дела, и оповещал всю улицу. Еграф Палыч жене палевый платок купил, а себе завел сапоги со скрипом; у Еграфа Палыча сено само на сарай приехало; Еграф Палыч лошадку новую собирается купить, потому что старым лошадям делать нечего, и т. д., и т. д. Выведенный из всякого терпения, Ковшов несколько раз хлопотал, чтобы общество выключило Никешку из своего состава; но эти подходы не удавались. Даже выставленное волостным старичкам вино не помогало: выдерут Никешку, и только. Секрет заключался в том, что Никешка был отличный конский пастух и ни одну лошадь не даст украсть.

Так и жил Никешка в своей проваленной избушке, покосившейся на один бок. Делать запасы дров он не имел привычки и помаленьку топил печь разным домашним строением: сначала сжег амбар, потом баню, прясла и даже ворота, а теперь принялся за крышу – стащит драницу и в огонь. Жил он бобылем, и единственную живность в его хозяйстве составляла сивая кривая кобыла. И скотина была по хозяину: зиму и лето жила под открытым небом, а питалась чем бог пошлет. Была у Никешки жена, было хозяйство, но все это ушло при ближайшем участии закадычного приятеля Никешки, кабатчика Пимки, который не только перевел за себя все, что можно было взять у Никешки, но по пути захватил и его жену – Маланью. Когда друзья напивались, они начинали колотить несчастную бабу вдвоем.

На заводе Никешка известен был под именем Морока, и это прозвище он носил не без достоинства. Только соседи называли его просто Никешкой.

## II

Ласковое апрельское солнце едва занималось, а Никешка уже сидел у своего окна и глядел на улицу. Уральская весна поздняя, и, несмотря на последние числа апреля, кое-где еще лежали кучки почерневшего и точно источенного червями снега. Весенняя грязь за ночь покрылась тонким слоем льда, который хрустел и ломался под копытами лошадей, как стекло. Накопившаяся за зиму дрянь, которую чумляцкие обыватели выкидывали за неимением помойных ям прямо на улицу, теперь точно вылезла из земли и задерживала таяние последнего снега. Никешка смотрел вдоль улицы на новую крышу новой избы Ковшова и любовался собственной кобылой, которая не без ловкости подбирала отвислыми старыми губами клочки гнилого сена, валявшиеся на улице.

– И тварь только: чем, подумаешь, жива? – удивлялся Никешка добычливости своего единственного живота. – Не хочет помирать, подлая... брюхо-то, видно, не зеркало!

Пригретый весенним солнышком, Никешка задумался о лете. Вот пройдет с гор вода, и везде-то займется трава. Поведут тогда все лошадей в пасево, выедет он, Никешка, на своей кобыле, как следует

пастуху, – лето-то и пройдет шутя. Кобыла всегда успевала отъедаться к осени, хотя и летом Никешка не считал нужным ее кормить: сама должна себе пропитал добывать, на то она и кобыла. Деньгами да кормом скотины тоже не укупишь, как делает Ковшов и другие толстосумы.

А солнышко так и греет, так и греет... Смертная лень одолела Никешку: высунул башку в окно и сидит. Скоро вот на фабрике свисток завоет, народ побежит на работу... Дураки!.. А Никешка будет сидеть да поглядывать. Когда надоест сидеть, пойдет к Пимке, – не подвернется ли какой хороший человек. Никешке тоже иногда перепадают даровые стаканчики водки: загуляет человек, что ему стоит угостить. Бывает, что и Никешка пригожается... Худ-худ, а без него тоже дело не обходится.

Задымили печи у проворных хозяек, поднялся медленный шум закипавшего дня, напахнуло крепким весенним ветерком. Никешка зажмурился от удовольствия, а его широкое, бородатое лицо с заплывшими глазками даже покрылось маслом. Кобыла, набившая себе брюхо разной дрянью, тоже дремала на солнышке, и Никешка еще раз подумал: «Ишь, подлая тварь, чувствует». А свисток уж скоро. Никешку позывает на сон. Голова свешивается, как отшибленная, и солнце греет теперь только самую макушку с поредевшими темными волосами.

– Никешка... Морок!..

– А?.. Что?.. Эк вас взяло!.. – мычит Никешка, стучаясь головой о верхний косяк окна. – Ну?..

– Недавно ослеп: без очков-то не видишь?.. – повторяет тот же сердитый голос.

– Что глядеть-то?.. Ишь расшеперился: не велик в перьях-то!

– А ты не корачься, Морок... Добром тебе говорят: куда дел сапоги? Где ты вечер-то был, окаянная душа?.. Окромя тебя, некому украсть сапогов...

Никешка несколько время молчал, как человек, удрученный сознанием, что действительно, кроме него, некому украсть сапогов. Да и староста налицо, и понятия, и Егранька Ковшов выбежал на улицу в одной рубахе, счастливый чужим безвременьем.

– Какие сапоги? – удивляется Никешка точно про себя.

– А вот мы тебе, Мороку, покажем, какие!..



– Он, он украл!.. Верно... – кричал Ковшов, размахивая руками. – Да вы чего с ним разговариваете? Айда, волоки прямо в волость!

Происходит некоторое колебание. Нужно все по форме сделать: может, не найдется ли поличное? Мужики идут прямо в избу. Никешка встречает их спокойно и даже не поднялся с лавки.

– Обыскивай, а то я и сам ничего не найду, – подсмеивается он.

– Не заговаривай зубов-то, – ругается староста, заглядывая на пустые полати. – И чем живет человек?.. А сапоги все-таки ты, Морок, упер!..

– Поищите, может, двое найдете.

Обыск кончается в несколько минут: кроме ременного пастушьего хлыста, в избе ничего не оказалось, – все свои богатства Никешка носил на своих плечах.

– Айда в волость! – кричал в окно Ковшов: в избу он не смел войти. – Наверно, у Пимки в кабаке сапоги, потому, кроме Никешки, некому... Известный заворуй!.. Из кабака не выходит...

– Отвяжись, судорога! – ворчал Никешка, подпоясывая свой рваный полушубок. – Посоли лучше свой-то самовар да ступай чай пить. Ну, староста, не то пойдем в волость...

– И то пойдем... – равнодушно соглашается староста, быстро израсходовавший весь свой административный пыл.

На улице уже столпилась куча любопытных. Все желают посмотреть, как поведут Морока в волость. В толпе баб главным действующим лицом является чахоточный синельщик Илья, который в таких случаях незаменим: кричит, машет руками и бросается в разные стороны, как бешеный. Горбун Калина, единственный «чеботарь» в Чумляках, молча стоит со старым Мироном. Появление Морока произвело известное впечатление на толпу: он выше всех ростом и с такую уверенностью шагает по самой середине улицы.

– Мы тебе, милаш, по-ок-кажем, какие сапоги бывают! – повторяет староста, не желающий дискредитировать свою власть на людях.

– Горячих ему!.. Горячих!.. – орет вдогонку Ковшов.

Процессия торжественно идет вперед, потом спускается к заводскому пруду и делает легкую остановку у кабака Пимки. Заведение пристроилось как раз на самом юру, так что и в фабрику, и

в церковь, и на базар народ идет мимо. Пимка выскакивает в простой кумачной рубаше.

– Подавай сапоги! – кричит ему староста еще издали. – Окромя тебя, негде им быть.

– Да я... а-ах, божже мой! Да вот провалиться... да будь я трою проклят, ежели касательство какое! – клянется Пимка, пойманный врасплох. – Да мало ли ко мне народу всякого шатается?

– Сапоги!

Пимка моментально исчезает, и в ответ на приказание старосты из кабака летят искомые сапоги. Староста медленно поднимает их с земли, оглядывает и утвердительно кивает головой: «Они самые, в настоящую точку, как показывала Дунька Ковригина»... Сапоги приобщаются к делу, и процессия продолжает свое шествие.

Окруженный понятыми, Никешка идет своим развалистым шагом и старается не смотреть на встречных. На повороте в гору нагоняет эту толпу мужиков веселая гурьба заводских поденщиц, которые торопятся поспеть до свистка; Никешка инстинктивно оглядывается, и один этот взгляд останавливает говорливую поденщицу.

– Ты чего уперся, столб? – ругается староста и начинает толкать Никешку в спину краденными сапогами. – Вот они, сапоги-то! Погоди, мы тебе покажем...

Но Никешка продолжает стоять на месте и старается разглядеть молодое девичье лицо, которое прячется в толпе поденщиц.

– Да ведь это Даренка... – вслух удивляется он, занятый своими личными соображениями. – Последняя у Мирона девка ахнула... а?..

Ответа нет. Из толпы поденщиц выступает только отпетая солдатка Матрена, старшая дочь Мирона, и вызывающе смотрит на заворуя-Морока.

– Ступай, ступай! – кричит староста, упираясь в спину Никешки обеими руками. – Эко дерево, подумаешь...

– Хошь бы ботинки украл да мне подарил, – смеется Матрена, подступая ближе.

– Куда ты Даренку-то ведешь, отпетая? – как-то глухо спрашивает ее Никешка.

– Никто ее не ведет: своей волей пошла. А тебе какая печаль сделалась?

Все поденщицы одеты бедно, но с тем шиком, как одеваются на заводах. Поношенные ситцевые сарафаны подтыканы, чтобы показать юбки с пестрыми подзорами; на головах большею частью кумачные платки. Матрена всех наряднее и смотрит кругом потерявшими всякий стыд глазами. Младшая ее сестра, Дарья, вышла еще в первый раз на поденную работу и одета совсем бедно. Она напрасно старается спрятаться в толпе от испытующего взгляда Никешки. Подруги ее подталкивают. Никешка быстро повернулся и сосредоточенно зашагал в гору к волости. Загудел свисток на фабрике – и толпа поденщиц бросилась врассыпную.

### III

В волости с Мороком происходила всегда одна и та же история: волостные старички для формы устраивали короткий суд и немедленно пороли виноватого. Так было и теперь. Никешка не оправдывался, не сопротивлялся, не роптал, а принимал все как должное. Когда экзекуция кончилась, он привел в порядок свой костюм и сам отправился в холодную, где обыкновенно отдыхал до следующего дня, как было заведено давно. В результате все оставались довольны.

– Черти, право, черти! – ворчал Никешка, не обращаясь ни к кому в отдельности. – Скоро коней выгонять, так я вам покажу... Эка важность: сапоги! Тоже нашли...

В Чумляцком заводе Никешка играл оригинальную роль единственного вора, и при всякой пропаже отправлялись к нему, потому что больше некому украсть. Если приходили вовремя и находили поличное, как в данном случае, он покорялся беспрекословно. Если удобный момент был пропущен и краденое при посредстве кабатчика Пимки уплывало в неведомые бездны, Никешка запирался, начинал ругаться и буянить; но его все-таки пороли и держали на высидке больше обыкновенного. Единственный вор на весь завод, – значит, чего с ним толковать. Случались серьезные дела, как увод лошади, тогда Никешку предварительно колотили, долго и больно колотили, а потом пороли и сажали «в карц». Эти шалости обыкновенно совпадали с зимним глухим временем, когда у Никешки

не оставалось никаких ресурсов для существования, кроме сивой кобылы, которую он обыкновенно менял на цыганский манер с придачей. Но к весне, когда нужно было выгонять лошадей в пасево, кобыла непременно являлась в руках Никешки, и он гарцевал на ней с пастушьей ухваткой. Эта кобыла заслуживает внимания не меньше хозяина. Она не давалась в запряжку, а если ее все-таки запрягали, падала в оглоблях; на себя она тоже никого не пускала, – била задними ногами, кусалась и в заключение опять падала. Справлялся с ней один Никешка. И теперь, засаженный в холодную, он думал о своей кобыле, которая осталась без всякого призора. Положим, она никуда не девается, но все-таки было жаль.

Итак, Никешка лежит в холодной и сосредоточенно молчит. Сначала он думал о своей кобыле, а потом припомнил солдатку Матрену, и точно что его кольнуло в самое сердце. Зачем Даренка пряталась от него давеча?.. На погибель вела ее солдатка: уж какая девка, ежели в поденщину попала – вся чужая. Плохо, видно, Мирону приходится, ежели он последней дочери не пожалел.

«Сплоховал старик, – думает Никешка, закрывая глаза, – Надо бы повременить: может, какой бы жених выискался на Даренку».

К фабрике у Никешки было какое-то органическое отвращение. В крепостное время, когда насильно гнали народ на огненную работу, он один отбился от фабрик, несмотря на то, что его и пороли, и морили высидкой, и сдавали в солдаты, – ничего не помогало. Заводское начальство махнуло на него рукой, как на отпетую голову. Каково же было удивление этого начальства, когда после воли первым на фабрику явился Никешка! Он точно переродился и проработал лет пять как следует. Появился у Никешки свой домишко, хозяйство, и в заключение он женился. Все шло хорошо. Но когда на фабрике поставили первую паровую машину, Никешка точно сдурел: явился к управителю и заявил, что больше работать не будет.

– Почему? – удивился управитель.

– А так... Что же, собака я, что ли, что буду вам по свистку на работу выходить?

– Да ты с ума сошел...

– Все равно толку не будет...

– От свистка?

– От его от самого...

Как сказал Никешка, так и сделал: не хочу, и все тут. Паровой свисток действительно нагонял на него какую-то тоску и озлобление. Каждое утро Никешка ждал того момента, когда загудит его враг.

– О, чтобы тебе подавиться! – ругался он, посиживая у окна.

Даже в пасеве, верст за пятнадцать от завода, Никешка не мог избавиться от проклятой немецкой выдумки: свисток все-таки гудел, далеко-далеко гудел, точно под землей.

Нажитое добро было прожито с поразительной быстротой, и Никешка окончательно попал на свою линию единственного вора. Жена Маланья ушла жить к кабатчику Пимке, а Никешка остался со своей сивой кобылой и все сидел у окошечка. В его душе сформировалось непоколебимое убеждение, что от заводской работы никакого толка не будет, – а лошадей пасти можно было только летом. Подтверждением его первой мысли была та же история семьи Мирона: вот человек работал, выбивался из сил, а под старость все-таки пошел по миру. Другое дело Егранька Ковшов: он такой же заворуй, как и Никешка, только ворует с поклоном. Таким образом, все зло заводского существования для Никешки сосредоточилось в паровом свистке, и он не хотел ничего знать. И Даренку он пожалел потому же: под свисток пошла – пиши пропало. Уж если мужику пропасть, то девке – вдвое.

#### IV

Наступило лето, а следовательно, Морок гарцевал на своей гнедой кобыле, помахивая длинным пастушьим хлыстом. Все зимние грехи точно растаяли вместе со снегом, и Никешка не спал ночей, оберегая общественное добро. Конское пасево было отведено «с незапамятных времен» в двадцати верстах от Чумляцкого завода, на так называемой Елани, старом, заброшенном курене, примыкавшем к реке Чусовой. Это было глухое медвежье место, по которому целое лето бродил заводский табун, лошадей в тысячу. Летом конных работ на заводе не было, и лошади отдыхали в пасеве. Десять человек пастухов с Мороком во главе отвечали за каждую голову, если не представят меченных тавром копыт. Пастушье дело – самое проклятое, особенно, когда лошадь отобьется от своего табуна и уйдет в горы:

извольте ее искать на расстоянии сотни квадратных верст. Места кругом были дикие, и только кой-где засели глухие лесные деревушки. Все лето пастухи перебивались в балаганах, а Никешка почти не слезал со своей кобылы, потому что на его обязанности было отыскивать отбившихся от табуна лошадей. Благодаря знанию местности и многолетним связям с конокрадами всей округи он выполнял свою роль из года в год, как мы уже говорили, блистательно.

Нынешнее лето проходило обычным порядком, хотя сам Морок, видимо, скучал и заметно тяготился своей собачьей службой.

– Черт на нем едет, что ли? – удивлялись пастухи. – От хлеба отбился человек.

– Стар стал: кости болят... – уклончиво объяснил Морок. – Тоже бьют-бьют человека, а к ненастью поясницу ломит во как.

Дело было не в пояснице. Морок обманывал самого себя. Он все думал о Даренке. Втемяшилась ему в башку эта девка и не выходит. Стороной он уже слышал, что на фабрику? Даренка «защеголяла»: явились козловые ботинки, кумачный платок, ситцевые «подзоры» на юбках, стеклянные бусы на шее, а автором этих неотразимых для каждой поденщицы соблазнов называли заводского машиниста Мухачка. Вся фабрика галдела на эту тему недели две и не давала проходу Даренке, хотя дело это было самое обыкновенное: вся бабья поденщина с солдаткой Матреной во главе – на одну руку. Может быть, из всех заводских один Морок пожалел пропавшую ни за грош девку.

В своих разъездах по заводской даче Морок не один раз завертывал на покос к Мирону. От Елани это было рукой подать. Тут же были покосы синельщика Ильи, чеботаря Калины, – тоже единственные люди в Чумляцком заводе, как был единственный вор – Никешка. Лучший покос, конечно, принадлежал здесь Еграньке Ковшову, и Морок делал нарочно десять верст лишних, чтобы поругаться с ним.

Страда на заводах – самое лучшее время: весь народ в поле, и работа кипит. По ночам весело горели огни у покосных избышек, и по всем покосам катились веселые песни. Старики, конечно, рады были месту, а веселилась неугомонная молодежь: день-деньской с косой, а вечером – гулянка. Когда-то такое же веселье было и на покосе Мирона, но теперь не то. Настоящей рабочей силой являлся один

старик Мирон, а остальные были все бабы: старуха Арина, солдатка Матрена, Прасковья и Дарья. Отделенные сыновья работали в свою голову, а Мирон управлялся один. Бабы, конечно, работали, но известно, какая бабья работа: то, да не то. А тут еще солдатка Матрена куролесила: то одного приведет, то другого, да еще и сама пьяная напьется. Конечно, дивить на солдатку было нечего: непокрытая голова, и взять не с кого. Хуже было то, что и другие дочери своими дружками обзавелись. Один Мухачок чего стоил: приедет верхом и начнет куражиться, а худая-то слава далеко бежит. Старик Мирон все это видел, но молчал. Да и что он мог поделывать, когда сам посылал дочерей на фабрику: нужно пить, есть, одеться, а сам он какой работник? Покосит до обеда, а после обеда лежит в избушке, – натруженные кости ноют, спина болиг, каждый сустав ломит. Девки хоть и гулящие, а проворные, и работа идет мало-мало. Вот только старуха Арина донимает своими причитаниями: у других и то, и другое, и десятое. Старый Мирон только вздохнет, – конечно, старухе обидно.

Раз, когда после обеда Мирон лежал в балагане и раздумывал свои невеселые старые думы, кто-то подъехал верхом.

«Опять, видно, Мухачок», – подумал Мирон и притворился, что спит.

– Старичку! – послышался знакомый голос. – Жив, Мирон?

– Это ты, Илья?

– Около того...

Это был Никешка на своей сивой кобылке. Нагнувшись, он пролез в балаган и с трубкой сел на порог.

– А ведь я-то тебя за синельщика принял, – жалостливо заговорил старик. – По голосу смешал... ох-хо-хо!.. Другие-то робят, а я вот лежу...

– Все будем лежать... Ты свое обробил все, – философски заметил Морок. – Работы не проробишь, а тебе и заменитья кем помоложе пора.

– Да заменитья-то некем.

Мирон рад был живому человеку, которому мог пожаловаться на свою жизнь, все же суседи. Да и скрывать нечего было: весь завод был на слуху. Посидел Никешка, поговорил и уехал, а Мирон долго думал, зачем мог приезжать к нему Морок.

«Так, шалый», – решил про себя старик.

А Никешка приехал и во второй и в третий раз. Сначала закинул заделье: не видали ли пегой лошади? – а потом хлеба Ыпросил. Солдатка Матрена подняла было его на смех, но Мирон ее остановил.

– Худ он для себя, а не для нас... Оставь, зуда! Тоже суседи называемся...

Однажды, когда старик вышел из балагана посмотреть на работу, он даже остановился от изумления. Покос доканчивали, и оставалось пройти последнюю мочажинку. Солдатка косила в березняке, а мочажинка досталась Дарье. Теперь Мирон увидел такую картину: Даренка сидела на траве и перевязывала порезанную вчера ногу, около нее ходила по траве сивая кобыла, а в мочажинке работал Никешка. И как работал: только коса свистит... Старый Мирон залюбовался на эту настоящую мужицкую работу, а Никешка так и прет полосу за полосой. Могутный человек, одно слово.

– Вот бог работника послал, – вслух проговорил Мирон, подходя к дочери.

Никешка даже не оглянулся, а только поплевал на руки и еще сильнее ударил косить. Даренка смутилась и хотела взять у него косу.

– Постой, дай кончить, – отозвался Никешка, не глядя на нее. – На себя не роблю, так хоть тебя заменю. Куда ты без ноги-то в осоку полезешь, дура?..

Пришла старая Арина и тоже полюбовалась на Никешкину работу. Старики даже вздохнули о собственных молодых годах, тогда у них работа горела в руках, а по пути вспомнили и про непокорных сыновей, работавших теперь на себя. А Никешка все косил, – расстегнул ворот рубахи, бросил шапку, снял сапоги.

– Ну, теперь прощайте! – сказал он, когда от мочажинки осталась одна зеленая щетина да валы свежей кошеницы.

– Куда ты, Никифор? – проговорил Мирон. – Оставался бы с нами поужинать.

– Нет, мне недосуг... Спасибо.

– Зачем свой-то покос людям сдаешь, Никифор? Вот бы и робил на себя... Глядишь, на зиму и с сеном.

– А для кого мне косить-то?.. Ну, прощайте!..

Никешка даже не взглянул на Даренку, сел на свою кобылу и уехал. Старики молча поглядели ему вслед и по обыкновению



промолчали. Даренка тоже молчала: она боялась, что Морока видела Матрена. Загорелая, здоровая, Даренка была девка хоть куда, если бы не худая фабричная слава. Она долго стояла, не двигаясь, глядя на выкошенное место. Не кспытанная еще тоска сдавила ее девичье сердце: вот если бы она была замужем, то-то спорая пошла бы работа.

Когда Даренка вечером пришла с косой на плече к балагану, старая Арина с какой-то особенной ласковостью посмотрела на нее и даже поправила выбившиеся из-под красного платка светло-русые волосы. Когда их глаза встретились, девушка поняла, что мать жалеет ее, и это еще больше защемило ее сердце. Ночью Даренка тихонько плакала, не зная о чем, а старик Мирон лежал и думал:

«Пожалел Никешка девку... Тоже вот поди: шалый, а пожалел».

## V

Наступила осень. Сивая кобыла опять бродила по улицам Чумлянкого завода на полней свободе: значит, Морок был дома, и его голова торчала из окна избушки.

Было ясное осеннее утро. Земля, скованная первым морозом, звонко гудела под ногами. Издали было слышно, как катились телеги. Никешка сидел на своем посту и ждал, когда загудит на фабрике проклятый свисток. Он сидел в новой ситцевой рубаше, включенные волосы были намазаны коровьим маслом, и вообще в Никешке случилась перемена. В доме Еграньки Ковшова происходило какое-то таинственное движение, и из-за косяков мелькали любопытные лица, а Никешка все сидел, поджидая свисток.

– Ишь, тварина, где-то наелась-таки! – вслух удивился Морок, когда в конце улицы показалась сивая кобыла, направлявшаяся домой. – То-то дошла скотина!..

Приближавшийся топот невидимых ног заставил Никешку оглянуться на противоположный конец улицы: там, от кабака Пимки, медленно подвигалась целая толпа народа. Морок сразу узнал старосту, старика Мирона и понятых. Все шли не торопясь и остановились у избы Мирона. Вышла на улицу старуха Арина и запричитала, указывая на избушку Морока. Понятые смущенно молчали и только переминались на месте, как стадо овец,

наткнувшееся на волчье логовище. Потом староста перешел на другую сторону улицы, и все сгрудились у избы Ковшова. В окне высунулась голова самого Еграньки и закричала:

– Что вы на его смотрите: тащите в волость – вот и весь сказ! Не больно важное кушанье. Да горячих ему залепить, да в карц, да опять горячих, да...

– Оно, конечно, следует, – соглашался староста, поглядывая на избу Никешки. – Даже весьма следует... гм... да...

Не впервой... то есть три шкуры спустить... Прежде сапоги да коней воровал, а теперь... да...

– Берите его! – орал Егранька, входя в азарт. – Прямо за волосы волоките!.. Катай его!..

Эти вопли не производили надлежащего действия на толпу: мужики переминались, подталкивали друг друга и вообще из решались приступить к действию. Решительный момент наступил, когда к толпе присоединились чахоточный синельщик Илья и чеботарь Калина. Под их предводительством толпа отделилась от избы Ковшова и через улицу направилась к избушке Морока. А Никешка все сидел в окне и с спокойствием записного философа ждал, что из всего этого произойдет.

– Бей его... катай!.. – орал Егранька, перебегая от окна к окну. – Бери...

Не доходя несколько шагов до избушки, толпа остановилась. Наступил новый момент нерешительности, пока староста не приступил к исполнению своих прямых обязанностей.

– Мы к тебе пришли, Морок...

– Вижу.

– Ну, так ты уж того... да... Айда в холодную! Прежде сапоги воровал, а теперь девку чужую увел... Подавай Даренку, а сам айда в волость.

– Ну нет, брат, шабаш! – закричал Морок, показывая в окно кулак. – У Даренки свои ноги есть, а я шабаш... Будет!

– Никешка, дьявол, тебе добром говорят!

Подбежавшая к окну старуха Арина хотела было схватить Морока прямо за бороду, но тот уклонился. Поднялся сразу страшный гвалт, – все кричали, ругались, показывали кулаки. Общественная нравственность была оскорблена и требовала отмщения. Главное,

женатый мужик увел девку, да еще и увел у суседа, – это было невозможно... Даренка действительно сидела в избушке Морока, бледная, перепуганная, плохо сознававшая, что происходило около нее. Она слышала только вопли матери и не смела шевельнуться. Что им нужно?.. Даренка ушла к пропащему человеку Никешке потому, что это был единственный человек, который ее пожалел. На фабрике она переходила с рук на руки, как пущенная в оборот монета, и везде было одно и то же: ее сначала заманивали, дарили что-нибудь для первого раза, напаивали водкой, а потом следовали побои, издевательства и позор. У одного Никешки нашлось для нее теплое, ласковое слово, и она пришла к нему: он такой сильный и не даст никому в обиду. Ей, как уличной собаке, так немного было нужно...

А Морок стоял у окна, выпрямившись во весь свой рост, и ждал приступа с спокойствием решившегося на все человека.

О, он теперь не дастся им живой в руки и Даренку не даст: пусть попробуют!.. Дверь была заперта на задвижку, и, чтобы попасть в избу, нужно было ее выломать. Чья-то рука уже пробовала ее, и Никешка закричал не своим голосом:

– Не подходи... убью!

Этого было достаточно, и в окно полетели камни, поленья и куски замерзшей грязи. Подслеповатые зеленые стекла вылетели с жалобным звоном, а переплет гнилых рам представлял собой плохую защиту. Из избушки в ответ на эту канонаду полетели какие-то черепки и целые кирпичи. Толпа, встретив такой ожесточенный отпор, отступила, и опять наступило затишье.

– Никешка, говорю тебе добром: выходи... – попробовал еще раз староста усюветить разбойника. – Хуже будет.

– Убью!.. – ревел Никешка, бросая из окна досками от развороченных полатей. – Не подходи...

– Валяй его! – орал через улицу Егранька, бегая у своей избы.

Староста снял шапку, почесал затылок и, повернувшись спиной к избушке Морока, проговорил:

– Ребята, пойдете домой!

# Приисковый мальчик\*

## Рассказ

### I

Для Ермошки последний Ильин день останется навсегда в памяти, как день удивительных приключений и еще более удивительной его собственной, Ермошкиной, изобретательности.

По праздникам Ермошка обыкновенно околачивался у приисковой конторы или господского дома. Своя казарма пустовала, потому что рабочие расползались в разные стороны и возвращались домой только к утру, если были в состоянии это выполнить. Ермошка тоже слонялся целый день на полной своей воле и, по примеру больших рабочих, приносил с такого праздника подбитый глаз или какое-нибудь другое праздничное увечье.

На прииске Любезном Ильин день праздновался особенно широко, потому что главная шахта называлась «Ильинской».

Итак, Ильин день наступил. Ермошка проснулся по обыкновению рано, но провалялся на своей наре лишний час, благо сегодня ему не нужно «гонять барабан». В отворенную дверь казармы заглядывало горячее, летнее солнце, так что глазам было больно. Первым делом Ермошка сбегал к ближайшей выработке и приблизительно умылся, то есть размазал по лицу полосами ярко-желтую приисковую глину. Затем он надел новую ситцевую рубаху, плисовые порыжелые шаровары, пригладил скатавшиеся копной волосы на голове и почувствовал себя окончательно в праздничном настроении. Возвращаясь через казарменную кухню, Ермошка воспользовался отсутствием зазевавшейся артельной стряпки Леканиды и стянул порядочную краюху пшеничного хлеба, которую и спрятал с ловкостью записного вора под нары.

– Ах, ты, пес! – крикнул на него лежавший на печи старик Осип, служивший шорником. – Вот уж я скажу Лекани-де-то, так она те расчешет башку-то...

Ермошка запустил в старика валявшимся на полу старым лаптем и ретировался. Покрытое веснушками и загаром, скуластое лицо Ермошки дышало завидным здоровьем, а серые глаза смотрели с откровенным нахальством настоящего приискового мальчишки, выросшего в рабочей казарме без всякого призора.

Позавтракали сегодня рано, потому что народ торопился разойтись по промыслам, и многие не обещались вернуться даже к обеду. Нахлебавшись щей из толстой крупы с забелой из сметаны, Ермошка отправился в поход вместе с другими.

Стряпка Леканида, конечно, хватилась недостававшей краюшки, но махнула рукой на разбойника: за обедом раскроется хлебом, который останется от загулявших рабочих... Да и то сказать, Леканиде было не до Ермошки: она торопилась поскорее убраться у печи, чтобы отвести свою приисковую душеньку на гулянке.

Прииск Любезный занимал большую площадь, перерезанную с угла на угол болотистой речонкой Шабейкой. Издали и вблизи общая картина имела совсем унылый вид: плоская болотистая равнина, тощий болотистый лесок, грязные дорожки и кое-где громадные выработки и целый ряд приисковых построек. Рабочая казарма, в которой жил Ермошка, стояла уже на борту выработавшейся золотоносной россыпи, – работы были отодвинуты чуть не за версту. До приисковой конторы от казармы было с версту. На пути стояла знаменитая Ильинская шахта, давшая владельцу Любезного больше пятидесяти пудов золота; снаружи деревянный корпус, защищавший шахту, ничего особенного не представлял – деревянный сарай с высокой железной трубой, и больше ничего... Железная труба вечно дымилась, потому что паровая машина день и ночь откачивала тяжелую и холодную «рудную» воду. Она же вертела стальные бегуны, дробившие кварц в каменную муку. Каждый уголок на прииске был известен Ермошке, как свои пять пальцев; он и песок с россыпи возил по железной дороге на машину, и у паровых котлов ходил, и на машине состоял, и канавки для воды проводил, а теперь «гонял барабан», то есть целый день ездил на паре лошадей кругом громадного деревянного барабана, на который наматывалась снасть, «выхаживавшая» из шахты бадью с породой или «пустяком». Проходя мимо своего пустовавшего по-праздничному вагона, Ермошка лихо

свистнул на невидимых лошадей, – свистел он ухарски, так что непривычный человек вздрогнет.

– Гли-ко, робя, это что у конторы! – крикнул Ермошка, взглядываясь вперед. – Никак, гости приехали...

Не дожидаясь ответа, Ермошка уже летел вперед на всех рысях, так что сверкали только его голые пятки. Надо было поспеть вовремя и разузнать, кто приехал, откуда и зачем. Чужие люди редко показывались на Любезном и являлись жертвой неудержимого любопытства Ермошки. Он еще издали заметил, что приехавшие были люди необычные. У подъезда господского дома понуро стояла старая сивая лошадь, запряженная в странной формы повозку, – это были простые дроги с плетеным кузовом, защищенным от враждебных стихий парусиной. Так никто на промыслах не ездил... На крылечке стоял, вытянувшись в струнку, швейцар и бережной хозяина, по прозвищу Гусь, а перед ним без шапки переминался с ноги на ногу какой-то бритый человек с длинными усами. Из экипажа выглядывало бледное женское лицо.

– Сами Вукул Ефимыч приказали, – повторял бритый человек. – Так как они видели нашу игру и весьма одобряли... Да. Мы в Елковском заводе представление имели для почтеннейшей публики, и господин Вукул Ефимыч тогда же удостоили нас своим вниманием и приказали приехать на Любезный.

Гусь подозрительно оглядывал с ног до головы бритого человека и отрицательно качал головой, что в переводе означало, что не может этого быть.

По воровской привычке Ермошка не подошел к крыльцу прямо, а предварительно обошел кругом экипаж и заглянул под парусину. Повозка оказалась нагруженной доверху какими-то ширмами, крашеными палками и подозрительными узлами. Поторговавшись для важности с бритым человеком, Гусь ушел в господский дом и на всякий случай запер за собою дверь на крючок. Бритый человек подошел к повозке и ласково сказал бледной женщине:

– Все отлично... Вукул Ефимыч дома. А холуй еще ломается...

Появившийся на крыльце Гусь поманил бритого человека, и они скрылись в подъезде.

– Тетенька, вы кто такие будете? – осведомился Ермошка, взглядывая под парусину.

– Мы комедию будем представлять...  
– Какую комедь?  
– А вот увидишь...  
– Где?  
– Здесь. Палатку поставим и будем представлять... Если хочешь посмотреть, так припасай гривенник.

У Ермошки захватило дыхание от этого известия, и он сразу сообразил все. Шорник Осип видел, как комедию ломают... Вот так штука!.. Гусь и бритый человек вышли снова на подъезд уже совсем приятелями: Вукул Ефимыч приказали всячески способствовать приехавшим комедьщикам.

Комедьщики приехали... комедьщики!.. – кричал Ермошка, бросившись сначала к корпусу служащих, а потом обратно к своей казарме. – Комедьщики!

## II

Центр Любезного прииска составляла его приисковая контора с господским домом, корпусом для служащих, амбарами, конюшнями и разными другими приисковыми постройками. Маленькая, неправильной формы площадка разделяла их, точно заплатка, пришитая неумелой рукой. Вот на этой площадке бритый человек и принялся за дело. Прежде всего он воткнул в землю большой шест с красным флагом и пестрой афишей, гласившей, что мосье Пертубачио имеет честь известить почтеннейшую публику о своем благополучном прибытии. Далее следовали некоторые подробности: мосье Пертубачио, изучивший черную и белую магию, покажет чудесные явления из мира таинственного, будет плотать горящий огонь и шпаги, представит опыт индийского чрево вещателя, олимпийские игры, всевозможные фокусы и в заключение всего знаменитую воздушную фею мисс Санта-Анну, или «бюст женщины, одобренный многими высокими особами». Гусь был прикомандирован на помощь мосье Пертубачио и с обиженным видом смотрел, как тот быстро устраивал свою походную палатку из заплатанной парусины. Около этого походного сооружения собралась целая толпа и впереди всех, конечно, пожираемый любопытством Ермошка...

– Вот так немец!.. – слышались одобрительные возгласы. – Ловко приспособился...

– Ви не мешайт мой... – бормотал мосье Пертубачио искусственно-ломаным языком, отодвигая напиравшую толпу. – Мой будет давать морда... Доннерветтер!.. Мальчишка, долой, каналья!

Особое внимание мосье Пертубачио обратила на себя стоявшая недалеко от палатки сухая береза. Он несколько раз подходил к ней, пробовал ее и качал недоверчиво головой, – береза была гнилая и не выдерживала напора его рук.

– Проклятая шволочь!.. – бормотал мосье Пертубачио, оставляя в покое гнилую березу.

Все эти таинственные приготовления совершались чуть не целый день. Когда палатка наконец была готова, мосье Пертубачио торжественно вывесил по обеим сторонам входной двери две картины, – на одной изображен был он сам, плотающий огонь, а на другой мисс Санта-Анна, или бюст женщины. Возбужденному приисковому любопытству не было меры и границ. Невозмутимый Гусь был приставлен охранять палатку от нескромного любопытства приисковой публики.

Представление было назначено в шесть часов вечера, когда хозяин прииска Вукул Ефимыч Злобин соснет после обеда. Это была целая вечность для нетерпения Ермошки. Он позабыл о своем обеде и не отходил от палатки ни на шаг. Вдруг он уйдет, и представление начнется без него... Мосье Пертубачио закусил что-то с своей воздушной феей и тоже прилег отдохнуть.

Ермошка ужасно беспокоился и в каждом новом человеке видел своего кровного врага, который займет именно его место. Палатка была невелика, негде кошки за хвост повернуть, а народ все прибывал.

– Тише вы, галманы, – как-то шипел на всех Гусь. – Вукул Ефимыч изволят почивать... Право, вариачье!..

Так как всему на свете бывает конец, то и Вукул Ефимыч изволил наконец проснуться. Гусь был отозван в господский дом и получил строгий наказ стоять все время представления у палатки и наблюдать, чтобы «не было худых слов». Вукул Ефимыч шел на представление с собственной супругой, потом будут жены служащих и наконец девицы, а народ праздничным делом пьяный.



– Ты у меня смотри, каналья! – предупредил Вукул Ефимыч и многозначительно погрозил верному Гусю своим опухшим от жира пальцем. – Понимаешь, будут барышни.

– Могу соответствовать вполне, Вукул Ефимыч...

Представление началось с того, что мосье Пертубачио вышел из своей палатки с медной трубой и затрубил, а потом ударил в барабан. У Ермошки дух захватило от волнения: начиналось что-то необыкновенное. Когда замерла последняя трель барабана, в палатке захрипела походная разбитая шарманка, над которой трудилась мисс Санта-Анна. Мосье Пертубачио выставил у входа небольшой деревянный столик, раскрыл деревянную шкатулку и принялся продавать билеты.

– Каспада, пожалуйт... – повторял он, раскланиваясь с почтенной публикой. – Сегодня на деньги, завтра в долг...

Первым покупателем явился Ермошка. Мосье Пертубачио внимательно осмотрел поданный пятиалтынный, попробовал его на зуб и, подозревая Гуся, проговорил:

– Фальшивая монета.

– Ах, ты, варначонок!..

Космы Ермошки очутились в могучей длани Гуся, и его маленькое грешное тело покатилося к ногам мирно дремавшей сивой кобылы... Гусь давно уже заметил вертевшегося у палатки Ермошку и инстинктивно почуял в нем своего врага. Ермошка, нужно сознаться, был порядочно обескуражен таким неблагоприятным началом, хотя и знал, что его «монет» фальшивый. Неужели он так-таки ничего не увидит?.. Нет, это было ужасно... Целый день ждать и ничего не увидеть?.. Ермошка сильно задумался и готов был разреветься с горя. Но шарманка играла, барабан опять бил, и время даром терять не приходилось. В палатку прошли уже двое служащих с женами, потом барышни и наконец сам Вукул Ефимыч с собственной супругой. Это было сигналом для остальной публики, бросившейся покупать билеты нарасхват.

Ермошка совсем упал духом, когда представление началось, а он, Ермошка, остался за палаткой. Мальчик просто сгорал от любопытства и готов был расплакаться. Машинально он несколько раз обошел палатку, стараясь не попадаться на глаза Гусю. А в палатке, видимо, творились чудеса, и публика хохотала неистово. Случайно

Ермошка обратил свое внимание на большую заплату в задней стене палатки. Отодрать ее и проделать небольшое отверстие для него было делом нескольких секунд, и вот все чудеса перед ним. Ермошка видел теперь всю публику: впереди всех сидел Вукул Ефимыч с супругой, за ним сидели служащие со своими семьями, а назади стояла на ногах остальная черная публика. Сцену заменял подержанный тюменский ковер, на котором мосье Пертубачио показывал свои фокусы; плотал зажженную паклю, играл на кофейнике и в заключение взял золотые часы Вукула Ефимыча и истолок их вдребезги в медной ступке. Мисс Санта-Анна подавала ему необходимые вещи и несколько раз заслоняла своей широкой спиной поле зрения Ермошки. Когда мосье Пертубачио подал Вакулу Ефимычу совсем целые часы, Ермошка расхохотался до слез и должен был на время оставить свой наблюдательный пост. Но это проявление искренней детской радости чуть его не погубило: когда Ермошка опять заглянул в свою дыру, воздушная фея Санта-Анна ткнула в нее чем-то так, что он едва успел отскочить.

– У, дьявол! – ругался Ермошка, отскочив. – Прямо в глаз метила, окаянная душа...

У Ермошки явилась счастливая мысль достать палку и ткнуть ее прямо в спину проклятой мисс Санта-Анны. Половина этого плана была приведена в исполнение, но когда Ермошка подошел к своей дыре, то знакомая уж ему длань Гуся ухватила его за волосы и распростерла ниц. Визг Ермошки совершенно потерялся в шумных проявлениях восторга благородных зрителей.

– Ты у меня, сибирская язва, смотри! – грозно шипел Гусь, отгоняя Ермошку от палатки пинками.

Что было делать? Теперь уж нельзя было к палатке подойти, потому что проклятый Гусь сторожил его. Скрепив сердце Ермошка вмешался в толпу и очутился под березой. Взлезть на нее было опять делом нескольких минут. Публика, толкавшаяся у палатки, одобрила предприятие Ермошки, так что даже преследовавший его Гусь теперь был бессилен и только издали погрозил вороватому врагу кулаком. Ермошка торжествовал. Ермошка был выше всех и видел решительно все, а представление у него шло на глазах: было видно решительно все, даже то, чего не видела заплатившая деньги публика. Мосье Пертубачио плотал шпаги, показывал опыты чревовещания, опять

плотал зажженную паклю и наконец заявил, что покажет «бюст женщины». Предварительно он загородился от публики красной ширмочкой, потом поставил за ширмочкой тот самый столик, на котором давеча продавал билеты, посадил на него свою воздушную фею, вытащил откуда-то несколько зеркал – Ермошка все это видел и замер от восторга. Когда волшебная ширмочка раскрылась, мисс Санта-Анна видна была только по пояс, и любопытные могли с ней разговаривать и даже ощупать ее, как предлагал мосье Пертубачио, чтобы убедиться, что это не кукла, а живой человек. Ермошка до того вытягивался, стараясь разглядеть, куда спрятаны ноги мисс Санта-Анны, что гнилая береза не выдержала и рухнула вместе с ним прямо на палатку...

### III

Можно себе представить смятение почтеннейшей публики, произведенное падением Ермошки. Когда березу убрали и публика немного пришла в себя, первым делом, естественно, явился вопрос о Ермошке, но приисковый мальчик точно сквозь землю провалился. Мисс Санта-Анна припоминала, как во сне, что старалась схватить этого разбойника за волосы, но он ловко бросился к ней под ноги, уронил ее и исчез. Вукул Ефимыч потребовал ответа от Гуся, как лица, облеченного специальной доверенностью, но Гусь только размахивал руками и ругался.

– Ну, я с тобой рассчитаюсь после! – грозился Вукул Ефимыч, показывая Гусю кулак. – Пошел вон, дурак!..

После этого невольного антракта представление продолжалось. Гусь по-прежнему стоял у входа, вытянувшись в струнку, и его душа кипела негодованием. Только бы увидеть ему этого подлеца Ермошку, и он показал бы ему...

А Ермошка был тут, всего в двух шагах. Он укрылся под «парадным» крыльцом господского дома. Здесь он прежде всего привел в порядок свой праздничный костюм, вытер нос и принялся наблюдать, что делает проклятый Гусь. Стоило выпянуть Ермошке из своей засады, как Гусь сейчас же накрыл бы его. Необходимо было ждать... Ермошке сделалось грустно. Другие веселятся, мисс Санта-

Анна вертит свою шарманку, мосье Пертубачио выкидывает все новые колена, а он, Ермошка, должен сидеть для праздника под крыльцом.

Да, музыка гудела, на площадке галдел по-праздничному приисковый люд, а Ермошка выглядывал из своей дыры, как мышонок. Ближе всего к нему стояла повозка мосье Пертубачио с привязанной к ней сивой лошадью.

Летний день быстро догорал. Солнце багровым шаром спустилось за разорванную линию обступившего со всех сторон прииск Любезный леса. Быстро надвигались короткие летние сумерки. Ближайшее болото точно задымилось белым туманом. Мосье Пертубачио в третий раз протрубил в свою трубу и с изящным поклоном объявил публике, что сейчас начнется последнее действие его представления, именно живая картина, или полет воздушной феи мисс Санта-Анны. Раскланявшись грациозно, мосье Пертубачио удалился из палатки: ему нужно было переодеться. Он отыскал свой экипаж и быстро принялся за дело. Прежде всего мосье Пертубачио, конечно, снял свой пиджак и жилет, а затем остальные принадлежности своего костюма. Свернув все это одеяние, он сунул его под беседку экипажа, а на себя натянул заштопанное и довольно грязное трико. Вся эта операция хотя и совершалась в темноте, но-от волчьего глаза Ермошки не ускользнуло ничего, до мишуры и блесков костюма комедьщиков включительно. Вслед за мосье Пертубачио переделась и мисс Санта-Анна, являвшаяся теперь главным действующим лицом. Она была в короткой кисейной юбочке, в трико телесного цвета и с восхитительно-голыми руками. Мосье Пертубачио подхватил ее за руку, и они легкими прыжками вернулись в палатку.

Пользуясь темнотой, Ермошка вылез из своей засады, огляделся и подошел к экипажу. Сивая лошадь проснулась и посмотрела на него усталыми добрыми глазами. Прежде всего Ермошка запустил руку под беседку, извлек оттуда только что снятый костюм мосье Пертубачио и сделал быстрый обыск. Его внимание заняли главным образом штаны комедьщика, то есть карманы оных. Нашупав портмоне, Ермошка извлек его, сунул за пазуху, а потом привел все вещи в порядок и сейчас же исчез в темноте, как известно, специально благоприятствующей влюбленным и ворам.

Последнее действие произвело необыкновенный эффект, так что бедная мисс Санта-Анна даже покраснелась от быстрых движений и общего внимания. Она грациозно раскланивалась, прижимала обе руки к сердцу и посылала воздушные поцелуи. Мосье Пертубачио тоже кланялся, счастливый тем, что мог заработать целых семь рублей двадцать копеек. Улыбающаяся и счастливая чета грациозными прыжками вернулась к своему экипажу, чтобы переодеться. Можно себе представить изумление и ужас мосье Пертубачио, когда он, облекшись в свою походную пару, не нашел портмоне. В Первую минуту несчастный онемел... А мисс Санта-Анна, возбужденная успехом, сладко улыбалась. Как ему тяжело было огорчить свою верную подругу...

Первым движением мосье Пертубачио было броситься за помощью к Гусю, который отдыхал после тяжелого дня на своем крылечке. Мосье Пертубачио объяснял ему свою историю шепотом и все сбивался, так что Гусь заподозрил его сначала во лжи и глубокомысленно молчал.

– Ведь семь целковых! – повторял мосье Пертубачио, опускаясь в изнеможении на лесенку. – Ньюта радуется, а я не могу ничего выговорить.

Гусь только что хотел сказать несколько теплых слов по адресу шляющихся комедьщиков, которые только беспокоят добрых людей, как вдруг мосье Пертубачио, тот самый Пертубачио, который сгибал в пальцах двугривенные, схватил руками собственную голову таким движением, точно хотел ее оторвать, как совсем ненужную вещь, и... заплакал. Это безмолвное проявление искреннего горя, с одной стороны, тронуло Гуся, а с другой, для него сделалось ясным решительно все.

– Ах, он, варнак!., а? Ах, подлец! – шипел Гусь, поднимаясь. – Некому другому этого сделать, как ему...

– Кому?

– То-то я смотрю: все вертелся на глазах, как бес, а тут сразу сгинул... Его дело!..

– Чье?

– Ну, варнак этот, который с березы на публику сверзился. Ах, ирод!..

– Я его не видал...

– И я тоже... Понимаешь ты, мосье: некому больше!.. Все вертелся на глазах, а тут пропал... Он!.. С живого кожу сдеру...

Гусь поднялся с решительностью убежденного человека, сделал знак мосье Пертубачио и повел его за собой. Скоро они скрылись в темноте. Комедьщик покорно следовал за своим мрачным путеводителем, шагая через какие-то ямы, запинаясь за камни, точно пьяный.

– Ведь семь рублей... – повторял он упавшим голосом. – А она так беззаботно улыбается... И руками тянется ко мне... Если она узнает, это ее убьет. Понимаете? Она нервная... А я-то как отлично сегодня работал: сейчас еще каждая косточка ноет.

Небо покрылось неизвестно откуда напоззшими облаками, точно войлоком. Нигде не светило ни одной звездочки. Летний жаркий день быстро сменился прохладой надвигавшейся грозы, которой уже пахло в воздухе. Гусь несколько раз смотрел на небо, прислушивался к чему-то и наконец проговорил:

– Быть грозе... На то тебе Ильин день. Уж это завсегда так... Нонче Илья-то маненько запоздал.

Точно в ответ на эти слова сверху ярким изломом бросилась молния, и после короткой паузы тяжелым раскатом ударил гром.

– Господи, прости нас, грешных! – крестился Гусь.

#### *IV*

В казарме едва светился замиравший огонек, – это играли в три листа неугомонные приисковые забулдыги, ставя на карту последние гроши. Остальные давно спали на нарах, раскинувшись в самых непринужденных позах. На печке спал старый шорник Осип, а за печкой на лавочке прикорнула подгулявшая приисковая стряпка Леканида. Намаялась она за день, а потом бабьим делом выпила. В заключение гулянья ее больно поколотили и пообещали совсем порешить, если бы она не убежала в темноте. Каждый праздник нещадно колотили Леканиду, и каждый праздник она горько каялась в своих грехах и давала зарок, что это уж последний раз и что больше она не посмотрит глазом ни на одного проклятого мужика.

– Эй, вы, челдоны! – крикнул Гусь, входя в казарму. – Где тут у вас парнишка?

Игроки даже не удостоили ответом грозное начальство, продолжая свое дело.

– Вам говорят, омморошные! – еще грознее крикнул Гусь.

Никто не шевельнулся и не повернул головы. Гусь величественно стоял у двери, а за ним мосье Пертубачио, подавленный своим горем.

– Какого тебе парнишку? – откликнулась из запечья Леканида.

– А этого самого... Ермошкой звать.

– Тут где-нибудь спит, – сонно ответила Леканида, зажигая сальную свечу. – Ужо вот я посвечу.

Розыски начали при колебавшемся свете сальной свечи. Леканида обошла все нары – Ермошки нигде не было. Было осмотрено помещение под нарами – тоже.

– Куда бы ему деться? – удивлялась Леканида, стараясь не смотреть на беспомощно распростертые мужицкие тела. – Да вам-то на что его?

– Уж это наше дело, – строго ответил Гусь. – Ну-ка, краля, посвети на печь.

– Осип там спит, шорник... Неможется ему, – объяснила Леканида, шагая к печи. – К ужину только прибег Ермошка-то, наголодался за день, как пес, а потом свернулся – только его и видела.

На печке действительно спал шорник Осип, а за ним сам Ермошка. Гусь схватил его за голую ногу и, сонного, поволок прямо на пол.

– Тебя-то и надо, молодца! – грозно крикнул Гусь, встряхивая заспанного Ермошку.

Ермошка ничего не понимал и только смотрел кругом заспанными глазами. Гусь ощупал его, слазил на печку, пошарил там – ничего.

– А где у него сундук? – спрашивал Гусь, огорченный этой неудачей.

– Никакого и сундука нет, – отвечала Леканида, сообразившая, в чем дело. – Весь тут: рубаха на ем да штаны... Никакого сундука нет.

Гусь схватил Ермошку за руку и поволок из казармы. Мальчик упирался изо всех детских сил, пробовал укусить руку Гуся, но все напрасно.

Ермошка очутился за пределами казармы и понял, что все кончено. Гусь куда-то тащил его за руку, а мосье Пертубачио подталкивал сзади коленом. «Убьют меня в лесу», – мелькнуло в голове у Ермошки, и он попробовал закричать благим матом. Но и эта последняя попытка не помогла, потому что Гусь закрыл Ермошкин рот своей широкой ладонью. Они молча отвели пленника от казармы и остановились.

– Сказывай, куда дел деньги? – рявкнул Гусь, подняв Ермошку за волосы.

– Дяденька, вот те Христос, не брал!., знать не знаю!.. – вопил Ермошка, отчаянно болтая ногами.

– А вот узнаешь! Мосье, держи его за ноги.

Ермошка был повергнут на землю, и Гусь с ожесточением принялся его лупить сломанной по пути розгой. Отчаянный вопль огласил лес и жалко замер.

– Не знаешь? – спрашивал Гусь, делая небольшую передышку.

– Ничего не знаю... вот сейчас провалиться...

– Мосье, теперь ты катай его, а я подержу за ноги, – решил Гусь.

Экзекуция началась с новой энергией, и новый вопль Ермошки опять замер в окружавшей темноте. Ермошку били так часто и много, что он перенес бы это истязание, но его испугала ночь, окружавшая темнота и его полная незащитность. Что стоило рассвирепевшим мужикам убить его, а потом бездыханное Ермошкино тело бросить куда-нибудь в шурф! Эта мысль заставила Ермошку сделать признание.

– Давно бы так, – другим тоном проговорил Гусь. – Куды деньги-то запрятал, пес?

Ермошка соображал: ему нужно было выиграть время и место. Разгорячившись, мужики запороли бы его насмерть, да и место самое глухое.

– Под крыльцом в землю закопал... – признался Ермошка, лежа на земле. – У господского дома под крыльцом.

– Ну, смотри, ежели надуешь, так я тебя в порошок изотру, – пообещал Гусь. – Под крыльцом, говоришь?

– В уголке закопал.

По дороге к господскому дому Гусь наломал розог и очистил их от листьев.



– Отдай мои семь рублей, – говорил мосье Пертубачио, подталкивая Ермошку ногой. – Я тебе пряников куплю...

В господском доме окна были еще ярко освещены, когда Ермошка очутился на месте преступления.

– Ну? – коротко буркнул Гусь, когда они подошли к крыльцу.

Ермошка осмотрелся и полез под крыльцо. Гусь тоже растянулся на земле, хотя и не мог залезть в узкую дыру. Несколько времени Ермошка копал землю, а потом заявил шепотом;

– Дяденька, кто-то утащил портмонет-то!..

– Что-о! Ах ты, подлец... да я...

Гусь никак не мог залезть под крыльцо и только болтал ногами, а Ермошка, воспользовавшись удобством своей неприступной позиции, заревел таким благим матом, что сбежались не только все из господского дома, но и из корпуса служащих. Гусь был сконфужен... Вукул Ефимыч сам принялся за разбор дела и, когда узнал все подробности, залился неудержимым хохотом: уж очень ловко все было оборудовано.

– В штанах, говоришь, портмоне был? – спрашивал он растерявшегося мосье Пертубачио. – Пришел, надел, а портмоне-то и нет... Ха-ха-ха!.. Дудил в трубу, представлял, а денег и нет? Ох, уморил... Ну и ловок Ермошка!.. Как вы его, черти, насмерть не забили в лесу-то!

Развеселившийся Вукул Ефимыч заплатил мосье Пертубачио красненькую «за хлопоты», а Ермошку велел отпустить с миром. Когда Гусь рассказывал о подвигах Ермошки, весь господский дом покатывался со смеху. Вукул Ефимыч был доволен и велел покормить комедьщиков ужином.

Когда на другой день мисс Санта-Анна проснулась, первое, что ей бросилось в глаза, была сивая лошадь, – она понуро и сконфуженно посмотрела на нее своими добрыми глазами. Великолепный сивый хвост был отрезан начисто... Кто это сделал – всем было ясно, как день.

## Крестник\*

### Этюд

#### I

– Васька объявился, Александр Иваныч...

– Ах, мерзавец!..

– Опять с каторги выворотился... Наши заводские его видели на тракту. Идет это с котомочкой и кланяется, а потом остановился и говорит: «Скажите, – говорит, – поклонник крестному!». То-то охальник он, Васька-то...

– Мошенник... Так и говорит: крестному?

– Так и сказал.

– Чего же его не задержали, подлеца? – возмутился Александр Иваныч, разлаживая свою окладистую рыжую бороду.

– Да уж так, Александр Иваныч... Кабы наши заводские, так беспременно пымали бы, а то деревенские. «Кто его знает, – говорят, – что у Васьки на уме... Не прост человек, коли из бессрочной каторги выворотился».

– Дураки!

– Известно, деревня, Александр Иваныч... Потом бабы видели Ваську на покосе. Наши заводские бабы-то сразу опознали Ваську... Он еще хлебца у них попросил, потому как, значит, в бегах больно отошал. Известно, каторжник: где день, где ночь – все одно лесной зверь. А бабы, известно бабы, как все одно овечки в лесу: все отдам, только не тронь. Жив смерти боится, Александр Иваныч.

Этот доклад происходил рано утром, когда становой Александр Иваныч, в халате и с трубкой в руках, пил чай. Высокий, костлявый, с выпученными глазами неопределенного цвета, Александр Иваныч пользовался большой популярностью в своем участке, как человек исполнительный и энергичный. Любимой его поговоркой было: у волка в зубе Егорий дал. Именно на такого волка и он сам походил, особенно с головы, костлявой и широколобой, с большим, точно вечно

нюхающим носом и гладко остриженными щетинистыми волосами. Докладывал о Ваське заводский объездной лесник, коренастый и кривоногий мужик, по фамилии Хрусталеv. Он был в своей форме – в сером полукафтaнье, перехваченном красным кушаком, и с медной бляхой. Небольшая русоволосая головка с быстро мигающими глазками была крепко посажена на широкие плечи, а несоразмерно длинные руки придавали такой вид, точно они были взяты от другого человека.

– Ну, так что тебе нужно? – хрипло спросил Александр Иваныч, насасывая свою трубку.

– А значит, объявить пришел, Александр Иваныч, потому как дело совсем особенное. Значит, на всякий случай...

– Да ведь у тебя свое начальство есть, ему и объявляй. Умнее меня хотят быть, ну, пусть и ловят Ваську... Ваши-то заводские очень уж расфорсались, да и следователь новый тоже. Я да мы – ну и пусть делаются, как знают.

– Моей причины никакой тут нет, Александр Иваныч, а только я насчет Васьки... значит, известный у вас порядок...

– Дурак ты, Хрусталеv! – обругался Александр Иваныч и даже замахнулся на лесника чубуком. – Иди и скажи своему заводскому начальству, что они все дураки...

По обыкновению Александр Иваныч покричал, потопал ногами и выгнал лесника вон. Хрусталеv выскочил на улицу без шапки и долго встряхивал своей маленькой головкой, точно его окатили холодной водой.

– Что, получил два неполных? – смеялся кучер Александра Иваныча, сидевший за воротами. – Тоже к Александру Иванычу с молитвой надо подходить... Как еще на кого взглянет.

Эта маленькая бытовая сцена имела свои причины в тех недоразумениях, которые возникли у Александра Иваныча с Энским заводоуправлением. Пятнадцать лет Александр Иваныч «становил» в Энском заводе, был на счету у начальства и не раз получал за свою энергию отличную благодарность. Сам губернатор знал Александра Иваныча, называл его попросту Александром Иванычем и ставил в пример всем другим уральским становым. Конечно, были свои грешки и у Александра Иваныча (у волка в зубе Егорий дал), но начальство смотрело на них сквозь пальцы. На Энском заводе было, конечно, свое

заводское начальство, и очень большое начальство, которое с испокон веку ладило со станowymi, а с Александром Иванычем в особенности. Но враг человеческий силен, и черная кошка пробежала между сторонами.

Дело происходило на именинах управителя Зыкова. Александр Иваныч находился в прекрасном настроении духа и, в качестве почетного гостя, винтил с самим именинником и молодым судебным следователем Голубчиковым. Это был еще совсем молодой человек, но держал себя с большим гонором и, как показалось Александру Иванычу, отнесся к нему свысока. Может, это просто показалось Александру Иванычу, но, тем не менее, он затаил злобу. В довершение всего Александру Иванычу пришлось быть партнером Голубчикова, и, по привычке, выходя с валета бубен, он сказал:

– А ну-ка мы не помнящего родства бродягу выпустим...

«Непомнящий родства» был бит, и Голубчиков ядовито заметил:

– Эх, Александр Иваныч, не вам, видно, с бродягами дело иметь.

– Как не мне?.. Позвольте, молодой человек...

Произошел довольно крупный разговор. Хозяин вмешался и, стараясь примирить гостей, окончательно испортил все дело. Александр Иваныч досидел до конца вечера, простился с хозяином довольно холодно и увез с собой нараставшее злобное чувство: его променяли на мальчишку, на молокососа – его, Александра Иваныча. Зыков, в свою очередь, тоже обиделся: оы-то уж, кажется, был ни при чем, а тут еще услужливые люди передали Александру Иванычу, как похвалялся молодой следователь, что он и без Александра Иваныча обойдется, а ловить бродяг совсем не хитрая штука. Появление Васьки восстановило эту домашнюю историю, и по уходе Хрусталева Александр Иваныч даже потирал руки от удовольствия.

– Будем посмотреть, как Зыков с Голубчиковым будут ловить Ваську! – повторял он, пыхтя дымом. – Будем посмотреть.

## II

Сам по себе Васька является типичным роковым человеком. Он был мастеровой Энского завода и промышлял «по лесоворной части». Такая специальность объяснялась очень просто: громадная заводская

площадь принадлежала заводовладельцу всецело, а у населения никакой земли не полагалось, как не полагалось и лесу, а без лесу жить невозможно, как известно всем и каждому. В Энском заводе каждое бревно и каждое полено дров являлось, таким образом, продуктом «лесоворной части». Другого леса, кроме краденого, не существовало. Васька промышлял этим воровством и кое-как существовал. Зимой он вывозил бревна на себе – положит бревно на свои салазки и везет. Когда его ловили с поличным и предъявляли мировому судье, Васька удивлялся и очень резонно говорил:

– Кто его сажил, лес-то? Божий он... А что касаемо того, что я вырублю лесину, выволоку ее на своем хребте да продам за восемь гривен, так это какое же воровство: поденщина не окупается. Все мы хлеб едим, ваше высокоблагородие... Кабы другая подходящая работа попала, да я бы с моим удовольствием, а то вровень с двужильной лошадей маюсь, и я же вор.

Эти рассуждения ни к чему не вели, и Васька прошел через целую лестницу повышавшегося возмездия. Сначала его присуждал мировой судья к штрафам, потом на высылку, а в конце концов Васька достукался до окружного суда. В результате получилось заключение в острог, но и оно не исправило Ваську. По выходе из острога Васька опять попался в лесоворстве и по новому, строгому закону был лишен «некоторых прав и преимуществ» и сослан «в не столь отдаленные места». Но это не образумило Ваську: он бежал с места ссылки и пришел в Энский завод, как бродяга. Тут его и накрыл Александр Иваныч в первый раз.

– Ну, теперь будешь моим крестником, Васька... – посмеялся тогда Александр Иваныч и погрозил пальцем.

За этот побег Ваську лишили уже всех прав и сослали дальше, но он через год опять вернулся в свой родной Энский завод. Александр Иваныч опять его накрыл, и Ваську «обсудили каторгой» на три года. Через три года Васька снова «выворотился» домой, снова был пойман и, как бесплокаторжный, присужден был к плетям, а каторга увеличена на десять лет.

– Дурак ты, Васька! – ругался Александр Иваныч, – Не стало тебе места в Сибири, али ушел бы в Расею и сказался непомнящим родства. Всего-то бы тебе по суду вышло поселение, а ты прешь непременно домой. Право, дурак... Еще раз придешь – опять поймаю.

– Александр Иваныч, не могу я без своего места... – отвечал Васька откровенно. – Душеньку всю истомило. А за что муку-то мученическую принимаю? Из-за лесников... Ей-богу, правда! В первый-то раз у меня двоегривенного не хватило дать лесникам, чтобы не подводили под протокол. Вот вся моя причина... А ты посчитай, сколько у меня поденщин пропало по острогам да этапам. Тоже и наши напрасные слезы дойдут...

– Куда дойдут-то, дурья твоя голова?

– Ничего я не сделал, Александр Иваныч... – повторял Васька упорно.

– Вот и толкуй с тобой, с дураком! – ругался, в свою очередь, Александр Иваныч. – Думаешь, им сладко ловить тебя, дурака? Важное кушанье... Рук-то не стоит марать об тебя, а только моя такая собачья должность, что я с вами, воришками, должен валандаться...

Никаких художеств за Васькой не было, кроме упорного бегства домой, как раньше он упорно воровал заводский лес. Васька считал себя вправе рубить этот «божий лес», как теперь считал себя вправе выходить на родину. В последний раз он вышел из каторги года три тому назад и за этот побег был присужден в бессрочную каторгу и к полуторастам плетей. Даже Александр Иваныч, выдавший на своем веку всякие виды и переловивший сотни непомнящих родства и каторжников, подивился непобедимому упрямству своего крестника Васьки, – он называл крестниками всех пойманных бродяг.

Итак, Васька объявился, и заводской администрацией, совместно со следователем, приняты были энергичные меры. Александр Иваныч занял выжидательное положение. Не будь этих обострившихся отношений, Васька, вероятно, еще долго гулял бы на свободе, но мы уже сказали выше, что вся его жизнь складывалась роковым образом. Заводоуправление хотело показать, что оно обойдется и без Александра Иваныча, а поэтому подняло на ноги всю лесную стражу и согнало народ из волости. Ваську видели в окрестностях Энского завода, а потому везде по дорогам и были поставлены стражники, а лесники объезжали свои участки верхом. В числе последних находился и Хрусталеv, вооруженный револьвером. Время стояло летнее, и поиски велись по всем направлениям. Раз Хрусталеv выехал из завода ранним утром. В ближайшем леске он наткнулся на свежую сакму: по росе было видно, что прошел человек. Хрусталеv

направился по следу и скоро увидел между деревьями дымок. Он приостановился и стал разглядывать между деревьями. Действительно, курился огонек, а около огонька лежал человек.

«Должно быть, Васька... – подумал Хрусталева. – Управитель обещал четвертной билет, кто поймает».

Лежавший у огонька человек, в свою очередь, заметил Хрусталева, но не двинулся с места. Хрусталева подъехал ближе: как будто Васька, как будто и не Васька – сразу не разберешь.

– Эй, как тебя звать, не видал ли верхового? – спрашивал Хрусталева, стараясь выиграть время и расстояние.

– Что, лесная собака, не узнал? – отозвался Васька, поднимаясь. – Двадцать пять рублей охота получить?

– Стой, варнак!..

Васька побежал. Хрусталева погнался за ним. Некоторое время Васька лавировал между деревьями, но подвернулась поляна, и Хрусталева нагнал его вплоть.

– Стой: стрелять буду!..

– Стреляй...

Васька грудью пошел на своего преследователя, который выхватил револьвер. Но не успел Хрусталева взвести курка, как Васька одним прыжком кинулся к нему и всадил нож в живот. С криком рухнул с седла Хрусталева, а Васька вскочил на его лошадь и был таков.

Убитого лесника нашли только через три дня, и все были уверены, что это Васькина работа, хотя раньше он и не был замечен в каких-нибудь «качествах».

### III

Александр Иваныч торжествовал. Васька не только ушел цел и невредим, а еще зарезал Хрусталева. На время Васька исчез бесследно, хотя все были уверены, что он где-нибудь близко, и о нем ходили самые разноречивые слухи. Следовательно сбился с ног, разыскивая такого крупного преступника, но все было безуспешно.

Так прошло все лето и осень. Наступила зима. Раз, встретившись с следователем где-то на именинах, Александр Иваныч спросил:

– А когда-то вы Ваську поймаете?

– Да он ушел давно... Отчего вы его не ловили сами?

– Если захочу – и поймаю... Сегодня же поймаю. По рукам?

Гости подхватили Александра Иваныча на слове. Дело было близко к полуночи, и он сейчас же отправился в экспедицию, захватив с собой и следователя.

– Куда Ваське деваться, должен быть здесь, – уверял Александр Иваныч авторитетно. – Сказал: поймаю – и поймаю...

Ночь была темная и ветреная. Порошил сухой снежок. Становой с следователем и двумя стражниками выехали на окраину завода, где уже начинались плохие избенки. Около одной из таких избенок они остановились с необходимыми предосторожностями. Стражники остались на улице, а Александр Иваныч постучал в оконце. В избе долго никто не откликнулся, а потом тихо скрипнула дверь.

– Кто крещеный? – спрашивал старческий голос.

– Принимай гостей, Устиновна, – поздоровался Александр Иваныч, чиркая в сенях спичкой.

– Ох, Александр Иваныч, родимый ты мой... – запричитала старуха, – По душу по мою приехал?

Эта была мать Васьки, проживавшая в своей избушке бобылкой. Она и плакала, и тряслась, и ничего не умела объяснить. Совсем из ума выжила старуха. Александр Иваныч сделал осмотр избы во мгновение ока и даже спустился в «голбец», то есть в подполье. Васьки нигде не было. Александр Иваныч вышел в темные сени, опять чиркнул спичкой и сделал следователю знак остановиться у деревянной лесенки, которая из сеней вела под крышу, а сам начал осторожно подниматься вверх. Следователю видны были только одни ноги Александра Иваныча, а потом все стихло. Это была зловещая тишина, продолжавшаяся несколько секунд, пока Александр Иваныч добывал свои спички. Когда вспыхнул огонек, мимо него вылетела какая-то неопределенная масса и скрылась в слуховом окне. За ней во мгновение ока вылетел и сам Александр Иваныч, всем телом рухнувший на копошившегося в снегу Ваську.

– А, попался, варнак... Эй, люди, сюда!..

Васька напрасно извивался в снегу змеем и все старался выпростать правую руку: Александр Иваныч насел на него настоящим медведем, схватив левой рукой правую руку Васьки, а правой – Васькино горло.



– Врешь, шельмец!.. Не узнал крестного?.. Вот как вашего брата Александр Иваныч корчит...

Подбежавшие стражники скрутили Ваську по рукам и ногам, а он все молчал, точно онемел. Очень уж все быстро случилось. Всю дорогу, пока Ваську везли в полицию, он упорно молчал и только в полиции, когда его стали обыскивать и нашли за голенищем нож, он криво улыбнулся и проговорил:

– Дешево я достался тебе, крестный... Вон и гостинец тебе был припасен.

– Врешь, подлец! – рявкнул Александр Иваныч, сшибая с ног Ваську ударом кулака. – Разве ты разбойник? Дрянь ты, вот что! Посмотри на себя, ну какой ты разбойник? А еще туда же, Хрусталева зарезал... Стыдно тебя и крестником назвать!..

Оставшийся в одной рубаше Васька действительно не имел никакого разбойничьего вида. Среднего роста, немного сутулый, с небольшой головой, он представлял собой заурядный тип заводского мастерового, которому не нож в руки, а гармонию. Круглое, едва тронутое жиденькой бородкой лицо Васьки тоже ничего особенного не представляло, за исключением глубоко посаженных глаз и какого-то тупого взгляда. Он производил впечатление именно такого тупого малого, и самое подходящее место Ваське было бы где-нибудь в кучерах. Новичок-следователь с удивлением рассматривал знаменитого Ваську и только пожимал плечами.

– Неужели это тот самый? – спросил он Александра Иваныча, не выдержав. – Вы не ошибаетесь?

– Ха-ха!.. Слава богу, в шестой раз ловлю... Васька, подлец, ты ведь семью осиротил: после Хрусталева-то жена сам-пят осталась! Ну, с чего ты его зарезал?..

Васька неожиданно заморгал глазами, и слезы потекли по его загорелому лицу.

– Бог нас рассудит, Александр Иваныч... – шептал Васька. – Сам не помню, как все дело вышло... Только ведь я через этих самых лесников муку свою принимаю, а тут увидал Хрусталева, как он с левольвертом за мной гонится, – у меня свет из глаз...

Новый удар прямо в зубы не дал Ваське кончить. Александр Иваныч вдруг рассвирепел и бросился бить «крестника». Он таскал

его за волосы, бил о пол, пинал ногами, пока следователь не оттащил его за руку.

Счастье, как известно, очень капризная вещь. Поимка Васьки вызвала еще большее раздражение заводской администрации против Александра Иваныча. Начались мелкие дразги, стычки и доносы. Александру Иванычу вовремя нужно было бы покориться силе, а он еще больше поднял голову и пошел против течения. Завязалась горячая борьба, закончившаяся тем, что Александра Иваныча притянули «к Анне и Каиафе», несмотря на заступничество губернатора. Следствие производил Голубчиков и постарался не ударить лицом в грязь: это было первое «хорошее» дело в его участке, да и зверь попался красный! Выплыли наружу такие дела, о которых Александр Иваныч давно уже забыл. «По совокупности» всех дел было до сотни.

Финал разыгрался в окружном суде только через год. Александр Иваныч был лишен всех прав состояния и приговорен к ссылке «в отдаленнейшие места». В «последнем слове» Александр Иваныч сказал:

– За что же меня одного судить, господа присяжные заседатели?.. Судить, так судить всех...

Из местного тюремного замка срочная арестантская партия выступала в солнечный весенний день. Ей приходилось сделать пешком верст семь, до ближайшей станции Уральской железной дороги. Много тут было серых арестантских шапок и белых арестантских платков. За партией шел обоз с имуществом и целая толпа провожавших родственников. Лязг железных кандалов смешивался с воем и причитаниями женщин. По роковой случайности в эту партию попали вместе и Александр Иваныч и Васька. Первый делал вид, что не замечает своего «крестника», но Васька подошел к нему и добродушно заговорил:

– Александр Иваныч, ты пошто сердишься-то на меня?

– Ах, это ты, Васька... – смущенно пробормотал Александр Иваныч.

– В бессрочную опять иду, Александр Иваныч, – с арестантской хвастливостью ответил Васька. – А все из-за чего, ежели разобрать: двоегривенного не было лесникам дать, чтобы под протокол не подводили. Эх, жисть...

– А я из-за валета бубен, – сумрачно ответил Александр Иваныч.

«Крестный» и «крестник» шагали рядом, соединенные роковой судьбой. Замечательно было то, что Васька не только не питал ни малейшей злобы к своему «крестному», а еще жалел его: этакий человек, как Александр Иваныч, и вдруг «в отдаленнейшие места»...

# Удивленный человек\*

## Очерк

### I

Каждый человек, который в первый раз попадает на скамью подсудимых, несколько времени, вероятно, бывает очень удивлен: в самом деле, разве для того он жил на белом свете, то есть хлопотал, бился, обманывал себя и других, чтобы попасть в это глупое положение? Но представьте себе удивление Максима Лукича, когда он очутился на скамье подсудимых... Собственно говоря, Максима Лукича и не было совсем, а был уволенный по третьему пункту сибирский заседатель г. Перебернн, которого судили «по-новому». Максиму Лукичу казалось, что судили совсем не его, Максима Лукича, а кого-то другого, именно уволенного по третьему пункту допотопного сибирского заседателя г. Переберина. В качестве постороннего наблюдателя, Максим Лукич удивлялся, между прочим, и тому, что судят всенародного человека за совершенные пустяки; наконец, больше всего он удивился тому, как скоро все это случилось, то есть следствие, предварительное заключение и, наконец, самый суд. Судился Максим Лукич «по совокупности», так что следователь выбился из сил, открывая все новые и новые преступления. Получалась длинная цепь из превышений власти, взяточничества, вымогательств и бесконечных рукоприкладств. Но и этого оказалось мало: на суде из свидетельских показаний выплывали новые факты, и, казалось, им не было конца. Для одного человека материала было слишком много, и старые сибирские суды проволочили бы это дело, по меньшей мере, лет пятнадцать, пока Максим Лукич не догадался бы и умер, а тогда все производство кануло бы в вечность. Именно эта быстрота нового суда и возмущала Максима Лукича... Помилуйте, вчера человек был облечен властью, пользовался общим доверием и любовью, а сегодня он украшает собственной особой скамью подсудимых!

Набившаяся в залу суда публика тоже недоумевала и с участием следила за ходом дела. Сыромятные физиономии так и застыли в недоумении: что же это такое в самом-то деле? Помучили человека, и будет. Нужно и честь знать...

Публика глазела на расшитые мундиры новых судебных чинов, на скамью присяжных заседателей, на двух адвокатов, а больше всего на молоденького товарища прокурора, который несколько кокетничал. Что ему, этому молодому человеку, сделал Максим Лукич? Максим Лукич, в свою очередь, смотрел на публику, где мелькали все знакомые лица, и только пожимал плечами. Дескать, посмотрите, добрые люди, что со мной делают. А уж я ли, кажется, не старался для вас же!.. Наехавший новый суд был здесь совершенно чужим и не понимал взаимного тяготения сторон. Когда при открытии заседания председатель обратился с обычным вопросом: «Подсудимый, признаете ли вы себя виновным?» – старик весь встрепенулся и что-то хотел сказать, но потом махнул рукой и ответил коротко: «Никак нет-с», – как отвечал еще во время службы в одном из казачьих полков на китайской границе. Публика облегченно вздохнула: так мог ответить только совершенно невинный человек... Да и наружность у Максима Лукича была самая импонирующая: высокий, седой старик, с остриженными под гребенку волосами, производил подкупающее впечатление. Большие, не по-старчески живые, темные глаза и военная выправка придавали ему бодрый вид. Его портила только отпущенная во время предварительного заключения борода – рыжеватого-грязного цвета, с прямым волосом, как на половой щетке, точно она была сделана из проржавленной железной проволоки. Товарищ прокурора, выхоленный молодой человек с утонченно-изящными манерами, брезгливо отворачивался от старого сибирского волка, точно один его вид мог замарать чистую прокурорскую душу. Особенно понравилась этому молодому человеку стереотипная фраза, какой встречал и провожал бывший заседатель своих бывших клиентов:

– Мы рассмотрим ваше дело, смотря по данным...

Это было типично и остроумно: все дела вершились, смотря по данным, то есть сообразно с количеством и качеством взяток. Максим Лукич действительно брал жареным и вареным; но, во-первых, кто же не берет, и, во-вторых, ему самому приходилось представлять свои

собственные данные, когда налетала внезапная ревизия или выезжал на кормежку какой-нибудь голодный губернский чин. Шла круговая, а на скамью подсудимых попал один Максим Лукич. К своему адвокату он относился совершенно безразлично, как к новому человеку, который поражал его только своей юркостью и самодовольным видом. Что это он, адвокат, так суетится, когда дело совсем правое? С другой стороны, Максим Лукич подозревал, что его адвокат в заговоре с прокурором, – это заметно по всему. Такой, с позволения сказать шалыган, и вдруг от него, некоторым образом, будет зависеть вся судьба Максима Лукича.

– Вы не робейте... – шептал адвокат, обращаясь к подсудимому. – Все будет зависеть от присяжных...

– Это значит от мужиков?

– Разве вы в первый раз на суде?

– Слава богу, раньше не случалось... Да и какой это суд?.. Товарищ прокурора – мальчишка, присяжные – мужлань...

Максим Лукич с какой-то грустью посмотрел на присяжных, в руках которых теперь его судьба: два чиновника, пять купцов, а остальные – все мужики. Все надежды он возлагал на этих двух чиновников, которые все-таки могут понять что-нибудь, ну, пожалуй, купцы наполовину поймут, а остальные... Нечего тут и говорить: отличный суд!.. Конечно, мужики его осудят, потому что он пять уездов держал в страхе и трепете и никому не спускал. Да, он не дискредитировал власти, как вот такие нынешние фитюльки...

– Послушайте, – обратился Максим Лукич к своему защитнику в середине прокурорской речи, – что я сделал этому молодому человеку? Уж очень он привязался к «данным»... Нельзя ли подсунуть ему барашка в бумажке?

– Вы с ума сошли, Максим Лукич!

«Ну, суд!.. – угнетенно подумал подсудимый. – А того не знает, что честь всегда лучше бесчестия...»

## II

Обвинение «по совокупности» распадалось на целый ряд дел, тех заурядных дел, о которых не стоило бы даже говорить. Отправным

пунктом послужило «дело купца Максунова», заключавшееся в следующем. Степной купец Максунов приехал на Ирбитскую ярмарку, где у него была торговля бараньим салом. Ярмарка была бойкая, и Максунов расторгвался своим товаром. Под конец, когда сводились счеты, к нему является молодой человек, по фамилии Калачиков, служивший раньше приказчиком у обанкротившегося купца Шершнева.

– Степан Иваныч, не знаете ли где мне местечко? – спросил молодой человек. – Вот полгода без дела шатался... Думал, в Ирбитской подыщу занятие, а вот ярмарка кончилась, а я все в той же коже.

Максунов видал раньше Калачикова и пожалел. Что же, в самом-то деле, со всяким может беда приключиться, а парень совсем молодой; не умереть же ему с голода. Полученный на ярмарке барыш тоже много способствовал благодушному настроению Степана Иваныча.

– Вот что, молодец, скажу я тебе, – ответил он: – места у меня тебе нет, а помочь могу... Первое дело, отсюда я проеду на Степную ярмарку, так айда со мной. Мне все одно прогоны-то платить, а там, может, что и придумаем...

Конечно, Калачиков согласился, и они отправились в дорогу вместе. До Степной ярмарки было дней пять пути, но зимой эта дорога легкая, а шубы у Максунова, как печи с герметическими заслонками. Одел он и Калачикова, который щеголял в сак-пальто с барашковым воротником. Едет Максунов и все жалеет своего невольного спутника. Приехали в Степную, – Максунов по своим делам, а Калачиков опять место ищет. Искал-искал, ничего не нашел. И Максунов за него хлопотал – ничего не выходит. Такой уж, значит, незадачливый человек уродился, что все у него клином. Только возвращается раз Максунов к себе в номер, а Калачиков висит на душнике. Вот так фунт... Что называется, поблагодарил за хлеб, за соль. Конечно, и записка: «В смерти моей прошу никого не обвинять». Одним словом, все в порядке устроил, как в газетах об таких делах описывают.

«Нечего сказать, ублаготворил!..» – подумал Максунов и сейчас же послал за полицией.

Как бывалый и тертый человек, он ничего особенного не боялся. Конечно, неприятно, хоть до кого доведись, а больше и ничего. Мог бы человек из благодарности в другом месте где-нибудь удавиться... Ну, да что тут толковать: и жить не умел и умер скверно. На заявление в полицию явился сам заседатель Максим Лукич. Максунув встречался раньше с ним, кучивали даже вместе, а поэтому он и отнесся к нему за панибрата.

– Вот какой гостинец, Максим Лукич...

– Да-с, казус не маленький, – отвечал загадочно Максим Лукич. – Надо будет обыск небольшой сделать у вас... Конечно, я понимаю, что не вы же его удавили, но нельзя-с, форма. Сам подневольный человек...

– Зачем обыск, Максим Лукич? Помилуйте, у него решительно ничего не было, и привез-то я его сюда в своей шубе.

Одним словом, Максим Лукич сразу повел дело к «данным», а Максунув уперся: нет уж, извините, не прежняя пора, чтобы за здорово живешь и т. д. Максунув бывал и в Нижнем, тоже видал людей. Что же, он готов сделать благодарность, но в свое время, а не так, чтобы, например, вам прямо наступили на горло, и вынимай из кармана «данные». Наконец, это не по-товарищески, а еще вместе у арфисток путались.

– Делайте обыск, ежели это вам нравится, – заявил обиженный Максунув. – Здесь все мое, кроме вот этого мертвого тела...

Заседатель принялся за свое дело, а Максунув сидит и только посмеивается. Этакая старая крыса, что придумал! Пусть пороется. Максим Лукич действительно поусердствовал. Не только перерыты были все чемоданы и разные дорожные вещи, но даже подпороты шубы и подушки.

– Кажется, теперь все-с? – спрашивал Максунув.

Последним Максим Лукич осматривал небольшой дорожный чемоданчик с разными бумагами, приходо-расходными книгами и счетами. Пересмотрев все, он остановился на конверте с надписью: 200 р. В конверте оказалось всего 12 р.

– А это как, по-вашему, называется? – спросил Максим Лукич, показывая конверт.

– Никак не называется: конверт, а в конверте 12 рублей денег.



– Так-с... А надпись «200 рублей» что означает?.. Это, государь мой, называется подлогом. Да... Это, государь мой, значит, что вы ездите по ярмаркам да обманываете публику. Впрочем, что тут толковать: улика налицо, а мы составим протоколец.

У Максунова лицо вытянулось. Был составлен протокол, подписан понятыми, скреплен Максимом Лукичом, а Максунов был подвергнут предварительному заключению.

– Максим Лукич, да ты послушай, перестань шутить... – попробовал он уговорить поднявшегося на дыбы заседателя. – Ежели уж на то пошло, так я могу сделать благодарность...

– Поздно, государь мой, – печально ответил Максим Лукич. – Вот ты, борода, думаешь, что был два раза на ярмарке в Нижнем, так и расширился... Нет, погоди, я тебя укорочу!.. Будешь помнить Максима Лукича...

Дело о подлоге пошло законным ходом, а Максунов просидел в тюрьме ровно восемь месяцев, пока не был назначен в Западную Сибирь новый суд и пока его дело не попало в руки нового следователя, ахнувшего от изумления. Максунова, конечно, немедленно освободили от заключения, и Максим Лукич занял его место в качестве подсудимого. Таким образом, максуновское дело послужило только исходной точкой, а там посыпались новые дела без конца: подлоги, вымогательства, хищения в самой разнообразной форме и вообще превышение власти. Максим Лукич орудовал в степи, как своего рода царек. Но у каждого специалиста есть непременно свой конек, а таким коньком сибирского заседателя были мертвые тела. Он перевозил их с места на место и получал «данные» на этом пути со всех. Одно мертвое тело он завез на мельницу, другое – к попу на погреб и т. д.

### III

Речь молодого товарища прокурора была блестяща, как те первые весенние цветы, которые говорят о наступающем лучшем времени года. Он говорил о справедливости, об уважении к закону, о чувстве собственного достоинства, о правовых нормах, еще раз о справедливости и вообще сыпал великими истинами, составляющими

разменную монету профессионального красноречия. После этого необходимого вступления он перешел к обстоятельствам настоящего дела и густыми красками набросал специальную картину разной сибирской неправды, невежества с одной стороны, и хищения с другой, а в применении особенно налег опять на «данные». Максим Лукич слушал эту блестящую речь и опять недоумевал. Первой полозины, признаться, он и совсем не понял, а со второй не мог согласиться, как порядочный человек. Нет, извините, он не злодей и не преступник, а самый обыкновенный человек, как все другие, и поступал он тоже, как другие, – ни хуже, ни лучше. Несколько раз его так и подмывало прервать прокурорское красноречие и заявить во всеуслышание: «Ваше благородие, да за что вы меня судите-то? Сущие пустяки, о которых и говорить-то не стоит... Если уж судить, так судить вот за что...» – тут следовал целый ряд таких фактов, о которых прокурор и следователь были не известны и объявить которые Максим Лукич не имел права, потому что не желал оговаривать других. Да, он этого не хочет, и вот эти другие пусть казнятся, как он страдает за всех.

Прокурор закончил свою речь блестящей фразой, приправленной соответствующим жестом:

– Господа присяжные заседатели, в этом человеке (прокурорская рука указала на подсудимого) умерло решительно все человеческое, кроме страха наказания...

В зале царило гробовое молчание, когда прокурор спрятался наконец за своим пюпитром. Публика была подавлена, как те дети, которые в первый раз попали на исповедь. Максим Лукич сидел с опущенной головой, и какая-то конвульсивная улыбка кривила его губы. Что же, говорите, можно сказать все, а он не виноват... Вот тебе и «данные», Максим Лукич! И слово-то не его, а позаимствовано во времена оны от одного благоприятеля, консistorского чина, который тоже решал все дела «смотря по данным».

– Господа присяжные заседатели и господа судьи!.. – немного глухим голосом начал защитник Максима Лукича, привычным жестом вскидывая свое пенсне на нос. – Господь да просветит и вас, господа присяжные...

Максим Лукич широко раскрыл глаза от удивления: вот так выстрелил адвокат-то... Ловко!.. Под конец прокурорской речи,

утомленный предшествовавшим судоговорением, Максим Лукич страшно захотел спать и, чтобы привести себя в сознание, считал число окон в зале и число набившейся в зале публики. Это скромное занятие разгоняло дремоту. День уже клонился к вечеру, а прокурор ни за что не хотел сделать перерыва. Максим Лукич начинал испытывать голодную зевоту и не прочь был перекусить. Ловкий приступ адвоката встряхнул его.

Теперь Максим Лукич был уверен, что его оправдают. Конечно, оправдают, если судить на совесть. Присяжные-то заседатели все знают и могут понимать.

Речь адвоката так и лилась рекой. Он ловко подхватил несколько неудачных выражений из прокурорской речи, бойко очертил показания некоторых свидетелей и подробно остановился на самой сущности дела. Вот тебе и фитюлька: как ножом, так и режет. Дремавшие присяжные тоже встрепенулись и с удивлением смотрели на адвоката, что он скажет в пользу кругом виноватого человека. Среда, унаследованные привычки, местные нравы, уровень развития – так и сыпались с адвокатского языка, точно пошел дождь.

– Я охарактеризую подсудимого проще и понятнее, чем господин товарищ прокурора, – говорил защитник, – Это законный сын известного строя жизни, известной обстановки и унаследованных привычек – не больше того... Мы все рабы времени, в какое живем, и платим ему тяжелую дань. Если бы на подсудимого надеть мундир господина товарища прокурора, вооружить его уложением о наказаниях и поставить за прокурорский пюпитр, а господина товарища прокурора посадить на скамью подсудимых...

– Господин защитник, вы отклонились в сторону, – остановил адвоката председатель.

– Господа присяжные заседатели, я хотел сказать только то, что понять человека можно не иначе, – как поставив себя на его место, – ловко отпарировал удар г. защитник. – Пусть ваша совесть обвинит среду, обстановку, обстоятельства и привычки, которые подсудимого довели до настоящего положения, а люди – везде люди, и подсудимый не хуже вас с нами... На его месте мы, быть может, сделали бы еще больше зла!..

Эта горячая защита продолжалась битых часа два, так что адвокат начал хрипнуть и несколько раз вытирал вспотевшее лицо платком.

«Вот именно...» – мысленно повторял за ним Максим Лукич и смотрел на присяжных заседателей, стараясь прочесть на их лицах свой приговор. Что он им-то сделал?.. И стоит сказать всего два слова: «Нет, не виновен», а что касается «данных», – так уж бог с ними, с этими «данными». Главное, за пустяки судят.

Наконец адвокат кончил. После него говорил что-то товарищ прокурора, потом сделал свое резюме председатель, и наконец предоставлено было последнее слово подсудимому.

– Нет, не виновен... – упавшим голосом проговорил Максим Лукич, хотел еще сказать что-то, но горло точно сдавило что, и он только махнул рукой.

После получасового совещания присяжные заседатели вынесли свой вердикт, и старшина громко прочитал:

– Да, виновен...

Сначала Максим Лукич не понял смысла этих слов, а потом судорожно схватился за решетку и как-то грудью крикнул:

– Господа, да за что же?.. Уж если судить, так... Э, да что тут, впрочем, говорить!..

Осенью, когда от первого инея закисло лиственница, я с винтовкой отправился на кордон при горной речонке Шипишной, чтобы провести несколько дней на одной из лучших охот. Шипишинский кордон поставлен был на полустанке между заводом Галчинским и пристанью Уралкой, куда лето и зиму везли железо и медь. Движение кладей усиливалось зимой, и транспорты останавливались на кормежку на Шипишинском кордоне, где были устроены громадные навесы для лошадей, амбары с овсом и сеновалы. От Шипишинского кордона было ровно двадцать верст и до завода и до пристани, места по реке Шипишной были вообще нетронутые и довольно дикие, а для осенней охоты лучших, кажется, и не придумать. Когда-то здесь был громадный курень, растянувшийся на десять верст, а теперь все поросло громадным смешанным лесом.

Вид на самый кордон открывался с ближайшей горы. Он стоял на луговине, на самом берегу реки, которая вечно шумела по камням, пряталась в осоках и приречной поросли и разливалась тихими заводями, где ее подпирала новая поросль и разливалась тихими заводями, где ее подпирала новая поросль. Кругом кордон был обрамлен зеленой стеной куренных березняков: такие березы, высокие, ровные, стройные, как восковые свечи, вырастают только на куренных пожогах.

Собственно кордон состоял из громадной русской избы с громадной русской печью и громадными полатями. Транспорты приходили подвод по сту, и нужно было обогреть где-нибудь всех ямщиков, напоить их и накормить. Транспортные ящики вообще пользовались плохой репутацией, особенно те, которые ездили и зиму и лето. Летних ямщиков называли почему-то «соловьями», и это название переходило от одного поколения ямщиков к другому, как клеймо самого отпетого народа. В осеннюю распутицу транспортов

шло совсем мало, и на кордоне дарили тишина и какая-то мертвая лесная лень. Без просыпу спал подручный кордонщик Пимка, молодой вороватый парень с красной затекшей шеей и припухшими глазами; без просыпу спала кордонная стряпка Настасья, здоровенная бабища, точно сшитая из подошвенной кожи; спали собаки, и только бодрствовал за всех сам кордонщик по прозвищу Мизгирь.

Это был тщедушный мужичонка, с сморщенным, маленьким лицом-кулачком и жиденькой бороденкой-мочалкой. Он вечно молчал и вечно что-нибудь промышлял по своему обширному хозяйству. Без дела я его никогда не видал: то он починивал какую-то сбрую, то рубил дрова, то поправлял что-нибудь у избы или на дворе. Он был из числа тех суетливых людей, которые не могут сидеть без дела. Лично мне Мизгирь напоминал трудолюбивого муравья из какой-нибудь басни.

– Ты отчего же подручного не заставляешь работать, а все сам?

– А так... Пусть его отдохнет, – коротко ответит Мизгирь, постукивая топором.

– Почему тебя Мизгирем зовут?

– А ростом не вышел, вот и стал Мизгирь. Еще ребята прозвали, когда мальчонкой был...

Между прочим, на обязанности Мизгирия лежало охранение лесов на десять верст в округности. Это уже так, между делом, для того, чтобы в заводских отчетах не оставалось пустой графы о лесном кордоне. Эта мудрая заводская экономия, впрочем, ничего не стоила и Мизгирию, потому что оберегать лес было не от кого: кому его нужно в этом глухом медвежьем углу? Но Мизгирь все-таки считал своей обязанностью каждую неделю обходить какой-нибудь участок из своих обширных владений, вероятно, главным образом потому, что любил природу и был поэтом в душе. Среди простого народа таких поэтов достаточное количество, и, вероятно, им обязано происхождение народных песен.

Характеристика Мизгирия была бы неполной, если бы я не прибавил описание собаки Мучки, сопровождавшей своего хозяина по пятам. Это была не охотничья собака в собственном смысле слова и не дворняга в тесном, а промысловая, одно из тех удивительных созданий, которые только не говорят. В характере специально охотничьих собак и в каждом их движении на меня производит всегда

неприятное впечатление что-то лакейское, приниженное и вороватое, тогда как в промысловой собаке сохранились деловая серьезность и сознание своего собачьего достоинства. Такая собака не будет облаивать зря каждого встречного, не будет и ласкаться без пути или соваться без всякого толку, опять-таки потому, что у нее есть свое главное дело; хозяйина она стережет тоже умненько, как и ласкается. Мучка меня приводила! в восторг своим тактом, выдержкой и солидностью. И масть у нее была какая-то необыкновенная: настоящий волк, если бы не задранный кольцом хвост. По происхождению Мучка принадлежала к вогульским лайкам, и этот тип промысловой собаки выработался, вероятно, не одной сотней лет. Нужно было видеть Мучку на охоте, чтобы вполне оценить ее редкие качества. Мое появление с ружьем всегда производило в душе Мучки мучительную раздвоенность: своим собачьим сердцем она принадлежала Мизгирю, а охотничий инстинкт толкал ее ко мне.

Нужно было видеть собаку, когда мы отправлялись на охоту. Мизгирь всегда сопровождал меня, хотя и никогда не стрелял. Я подозреваю, что он и ходил со мной только для того, чтобы потешить собаку. Мучка сама вела в лес и понимала каждое движение. Глаза ее блестели, движения принимали неуловимую грацию, какую породистому животному придает «кровь», и только время от времени она какими-то виноватыми глазами смотрела на хозяйина, точно извинялась за свое охотничье опьянение.

– Ну, побалуй... – говорил Мизгирь. – Ишь воззрилась!..

– Отчего ты не заведешь себе ружья? – несколько раз спрашивал я у Мизгиря. – Сколько бы добыл себе дичи...

– Не люблю, – коротко отвечал Мизгирь.

– Да отчего не любишь?

– А так... неподходящее дело.

Сколько я ни добивался более обстоятельного ответа, но ничего не мог выпытать.

В своей даче Мизгирь знал каждый уголок, каждое дерево, каждый камень и мог пройти ее из конца в конец с завязанными глазами. Вообще в нем было много качеств настоящего лесника, начиная с необычайной способности ориентироваться. Он с точностью настоящего хозяйина знал, где, какие и сколько выводков,

куда они выходят пастись, какие перемены произошли в их составе и т. д.

– Агроматных три петуха под Ереминым Верхом на листовнях кормятся, – сообщил он. – По заре так и поговаривают. С кордона слышно, как они бормочут.

Закишая листовница – любимое кушанье глухаря. Сначала птица садится на дерево кормиться только по зарям, а потом – и днем. Когда стоит слишком ясная погода или дует ветер, глухарь «сторожит», и к нему без собаки подойти на выстрел в такую строгую минуту почти невозможно. Лучшее время охоты – те серые осенние дни, когда с утра начинает «могросить». С собакой охота облегчается во много раз, особенно с такой, как Мучка. Она сама отыскивала глухаря не «по поеди», как другие собаки, не лаяла слишком громко и не прыгала на дерево, а выводила верхним чутьем. Глухарь в пернатом царстве напоминает какой-то дубоватой простотой медведя. В обыкновенное время очень чуткая и сторожкая птица, за исключением периода весеннего токования, на листовнице он делается совсем глупым, особенно, когда завидит собаку. Не нужно было даже говорить, кого облаивала Мучка: она так выразительно тьякала раза два – три и делала выжидательную паузу, давая время подойти. Заслышав наши шаги, она снова начинала лаять, чтобы отвлечь внимание глупой птицы на себя. Одним словом, удивительная собака.

Всего интереснее был момент, когда подкрадывание к птице кончалось и я взводил курок винтовки. Мизгирь затыкал уши пальцами и закрывал глаза, как слабонервная девица. Когда раздавался выстрел, он вздрагивал и как-то испуганно плядел на листовницу, где сидел глухарь. К убитой птице он совсем не подходил.

– Боишься выстрела? – спрашивал я его.

– Нет... Крови боюсь, – отвечал он, закрывая глаза и съеживая свои почти детские плечи. – Страшно!.. Не могу... Сердце так и зайдет.

Нужно заметить, что прелесть осенней охоты на глухарей не в количестве убитой птицы, а в грустной поэзии умирающего леса, расцвеченного последними красками. Трудно сравнить с чем-нибудь то чувство, которое охватывает вас, когда вы бродите по лесу такой осенью. Под ногами как-то по-мертвому шуршит облетелый лист,



трава тоже сухая и жесткая, как волос, а зато какими яркими цветами играют березняки и осинники, точно обрызганные золотом и кровью! Воздух напоен тем особенным горьковатым ароматом, какой дает палый лист; осенний крепкий холодок заставляет вздрагивать, дышится легко, и вы переживаете то состояние приятного опьянения, какое производит дорогое старое – вино. Самая усталость не гнетет, а только сулит крепкий сон, отличный аппетит и какую-то необъяснимую полноту существования.

## II

Раз вечером, когда мы возвращались с охоты, издали еще можно было разглядеть приваливавший к кордону транспорт. На полянке перед воротами стояли десятки роспусков, нагруженных железом. Погода стояла хорошая, и заводоуправление воспользовалось ею, чтобы отправить с Уралки осенний караван. У ворот нас встретил подручный Пимка, почесывавший затылок.

Целое гнездо «соловьев» слетелось, – проговорил он. Ночевать остались, галманы.

– Ну и пусть ночуют, – покорно согласился Мизгирь, прибавляя шагу. – Надо овса отпустить... сена...

– Пусть кони-то сперва выстоятся...

У Настасьи уже топилась печь для «соловьев»: надо было готовить ужин. В воротах мы встретили плечистого и загорелого «соловья», известного под именем Волка. Он вышел из избы покурить на свежем воздухе коротенькую трубочку. Настасья не любила, когда «соловьи» курили табак в избе, и немилосердно их гнала на улицу даже в клящий мороз.

– А, Мизгирь... – лениво протянул Волк, презрительно оглядывая тщедушную фигурку кордонщика. – Веселенько ли прыгаешь?..

Мизгирь только сморщился и ничего не ответил. Он вообще не выносил «соловьев» с их грубыми шуточками и нахальством. Всех «соловьев» набралось больше десяти, и ночлег был испорчен. Обыкновенно ночевать на кордоне составляло одно удовольствие: Настасья содержала избу необыкновенно чисто и постоянно выгоняла

спать Пимку куда-нибудь на сарай, так что даже Мизгирь заступался за своего подручного.

– Только дух в избе портит, – объясняла Настасья с обычной своей суровостью. – Мучка спит же на дворе, ну и Пимка тоже... Неважное кушанье...

Будь лето, и я предпочел бы выспаться где-нибудь на сеновале, но в сентябре на Урале ночи настолько холодные, что об этом нечего было и думать. А в избе сейчас набилось человек десять народа, и можно представить, какой стоял там воздух. Когда мы вошли в избу, на столе стоял ведерный самовар, а около него разместились вспотевшие, красные ямщицьи физиономии. Народ был все рослый, могучий.

– Эй, ты, святая душа на костылях! – крикнул кто-то на Мизгиря. – Куда запропастился?.. Пора коням задавать овса...

– А ты не ори, – ворчал Мизгирь. – Все будет...

– Ах, ты, Мизгирь... Настасья, и не нашла же ты себе хуже в мужья! Разве это человек: взять двумя пальцами и раздавить, как клопа.

– И то замаялась я с ним, – отозвалась Настасья. – Только званье, что мужик, а какой в нем прок: комар комаром.

– Как же это ты, Настенька, этакая корпусная женщина, и вдруг за Мизгиря изгадала? Тебе бы, по-настоящему, какого мужа надо: ратника, одним словом. Тоже вашу сестру, бабу, вдругорядь и поучить надо, а ты зашибешь сама своего Мизгиря.

– Так уж, враг попутал, – отшучивалась Настасья, привыкшая к подобным разговорам. – Будто пожалела я его, а он меня и обманул... Ошибочка маленькая вышла.

Напившись чаю, я отправился на полати, где вповалку спало потомство Мизгиря. У него почти каждый год родился ребенок, но в живых оставалось всего человек пять. Старшему мальчику было уже лет восемь, а остальные – мелюзга. Дети ростом напоминали мать; все были такие же крепыши, и Мизгирь пестовал их с трогательной нежностью. Вся эта белоголовая детвора теперь уже спала мертвым детским сном. Я долго лежал, прислушиваясь к галденью «соловьев». В избе оставались всего трое, да пришел еще с улицы Волк, поместившийся на приступке у печки. Мизгирь сидел на лавке,

скрестив по-детски свои голые ноги. Рядом с ним сидел Пимка и вышучивал Настасью вместе с другими.

– Удивительное это дело, братцы, – говорил Пимка, ухмыляясь. – Как это только по осени первый транспорт прошел, так у нас новый ребенок. Точно вот ветром дунет... Ок-казия!

Ответом послужил громкий хохот «соловьев».

– Уж Пимка, тоже и вырежет штучку!.. Как, говоришь, пройдет транспорт, так и ребенок? О-хо-хо...

– Правильно, – подтвердил Пимка, встряхивая своей беспутной головой. – Я так ребят и считаю осенями, по первому транспорту.

Мизгирь сидел на лавочке и как-то жалобно улыбался, склонив голову немного набок, Настасья сердито ворочала какие-то горшки в печи.

– Ай, Пимка, ай, прокурат!..

– И давно это примечаю я, братцы, что ребята у нас ростом-то в транспортных.

– Слышь, Настасья?! О-хо-хо...

– Не вашего ума это дело! – огрызнулась Настасья. – Тоже нашли над чем измываться... Охальники! Ты что это и впрямь, Пимка, зубы-то моешь? Я вот возьму ухват, да как примусь тебя обихаживать: только стружки полетят.

Не выйди из себя Настасья, все обошлось бы обычными шуточками, но она как-то сразу потеряла равновесие и ввязалась в разговор с настоящим бабьим азартом. Пимка тоже бы отстал, если бы бабья угроза не задела его мужицкой гордости.

– Что, Пимка, испужался? – поддразнивал Волк, лениво сплевывая в сторону. – Небось, не первый уж ухват Настасья ломает об тебя. Ты его, пса, хорошенько, Настенька!..

– Меня? – пробовал отшутиться Пимка. – Ну, еще мои-то ухваты в лесу не выросли... Ты, Волчище, не заедай: слышит кошка, чье мясо съела.

Эта выходка окончательно взорвала всех, так что сидевшие за столом ямщики покатались со смеху. Поощренный общим хохотом, Пимка разошелся окончательно и прибавил:

– То-то сижу я как-то вот этак под вечер, значит, летом, а ребятенки на дороге играют... Играли-играли, а потом присели в канавку, да как по-волчьи взвоют...

Это был каламбур на прозвище «Волк», и вся изба точно вздрогнула от общего хохота, так что даже Волк смутился, не зная, что ответить охальнику Пимке. Со двора пришли остальные ямщики и тоже хохотали. Чтобы поддержать общее настроение, Волк подошел к Настасье и облапил ее.

– Ну, что, Настенька, греха таить... Было дело...

Это уж окончательно взорвало Настасью, но она по необъяснимой бабьей логике накинулась не на Пимку или Волка, а на своего безответного мужа.

– Ты это что молчишь-то, плесень?.. А? – заголосила сна «неточным» голосом. – Тут целая изба мужиков галится над женщиной, а он хоть бы слово пикнул!.. Какой ты мне муж после этого?.. Другой бы мужик разве дал свою бабу на стал? А тебе, идолу, все одно... Ох, согрешила я с тобой!..

– Да ведь это все Пимка... – попробовал оправдываться Мизгирь, жалко моргая глазами. – Ты чего на меня-то лезешь?..

– Плесень гнилая! Тоже и скажет: Пимка! У Пимки в глазах стыда-то и не бывало сроду... А ты венчаный муж... Да другой мужик убил бы на месте, кабы тронули бабу-то.

За этим коротеньким супружеским диалогом последовало уже совершенно неожиданное заключение: Настасья схватила ухват и бросилась с ним на несчастного Мизгиря, который как-то по-детски закрыл голову руками и только старался, чтобы ухват попадал по спине. Все ямщики заливались хохотом, подливая масла в огонь.

– Дуй его, Настенька! Катай!.. Да ты по морде его, в скулу! Еще разок...

Эти крики, ямщичий хохот и полное нежелание даже защищаться со стороны мужа привели Настасью в дикое бешенство, и, бросив ухват, она вцепилась в мужа, как кошка. Мизгирь как-то жалко пискнул, как придавленный котенок, и покатился с лавки на пол. Тут уж вступился кто-то из ямщиков и оттащил ополоумевшую бабу.

– Настасья, брось!.. Будет дурить!..

Настасья посмотрела кругом остановившимися дикими глазами, хотела что-то сказать, но только махнула рукой и с причитаниями и воем бросилась в угол. Мизгирь, избитый и окровавленный, медленно поднялся с полу и медленно обвел глазами стоявших «соловьев». Он,

очевидно, отыскивал Пимку, но тот во время свалки благоразумно успел выскочить во двор.

– На-ка, испей водицы, – предложил кто-то из ямщиков Мизгирю, подавая ковш с водой. – Этакую бабу да убить мало! То-то стерва...

Недавнее желание травить несчастного Мизгиря сменилось теперь общей жалостью, потому что «разве можно так увечить законного мужа, да еще на людях». Одним словом, поднялся весь порядок законных мужских чувств и мужской гордости. Настасья это почувствовала и не вылезала из своего угла, продолжая горько рыдать.

– Вот ты и рассуди бабу: кругом виновата и сама же ревет, как корова! – резонировал «соловей», отпаивавший Мизгиря водой. – Хороший бы муж, значит, который мужик вполне, да он бы на мелкие части ее разорвал... Да он бы ее изволочил всю... Ногами бы истоптал... Вышиб бы дурь из головы...

– Оставь... – с какой-то большой кротостью остановил его Мизгирь. – Промежду мужем да женой один бог судья.

– В ногах бы она валялась у настоящего мужика... Да! Как змея бы ползала, а не то, чтобы дурь свою показывать...

– Говорю: оставь, – упрашивал Мизгирь.

– Эх, ты, горе лыковое! Говорить-то с тобой по-настоящему не стоит...

### III

Мне не случалось обращать внимания на семейную жизнь Мизгиря, а рассказанный выше случай открыл многое такое, о чем посторонний человек мог только догадываться. Это была мужицкая «не пара» со всеми признаками внутреннего семейного разлада. Происходившая на моих глазах дикая сцена служила только выражением внутренней розни. Одним словом, Мизгирь меня заинтересовал, как муж-неудачник, каких немало, но здесь все происходило на подкладке мужицкой жизни.

На кордоне меня задержал выпавший ночью снег. Случилось это совершенно неожиданно. Погода стояла хорошая, хотя и с крепким осенним холодком; небо было чистое, безоблачное; ветер дул не из «гнилого угла», как Мизгирь называл северо-восток, а с полудня.

Одним словом, все приметы обещали хорошую погоду. Но, когда утром проснулись «соловьи», все было покрыто снежной пеленой в четверть. Такой глубокий снег на Среднем Урале выпадает в первых числах сентября очень редко, а я видел его в первый раз.

– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день... – ворчал Волк, надевая онучи. – На саях теперь в самую пору.

Положение транспорта, застигнутого снегом на половине дороги, было критическое. Упавший на сухую землю снег наворачивался на колеса, как войлок, но не сидеть же из-за него на кордоне. «Соловьи» перебрали весь лексикон своих крепких слов и тронулись в путь только часов в девять. Мизгирь проводил их, – стоя за воротами. Он жалел несчастных лошадей, вытягивавших тяжелые возы из последних сил...

– Забьется богова скотинка, – проговорил он вслух.

Я предполагал вернуться домой, но очень уж хорошо теперь было в лесу, особенно в чернолесье, где еще не спал осенний лист. Березы, рябины, черемухи и осины просто гнулись под тяжестью снежных хлопьев. Картина была единственная, особенно там, где с мертвой белизной – снега контрастировала! сохранившаяся листва: осинники точно были обрызганы кровью, которая резала глаза на белом снежном фоне. Я смотрел и не мог достаточно налюбоваться – так было все оригинально-хорошо.

– Премудрость божия, – объяснил Мизгирь, любовно оглядывая засыпанную снегом картину. – К урожаю ранний-то снег... В горах-то у нас, конечно, не займутся хлебом, а по крестьянам идет поверье. Крестьяне-то не чета нашим заводским: у них все по-божески.

– А что, пойдем сегодня на охоту?

Мизгирь точно смутился. Помявшись немного, он признался, что ему жаль молодых, которые еще в первый раз увидели снег.

– Тварь, а тоже чувствует, – объяснил он, увлекаясь темой. – Ножки-то на снегу зябнут, ну, они все по деревьям, как курицы.

– Чего же тебе жаль?

– А как же: смиренные они теперь, хошь руками бери. Потому чувствуют свою неустойку... Которая птица нынешнего лета, так ее уж сразу видно.

– Я молодых не буду стрелять...

– Старых петухов, пожалуй, и можно, потому как хороший хозяин держит и дома петуха всего три года...

На этом мы и согласились. Мизгирь повел в лес, и мы скоро разыскали несколько выводков. Мучка, конечно, шла за нами, но не облаивала птицу, а только подавала убитую.

Увлечшись охотой, мы незаметно ушли верст за пять, так что вернулись домой только к вечеру. Настасья за день успела, видимо, одуматься и конфузливо поворачивалась к мужу спиной.

– Что, стыдно, небось, роже-то? – корил Мизгирь. – Каку моду придумала... Да еще по рылу норовит!

– Мужики проклятушие меня подождли, – сурово оправдывалась Настасья. – А ты молчишь, как пень березовый, – А того ты не подумала, кто я тебе?

– Известно, кто: муж.

– То-то вот и есть... Закону не понимаешь. Ты думаешь, я бы тебя не одолел, кабы на то пошло? Думаешь, большая мудрость человека ухватом обихаживать? Своих глаз не стыдно, так постыдилась бы чужих...

Настасья терпеливо сносила эту добродушную воркотню, пока в избу не вошел Пимка. Картина сразу переменялась.

– Да ты что пристал-то ко мне, смола? – накинулась она на мужа. – Без тебя знаю, где моя неустойка... Ежели бы ты был настоящий мужик, как прочие люди, а то вся-то тебе красная цена: недоносок.

Пимка не вступался в разговор, но его присутствие, видимо, раздражало Настасью. Мизгирь тоже как-то весь съежился и сразу замолчал. В этой сцене было что-то недосказанное. По пути Настасья побила подвернувшуюся под руку девчонку, швырнула какой-то горшок и вообще обнаружила явные признаки сильного раздражения. Мизгирь забрался на печку и только вздыхал. Мужичья обида тяжела и ложится на душу камнем, не то что легкое господское горе, которое все наверху. Годами она вынашивается, годами накапливается, пока не прорвется каким-нибудь мужичьим случаем, большею частью из-за пустяков.

Утром на другой день я отправился домой. Меня вез на охотничьих пошевнях Пимка, а Мучка из вежливости провожала версты три. Хорошо было ехать по молодому снегу, не тронутому еще

ни одним пятнышком. Лес стоял в снеговом покрове, как очарованный, точно в каком-то сказочном царстве. Небо как-то сразу потеряло все краски, побелело по-зимнему, но яркий матовый свет заставлял жмуриться. Мохноногая лошадка бежала без понукания, легко и свободно, точно и она радовалась легкому зимнему пути. Пимка правил довольно небрежно и все насвистывал.

– Пимка, тебе не совестно? – спросил я.

– Это насчет третьеводнишнего, барин? – ответил он, поворачивая ко мне свое безбородое круглое лицо. – А я тут ни два, ни полтора... Грешат они промежду себя постоянно, можно сказать, без утиху грешат. Известно, дура эта Настасья, потому как видела, за кого замуж шла.

– Она не любит мужа?

– А кто его знает... Поедом ест, а Мизгирь молчит. Ну, она, обыкновенно, пуще злится... Кабы настоящий мужик был, так он бы ее по первому слову выворотил наскрозь.

– Зачем же ты беса подпускаешь?..

– Да так... Надоело мне на кордоне жить до смерти: лес кругом. Праздник придет, а ты не знаешь, куда деваться... Одуреешь от этакой жисти. Ну, «соловьи» приедут, все же на людях как будто и веселее..

Помолчав немного, Пимка опять повернулся ко мне и убежденно проговорил:

– Все-таки она его любит, значит, Настасья-то... Как-то он по весне разнемогся, так она ревмя ревет, а выздоровел – опять грешит.

– А ты давно живешь на кордоне?

– Да уж лет с десять будет. Полюбила собака палку – так и я. Отбился от другой всякой работы, измотыжился. Вот погляжу еще с годок да в транспортные определюсь, барин. А что касемо Мизгиря, так ведь я не со зла шутку сшучу иной раз. Конечно, кабы настоящий он мужик, так тоже не посмел бы я озорничать-то...

Незадолго перед рождеством ко мне завернул Мизгирь. Он привез целый мешок с морожеными налимами, которых ловил в это время в своей речке Шипишной по каким-то ямам и омутам. Мизгирь вытряхивал мешок, и мерзлая рыба рассыпалась, как раздернутая связка кренделей. Налимы редко замерзают клином, как другая рыба, а непременно изовьются в разные фигуры. Можно мерзлого налима разломить, как сухарь. Но если такую мерзлую рыбу оттаять



постепенно, то она оживает, и недавние мерзлые крендели начинают ползать по полу. Как мне рассказывали, положенные в пирог, они выползли из теста в печи. Последнего я не видал, а как они оживали на полу – наблюдал много раз. Не знаю, сколько времени может сохраняться эта живучесть, но во всяком случае она заслуживает внимания.

– Ну, что новенького, Мизгирь? – спрашивал я своего гостя.

– Да все то же, что и раньше... Волки ноне одолевают.

Мизгирь заметно похудел – и выглядел еще меньше. Я предложил стаканчик водки, но он отказался.

– Не потребляю... Будет. И то грехов-то накопил достаточно...

– А здоровьем как?

– Ничего, слава богу. По весне меня прижало будто, а теперь ничего. Настасья наказала кланяться...

– Часто ссоритесь, или нет?

– Бывает... Карахтерная она у меня, а так ничего. Проворная баба, другой-то такой поискать...

Помолчав немного, он проговорил с какой-то детской улыбкой:

– Недавно она у меня прощения просила, значит, Настасья... Верно говорю.

– Опять, вероятно, побила тебя?

– Около этого... Только я ее-то, Настасьину драку, ни во что кладу: себя она не помнит, когда в карахтер свой войдет. Конечно, об стену головой тоже не бьется, все меня норовит благословить чем попадя... Это есть. А только и другое надо рассудить, барин; сегодня транспортные, завтра транспортные, – своим хозяйством другая-то баба едва управляет, а Настасья вон какую страсть воротит. Работа работой, а потом тут еще озорство да высмехи, а бабье сердце тут и есть: вскипело и готово. Ежели бы нам так устроиться, чтобы не на людях, – другой совсем разговор. Конечно, привык я к лесу, обжился вот как, а все-таки думаю бросить кордон... Ну его совсем!

– Куда же ты думаешь?

– А в крестьяне уйду... В орде<sup>[5]</sup> сказывают, земли много пустует. Вот и уйду в орду... Хлеб буду сеять, хозяйство заведу, а по зимам в кузнице буду робить, потому как к этому делу я сызмала свычен. Непременно уйду... Надоело.

Вскоре после этого визита Мизгиря разнеслась весть о разыгравшейся на Шипишинском кордоне драме. Дело случилось перед самым рождеством, когда приходил последний перед праздником транспорт железа из Галчинского завода на пристань Уралку. Разыгрался буран, и транспорт заночевал в кордоне. «Соловьи» разместились ночевать в избе, и в числе других уже знакомый мне Волк. Мизгирь с вечера еще обратил на себя внимание тем, что сам предложил лучшее место на лежанке у печки именно Волку. Улеглись спать и заснули мертвым ямщичьим сном. Но в глухую ночь все повскакали от неистового крика Настасьи:

– Убил!.. Ой, батюшки, убил! – голосила она в темноте благим матом.

Когда зажгли огонь, представилась ужасная картина: на лежанке у печки лежал ямщик с отрубленной головой, а Мизгирь спокойно сидел в уголке у двери и даже улыбался. Убитым оказался какой-то Спиридон Немтырь: у каждого «соловья» была своя кличка в артели.

– Это я убил... вяжите... – спокойно заявил Мизгирь.

Его, конечно, сейчас же принялись вязать, и тут только выяснилась роковая ошибка: Мизгирь хотел убить Волка, а по ошибке убил Немтыря. Случилось это потому, что Волк ночью выходил на двор посмотреть лошадей, а Немтырь, спавший на полу, захотел пошутить и занял его теплее место у печки, да сейчас же и заснул мертвым сном. Вернувшись в избу, Волк нашел свое место занятым и спокойно улегся спать на полу. Можно себе представить изумление Мизгиря, когда к нему с веревкой в руках подошел тот самый Волк, которого он считал убитым. Это была ужасная минута. Мизгирь бросился на Волка, как кошка, и вцепился в него зубами, но тот одной рукой поднял его на воздух и связал, как бабы пеленают ребят. Только тут обессилевший Мизгирь окончательно пришел в себя и заплакал.

Всего удивительнее в этой драме было то, что убийцей явился Мизгирь, тот самый Мизгирь, который не мог зарезать курицы и не выносил вида крови. Ямщики так бы и проспали до утра, не услышав ничего, если бы не проснулась Настасья, разбуженная ударом топора. Мизгирь рубил предполагаемого Волка со всего плеча и в темноте

несколько раз промахнулся. Настасья в темноте не разглядела, кто и кого рубит.

Дальше все пошло обычным путем. «Пригнал» урядник и произвел полицейское дознание, потом явился следователь и произвел следствие, а затем Мизгирь был препровожден в тюрьму для предварительного заключения. Я постарался увидеть следователя и расспросил о подробностях дела.

– Психопат какой-то, – объяснил представитель Фемиды: – хотел убить одного, а убил другого... В моей практике это третий случай. Если что интересно в этом деле, так это его романическая подкладка. Свидетельскими показаниями установлен факт, что единственный мотив – ревность... В моей практике таких случаев десятки. А в сущности, самое глупое дело, и, собственно, следователю тут почти делать нечего. Все как на ладони, да и убивец дает чистосердечное показание.

Как оказалось потом, следователь слишком уж положился на свою опытность: дело оказалось совсем не простым.

В Галчинский завод через два месяца выезжала сессия ...ского окружного суда. Дел было достаточно, так что дело Мизгиря дождалось своей очереди только через год. Я нарочно отправился в Галчинский завод, чтобы присутствовать на разбирательстве. Помещение для суда было маленькое, публики много, так что и судьи и присяжные обливались потом, а с одним присяжным сделалось дурно. Мизгирь на скамье подсудимых казался совсем мальчиком и меньше всего походил на убивца. Меня поразило лицо Мизгиря: точно оно выцвело в тюрьме – такое бледное, бледное, совсем восковое. На нем застыла торжественная покорность своей судьбе и не было даже тени неприятной арестантской рисовки. Он сидел целые часы совершенно неподвижно, стараясь не проронить ни одного слова. Мне казалось, что он все время молился.

Самой интересной частью процесса, конечно, был допрос самого подсудимого и свидетелей.

– Признаете ли вы себя виновным, Сидор Парфенов? – спрашивал стереотипной формулой председатель.

– Мое дело... – глухо ответил Мизгирь, не шевельнувшись. – Враг попутал, ваше высокоблагородие. Не думал, что господь приведет на подсудимую скамью...

Затем он так же спокойно и с мельчайшими подробностями рассказал последовательный ход событий: как женился, как поселился на кордоне, как жил согласно с женой и как закралось в его душу первое подозрение. Мужичья ревность накоплялась годами, но он старался не верить самому себе и сдерживался. Жена часто взъедалась на него, даже била и срамила при других, но все это было пустяками перед ревностью, охватившей его года два назад. Транспортные не шли с ума, а тут еще Пимка «подзуживал» да поднимал на смех.

– А я все сумлевался... – рассказывал Мизгирь с своим трогательным спокойствием, – все сумлевался, пока не увидел своими глазами...

Он тяжело замолчал, точно уперся в стену.

– Что же, вы были свидетелем неверности вашей жены? – спросил председатель, помогая ему перейти затруднение.

Мизгирь не понял вопроса, а когда ему предложили его в другой форме, махнул рукой.

– Зачем свидетелем?.. Не таковское дело, а тут совсем другое. Старшему мальчонке, значит, Пиколке, девятый годок пошел. Ну, как-то пляжу я на него, а меня точно кто ножом полыхнул: вылитый Волк... Затрясло меня, в глазах все измешалось – смерть моя пришла. Гляжу на других ребят, и в них тоже вся Волчья кровь, а моего ничего. Тут меня и угрызло. День и ночь одно это думаю; сна лишился, еды не принимаю, а все думаю. Известно, ребята на глазах вертятся, а меня это еще пуще разнимает. Всю осень я так-то терпел, а потом и порешил кончить Волка... Раньше все обдумал, куда его положить, и топор припас. Ну, а тут уж моя неустойка вышла, что другой подвернулся в темноте.

Обдуманное намерение было налицо, и Мизгирь сам надевал себе петлю на шею; но он был рад поведать всем, что перестрадал, и ничего не утаивал.

Свидетелей набралось около десяти человек, все «соловьи», а затем Настасья и подручный Пимка. Из «соловьев» заинтересовал публику только один Волк, когда защитник Мизгирия начал допрашивать о его отношениях к Настасье.

– Вы находились в близких отношениях с ней?

– Известно, в близких... На что ближе: она нам стряпала, а мы ели. Тоже намаешься дорогой-то, особливо зимой, продрогнешь, а у

Настасья все уже готово, только пар идет...

– А вы не знаете, почему Парфенов хотел именно вас?

– Это Мизгирь-то? Известно, не от ума...

Допрос Нимки тоже ничего не выяснил, потому что подручный нес невозможную околесную и далее уверял, что Мизгирь раз «застал» Волка и Настасью вместе. Он перепутал данное показание на предварительном следствии и все старался оговорить Волка. Так от него и не добились правды, хотя Пимка должен был знать больше других.

Последней свидетельницей являлась Настасья. Она едва держалась на ногах. Когда пристав указал ей место, где стоять, Настасья перекрестилась и бухнулась ему в ноги.

– Мое дело, ваше высокоблагородие, – заговорила она торопливо, с своим решительным видом. – Кругом виновата по своей женской части, потому как спуталась с подручным... Из-за него и все дело вышло. Мой грех... А Волк тут ни при чем. Это Пимка придумал, чтобы прикрыться Волком, и травил моего мужа. И дети от Пимки... Ну, ему тоже совестно, вот он и удумал на Волка.

Произошла самая раздирающая сцена, когда Настасья повинилась в своем бабьем грехе. Она так разревелась, что председатель велел ее вывести.

После короткого совещания присяжные вынесли Мизгирию обвинительный приговор. Он выслушал его спокойно и перекрестился. Суд приговорил его в каторжные работы.

Последним словом этой мужицкой драмы было то, что Настасья изъявила неперемное желание следовать за мужем и через полгода ушла в Сибирь за арестантской партией.

# Пир горой\*

## Повесть

### I

Над озером Увек спускался весенний вечер. Скиты стояли на правом, высоком берегу, в тени векового бора, от которого потянулись длинные тени. На низинах и по оврагам еще лежал рыхлый, почерневший снег, а на пригреве уже чернела земля и топорщилась прошлогодняя сухая и желтая трава. Избитая и почерневшая дорога шла к скитам от громадного селения, залегшего на низком озерном берегу верст на пять. Селение называлось тоже Увеком, как и озеро. Зимой в скиты ездили прямо по озеру, а сейчас уже выступили желтые наледи, и дорога шла горой. Именно по этой дороге и шел странник, мужик лет пятидесяти, с обветренным и загорелым лицом. За плечами у него болталась небольшая котомка, прикрепленная к берестяному обочью, какие делают в Сибири; в руках была тяжелая черемуховая палка, точно изгрызенная с одного конца, – она говорила о далеком пути.

Странник остановился на угорье и невольно полюбовался развертывавшейся перед ним широкой картиной. Да, хорошее место Увек, – недаром слава о нем прошла на большие тысячи верст, а увекские скиты привлекали к себе тысячи богомольцев. И озеро хорошо, верст на пятнадцать, а кругом лесистые горы. В дальнем конце озера зелеными шапками выделялись острова.

– Угодное место... – проговорил странник и перекрестился.

Долго он шел сюда, а теперь оставалось сделать всего несколько шагов. Вот уж приветливо смотрят бревенчатые скитские избы, и старая деревянная моленная, и целый ряд хозяйственных пристроек. Все это вместе обнесено было высоким деревянным заплотом (забором), а большие шатровые ворота всегда были на запоре. Около ворот одним маленьким волоковым оконцем глядела небольшая

избушка, в которой жила сестра-вратарь. К ней и направился странник. Он постучал в оконце и помолитвовался.

– Господи, Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас!

Ответа пришлось подождать. Странник посмотрел на деревянную полочку, приделанную к окну с левой стороны, и улыбнулся. На полочке лежал кусок хлеба для заблудящего странного человека – исконный сибирский обычай. Только на второе молитвованье в окошечко «отдали аминь» и показалась старушечья голова, замотанная платком.

– Аминь, добрый человек... Кого тебе, миленький?

– А Якова Трофимыча, мать честная...

– Якова Трофимовича? Нету у нас такого, миленький.

– Как нету? Должен быть.

– А вот и нет!..

Голова быстро скрылась, а окно сердито захлопнулось. Страннику пришлось молитвоваться в третий раз и ждать дольше. Крепко живут старицы.

– Што ты привязался-то? – ворчала старушечья голова, приотворяя оконце вполонину. – Сказано, нет! Иди своей дорогой, миленький...

– А ежели у меня грамотка к матери Анфусе?..

Строгие старушечьи глаза посмотрели на странника довольно подозрительно, точно взвешивали его.

– Погоди ужо... – ответила старуха и скрылась.

Опять странник остался у ворот. Солнце уже село, и потянуло резким весенним холодком. С Увека доносился хриплый лай цепных собак, – селение раскольничье, и жили в нем по старине, крепко.

– Угодное место... – еще раз проговорил странник, подсаживаясь на приворотную скамейку. – Боголюбивые народы недаром строились... Вон как селитьба-то разлеплась, верст на шесть по берегу будет.

– Кто там хрещеный, – послышался голос в окне.

Теперь выпянуло уже другое лицо, помоложе, в черной монашеской шапочке.

– Дельце есть небольшое...

– Да ты сам-то кто будешь?

– Я-то? Ну, я, видно, дальний, а завернул в обитель с грамоткой от отца Мисаила... Крепко наказал кланяться и грамотку прислал.

– Давай грамотку-то...

– Не могу, честная старица: наказано матери Анфусе в собственные руки, а не иначе этого.

Скитские старицы пошептались, и только после этих переговоров тяжело громыхнул монастырский железный затвор. Когда странник вошел в калитку, его еще раз осмотрели и потом уже пустили дальше.

Скитский двор занимал большую площадь, обставленную простыми бревенчатыми избами. Самая большая была келарней. Двор был вычищен, а оставшийся снег таял большими кучами в стороне. Скитницы жили уютно и обихаживали свой укромный уголок с охотой, как рабочие пчелки. Сестра-вратарь провела пришельца в ближайшую избу с высоким крыльцом, где и жила сама честная мать Анфуса.

– Ужо подожди здесь, – остановила гостя сестра-вратарь, поднимаясь на крыльцо.

В окошке показалось молодое девичье лицо и посмотрело на странника удивленными серыми глазами. Это была совсем молодая девушка, лет шестнадцати, и ее лицо казалось еще моложе от черной скитской шапочки, в каких ходят послушницы. Потом это лицо сделало знак страннику идти в избу. Послушница встретила его в полутемных сенях и повела в заднюю избу. Она была такая высокая и стройная, так что странник даже полюбовался про себя. Хороши на Увеке послушницы, нечего сказать!..

Войдя в избу, странник положил начал и, поклонившись сидевшей на лавке толстой старухе, проговорил:

– Прости, матушка, благослови, матушка...

– Бог тебя простит, странничек, бог благословит, – не по летам певуче ответила старуха, оглядывая гостя. – От Мисаила сказался?

– От его, видно, – ответил странник, добывая из-за пазухи кожаный кошель, – Вот тебе и грамотка, честная мать...

Старуха взяла сложенную трубочкой засаленную грамотку, внимательно ее осмотрела и проговорила:

– Егор-то Иваныч дожидает тебя. Нарочно сегодня пригнал из городу... Спиридоном тебя звать? Так, так... Давненько про тебя пали слухи. Аннушка, проводи ты его к Якову Трофимычу...



Послушница низко поклонилась и, опустив по-скитски глаза, вышла из избы. Спиридон, отвесив поклон честной матери, пошел за ней. Они опять вышли на двор. Девушка повела его в дальний угол, где двумя освещенными окнами глядел новенький бревенчатый флигелек, поставленный в усторонье.

– Из тайги пришел? – спрашивала послушница, легкой тенью двигаясь в темноте.

– Оттедова, голубушка... А ты кто такая здесь будешь?

– Я-то? А дочь Егора Иваныча... Мамынька-то у меня померла, ну, тятя сюда меня и отдал, под начал матери Анфусе. Четвертый год здесь проживаюсь...

– Так, так...

У флигеля пришлось опять молитвовать, пока в волоковом оконце не показалось бледное женское лицо.

– Это ты, Аннушка?

– Я, Агния Ефимовна... Вот привела к вам таежного мужика.

Окно захлопнулось. Потом где-то скрипнула дверь, и в сенях показался колебавшийся свет. Агния Ефимовна сама отворила сени и впустила гостя. Он снял шапку и вошел в низенькую горницу, слабо освещенную нагоревшей сальной свечой. У стола в переднем углу сидели два старика – один совсем лысый, с закрытыми глазами, другой плотный и коренастый, с целой шапкой седых кудрей и строгими серыми глазами. Спиридон по этим глазам узнал в нем отца Аннушки. Положив начал, он поклонился и стал у двери. Аннушка передала грамотку отцу и ушла с Агнией Ефимовной в соседнюю горницу, притворив за собой дверь.

Егор Иваныч надел большие очки в медной оправе и принялся читать грамотку Мисаила. Читал он долго, поглаживая седую бороду и изредка взглядывая поверх очков на стоявшего у дверей странника. Слепой лысый старик сидел понуро на своем месте и жевал губами.

– Ну, што? – спросил слепой, когда Егор Иваныч снял очки и начал их укладывать в медный футляр.

– А вот спросим Спиридона, – ответил Егор Иваныч. – Ну, Спиридон, што ты нам скажешь?

Спиридон тяжело переступил с ноги на ногу, опять вытащил из-за пазухи свой кожаный кошель, добыл из него что-то завернутое в

тряпочку, развязал ее зубами и положил на стол. На тряпочке ярко желтело мелкое золото.

– Вот оно самое... – тихо проговорил он, оглядываясь на запертую дверь.

– Может, у бухарцев купил? – недоверчиво спрашивал Егор Иваныч, перегребая пальцем золотой порошок.

– Нет, сам добыл, Егор Иваныч... На охоте с орохоном встретился, а он мне и указал место. Могу доказать... Богачество, Егор Иваныч! Ежели бы господь благословил, так большие тысячи можно в тайге добыть...

## II

Слухи о сибирском золоте ходили уже давно среди уральских раскольников, особенно среди тех из них, которые вели крупные торговые дела с киргизской степью. Егор Иваныч вырос в подручных у крупных торговцев салом, Ивачевых, и не один год провел в степи. Там, на степных стойбищах, в киргизских аулах и кибитках, он слышал десятки рассказов о сибирском золоте, скрытом в глубинах непроходимой тайги, как заветный клад. Эти рассказы переходили из рода в род, и никому еще до сих пор не удалось добраться до сокровища, несмотря на очень смелые попытки, как, например, история знаменитых братьев Поповых, положивших на это дело миллионы. Егор Иваныч успел состариться, а сокровище оставалось нетронутым. И вот теперь, когда его голова уже покрылась первым снегом, оно само пришло к нему, это сокровище. Во всей истории было что-то сказочное: и Спиридон, и старец Мисаил, и слухи, которые опередили Спиридона. Сам Спиридон не внушал Егору Иванычу доверия: мало ли по Сибири таких бродяг шатается! Просто купил у бухарцев золота и подманивает.

– Ну, вот что, мил друг, утро вечера мудренее! – строго проговорил Егор Иваныч, поднимаясь с места. – Сегодня ты ступай в Увек, там заночуешь. Третья изба с краю... Скажи, что Егор Иваныч прислал. Да смотри: ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами.

Мужик посмотрел на Егора Иваныча исподлобья, как настоящий травленный волк, а потом свернул свою тряпочку с золотом и ответил;

– Што же туг держать-то: я никого не неволю. Дело поллюбовное, Егор Иваныч.

Егор Иваныч покраснел, но сдержался и только сухо ответил:

– Што же, другим понесешь золото?

– А хошь бы и так... Ведь ты меня не купил. Говорю: любовное дело. Брюхо за хлебом не ходит...

– Как ты сказал, мил человек?

– А так и сказал... Сначала коня запрягают, а потом в сани садятся. Я-то вот тыщи с три верстов отмерил до тебя, а ты меня пирожком накормил...

У Егора Иваныча глаза потемнели от бешенства, – очень уж дерзкий мужичонка, – по он переломил себя и только заметил:

– Зубы-то, мил человек, побереги. Пригодятся...

– У волка в зубе – Егорий дал! – смело ответил странник.

Когда он вышел, Егор Иваныч громко ударил по столу кулаком.

– Нет, как он разговаривает-то, челдон?! – кричал старик, давая волю накопившемуся негодованию. – Слышал, Яков Трофимыч?

– Как не слышать, – равнодушно подтвердил слепой. – Значит, вполне надеется оправдать себя, ежели такие слова выражает. И то сказать, што ему кланяться нам со своим золотом?..

– Да ведь это еще в трубе углем написано, его-то золото!..

Надо его еще найти, а он вперед на дыбы поднимается... Одним словом, варнак...

Не велик, видно, зверь, да лапист. А Мисаил-то што пишет?

– Да вот послушай, Яков Трофимыч... Очень уж уверился старичок вот в этом самом Спиридоне. Как бы ошибки не вышло.

Егор Иваныч опять оседлал свой нос очками, развернул грамотку и только приготовился читать, как в горницу вошли Агния Ефимовна и Аннушка. Старик нахмурился и проговорил, обращаясь к дочери:

– Анна, ты иди-ко к себе в келью. Не бабьего это ума дело, штобы наши разговоры слушать...

Послушница простилась и вышла, а Агния Ефимовна, как ни в чем не бывало, под села к мужу, положила к нему руку на плечо и вызывающе посмотрела на сердитого гостя своими большими карими глазами. Егор Иваныч вскочил и грузно заходил по комнате.

– Ну, што же Мисаил-то? – спросил слепой.

– Ах, отстань!.. Терпеть ненавижу, когда, примерно, всякая баба будет нос совать не в свое дело. Всяк сверчок знай свой шесток...

– Куда же мне идти от слепого мужа? – спрашивала Агния Ефимовна самым простым тоном. – Он как малый ребенок без меня...

– Не тронь ее, Егор Иваныч, – вступился за жену слепой. – Она у меня разумница... Не бойсь, не разболтает чего не следует. Ты, Агнюшка, не бойся...

– И то не боюсь, Яков Трофимыч. Не какая-нибудь, а мужняя жена. Некуда мне уходить-то...

Агния Ефимовна была еще молода, всего по тридцатому году, и сохраняла еще свою женскую красоту. Лицо у нее было тонкое, белое, нос с легкой горбинкой, брови черные, губы алые; сидение в скитском затворе около слепого мужа придавало этому лицу особенную женскую прелесть. Вывез жену Яков Трофимыч откуда-то с Волги, когда зрячим ездил по своим делам в Нижний. Егор Иваныч как-то инстинктивно не любил вот эту Агнию Ефимовну, правильнее сказать, не верил ни ее ласковому бабьему голосу, ни этому смиренному взгляду, ни ее любви к мужу. Сейчас в особенности старик ненавидел эту женскую прелесть, мешавшую делать большое мужское дело.

– Ну што же ты, Егор Иваныч? – спрашивал слепой, – Што тебе Мисаил-то пишет?

– Не мне, а матери Анфусе, – поправил его Егор Иваныч. – Дело не в письме, Яков Трофимыч... Нет, не могу я с тобой по-сурьезному разговоры разговаривать!..

Слепой тихо засмеялся, откинув назад голову. Агния Ефимовна поднялась, выпрямилась и заговорила твердым голосом:

– Ты не можешь, Егор Иваныч, так я тебе скажу...

– Ну, ну, скажи! – подзадоривал старик, усаживаясь к столу. – В чем дело, Агния Ефимовна? Поучите нас, дураков...

– Приходится, видно, поучать... Зачем Спиридона отвел сейчас? Характер свой захотел потешить? Только одно забыл, што этот Спиридон из тайги сюда три месяца шел, што ежели бы его поймали на дороге с золотом, так ни дна бы, ни покрывки он не взвидел, што... Одним словом, нужный человек, а ты ему ни два ни полтора.

– Верно, Агнюшка, – поддакивал слепой. – И я то же говорил... Егор Иваныч, ты не серчай, а у нас все заодно: у одного на уме, а у

другого на языке.

– Так, так... Правильно! – иронически согласился Егор Иваныч. – Еще не скажешь ли чего, матушка Агния Ефимовна? Откедова ты это все вызнала-то, скажи-ко попервее всего?

– А сорока на хвосте принесла...

– А не сказала тебе сорока, чего будет стоить эта игрушка со Спиридоном?

– Тысяч на тридцать можно обернуться...

– А где их взять?

– Яков Трофимыч даст... Дело верное, ежели старец Мисаил одобряет. Не таковский человек, штобы зря говорить.

Егор Иваныч поднялся, прошелся по комнате, остановился около слепого и проговорил сдавленным голосом:

– Дашь, што ли, Яков Трофимыч, ежели дело на то пойдет? Мисаил-то пишет, действительно, того...

– Дать, Агнюшка? – спрашивал слепой.

– Ежели старец Мисаил благословляет, так, известно, дать, – решила Агния Ефимовна. – Ему-то ближе нашего знать...

Егор Иваныч стоял и молча смотрел на мудреную бабу. Ох, велика человеческая слабость, особливо, когда бес прикачнется вот на такой лад, с бабьими лестными словами!.. И сам он то же думал, только не хотел показывать виду, а баба все и вывела на свежую воду, как пить дала...

– А ты бы, Агния Ефимовна, все-таки вышла бы лучше в свою горенку, – проговорил Егор Иваныч, выдерживая характер. – Бабье-то «так» пером по воде плавает...

– Не тронь ты ее!.. – взмолился слепой. – Она у меня вместо глаза. Поговорим ладом... Што она, што я – разговор один.

– А ежели не привык я с бабьем разговаривать? Ну, да дело твое. Немошь тебя обуяла, Яков Трофимыч. Оно и взыскивать не с кого. Я это так, к слову пришлось.

Беседа задлилась во флигельке за полночь. Говорил один Егор Иваныч, обсуждая новое дело со всех сторон. Агния Ефимовна все время не проронила ни одного слова, точно воды в рот набрала. В конце концов состоялось соглашение, и старики ударили по рукам.

– По первопутку поеду в тайгу со Спиридоном сам, – говорил Егор Иваныч. – А там што бог даст...

Агния Ефимовна вышла провожать старика в сени и, стоя на пороге, проговорила:

– Моя любая половина, Егор Иваныч.

– Из чего это половина-то?

– А из чистых барышей...

Старик только тряхнул головой: черт, а не баба.

### III

Появление Спиридона в Увече наделало шуму во всем раскольничьем мире. Молву о сибирском мужике, отыскивавшем золото, разнесли по богатым раскольничьим милостивцам разные старушонки-богомолки, странники, приживальцы – вообще весь тот люд, который питался от крох падающих. Откуда могли вызнать все это проходимцы, трудно сказать, тем более, что переговоры Спиридона с Егором Иванычем происходили келейно. Как-никак, а молва докатилась через несколько дней до города Сосногорска, где жили богатые промышленники и заводчики: Огибенины, Рябинины, Мелкозеровы. По богатым палатам сосногорских толстосумов шли теперь оживленные толки, и все они сводились на Егора Иваныча, который продался слепому Густомесову. Каждому хотелось отведать сибирского золота, и каждый мог только завидовать счастью слепого Якова Трофимыча, – вот уж именно «слепое счастье». С другой стороны, всем было понятно, как совершились события: старец Мисаил, к которому пришел Спиридон, сделал засылку честной матери Анфусе, чтобы оповестила богатых милостивцев, а честная мать Анфуса давно дружила с Егором Иванычем, единственная дочь которого воспитывалась в скиту у Анфусы. Дальше уж пошло само собой: Густомесов проживал в скиту уж близко десяти лет и кормил всю обитель, – ну, Анфуса и направила к нему Егора Иваныча, а Егору Иванычу тоже не вредно, если поведет все дело на капиталы слепого хозяина – сам большой, сам маленький будет во всем. Одним словом, история разыгралась, как по писаному, и комар носа не подточит.

Нашлись любопытные, которые нарочно ездили в Увек, чтобы хоть издали поглядеть на таинственного сибирского мужика. Он проживал в избе у старухи-бобылки и показывался только на озере,

куда выезжал на плотике удить рыбу. Целые дни проводил он за этим «апостольским ремеслом» и ни с кем не хотел водить знакомства. Даже в скит к Анфусе ходил редко, и то на службу. Крепкий был мужик, одним словом. Выискался было один шустрый подручный от Рябининых, который с удочкой подчалил на лодке к плотнику Спиридону, чтобы завести знакомство, но и из этого ничего не вышло, – хитрый сибирский мужик даже не взглянул на него и сейчас же поплыл к своему берегу.

– Оборотень какой-то! – ругали все сибирского мужика, – Чего он сторонится всех, как чумной бык?

Дальше интересовало всех, как обойдется Егор Иваныч со своим хозяином Мелкозеровым, у которого служил с малых лет. Мелкозеров был из сальников, вместе еще с Густомесовым вел дела в степи, а потом попал в случай: продавались железные заводы у промотавшихся наследников, и Мелкозеров купил их. Все дивились необычайной смелости Мелкозерова: дело было миллионное, непривычное, а он не побоялся. Много было волокиты и хлопот, чтобы просто купить эти заводы, потому что приобретать населенные имения могли только дворяне, а не купцы. Сильно потрянул тугой мощной Мелкозеров и добился своего, а потом уже развернулся во всю ширь. Дело было громадное, прибыльное и сулило впереди миллионы. «Ндравный» человек Мелкозеров превратился быстро в самодура и на своих заводах являлся страшной грозой. Все трепетало перед ним, тем более, что от него зависели жестокие заводские наказания. Крут был сердцем Мелкозеров, и все боялись его, как огня. Не боялся только один Егор Иваныч, состоявший при нем зараз в нескольких должностях: он и с подрядчиками ведался, он и горных чиновников умасливал, он и всякие тайные поручения исполнял – везде поспевал Егор Иваныч, как недремлющее око. И вдруг Егор Иваныч отшатится от Мелкозерова прочь, – никто даже представить себе не мог, как это произойдет. Между тем все шло по-старому, и Егор Иваныч не подавал никакого виду: все тот же Егор Иваныч, точно ничего не случилось. Мелкозеров, конечно, уже знал о сибирском золоте и тоже не подавал виду, что знает что-нибудь. Крепкие люди сошлись.

Однако выпал роковой день, когда все разрешилось само собой. Это случилось в июле, в самую страду. У Мелкозерова было два

железных завода, и управляющим состоял его племянник Капитон Титыч, такой же «ндравный» и упрямый человек, как и сам старик Мелкозеров. Летнее время на заводах тихое, потому что рабочие распускались на страду. Сам Мелкозеров проживал в Сосногорске и потребовал к себе племянника для каких-то объяснений. Но вместо племянника получилась коротенькая записка: «Рыбу ловлю. Некогда. Да и говорить нам с тобой, дядя, не о чем сейчас. Капитон Мелкозеров». Вскипел старик и послал строгий наказ ослушнику явиться немедленно. В ответ получилась записка еще короче: «Не хочу. Капитон Мелкозеров». Это уже окончательно взорвало старика, и он послал на заводы нарочитых людей, чтобы привезли Капитона живого или мертвого.

– Я за все в ответе! – кричал старик, – Орудуй в мою голову!..

Прежде он поручил бы это дело Егору Иванычу, а теперь обошел его. Это был явный признак опалы. Егор Иваныч не шевельнул бровью: не его воз, не его и песенка.

Итак, стоял жаркий июльский день. Егор Иваныч по обыкновению сидел в своей конторе, устроенной при громадном мелкозеровском доме. Контора выходила окнами на улицу, и Егор Иваныч видел, как к воротам подъехала простая деревенская телега, на которой сидели четыре здоровенных мужика.

– Капитона привезли!.. – пронеслось по конторе.

Все служащие так и замерли, ожидая, чем разыграется вся история. Телега въехала во двор и остановилась у крыльца. Доложили о приехавшем госте самому хозяину. Выбежал на крыльцо оторопелый подручный и проговорил:

– Капитон Титыч, пожалуйста в контору... Лаврентий Тарасыч сейчас туда придут.

– Не хочу... – ответил лежавший на телеге Капитон; он и не мог прийти, потому что был связан по рукам и ногам.

А старик Мелкозеров уже успел спуститься в контору и смотрел в окно. Он даже зашипел от ярости, услышав такой ответ.

– Как же он придет, ежели лежит связанный, – объяснил спокойно Егор Иваныч.

– Ну, ступай приведи его, дурака...

Егор Иваныч отправился, велел развязать Капитона, но тот продолжал лежать в телеге и не хотел вставать.



– Не хочу... – ответил Капитон на все уговоры.

– Несите его, щучьего сына, на руках! – крикнул Мелкозеров в окно.

Здоровенные мужики подхватили ослушника на руки и внесли в контору. Трудненько было тащить здорового мужика, но ничего, внесли. В конторе Капитон не пожелал встать на ноги, а растянулся на полу, как пласт.

– Ты это што дуришь? – накинулся на него Мелкозеров. – Да я тебя в остроге сгною... запорю!.. И отвечать не буду!

– Руки короткие, – спокойно ответил Капитон. – Не крепостной я тебе дался.

Нужно было видеть старика Мелкозерова в этот момент. Он весь побледнел, затрясся и со сжатыми кулаками бросился к Капитону. Трудно сказать, что произошло бы тут, если бы Егор Иваныч не загородил дороги. Гнев старика целиком обрушился на непрошеного заступника.

– Ты... ты... ты Иуда! – задышавшимся голосом повторял Мелкозеров, забывывая о лежавшем на полу Капитоне. – Ты продал меня... Старая-то хлеб-соль забывается! Иуда...

Мелкозеров затопал ногами, зашипел и даже замахнулся кулаком на Егора Иваныча.

– Я все знаю... – уже хрипел он. – Да, все... Налакался ты со скитницами и обходишь теперь слепого дурака!

– Никого я не обходил, Лаврентий Тарасыч, – слегка дрогнувшим голосом ответил Егор Иваныч. – Тебе вот я сорок лет прослужил верой и правдой, а не имею сорока грошей. Больше не могу... Не о себе говорю, а о дочери Аннушке... Об ней пора позаботиться. Не хочу ее нищей оставлять.

Мелкозеров даже отшатнулся от верного слуги, посмотрел на лежавшего на полу Капитона и потом проговорил, указывая на него:

– Ты сговорился с ним... Может, вместе собрались убить меня? А?!

– Зачем убивать... А только, Лаврентий Тарасыч, больше я тебе не слуга. Будет...

Это была настоящая живая картина. Центр занимал лежавший на полу Капитон, могучий мужчина с окладистой темной бородой, около него стоял Егор Иваныч, немного откинув назад свою седую голову, а

против них бегал Мелкозеров – высокий плечистый мужчина с крутым лбом, огневymi темными глазами и бородкой клинышком. Все они были одеты по-домашнему, в раскольничьи полукафтаны, в русские рубахи-косоворотки и в смазные сапоги.

– Сорок лет тебе я прослужил, Лаврентий Тарасыч, а теперь пора и о себе позаботиться, – продолжал Егор Иваныч. – Всякому своя рубашка к телу ближе...

Капитон в этот момент поднялся и проговорил всего одну фразу:

– И я тоже...

Мелкозеров посмотрел на обоих и сказал всего одно слово:

– Вон!..

Вся контора замерла, ожидая, какую штуку выкинет Капитон, но он только посмотрел на дядю и отвернулся.

Егор Иваныч и Капитон вместе вышли на крыльцо. Они молча прошли двор и остановились у ворот. Капитон снял шляпу, поправил кудрявые волосы, по-раскольничьи подстриженные в скобку, и, погрозив кулаком в окно конторы, проворчал:

– погоди, идол, я до тебя доберусь!..

Егор Иваныч взял его под руку и повел под гору, – мелкозеровский дом стоял на горе. Они молча прошли пол-улицы, а потом старик заговорил:

– Ну, Капитон, теперь мы с тобой на одном положении. Осенью по первопутку я выезжаю с партией в тайгу.

– Слышал...

– Ежели хочешь, поедem вместе.

– На густомесовские деньги?

– Уж это не твое дело. Попробуем счастья...

Старик боялся услышать в ответ Капитоново «не хочу», но Капитон только тряхнул головой и молча протянул руку.

– Э, где наше не пропадало, Егор Иваныч!.. Будет, поработали на прелюбезного дядюшку. Ах, так бы, кажется, пополам и перекусил его!..

– Будет, утишись. Сердце-то у вас у обоих огневое, Капитон, вот ладу-то и не выходит, а со мной уживешься.

Капитона Егор Иваныч знал с детства, когда он еще состоял при строгом дяде в мальчиках, и любил его по-хорошему, как любят хорошие люди. В упрямом мальчике было много симпатичных сторон,

а Егор Иваныч жалел его, как сироту. По-своему, по-стариковски, он больше всего ценил в нем хорошую кровь. Вот и теперь: ни на волос не сдался, хоть на части режь. С огнем другого-то такого кремня поискать...

Впоследствии Егор Иваныч тысячу раз раскаивался вот за эту сцену.

#### *IV*

Приготовления к походу в далекую тайгу заняли все лето. Нужно было собрать партию рабочих в пятьдесят человек, заготовить всякую приисковую снасть, провиант, одежду для рабочих – одним словом, все, что могло потребоваться за зиму в безлюдной тайге. Егор Иваныч точно помолодел и работал за троих. Он поднимался с зарей и хлопотал вплоть до ночи. В виде отдыха старик время от времени уезжал из Сосногорска в Увек, чтобы повидаться с дочерью, – это была последняя старческая привязанность, которая угнетала и делала рабом. Егор Иваныч, если можно так выразиться, был просто болен своей дочерью, хотя и старался по внешнему виду не выдавать себя. Он даже казался строгим отцом и делал суровые выговоры. Одна только честная мать Анфуса знала, как безумно любил старик свою ненаглядную Аннушку, – от нее у него не было тайн. Боже сохрани, чуть что попритчится девушке, старик сейчас же падал духом и рыдал, как ребенок, в келье Анфусы. Аннушка была его жизнью, светом, дыханием. Можно себе представить, как Егора Иваныча волновала близившаяся разлука на целую зиму. Пока он старался не думать об этом, как мы стараемся не думать о смерти.

Недели за две до отъезда, после Покрова, Егор Иваныч приехал в скит вместе с Капитоном. Последний, хотя и был старовером, но в скиту на Увеке не бывал ни разу. От Сосногорска до озера было всего каких-нибудь двадцать верст, но Капитону все как-то не выпадала дорога именно в эту сторону. Егор Иваныч привез своего помощника с той целью, чтобы он сам переговорил со слепым Густомесовым. Все же оно лучше, а то, храни бог, помрешь в тайге и замениться будет некем. И для Густомесова надежнее: Капитон не чужой человек.

Осенняя непролазная грязь была уже скована морозом, и небольшая дорожная повозка Егора Иваныча бойко подкатила к скиту.

– Ты смотри, Капитон, не скажи чего лишнего, – предупреждал старик, вылезая из экипажа. – Уговор на берегу... Место-то здесь тихое, не мирское. Напугаешь еще монашин... Ведь ты у меня, Христос с тобой, с норовом!

Капитон ничего не ответил, а только улыбнулся в бороду.

В скиту Егор Иваныч давно был своим человеком и привел гостя прямо в густомесовский флигелек. По обыкновению двери отворила им сама Агния Ефимовна. Она даже отшатнулась, когда увидела перед собой рослого красавца-мужчину, в упор глядевшего на нее своими сердитыми глазами.

– Што, испугалась, Агния Ефимовна? – пошутил Егор Иваныч. – Ничего, хорош зверь, ежели к рукам.

– Пусть молодые боятся, а я уж стара стала, – ответила Агния Ефимовна, оправившись. – Милости просим, дорогие гости...

Капитона поразили больше всего ярко-красные губы скитской затворницы, совсем уж не подходившие к ее полумонашескому костюму, смиренному взгляду к матовому цвету прежде времени отцветавшего лица. Когда Капитон входил в дверь и нагнулся, чтобы не стукнуться головой о притолоку, Агния Ефимовна невольно улыбнулась: какой он большой, да здоровый, да красивый. Ее точно огнем опалило... Бывают такие мимолетные встречи, которые оставляют в душе неизгладимый след и служат какой-то роковой гранью, разделяющей жизнь на разные полосы. Иногда какая-нибудь ничтожная мелочь западает в память и выступает с яркой силой при каждом удобном случае. Впоследствии, когда Агния Ефимовна думала о Капитоне, она не могла представить его себе иначе, как именно входящим, нагнувшись, в дверь их скитской горницы.

– Вот ты какой, Капитон! – удивился Яков Трофимыч, ощупывая гостя без церемоний. – Из всего дерева выкроен... А дяде так и отрезал тогда: «Не хочу!» Ну, молодец... С Лаврентием-то Тарасычем мы прежде хлеб-соль водили, а теперь он и забыл про меня. Все забыли... да... Характерный человек Лаврентий Тарасыч!.. А ты ему: «Не хочу!» Ха-ха!..

Капитон почувствовал себя в этой маленькой горнице как-то особенно жутко. Ему точно было совестно и за свой рост и за свое

богатырское здоровье, а тут еще этот смех лысого слепца. Больше всего смущало Капитона то, что все время он чувствовал на себе пристальный взгляд Агнии Ефимовны, которая точно впиалась в него своими зеленоватыми, как у кошки, глазами. Его так и тянуло самому рассмотреть ее хорошенько, да было совестно Егора Иваныча. В горнице она показалась ему совсем другой, чем в сенях, точно она помолодела, переступив порог. Он плохо помнил, о чем шел деловой разговор, охваченный каким-то смутным беспокойством. Да, это была тревога, вроде того, когда глухой ночью раздается неожиданный стук в дверь. Егор Иваныч заметил произведенное хозяйкой впечатление и несколько раз посмотрел на богатыря строгими глазами. Не замечал, конечно, ничего только Яков Трофимыч, который чувствовал себя как-то особенно весело и пересыпал серьезный разговор шуточками и прибаутками.

– Полюбился ты мне, Капитон! – повторял он. – Жаль в Сибирь тебя отпускать...

– Даст бог, еще вернемся... – как-то глухо ответил Капитон, глядя в угол, – Не на смерть прощаемся.

Егор Иваныч как-то разом оборвал разговор и начал прощаться. Агния Ефимовна проводила их в сени. Она не проронила в течение разговора ни одного слова и простилась молча. Когда Капитон шел по скитскому двору, он чувствовал как-то всей своей спиной, что Агния Ефимовна смотрит на него. Подходя к игуменской келье, он не вытерпел и оглянулся: она действительно стояла в дверях, прислонившись к косяку головой, точно оглушенная.

«Этакая змея подколодная!.. – думал Егор Иваныч, поднимаясь по игуменской лестнице на крылечко. – Съесть готова глазищами. Вон как замутила Капитона-то...»

Честная мать Анфуса что-то разнемоглась и приняла гостей, лежа на лавочке. Около нее сидела Аннушка. Когда Капитон вошел в игуменьину келью, он почти никого и ничего не видел. Да и какое было ему дело до кого-нибудь...

– Што вы больно долго собираетесь-то? – тихим голосом спрашивала мать Анфуса, – Долгие-то сборы не всегда к добру...

– Да уж такое дело, мать Анфуса, што скоро его не повернешь, – объяснял Егор Иваныч. – Не шутки шутить едем. Вот снежок выпадет,

тогда мы и укатим по первопутку. Так и партия снаряжена... Всего-то, может, недельки с две и жить здесь осталось.

Последняя фраза произвела на девушку неожиданное действие. Она припала к отцу своей головкой и горько заплакала.

– Ты это о чем, глупая? – упавшим голосом спрашивал Егор Иваныч, глядя русую головку. – К весне вернемся... Ну, о чем?

– Так, тятя...

Этот прилив дочерней нежности сразу вышиб Егора Иваныча из делового настроения, и он умоляющими глазами посмотрел на мать Анфусу.

– Аннушка, ступай к себе! – строго проговорила старуха. – Нечего тебе здесь делать...

Девушка горячо обняла отца и с глухими рыданиями выбежала из комнаты. Егор Иваныч поднялся, сделал несколько шагов и, пошатываясь, остановился у окна. По его лицу градом катились слезы. Капитон все время сидел, опустив голову, и разглядел Аннушку только тогда, когда пробежала мимо него. Пред ним мелькнуло это заплаканное девичье лицо, как чудный молодой сон. Теперь Капитон смотрел с удивлением на всхлипывавшего Егора Иваныча и ничего не мог понять.

– Будет тебе блажить, Егор Иваныч! – ворчала мать Анфуса. – Слава богу, не маленький... И девку разжалобил и сам нюни распустил!

В комнате наступила неловкая пауза. Слышно было только, как вздыхал Егор Иваныч, сдерживая душившие его рыдания.

– Ведь одна она у меня... – шептал он, не поворачиваясь от окна. – Как синь порох в глазу... Еще кто знает, приведет бог свидеться либо нет... Все под богом ходим. Ну, Капитон, едем домой!

Всю дорогу Капитон молчал и только изредка встряхивал головой, точно хотел выгнать какую-то неотвязную мысль. Уже подъезжая к городу, он проговорил:

– А ведь я не знал, што у тебя есть дочь, Егор Иваныч!

– А для чего бы я жить-то стал? Для нее и в тайгу еду... Может, бог и пошлет ей счастье...

После некоторой паузы Капитон заметил:

– А зачем квасишь девку в скиту?

Егор Иваныч посмотрел на Капитона и, к удивлению, заметил на его лице то упрямое выражение, когда он говорил «не хочу». Мудреный был человек Капитон.

## V

Первый снежок послужил сигналом к отъезду. Егор Иваныч в последний раз приехал в скит на Увеке. Прощание с Аннушкой было самое трогательное. Старик уже не стыдился собственных слез.

– Смотри, Анна, ежели я помру в тайге, вот тебе вторая мать – повторил Егор Иваныч несколько раз, указывая на честную мать Анфусу. – Слушайся ее, как меня... Она худу не научит.

– Тятенька, я тогда пострижение приму... – отвечала Аннушка, заливаясь слезами. – Нечего мне в мире делать!

Потом девушка была выслана, и старики занялись серьезным разговором.

– Рассчитал тебя Лаврентий Тарасыч? – спрашивала старуха.

– Как же, рассчитал... Прислал сто рублей.

– Это за сорок-то лет службы? Ведь ты без жалованья у него служил...

– И за это спасибо. Ну, да бег с ним... Вот Капитону прислал целых три тысячи, чтобы, значит, чувствовал. Такой уж особенный человек...

– Уж через число особенный-то...

Честная мать была как-то особенно задумчива и после деловых разговоров сообщила томившую ее заботу:

– Пали из Москвы слухи, Егор Иваныч, што позорят нашу обитель никонианы. Строгости везде пошли. Головушка с плеч – вот какая забота прикачнулась.

– Никто, как бог, честная мать...

Когда Егор Иваныч зашел проститься к Густомесову, Агния Ефимовна встретила его с опухшими от слез глазами.

– О чем это ты разгоревалась так, матушка? – удивился Егор Иваныч, здороваясь.

– А уж мое дело!.. Тебя просить не буду, штоб пожалел! – отрезала Агния Ефимовна. – Ступай к слепому черту.

Сам Густомесов тоже держал себя как-то странно и все говорил о Капитоне:

– Вот как он мне поглянулся, Егор Иваныч, твой-то Капитон. Помру, пусть Агнюшка замуж за него идет... Деньги-то ведь все я ей оставлю. Пусть повеселятся да меня вспоминают... Хе-хе! У молодых-то мысли в голове, как лягушки сивчут.

– Не ладно ты говоришь, Яков Трофимыч... Только напрасно Агнию Ефимовну обижаешь.

– Я? Обижаю?.. Да ведь она меня любит, моя голубушка, а любя, все терпят. Она меня любит, Агнюшка, а я Капитона люблю. Хе-хе!..

Егор Иваныч с тяжелым чувством оставил густомесовский флигелек. Нехорошие слова говорил Яков Трофимыч и совсем не к лицу. Провожая его, Агния Ефимовна шепнула:

– Скажи поклонник Капитону Титычу... скажи, что буду богу за него молиться.

– Ах, Агния Ефимовна, Агния Ефимовна! Себя-то пожалей, а об Капитоне позабудь: ветер в поле, то и Капитон для тебя.

Агния Ефимовна только улыбнулась сквозь слезы. Тоже выискался созетчик: себя пожалей...

Долго простояла Агния Ефимовна в дверях сеней, похолодела вся, а уходить не хотела. Вот и Егор Иваныч скрылся давно, и снежок падает, мягкий такой да белый, а она все стояла, стояла и стыла от щемившей ее тоски. Господи, хоть бы умереть!.. Ведь другие умирают же, а она должна жить. Закроет глаза Агния Ефимовна и видит Капитона, руками к нему тянется, какие-то ласковые слова говорит... И сердце обмирает, и голова кружится, и страшно делается... А там, из горницы, доносится старческое ворчание: «Агнюша, где ты? Агнюша!..» Агния Ефимовна знала вперед, что теперь начнутся умоляющие ноты, потом слезливые, потом угрожающие: «Агнюша, голубушка, маточка... ах, Агнюша!»

Она вернулась в горницу вся холодная, продрогшая. Старик схватил ее за руку и сейчас же ощупал лицо.

– Ты плакала? Об нем плакала? О, змея подколотная!..

Он захрипел от бессильного гнева, а она вся дрожала, чувствуя, как эта мертвая рука опять тянется к ее лицу.

– Убить тебя мало... задушить... изрезать на мелкие части... растерзать!..



Она молчала и только закусила губы, когда старик начал ломать ее тонкую руку. Потом этот порыв ярости сменился нежностью, что еще было хуже.

– Агнюша, миленькая... голубка... Ведь ты любишь меня? Потерпи еще малое время: скоро я помру... пожалей старика... Ну, любишь? Агнюшка, маточка... слезка моя!.. Умру, все тебе оставлю! Поминай старика...

Она молчала.

Старик оттолкнул ее и дико захохотал.

– Прочь от меня, дьявол!.. Ха-ха!.. Ты о нем думаешь, о Капитоне... Вся ты одна ложь и скверна! И думай, а Капитон на другой женится! Другую будет ласкать-миловать. Ха-ха!.. Завидно тебе, маточка, ох, как завидно, а ничего не поделаешь! Здоровый он, Капитон-то, молодой, кровь с молоком, глаза, как у ясного сокола, и все другой достанется... Другая-то и будет заглядывать в соколиные глаза, другая будет разглаживать русые кудри... Другая порадует за тебя, Агнюшка, а ты вот со мной горе горевать будешь!

Ответом были глухие рыдания.

– Агнюша, где ты?.. Агнюша, подойди ко мне... Агнюша, не убивайся; скоро я помру, маточка!

Слепой поднялся и, протянув руки вперед, пошел на глухие всхлипывания. И вот опять тянутся к ней эти холодные руки, опять они ощупывают ее лицо, а она сидит и не может шевельнуться. Яков Трофимыч присел на лавку рядом с ней, обнял и припал своей лысой головой к ее груди. Эти ласки были тяжелее вечной брани, покровов и ворчания. Она вырвалась. Сейчас ее сквернили эти руки.

– Нет, не надо... Убей меня лучше! – глухо шептала она. Ничего я не знаю... ничего мне не нужно... Тошно, тошно, тошно!..

– Агнюша, маточка...

– Не подходи ко мне! Я... я... я ненавижу тебя... я сама тебя убью... отравлю... изведу...

– Агнюшка! Миленькая!..

И эта пытка продолжалась целых десять лет, бесконечных десять лет!..

Густомесов выбился в люди из приказчиков одного богатого сальника. Молва гласила, что он ограбил хозяина, когда тот умирал в степи. Это было началом. А затем Густомесов развернулся уже

самостоятельно. Он повел широкое дело со степью, скупая сало, кожи и целые гурты курдючных баранов. Неправедные денежки вернулись сторицей, и Густомесов уже немолодым задумал жениться. Для этой цели он нарочно отправился в поволожские скиты и там высмотрел себе сиротку-девушку, тоненькую, бледненькую, но писаную красавицу. Ей едва минуло шестнадцать, а ему было уже за тридцать. Вывезя молодую жену на Урал и поселившись с ней в Сосногорске, Густомесов от сального дела оставил один салотопный завод, а поездки в степь бросил. У него был уже свой кругленький капитал, и он пустил его в оборот другим путем. В описываемое нами время в Сосногорске не было ни банков, ни ссудных касс, и Густомесов начал давать деньги «под проценты». Нуждающихся всегда довольно, особенно в торговом мире, и эта операция дала Густомесову гораздо больше, чем даже темное дело со степью, когда он покупал сало и баранов на фальшивые ассигнации. В каких-нибудь пять лет капитал утроился, но именно в этот момент он ослеп и должен был по возможности ликвидировать все дела и жить на проценты. Последнее было не трудно сделать, но несчастье заставило изменить весь образ жизни, и Густомесов переехал с молодой женой в скиты на Увек.

Всегда подозрительный, здесь он превратился в деспота. Проведя всю молодость в поволожских скитах, Агния Ефимовна опять очутилась за монастырской стеной, но на этот раз со слепым мужем. Она отлично понимала, что это скитское сидение было устроено специально только для нее, чтобы предохранить от какого-нибудь вольного или невольного бабьего греха. И она томилась в скитской неволе год за годом, не видя впереди ничего, кроме того же черничества. До известной степени ее спасала только полученная у раскольничьих мастериц строгая выдержка и привычка покоряться. Но и у этой заживо погребенной за скитской стеной женщины по временам являлась смутная и тяжелая тоска по неиспытанной воле, какой-то большой призрак неосуществимой надежды... Ведь вот тут, сейчас за скитской калиткой уже начиналась жизнь; живые люди любили и ненавидели, радовались и плакали; для них была и весна, и лето, и зеленая мурава, и все то, чем вольная жизнь красна.

С отъездом Егора Иваныча и Капитона Титыча в Сибирь в скиту на Увеке потянулись особенно скучные дни. Вообще скитская жизнь не отличалась весельем, а тут уж совсем было тошно. Агния Ефимовна ходила как в воду опущенная. Она теперь придумала новую манеру держать себя с мужем: сядет куда-нибудь в уголок и молчит хоть докуда.

– Агния!.. – взывал слепой, протягивая руки. – Агнюшка... ангелочек...

Единственным ответом служила гробовая тишина. Слепой начинал волноваться и напрасно старался сдерживать себя. Он вставал и начинал обшаривать свою келью, как тень. Агния Ефимовна не шевелилась и только следила за своим мучителем полными ненависти глазами. Она не шевелилась и тогда, когда эти холодные, дрожавшие руки находили ее, схватывали за плечи и тянули к себе.

– Агнюшка, касаточка, отзовись... Вымолви словечушко!

Молчание.

Яков Трофимыч вдруг закипал бешенством и накидывался на жену, как зверь. Она чувствовала, как эти холодные руки вливались в ее шею и начинали ее душить. Раза два она вырывалась из этих рук вся растерзанная и прибегала к матери Анфусе в самом ужасном виде: волосы распущены, платье разорвано, на шее следы душивших пальцев.

– Милушка, полно вам грешить... – уговаривала честная игуменья, качая седой головой, – Статошное ли это дело, што-бы в обители такое мирское смятение?

– Ох, тошнехонько, матушка! – плакалась Агния. – Не пойду я к своему мучителю – и все тут. В обители ведь мы живем, а он неподобного требует. Как-то цельную ночь в сенках простояла, а он цельную ночь искал меня... Видеть его не могу, матушка. Вот как тошно... В пору руки на себя наложить.

– Ах, милушка, какие ты слова говоришь!.. – журила игуменья. – Бог терпеть велел, а ты вот што говоришь-то...

– Было бы для кого терпеть, матушка. Извел он меня, всю душеньку вынул...

Густомесов был для обители находкой, как милостивец и кормилец, и, кроме того, он обещал после смерти оставить скиту половину своего состояния; поэтому честная мать Анфуса

употребляла все усилия, чтобы уговорить Агнию и вообще помирить мужа с женой. Было старухе своих скитских дел по горло, а тут еще приходилось идти к Якову Трофимычу и уговаривать его.

– Вот што, милостивец, – говорила игуменья Густомесову, – оставь ты Агнию, не тревожь... раздоры-то ваши всю обитель смущают. Неподобного требуешь... Забыл, что в обители живешь.

– Задушу я ее, змею! – кричал слепой муж. – Своими руками задушу и отвечать никому не буду...

– Перестань грешить, Яков Трофимыч...

– Я знаю, о ком она думает... Молчит, а сама все о нем думает, о Капитошке. Я-то ведь знаю, все знаю... Извела она меня своим молчанием.

– А ты стерпи... Успокоится баба, – ну, и пойдет все по-старому. Тебя и то бог убил, а ты мирские мысли все думаешь. Будет, погрешил, когда на миру жил... И мне не подобает слушать твои пакостные речи, не для этого обитель ставилась.

Эти строгие внушения сразу смиряли бушевавшего слепца. Он садился к столу, закрывал лицо руками и начинал плакать.

– Грехи надо замаливать, а не о жене думать, – наставительно говорила игуменья.

– Ох, знаю, честная мать... Без тебя знаю!.. Только вот силы не хватает на смирение... Чувствую я, што она тут, Агния, ну и того... Красивая она, молодая, а я грешный человек...

– Тьфу!.. Слушать-то тебя муторно... Ужо вот на поклоны поставлю, тогда узнаешь, как такие слова говорить. Какой на мне чин-то, греховодник?

– Да ведь жена она мне, значит, вся моя, и греха тут нет...

– Тогда выезжай из обители... Все тут разговоры с тобой.

Честная мать знала, что Яков Трофимыч не выедет из скита, – где он найдет такой крепкий досмотр за женой? – и пускала это средство, как самое решительное. Затем ей опять приходилось уговаривать Агнию и вести ее к мужу.

– Ты у меня смотри... – грозила смиренному слепцу старуха. – Чуть што, так я и лестовкой тебя поначалу. Найдем управу... Агния, а ты слушайся мужа. Что бог дал, тем и владай...

Агния молчала, зная, что все пойдет по-старому. Сначала муж будет приставать с жалобными словами, а потом рассвирепеет. Она

предпочитала последнее: пусть лучше убьет разом.

Какие ужасные ночи она проводила в своем заточении... и все думала о нем, о Капитоне Титыче. Пробовала отмаливать это наваждение, но и молитва не спасала – не было в ней настоящей молитвы. «Приворожил он меня, присушил», – с тоской думала Агния и приходила в ужас от собственного бессилия. Ничего не могла она с собою сделать и опять начинала думать о сердитых и ласковых глазах Капитона Титыча.

Только и было отдыха Агнии Ефимовне, когда слепой муж укладывался после обеда спать. Хоть один час покойно проспит... К этому времени обыкновенно приходила Аннушка – она тоже едва урывалась от своей скитской работы. Присядут молодые женщины куда-нибудь на крылечко и разговаривают свои разговоры. Стояло уже лето, дни были жаркие – так и томит жаром.

– Купаться просилась у матери, – жаловалась Аннушка, – озеро-то тут и есть, только под гору сбежать... Не пустила. Говорит, угодники-то по пятидесяти годов не обнажали себя, а ты выдумала, озорница, плоть свою тешить.

– Им все нельзя, старухам... – вздыхала Агния, – Чужой век изживают. Я-то привязана к мужу, как цепной пес, а ты-то с чего изводишься в скиту? Кабы я была на твоём месте, так...

– А тятенька?..

Агния только улыбалась. Что такое тятенька? Он тоже старик, а молодым когда был, так по-молодому и думал. Девица – вольный человек, пока не запоручила свою голову.

Они вместе гуляли по скитскому двору, когда надоедало торчать на крылечке. Любимым местом Агнии была «стенка».

– Аннушка, пойдем на «стенку»?

– А игуменья увидит? Да и Яков Трофимыч тебя хватится...

– Пусть хватается, постылый... Час – да мой!

«Стенка» была у самых ворот. Скитские сестры, прежде чем отворить крышку, выплывали сверху из-за тына, причем подставлялась деревянная лесенка. Из-за тына можно было видеть и озеро Увек и громадное селение. Сестра-вратарь обыкновенно не пускала на «стенку» и сердилась, но Агния умела ее уластить. Аннушка только дивилась, откуда у Агнии такие слова берутся.

– Ох, снимете вы е меня голову, – ворчала старуха-вратарь. – Ужо, того пляди, проснется честная мать...

– Мы только чуточку поглядим, – говорила Агния. – Ведь мы не скитские сестры, а мирские... Нечего с нас взять.

Агния и Аннушка вместе взбирались на лесенку и любовались «миром». Боже, как там хорошо!.. И сколько там вольного народа живет! И всем-то весело, всем хорошо! Бледное лицо Агнии покрывалось тонким румянцем, и Аннушка каждый раз любовалась ею: писаная красавица эта Агнюшка!

Вот взять соскочить с тыну – только и видели... – говорила Агния, заглядывая через тын. – И ушла бы, кабы не своя неволя... Ты думаешь, меня Яков Трофимыч связал?..

У Агнии глаза начинали блестеть, грудь поднималась высоко – вся она была огонь и движение. Странно, что Аннушка каждый раз чувствовала себя как-то неприятно и точно начинала ее бояться. Что было на уме у Агнии? Чему она смеется? Агния в эти минуты действительно ненавидела Аннушку, глухо и нехорошо ненавидела. Ей даже хотелось столкнуть ее с тына. Раз Агния, плядя на Увек, проговорила задумчиво:

– Знаешь, Аннушка, я тебе расскажу твою судьбу...

– Не надо, Агния. Я не люблю... Это грешно... судьбу угадывать.

– А я все-таки скажу... Я все знаю, что будет. Ты вот сидишь в скиту, как птица в клетке, а суженый-ряженный ходит ветром в поле. Далеко залетел ясный сокол, а думки-то все в скиту. Сколько ни побродит он по горам да по болотам, а сюда вернется, и сейчас к красной девице. Я сон такой видела... Богатство они найдут... много золота... Уехали бедные, приедут богатые. Не чует души в своей дочери Егор Иваныч, а ничего не поделаешь: придется расстаться.

– Будет, Агния... – умоляла Аннушка. – Нехорошо.

– Нет, ты слушай сон-то... Вернется ясный сокол, разобьет клетку и увезет птичку на вольную волюшку... Миловать ее будет, целовать, обнимать...

Говоря последние слова, Агния все больше и больше наклонялась к Аннушке, к самому лицу, так что та чувствовала ее горячее дыхание. А какие были глаза у Агнии в эту минуту – так и смотрят прямо в душу! Аннушка вся дрожала, не смея шевельнуться.

– И она его тоже ждет... – уже шепотом говорила Агния, – Лестно такого сокола приголубить. Другие-то бабы завидовать будут... И у ней свои слова найдутся. Сейчас-то ничего не понимает, а тогда вся заговорит... А дальше...

Агния откинулась, точно проснулась от тяжелого сна. Лицо было такое бледное, глаза потемнели, на губах судорожная улыбка... Аннушка замерла от страха.

– Агния, будет...

– Х-ха, испугалась, смиренница!.. Хочешь, я вот сейчас со стены прыгну?.. Не бойся, никуда не прыгну...

В свою келью Агния возвращалась, точно пьяная, и даже шаталась на ходу. Аннушке сделалось жаль ее.

– Зачем ты так себя расстраиваешь, Агния?

Агния посмотрела на нее безумными глазами и захохотала.

– Уходи от меня, – шептала она. – Ты ничего не должна знать, что будет дальше... Уходи!

## VII

Целый год об Егоре Иваныче не было ни слуху, ни духу, – точно все в воду канули. Раз только была засылка к матери Анфусе от честного старца Мисаила через прохожего странного человека, пробиравшегося по раскольничьим делам в мать-Расею.

– Наказал больно тебе кланяться, мать Анфуса, – повторял странник в десятый раз.

– Ну, еще-то што?..

– А еще наказывал, штобы вы не беспокоились и што все идет правильно.

– Да ты говори толком: где Егор-то Иваныч? Он у нас ни в живых ни в мертвых...

– Вся партия в тайгу ушла еще с зимы; ну, а летом оттуда ходу нет ни конному, ни пешему. Не близкое место: сотен на шесть верст от ближнего жилья. Тунгусишки сказывали, што быдто видели партию и соследили ее по зарубкам в лесу...

Так и было неизвестно ничего, пока на У век в скит не приехал сам Лаврентий Тарасыч Мелкозеров. Гордый был человек и редко

посещал обитель, а тут приехал и прямо к игуменье.

– Каково, честная мать, поживаешь?..

– Живем, Лаврентий Тарасыч, пока бог грехам терпит...

Стара была мать Анфуса, а все-таки догадалась, что неспроста наехал толстосум. Поговорит-поговорит и замолчит, точно ждет чего. Так и не могли разговориться по-настоящему. Уходя, Мелкозеров спохватился:

– Мать честная, у тебя живет Яков-то Трофимыч?

– Ох, у меня, милостивец...

– Давно я собираюсь его проведать, да все некогда... А прежде-то дружками были. Ну, как он у тебя?

– Да все так же... Ты бы зашел к нему, Лаврентий Тарасыч. Убогого человека навестить подобает...

– Некогда мне, честная мать. Дела у меня: помереть некогда. Вот до тебя еле удосужился...

– А ты послушай старуху, не погордись, сходи...

Мелкозеров поломался для прилику, а потом согласился.

– Уж только для тебя, честная мать, а то и дыхануть некогда.

Хитер был Лаврентий Тарасыч, а перехитрить честную мать не сумел. Поняла она, зачем он приехал: дошли какие-нибудь слухи из тайги, – не иначе. То-то Яков Трофимыч вдруг понадобился. Провожать старика игуменья послала Аннушку и шепнула, чтобы та осталась на всякий случай у Агнии и послушала, о чем будут толковать старики.

Со слепцом Мелкозеров повел ту же политику и долго ходил кругом да около, а уж потом проговорил:

– Плакали твои-то денежки, Яков Трофимыч... – Какие денежки?

– А которые отправил в тайгу закапывать. Егор-то Иваныч на старости лет немного из ума выступил, а Капитошка и всегда прямым дураком был... Не положил, видно, не ищи. Жаль мне тебя, ну и завернул... Дело-то твое такое, што обошли они тебя кругом.

– Ты это откуда вызнал-то про тайгу?

– А верный человек навернулся и все порассказал, как и што. И деньги закопали и сами не знают, как живыми выворотиться. Такое дело выходит, Яков Трофимыч, и весьма я пожалел твою слепоту. Тридцать тысяч выдал им?



– Ох, тридцать, родимый мой!.. Ох, зарезали, Лаврентий Тарасыч!.. Что же я-то теперь буду делать? Головушку с плеч сняли...

– Попытался на легкое богатство, вот и казись. Жалеючи говорю...

– Да ведь я-то не дал бы, кабы не жена. Она меня обошла...

– А не живи вперед бабьим умом!.. Меня бы спросил... Уж так мне тебя жаль, Яков Трофимыч, потому, где тебе, слепому, взять такие деньги...

Дальше старики заговорили шепотом. Агния слышала первую половину разговора и стрелой понеслась к матери Анфусе. Сама она не посмела вмешаться в дело: не маленький был человек Лаврентий Тарасыч, и перечить ему было страшно, да и характером крут.

– Ох, матушка, што-то не ладно они разговаривают, – жаловалась Агния игуменье. – Кругом пальца обернет Лаврентий-то Тарасыч моего слепыша... Неспроста приехал. Пошла бы ты к ним, помешала...

– И то пойду, Агнюшка. Я уже сама догадалась, что неспроста дела приехал Лаврентий-то Тарасыч и мелким бесом передо мной рассыпался...

Пока честная мать одевалась да собиралась, Мелкозерова к след простыл. Когда мать Анфуса прошла в густомесовский флигелек, Яков Трофимыч сидел и на ощупь считал какие-то деньги. Заслышав шаги, он спрятал целую пачку за спину.

– Денег бог послал? – спросила мать Анфуса.

– Доброго человека послал бог, а не деньги. Обманули вы меня все: и твой старец Мисаил, и Егор Иваныч, и милая женушка. Вот один Лаврентий Тарасыч пожалел... Говорит: давай грех пополам. Вот он какой... Я-то, говорит, наживу, потому зрячий, а тебе где взять, слепому.

– За што же он тебе столько денег дал?

– А пожалел... Ему плевать пятнадцать-то тысяч. На, говорит, поправляйся, а буде что будет, – барыши пополам. Какие там барыши, когда цельный год ни слуху, ни духу...

– Надул он тебя, Лаврентий-то Тарасыч! – вступилась Агния. – Станет он тебе даром деньги давать...

– Молчать! – закричал Яков Трофимыч. – Не твоего бабьего ума дело... Все вы меня обманываете...

– Да ты никак рехнулся! – обиделась мать Анфуса. – Какие слова-то говоришь?

– А вот такие... Будет вам меня за нос водить. Это все милая женушка устроила для милого дружка Капитона Титыча. Ему на голодные-то зубы как раз мои деньгигодились. Лаврентий-то Тарасыч прямо говорит: «За Капитошкино озорство тебе плачу, потому, как ни на есть, а племянником меня бог наказал. С Егором Иванычем сам считайся, а за Капитошку я все помирю».

– Обошел он тебя кругом, и разговаривать я с тобой не хочу, – окончательно рассердилась мать Анфуса и ушла, хлопнув дверью.

– Не поглянулось... а? Ха-ха... – смеялся слепец, вытаскивая деньги из-за спины. – Сладок вам Капитошка пришелся... А с тобой, змея, у меня свой разговор будет. Подойди-ка сюды, жар-птица...

– Не подойду! Лучше в озеро брошусь... А ты дурак!.. Я тебя и знать больше не хочу...

– Молчать! – заревел слепой, трясясь от бешенства. – Убить тебя мало... На мои деньги хотели разлакомиться, да не выгорело... А Егор-то Иваныч на старости лет каким себя дураком оказал?.. И его вы обошли.

Целый день во флигельке стоял содом, а потом Агния вырвалась и убежала к матери Анфусе, но ее туда не пустили: там сидели Рябинины и Огибеины, приехавшие тоже проведать Густомесова. Они столкнулись случайно и смотрели друг на друга волками, так что насмешили мать Анфусу...

– Экая жалость на вас сегодня напала... – говорила Анфуса. – Ума не приложу. Даве утром пригонял Лаврентий Тарасыч и наперед вас пожалел Якова Трофимыча. Опоздали вы, видно, маленько... Да и меня напрасно морочите. Говорите уж прямо, с чем приехали...

Долго отнекивались сосногорские толстосумы, а потом повинились начистоту, чтобы вывести Лаврентия Тарасыча на свежую воду. Да, Егор Иваныч нашел в тайге несметное золото и скоро будет сюда, как только реки встанут. Сказывают, что такого богатства еще и не видано и не слыхано.

Весть о найденном богатстве разнеслась перекатной волной, и в Сосногорске только и говорили, что о таежном золоте. По-прежнему не верил этим слухам один Яков Трофимыч и каждый день

пересчитывал полученные с Мелкозерава деньги, ругая жену на чем свет стоит.

Егор Иваныч приехал только под рождество, вместе с Капитоном Титычем. Он приехал прямо на Увек под вечер, когда в обитель посторонних уже не пускали. Вышла сама мать Анфуса, чтобы впустить желанных гостей, и не узнала их: загорели, заветрели, похудели.

– Зайдите ко мне опнутья малым делом, – пригласила их мать Анфуса.

Степенный был человек Егор Иваныч и не сразу распоясался, да и рад был видеть дочь. Даже прослезился старик, обнимая свою ненаглядную Аннушку.

– Ну, устроил я тебе хорошее приданое, доченька, – шепнул он. – Не для себя старался и всяческую муку принимал... За ваши скитские молитвы господь счастья послал.

Мать Анфуса выставила закуску для дорогих гостей и даже сама налила им по рюмке своедельной настойки от сорока недугов.

– Не томите, отцы, говорите... – молвила она.

Капитон Титыч молчал, изредка взглядывая на Аннушку, а Егор Иваныч разгладил свою бородку и приговаривал:

– Перво-наперво скажу я тебе, мать честная, что привез я из тайги своей любезной дочери подарочек... Не век ей в девках вековать. Люб тебе, Аннушка, Капитон Титыч? Ну, да это не твоего ума дело... Девушкам и не след знать, какого жениха отец выберет. А второе дело, честная мать Анфуса, за твои молитвы сиротские напали мы под самый Успеньев день на богатимое золото, о каком еще и не слыхивали... Потом все расскажу, а сейчас пойду Якова Трофимыча обрадую.

Появление Егора Иваныча с известием об открытом богатстве было для Якова Трофимыча ударом грома. Он даже весь затрясся и едва мог рассказать про то, как его пожалел Лаврентий Тарасыч.

– А ты ему верни деньги – и вся недолга, – советовал Егор Иваныч.

– Не могу, родной: клятву он с меня взял. Ведь без бумаги дело делалось, а на слово...

Впрочем, слепец скоро утешился, когда узнал о женихе Аннушки. Он сразу повеселел и, потирая руки, говорил:

– Вот, Агнюшка, радость-то тебе великая... Ведь ты души не чаешь в Аннушке...

## VIII

Открытие сибирского золота в течение всей зимы волновало Сосногорск. Молва увеличивала с каждым днем нажитые Егором Иванычем сокровища, хотя все и знали хорошо, что он и Капитон только «в паю», а львиная часть предприятия досталась слепому Густомесову и Лаврентию Тарасычу Мелкозерову. Толпа всегда жаждет чего-нибудь необыкновенного, таинственного и сверхъестественного, а что же тут особенного, если к густомесовским и мелкозеровским деньгам прибавятся новые деньги? Другое дело – Егор Иваныч, уважаемый всеми старик, который сразу попал в миллионеры... Это – с одной стороны, а с другой – потихоньку от всех составлялись новые партии, чтобы по проторенной дорожке двинуться в тайгу. Во главе одной такой партии стояли Огибенины, во главе другой – Рябинины.

– Тайга велика, всем места хватит, – спокойно говорил Егор Иваныч, когда ему рассказывали о замыслах будущих соперников, – Только ведь все на счастливого... Если бы не Капитон у меня, так и я приехал бы с пустыми руками. Удачлив он...

Все помыслы Егора Иваныча теперь были сосредоточены на свадьбе дочери, с которой он ужасно торопился. Да и как было не торопиться: скоро нужно было опять уезжать надолго в тайгу, и еще неизвестно, вернется домой живой или нет. Егора Иваныча начинала давить собственная старость, и он боялся, что любимая дочь Аннушка останется непристроенной. Капитона он знал с детства и знал все его недостатки, но все-таки это был хороший и добрый человек. Конечно, характер у Капитона вспыльчивый и гордый, но только не нужно его раздражать, и добрая, умная жена будет с ним счастлива. Много бессонных ночей провел в тайге Егор Иваныч, обдумывая будущее своей ненаглядной дочери Аннушки, и ничего лучше не мог придумать.

Сама Аннушка как-то плохо понимала, что делается кругом нее. Все случилось так быстро и так неожиданно. Когда девушка

оставалась одна, ей делалось страшно без всякой причины. Она боялась, сама не зная чего... Просто страшно, и все тут. Ведь один раз выйти замуж, и назад ничего не воротишь. Капитон ей нравился, и в то же время она боялась его. Впрочем, он так редко бывал в скиту, так что и познакомиться поближе с ним было некогда. Свадьба выходила по старинке, по родительскому наказу. Егор Иваныч замечал, что Аннушка как будто невесела, и сам начинал хмуриться. Раз он даже обратился к Агнии Ефимовне с просьбой:

– Вы ее разговорите, Аннушку... Конечно, девичье дело, всего боится, а отцу и сказать ей не подходит. Вы уж ей объясните...

– Пустяки, все пройдет, – успокаивала старика Агния Ефимовна, улыбаясь и глядя в глаза. – Сокол, а не жених...

Агния Ефимовна вообще приняла самое деятельное участие в готовившейся свадьбе, и под ее руководством справлялось все богатое приданое. Егор Иваныч развернулся и ничего не пожалел для милой дочки. О таком приданом в Сосногорске еще и не слыхивали. Часть приданого готовилась в скиту, а другая в городе. Всего по старинному счету выходило сундуков тридцать, и Аннушка приходила в ужас, что все это она должна износить. Ведь нужно было прожить лет сто для этого... Потом ей было просто совестно: все другие девушки завидовали ей, а между тем она совсем не желала богатства. Кому это нужно? Чтобы люди говорили и завидовали богатой невесте... Аннушке казалось, что она делает что-то нехорошее и со временем должна будет дорого заплатить вот за эту чужую зависть. Вообще, ей было невесело, и она относилась совершенно хладнокровно к хлопотам Агнии Ефимовны.

Потом Аннушка все больше и больше начинала бояться Агнии Ефимовны, особенно когда она так пристально смотрела на нее своими темными глазами, смотрела и улыбалась. И чем ласковее была Агния Ефимовна, тем страшнее делалось Аннушке. Девушка краснела, опускала глаза и не знала, куда ей деваться.

– Счастливая ты, Аннушка, – певуче говорила Агния Ефимовна. – Все-то тебе завидуют... Вон какого сокола получаешь в мужья. Чужие-то бабы глаза на него проглядят...

Яков Трофимыч совсем не узнавал жены, которая сделалась вдруг ласковой, точно сразу отмякла. С своей стороны, он теперь не травил

ее Капитоном и даже старался совсем не поминать про него. Раз Агния Ефимовна сама приласкалась к нему, обняла и сказала:

– Покаяться, Яков Трофимыч?

– Покайся, Агньюша...

– Очень мне нравился Капитон-то... И чем больше ты меня ругал, тем больше он мне нравился. Кажется, кожу сняла бы с себя да отдала ему...

– Ну, ну, говори, змея...

– А как он засватал Аннушку...

– Ну, ну?

– Как засватал, так и опостылел...

– Врешь!..

– Как пред богом... Ненавижу я его, Яков Трофимыч. Видеть не могу...

– Завидно?

– И не завидно, а просто ненавижу. Так обнесло меня тогда, совсем не своя была, а теперь обдумалась... Я так полагаю, что обошел он меня. Неспроста было дело...

– Неспроста, Агньюшка... Верное твое слово: неспроста. А ты бы с мужем посоветовалась... рассказала все, как сейчас... Ведь не чужой муж-то.

– И рассказала бы все, как на духу, кабы не совестно за свою слабость. А теперь я его терпеть ненавижу...

– Не врешь?

– А что мне врать: сама на себя клепать напрасно не буду.

Как ни крепился Яков Трофимыч, а поверил жене, во всем поверил. Велика сила в этой женской слабости... Заговорила, уластила Агния Ефимовна слепого мужа и сама поверила, что ненавидит Капитона. Да и, действительно, ненавидела, как умеют ненавидеть одни женщины. Что он ей, мужней жене, – ни к шубе рукав, как говорят старухи. Пусть порадуетя с молодой женой, а она сама по себе. Глухая злоба так и разбирала Агнию Ефимовну, и чем тяжелее ей делалось, тем ласковее она улыбалась. Ей нравилось даже, что она такая несчастная и что должна коротать век со слепым мужем. Нравилось ей готовить приданое Аннушке, чужое счастье делало ее еще несчастнее. А, пусть радуются, пусть любят друг друга, пусть веселятся... А она назло всем будет любить свое слепое горе.

Свадьбу задержало только приданое. Егор Иваныч сильно торопил. Ему сейчас после свадьбы нужно было уезжать в тайгу. В этой свадьбе как-то все приняли участие. Густомесов подарил невесте целый сундук всякого добра, расступился и Лаврентий Тарасыч: он отписал племяннику один из своих домов. Одним словом, все помирились, и дело катилось вперед, как по маслу. Свадьбу сыграть решено было в громадном мелкозеровском доме. Пусть все видят, как Лаврентий Тарасыч любит племянника.

Свадьба Капитона была сыграна на славу. Такой еще не видали в Сосногорске. Гостей набралось сотен до двух. Лаврентий Тарасыч разошелся и, похаживая по горницам, приговаривал:

– Пей, ешь, веселись в мою голову... Ничего не жаль для дражайшего племянничка.

В числе почетных гостей первое место отведено было слепому Густомесову. Долго его уговаривали выехать из скита и кое-как уломали. Да и не поехал бы он, если бы не Агния Ефимовна, которая тоже уперлась и ни за что не хотела ехать на свадьбу. Именно это и заставило Густомесова согласиться... Пусть милая женушка казнится, как мил-сердечный друг с другой пойдет под венец. У слепого всплыло желание показнить жену. Агния Ефимовна даже заплакала, когда пришлось ехать из скита. Но в гостях она сразу почувствовалась, приняла гордый вид, и все невольно ею любовались. Красива была Агния Ефимовна в старинном парчевом сарафане и в расшитой жемчугами старинной «сороке». Сидит с мужем, рядом с невестой, и так спокойно на всех поглядывает. Дрогнула Агния Ефимовна только в момент, когда отправляла невесту к венцу.

– Будь счастлива, Аннушка, – шепнула она, целуя невесту.

Аннушка посмотрела на нее и удивилась: у Агнии Ефимовны глаза были полны слез. Ей сделалось жаль несчастной женщины.

Венчали в старой раскольничьей моленной, куда Агния Ефимовна ездила провожать невесту. С молодыми она вернулась спокойная и веселая, точно сняла с души какую-то тяжесть. А дальше Агния Ефимовна и совсем развернулась. Речистая была баба, схватчивая на словах, и сам Лаврентий Тарасыч похлопал ее по плечу.

– Хороша бабочка, нечего сказать: в зубах слово не завязнет.

Разошлась Агния Ефимовна на чужом пиру, расшутилась и даже в пляс пошла. Все любовались красавицей и только дивились, откуда у

нее веселье берется. Капитон смотрел на Агнию Ефимовну и хмурил брови, точно припоминал какой дурной сон.

– Поцелуй жену... – приставала Агния Ефимовна к нему. – Анна Егоровна, ну-ка, как ты любишь молодого мужа?

Эти приставания сильно смущали молодую, и она не знала, куда девать глаза.

– Посмотрите, как любят мужей, – не унималась Агния Ефимовна и при всех целовала своего слепца. – Вот как и еще вот так...

Все видели, как веселилась Агния Ефимовна, и никто не знал, что делается у нее на душе.

Свадьба продолжалась целых две недели. Расходившийся Лаврентий Тарасыч вечером запирали ворота на замок и никого не выпускал, а с утра начиналась та же музыка. Все, что было богатого в Сосногорске и в ближайших городах, беспросыпно кутило в мелкозеровских палатах целых две недели, позабыв счет дням, позабыв всякие дела и домашние работы. Пьяные гости били посуду, ломали мебель, рвали на себе платье и вообще безобразничали. Трудно сказать, до чего дошло б это дикое веселье, если бы в одно прекрасное утро не нашли одного гостя мертвым: бедняга «сгорел» от вина. Все разом кончилось, и всех гостей вымело ветром, и даже сам Лаврентий Тарасыч сбежал на заводы, оставив мертвое тело в своих палатах на произвол судьбы, то есть Егору Иванычу, которому уже от себя пришлось считаться с исправником, заседателем, полицмейстером и разной чиновной мелочью.

## IX

Сейчас после свадьбы, наскоро похоронив сгоревшего от вина усёрдного гостя, Егор Иваныч уехал в тайгу. Молодые остались в городе до осени и переехали в собственный дом, где продолжалось то же веселье. На радостях Капитон закутил, и гости не выходили из дому. Свадебное веселье затянулось на все лето.

Густомесов вернулся в скит на Увек, и свой флигелек теперь показался Агнии Ефимовне живой могилой. Но она ничем не выдавала себя и по наружному виду казалась даже веселой.



– Так, Агнюшка, так... – похваливал жену Яков Трофимыч. – Чего нам с тобой печалиться? Слава богу, все есть, а там еще Егор Иваныч в тайге добудет... А много ли нам с тобой двоим надо? Умру, все на тебя запишу...

Мысль о смерти всегда вызывала неприятные разговоры. Агния Ефимовна знала это вперед и мучилась каждый раз вдвойне.

– Помру я, откажу тебе, Агнюшка, все свое добро, а ты...

– Пошел молоть! Прежде смерти никто не помирает, и меня переживешь еще десять раз.

– Нет, я чувствую, што я скоро помру, Агнюшка... Ну, пожил, ну, всего отведаль – туда и дорога, а вот тебя мне, миленькая, жаль. Останешься ты одна, да еще при собственном капитале, окружают тебя бабы-шептуньи, – ну, и взыграют мои кровные денежки... Подсыплется какой ни на есть статуй, а ваша женская часть слаба. Будете на мои денежки радоваться да надо мной, покойничком, посмеиваться. Все знаю, голубушка... А денежки проживете, он, статуй-то, и бросит тебя. И будешь ты опять голенькая, какой я тебя замуж брал: ни вперед, ни назад.

– Я в скиту останусь, Яков Трофимыч.

– Врешь!.. Не верю... Все врешь!

В последнее время у Якова Трофимыча явилась мысль о «чине ангельском». На эту тему он не раз заводил стороной разговор. Хорошо бы это было обоим постричься зараз. И жили бы вместе на Увек: он в своей келье, а она с другими старицами.

– Ежели оставишь мне капитал, так я живо игуменьей буду, – говорила Агния Ефимовна, поддакивая мужу. – В скиту деньги-то понужнее, чем на миру...

– Отлично, Агнюшка... Все на тебя отпишу... Было бы за што мои грехи отмаливать... Ох, много грехов!.. Слаб человек, а враг силен...

Раздумавшись об ангельском чине, Агния Ефимовна и сама пришла к заключению, что это единственный выход из ее положения. А там можно и снять с себя монашескую рясу... Только бы от постылого мужа избавиться, чтобы не видеть его и не слышать. Конечно, она могла уйти от мужа, как венчанная по раскольничьему обряду, но эта мысль не приходила к ней в голову. И куда она пойдет? Делать она ничего не умеет, работать отвыкла, а жить по чужим

людям не желала, припоминая свое сиротство. А главное, выходила на богатство, столько лет терпела – и вдруг все бросить.

Все эти планы расстроились совершенно неожиданно, и еще белее неожиданно Агния Ефимовна очутилась на полной своей воле, как выпущенная из клетки птица.

Дело в том, что в описываемое нами время – начало сороковых годов – над нескверным и тихим иноческим житьем strяслась неожиданная беда: вышел строгий указ «о прекращении скитов». Слухи об этом ходили и раньше, как заросли скиты раньше, но Увек, благодаря сильным милостивцам и доброхотам, устаивал, не в пример другим обителям. А тут даже не успели опомниться, как налетела беда. Вскоре после Успеньева дня на Увек приехал исправник и опечатал скит, а сестрам велел убираться на все четыре стороны. Опасилась тихая обитель стенаниями и воплем. Бывали беды и раньше, да сходили с рук, а тут исправник и слышать ничего не хотел, как его ни умоляли повременить хоть недельку.

– Не могу против указа идти, – отвечал исправник. – Не моя воля.

Мало этого, потребовал у стариц паспорта и пригрозил высылкой на места жительства этапным порядком, если не уберутся подобру-поздорову сами. Одним словом, вышел казус... Прежде Густомесов вызволял или Лаврентий Тарасыч, потому как имели они большую силу у разных властодержцев, а тут и они ничего не могли поделать. Очень уж скоро прискочила лихая напасть... Всех хуже приходилось Густомесову. Он совсем упал духом и решительно не знал, что ему делать и куда деваться. Агния Ефимовна тоже растерялась в первую минуту и даже не обрадовалась желанному освобождению. Ее точно пугала собственная воля.

– Умереть надо – вот что! – повторял в отчаянии слепой старик. – Ну, куда я теперь денусь? Зрячие-то найдут себе место, а я ума не приложу...

А тут и подумать даже некогда: уходи, и конец тому делу. Горькими слезами всплакался несчастный слепец, предчувствуя самое горшее еще впереди. Положим, у него в Сосногорске был свой дом и всякое угодье, а все-таки не в пример тихому скитскому житию.

В один день весь скит опустел, точно умер. С горькими слезами и жалобными причетами оставляли сестры насиженное место. Никто не

знал, куда голову приклонить... Не плакала и не жаловалась одна честная мать Анфуса: она не верила, что скит закрыт навсегда.

– Не может этого быть, – спокойно говорила она.

А вышло другое: скит на Увеке закрывался навсегда, как и другие скиты, разбросанные по Уралу там и сям.

Густомесовы переехали на время в свой дом в Сосногорске. Яков Трофимыч и слышать не хотел, чтобы оставаться здесь навсегда, и Агния Ефимовна отмалчивалась. Дом был большой, и одну половину занимали квартиранты. Теперь пришлось квартирантам отказать и занять весь дом. Яков Трофимыч не желал, чтобы вместе жил кто-нибудь посторонний.

– Еще убьют как-нибудь, – жаловался слепой старик, – Известно, какой нынче народ. Знают, что есть у меня кое-какие деньжонки, – ну и убьют, как пить дадут.

Хлопоты по устройству в своем доме заняли все время Агнии Ефимовны, так что ей некогда было даже думать о том, что будет дальше. Каждый день был переполнен своими собственными заботами. Она была совершенно счастлива своей новой обстановкой. Яков Трофимыч тоже устраивался по-новому. Двор был превращен в настоящую крепость, и все ворота запирались тяжелыми замками, ключи от которых хранились у хозяина. Главная опасность грозила от ворот на улицу, и здесь были приняты все необходимые предосторожности. Никто не мог войти во двор без ведома хозяина, и он шнурком отворял сам калитку, разузнав предварительно, кто пришел, по какому делу. Затем, он знал в каждый момент, где жена, что она делает и что делают другие. В своем собственном доме Яков Трофимыч являлся каким-то злым духом. И все-таки Агния Ефимовна была счастлива, особенно когда вспоминала свое скитское сидение. Здесь ее время уходило по крайней мере на хозяйство по дому, на сношение с живыми людьми, как та же прислуга.

– Хорошо, Агнюшка, – радовался слепец. – Хлопочи, матушка... Везде надо свой глаз, а то все добро растащат по крохам. Вот какой народ нынче пошел...

Из посторонних бывала только одна Аннушка, или, по-теперешнему, Анна Егоровна. Яков Трофимыч очень любил ее и был рад, когда она завертывала. Молодая женщина заметно похудела и не

имела вида счастливого человека, что Агния Ефимовна чувствовала каждый раз.

– Когда вы кончите пиры-то пировать? – спрашивал слепец. – Уж будет. Ты бы останавливала своего-то Капитона. На то жена...

– Как я его остановлю, Яков Трофимыч, если он меня не слушает?

– Значит, не любит, если не слушает... А ты его заведи в руки, как меня забрала Агнушка... хе-хе!..

– Не умею, Яков Трофимыч...

Аннушка приезжала на своем собственном рысаке и всегда разодетая по-богатому, что ее смущало.

– Что, любит тебя муж? – спрашивала Агния Ефимовна. – Какая я глупая... Конечно, любит, нечего и спрашивать. А мой-то слепыш как ревновал меня к Капитону Титычу... Задушить хотел со злости. И теперь не пускает к вам, а уж так охота мне хоть одним глазком посмотреть, как вы там живете. Ведь есть же счастливые люди на свете...

– Всякий по-своему счастлив, Агния.

– Не прикидывайся, смиренница. Все знаю...

Агния Ефимовна, действительно, все знала, что делается у Аннушки, и рассказывала мужу. Яков Трофимыч хохотал до слез, когда жена так смешно все представляла. Он убедился, что она, действительно, возненавидела Капитона и готова устроить ему всякую пакость.

– Ах, если бы можно было его разорить! – со вздохом повторяла Агния Ефимовна. – Будет, порадовался. Надо и честь знать... Ничего бы, кажется не пожалела!

– И Аннушки не жаль?

– Чего ее жалеть-то... Все равно, Капитон ее не любит.

– Ну, это ихнее дело... Промежду мужем и женой один бог судья.

А дела Капитона шли все лучше и лучше. Из тайги шли хорошие вести. Золото лилось рекой... Егор Иваныч повел дело сильной рукой, и промыслы давали страшный дивиденд. В первый же год на долю Густомесова и Мелкозера досталось тысяч по шестидесяти. Так, за здорово живешь, сыпались деньги. На долю Капитона доставалось меньше, но он проживал втрое больше, чем получал от Егора Иваныча. Скоро дошли слухи, что и другие, уехавшие в тайгу по следам Егора Иваныча, тоже получили свою долю, открывая новое

золото. Сосногорск вообще переживал самое тревожное время, как охваченный лихорадкой человек. Наступал какой-то золотой век, причем Егор Иваныч являлся чуть не колдуном, разворожившим похороненные в тайге сокровища.

Осенью Капитон уехал в Сибирь, а Анна Егоровна осталась. Теперь она начала часто бывать у Густомесовых, с которыми ее связывали общие скитские воспоминания. Она чувствовала, что Яков Трофимыч ее любит, как родную дочь, и инстинктивно льнула к этому родному огоньку.

## X

Скоро для Агнии Ефимовны исчезла и последняя тень затворничества. Новые сибирские дела требовали усиленной работы, а Яков Трофимыч никому не доверял и ничего слышать не хотел о помощнике. Между тем нужно было и счета подвести, и съездить в банк, и достать какую-нибудь справку. Агния Ефимовна вдруг оказалась великим дельцом. Она быстро освоилась со всей этой деловой механикой и сделалась необходимой сотрудницей мужа. Труднее всего было Якову Трофимычу выпускать жену хлопотать по делам одну, поэтому он уговаривал Анну Егоровну выезжать вместе.

– Тебе-то я верю, Аннушка, – повторял слепец. – А женушка, того гляди, сбрендит... Знаю я ее превосходно.

Агния Ефимовна не обижалась этой опекой и везде таскала за собой Анну Егоровну. Сделавшись необходимой, она быстро вкралась в полное доверие к мужу. Теперь уже он советовался с ней, как поступить в разных затруднительных случаях.

– Ты у меня золото, Агньюшка, – говорил слепой. – Ежели бы я совсем мог довериться тебе... Знаю, все знаю, какая ты есть.

Познакомившись со всеми делами мужа, Агния Ефимовна составила довольно сложный план мести Капитону. Часто по ночам она уже видела его разоренным, униженным, жалким и впредь торжествовала победу. Да, он будет в ее руках и будет ждать одного ее ласкового взгляда. Иногда, проверяя присылаемые Егором Иванычем приисковые счета, она очень ловко подчеркивала растраты Капитона, разнесенные по разным статьям.

– Так, так, женушка, – соглашался Яков Трофимыч. – Этак-то Капитон и совсем разорит нас... Вон он как распыхался.

– И совсем он не нужен нам, – говорила Агния Ефимовна. – Только зря деньги травим...

– Что поделаешь, Агнюшка! Вся статья в Егоре Иваныче... Для него и терпим Капитошку. А промежду прочим посмотрим...

Эти подготовительные беседы делали свое дело. Яков Трофимыч мало-помалу озлоблялся. С другой стороны, он был так доволен, что жена сама подводит ненавистного Капитона.

Оставалось обработать Лаврентия Тарасыча, и Агния Ефимовна действовала здесь с особенной осторожностью, чтобы характерный старик не догадался, по чьей дудке будет он плясать. Когда при Мелкозерове Яков Трофимыч начинал травить Капитона, она непременно вставляла какое-нибудь словечко за него.

– Молод еще Капитон Титыч. Остепенится...

Густомесов был в восторге от такой политики.

– Старик-то, старик-то в каких дураках, Агнюшка... Ха-ха!.. Ты его ловко взнуздываешь, а он-го думает, что все сам... Ловко!

– Нельзя по-другому-то... Никого не слушает Лаврентий – Тарасыч, а бабу где же послушает. Еще наоборот сделает...

– Вот, вот... Ты нахваливай ему Капитошку-то. Ох, и согрешил я с тобой, Агнюшка!..

Так прошла зима, а когда по последнему пути вернулся из тайги Капитон, все уже было готово. Он приехал вместе с Егором Иванычем и, конечно, ничего не подозревал.

– Ужо к нам приедет, так ты с ним поласковее, – учил жену Густомесов. – А я будто не слышу... Хе-хе!..

– Не учи, Яков Трофимыч.

– Ах, эти бабы! Вот разбери-ка ее, что у ней на уме... А Капитошка-то прост, всему поверит. Потеха!.. Уж ты постарайся, Агнюшка, чтобы комар носу не подточил.

Действительно, Капитон приехал к Густомесовым вместе с женой и был принят, как дорогой гость. Агния Ефимовна встретила его спокойной улыбкой. Дальше все шло, как по-писаному. Яков Трофимыч был необыкновенно весел и только ухмылялся, слушая, как жена разговаривает с Капитоном. Потом старик не выдержал и принялся отчитывать гостя. Капитон выслушал попреки молча, молча

повернулся и молча пошел в переднюю, не простившись с гостеприимным хозяином. Анна Егоровна страшно перепугалась и бросилась уговаривать Якова Трофимыча.

– Голубчик, Яков Трофимыч, что же это такое?..

– Люблю тебя, Аннушка, а Капитошку в порошок изотру...

Агния Ефимовна воспользовалась этим моментом и догнала Капитона уже в передней. Здесь она прямо бросилась к нему на шею, обняла и, глядя в глаза, шептала:

– Милый, милый... как я тебя люблю!.. И ненавижу и люблю...

Капитон от неожиданности ничего не мог выговорить. Он чувствовал ее горячее дыхание, чувствовал, как две тонких руки обвили его шею, и не мог шевельнуться.

– Агния Ефимовна... – шептал он, набирая воздуха.

– Какая я тебе Агния Ефимовна? Нет здесь Агнии Ефимовны, а есть только безумная женщина... Ну, взгляни ласково, сокол ясный!..

Она и плакала, и смеялась, и припадала к нему головой.

– Сколько я ждала... сколько мучилась... Та разве это понимает? Девчонка она несмысленная... Ты будешь мой, мой, мой... Утоплюсь, руки на себя наложу, а будешь мой. Милый, миленький, родной!..

Этот безумный бред обжег Капитона огнем, и он даже пошатнулся на месте, как пьяный, а потом сильной рукой обнял обезумевшую женщину. Она только закрыла глаза и вся распустилась, точно подкошенная. Эта немая сиена была прервана послышавшимися шагами Анны Егоровны. Агния отскочила, посмотрела кругом безумными глазами и захохотала, как русалка.

– Это мой слепыш меня ревнует... – объяснила она Анне Егоровне. – Понимаешь? Съел он меня... А ты думаешь, взаправду он говорил про Капитона? Ничего, все уладим...

Капитон только опустил глаза и молча простился с сумасшедшей хозяйкой. Агния Ефимовна бросилась к окну и смотрела, как Капитон усаживал жену в экипаж, – она ждала, что он оглянется на окно. Но он не оглянулся... Она, когда тронулся экипаж, погрозила вслед уезжавшим кулаком и опять захохотала.

– Ловко, Агнюшка! – хвалил слепой и тоже смеялся. – Как я его ошарашил... Турманом вылетел. Носи, не потеряй... Что он тебе говорил?

– Да ничего... Трясется весь, как осиновый лист, и сказать ничего не может. Даже жаль...

– Больно сердит, а на сердитых воду возят. Жаль только Аннушку...

– Ее-то чего жалеть? У ней сейчас отец богатый...

– Отец-то отцом, а муж-то, видно, милее... Как она меня тут утешала помириться с Капитоном. Даже расплакалась... Конечно, слаба ваша женская часть...

Все это было только началом устроенной Агнией Ефимовной облавы на Капитона. Следующим номером явилась крупная размолвка с дядей Лаврентием Тарасычем, который, не говоря худого слова, прямо выгнал племянника в шею. Положение Капитона получилось критическое, и он сразу обозлился на всех и кончил тем, что уже сам разругался с Егором Иванычем и даже выгнал его из своего дома.

Последнее случилось благодаря бестактности Егора Иваныча. Старик, узнав о размолвке зятя с Густомесовым и Лаврентием Тарасычем, начал его уговаривать помириться.

– Нехорошо, Капитон... Ты помоложе, мог бы и стерпеть. Не чужие люди... Может, тебе же добра желают.

– А тебе какое дело до меня? – грубо ответил Капитон.

– Как какое? Ведь моя дочь-то... Да ты никак очумел!..

– Была твоя, а теперь моя...

– Капитон, не форси!.. Капитон, утиши свой характер...

– Да ты что ко мне пристал-то, старый черт?..

Тут уж Егор Иваныч обиделся и обругал зятя, а Капитон взял его за плечо и вывел в переднюю.

Очутившись на улице, Егор Иваныч опомнился и только тут понял, какую он глупость сделал. Не надо было трогать Капитона, когда он в сердцах, а выждать, когда утихомирится, и потом усовестить. Огневой мужик, одним словом... Дальше старик понял, что теперь все обрушится на ни в чем не повинную Аннушку. И дочь жаль, и покоряться на старости лет не приходится. Капитон тоже не понесет повинную голову. Одним словом, как ни кинь – одинаково скверно. Старик даже всплакнул про себя. Очень уж горько ему показалось свое старое одиночество.

Крепился он целых три дня и наконец не вытерпел, отправился к Густомесовым и упросил Агнию Ефимовну съездить за Аннушкой.



– Да он меня еще убьет, Капитон-то, – отнекивалась она. – Право, уж я не знаю, Егор Иваныч...

– Ничего, не убьет, – уговаривал жену Густомесов. – Нас он, действительно, искрошит в крошки, а тебя не посмеет тронуть...

Агния Ефимовна еще ни разу не бывала в доме у Капитона и ехала туда в большом смущении. Тяжело переступить порог, за которым милый, хороший живет с другой. Аннушка ужасно обрадовалась гостье, она все эти дни проплакала.

– Я за тобой приехала...

– Ох, не отпустит он меня. Грозится всех убить... зверь зверем ходит.

– Ну, страшен сон, да милостив бог... Дай-ка я сама с ним переговорю.

Капитон встретил гостью довольно сурово, но она не смутилась, а прямо подошла к нему и заговорила:

– Ну, ударь... ну, убей!.. Ах, ты, Аника-воин!

– Зачем пришла-то?

– А как в сказке говорится: прилетела сорока-белобока и говорит: «Не кручинься, удал-добрый молодец, не печалуйся, а все будет по-нашему»...

Разговор с Капитоном продолжался довольно долго, так что Аннушке надоело ждать.

– Едва уговорила... – объяснила Агния Ефимовна, вернувшись в комнату Аннушки. – До смерти уморилась с твоим-то идолом. И меня пообещал убить в другой раз... Ну, едем.

Аннушка от души пожалела добрую приятельницу и долго целовала ее за услугу и заступу, а Агния Ефимовна закрывала глаза и отворачивала от нее лицо.

## XI

Рассвирепевший Капитон сразу оборвал всякие отношения с дядей, с тестем и Густомесовым, заперся у себя в доме и кутил напропалую. Деньги у него еще оставались.

– Это я им открыл золото, а они меня в шею! – орал он пьяный. – Я им покажу... И всех зарезу. Да... А золота сколько угодно найдем.

Набрались у Капитона в доме такие лее пьяные благоприятели из чиновников и купцов, – и пошел дым коромыслом. Анна Егоровна со страху по целым дням запиралась у себя в комнате и могла только плакать. Впрочем, один раз она попробовала уговорить мужа, но он так ее оттолкнул от себя, что несчастная женщина полетела на пол.

– Отстань, постылая...

Это последнее слово было тяжелее побоев. Оно окончательно убило несчастную женщину. Постылая жена... Ведь это хуже смерти. Она припомнила, как Агния называла своего мужа постылым, и понимала, что это значит. Перед ней точно самый свет закрывался. А ведь она привыкла к мужу и начинала его любить так хорошо, как любят скромные женщины. И вдруг ничего нет... В девятнадцать лет постылая, а что же дальше-то будет? Анна Егоровна в каком-то ужасе закрывала глаза и старалась совсем не думать об этом будущем. Вон отец уговаривает терпеть и не перечить мужу, а легко это делать?.. С другой стороны, Анна Егоровна была на стороне мужа, потому что все напрасно его обижали – и Густомесов и Лаврентий Тарасыч. Она не могла только понять, за что все так разом поднялись на него.

Тосковавший Егор Иваныч теперь частенько завертывал к Густомесовым отвести душу. Посылать Агнию Ефимовну за дочерью он стеснялся, а ждал, когда это сделает сам Яков Трофимыч.

– Вот так устроил Аннушке приданое... – сетовал старик, качая седой головой и вздыхая. – Где у меня глаза были, когда выдавал дочь замуж? Копил-копил да черта и купил... Ох, тошнехонько, Яков Трофимыч!..

– Сам виноват... Благодарю бога, что жив ушел от милого зятюшки.

– Да я не о себе... Что я, мое-то все прожито, а вот как будет милая доченька жить со своим разбойником.

– А ты пойдешь да прощения у него попроси, что спустил тебя с лестницы.

– Ох, не говори: голова с плеч. А она-то, безответная, у меня его же, разбойника, выправляет...

– Уж бабы завсегда так. Одна им всем цена...

Назлобствовавшись, Густомесов начинал жалеть и посылал жену за Аннушкой. Агния Ефимовна обыкновенно и слышать об этом не хотела и соглашалась только после усиленных просьб.

– Видеть его не могу... – уверяла она. – Только уж для тебя, Егор Иваныч, неприятность себе сделаю.

Егор Иваныч упрашивал ее со слезами на глазах, и Агния Ефимовна отправлялась. Анна Егоровна приезжала, как всегда, спокойная и серьезная, точно ничего особенного не случилось, и никогда не жаловалась отцу на мужа. Но отцовское сердце чуяло, что дело неладно, и болело вдвойне. От дочери Егор Иваныч узнал, что Капитон составляет какую-то новую компанию и едет в тайгу один. Теперь старику опостытели и эта проклятая тайга и это проклятое сибирское золото, из-за которого он загубил любимую дочь. Жила бы она тихо и мирно, вышла бы замуж за какого-нибудь скромного человека, а он, Егор Иваныч, на старости лет радовался бы. А тут вон что вышло... И не удумаешь, как быть. Если идти и покориться Капитону, – еще хуже будет, потому неукротимый у него характер.

Агния Ефимовна торжествовала молча и молча только улыбалась про себя, когда слышала разговоры о новой компании. Какой дурак даст денег Капитону... А между тем он, действительно, отправлялся в тайгу на разведки, а деньги ему дала она, Агния Ефимовна. Когда она предложила ему эти деньги, Капитон с удивлением посмотрел на нее.

– Откуда у тебя деньги-то, Агния?

– А мои собственные, милый-хороший... За что я терпела-то свою муку-мученическую столько лет? Все равно, муж помрет и откажет мне все... Своими-то деньгами всякий может распорядиться.

В первое время Капитону зазорным казалось пользоваться этими бабьими деньгами, да еще крадеными, а потом он как-то разом на все махнул рукой. Он быстро поддался неукротимой энергии Агнии Ефимовны и только говорил:

– Убить тебя мало, Агния. Никакого в тебе страха нет.

Добывать деньги у мужа было делом нелегким, и Агния Ефимовна вела дело с дьявольской хитростью, пользуясь полным доверием мужа. На первый раз она вынула лежавшие на хранении деньги в банке. Яков Трофимыч считал свои капиталы на ощупь, и она, вместо сохранной расписки из банка, подсовывала ему простую бумагу. На первый раз она позаимствовала всего тридцать тысяч и надеялась их пополнить потом, когда Капитон найдет таежное дело. Муж все равно ничего не узнает, потому что никому, кроме нее, не доверяет. А денег осталось еще больше двухсот тысяч...

Так и пошло. Перед отъездом в тайгу Капитон проговорил:

– Ну, Агния, смела ты, а только добром все это не кончится...  
Быть нам с тобой на одной веревочке.

– Пустяки: двум смертям не бывать, а одной не миновать.

Агния Ефимовна только улыбалась. Что такое деньги?

Только бы он, ясный сокол, посмотрел ласково, приголубил, обнял... Она была готова на все за одно ласковое слово. Жизнь в ней кипела. Капитон невольно поддавался ее обаянию и тоже готов был на все.

– А ты будешь вспоминать обо мне там, в тайге? – ластилась к нему Агния Ефимовна, – Жену вспомнишь, а меня позабудешь...

Вместо ответа Капитон только сжимал ее в своих могучих объятиях и поднимал на воздух, как перышко.

– Милый, любишь?..

– И люблю и ненавижу...

– Вот как я тебя... Не забывай. Пришли весточку. А в случае чего, за деньгами дело не встанет.

Совестно было Капитону прощаться с обманутой молодой женой, но он слишком далеко зашел – возврата не было. Он рассчитывал на одно, что отработает выкраденные у Густомесова деньги и тогда будет чист. Ведь и деньги-то эти он же им дал, ежели разобрать правильно. Одним словом, начиналась та преступная логика, когда человек оправдывает себя во всем. Важен первый шаг, а там преступление покатится с горы комом снега.

Капитон уехал, а Егор Иваныч разнемогся и остался дома. Теперь уже могли вести таежные дела и без него, благо все было устроено, налажено и предусмотрено. Старик был счастлив, что мог запросто видаться с дочерью, которая приезжала его проводить каждый день. Хорошая была эта Аннушка, покорливая, серьезная – вся вылитая мать. Цены бы ей не было, если бы другой муж попался. Ну, да тут говорить нечего: от своей судьбы никто не уйдет... Егор Иваныч только вздыхал.

Много хороших вечеров скоротали отец с дочерью. Теперь Егор Иваныч мог с ней говорить, как с вполне взрослым человеком, и каждый раз убеждался только в одном, какую хорошую дочь вырастил. Раз, в минуту откровенности, он проговорил:

– Ах, Аннушка, Аннушка... Загубил я тебя. Польстился на богатство, а теперь через мое-то золото твои слезы льются.

– Ничего, тятенька, как-нибудь перетерплю... Опомнится Капитон Титыч.

– Опомнится? Горбатого-то, милушка, одна могила исправит...

Аннушка залилась слезами, спрятала свое лицо на отцовской груди и прошептала:

– Люблю я его, тятенька... К сердцу он пришелся.

– Ну, а он как? Любит?..

– Сначала-то очень любил, а теперь... я сама виновата, что не умела угодить.

– Постой, постой... г-м... Нет, тут что-то дело неладно. Да...

Здесь в первый раз у старика мелькнуло в голове подозрение на Агнию, но он смолчал и ничего не сказал дочери. Зачем ее тревожить напрасно?.. Никогда не любил старик увертливой и ловкой Агнии Ефимовны, а теперь, перебирая события последнего времени, не мог не заметить, что дело не чисто. Что-то уж весела Агния Ефимовна и на глазах у всех ластится к слепому мужу. Раньше-то не так было... Опытный старик достаточно видел на своем веку и инстинктом почуял потаенную ложь. Да, что-то тут кроется... И Капитон неспроста переменялся к жене.

«Колдунья какая-то, – думал старик. – Ну, нет, погоди, матушка... Мы еще посмотрим, чья возьмет».

Между прочим, Егор Иваныч припомнил переговоры о новой компании, которую составил Капитон. Тоже дело не чисто, потому что негде им, прохвостам, было взять денег.

Немного поправившись, Егор Иваныч отправился к Густомесову. Агнии Ефимовны как раз не случилось дома.

– В банк уехала, – объяснил слепой.

– Так, так...

– Она ведь у меня по всем статьям. Лучше меня дела все понимает...

– Так, как. Что же, дело хорошее... Да, хорошее. А ты все-таки того, Яков Трофимыч, не очень-то доверяйся. Великий соблазн идет от денег... Вот как-нибудь вечерком посчитали бы вместе твои капиталы...

– Ну, нет, спасибо. Считаю у себя зубы во рту...

Слепой обиделся и по пути припомнил, как подсыпался к нему Лаврентий Тарасыч вот с такими же жалостливыми речами, а потом взял да и объегорил в лучшем виде. И этот туда же... Нет, шалишь, хотя и пораньше родился.

Они расстались довольно холодно. Егор Иваныч тоже обиделся за недоверие. На лестнице он встретил Агнию Ефимовну.

– Здравствуй, хозяйюшка... Все хлопчешь?

– Умаялась, Егор Иваныч. Дела-то большие, а бабий ум короче воробьиного носа...

Агния Ефимовна сразу поняла, с чем приходил Егор Иваныч, и только улыбнулась. Немного опоздал старичок...

## XII

Важен первый шаг, а остальное приходит само собой. Устроивши первый подлог, дальше Агния Ефимовна пошла вперед уже с легким сердцем. В самом деле, не все ли равно, отвечать за тридцать тысяч или за триста? И что значат деньги, когда душа огнем горит? Агния Ефимовна окончательно завладела мужем, и он теперь верил только ей одной. Для своих целей ей нужно было заручиться таким же доверием Анны Егоровны, и она добилась этого. Дело в том, что в своих письмах к жене Капитон Титыч постоянно напоминал, чтобы она во всем слушалась Агнии Ефимовны. Анна Егоровна была рада хотя этим угодить мужу и постоянно защищала Агнию Ефимовну перед отцом.

– Чужая душа – потемки, тятенька, а, по-моему, Агния Ефимовна – хорошая женщина. Трудно ей, бедной... С зрячим-то мужем горя не расхлебаешь, а тут изволь нянчиться с слепышом. Другая давно бы сбежала...

– Было бы куда бежать...

– Нет, ты ее не любишь, тятенька, и поэтому так говоришь.

– Ох, не люблю, Аннушка! Грешный человек, не верю ей... Вон она мужа-то как обошла. Я как-то заговорил с ним стороной про нее, так он вот как на дыбы поднялся... Съесть готов.

– Кому же и верить, как не жене?

– Глядя по тому, какая жена. А промежду прочим, не нашего ума дело: не наш воз, не наша и песенка. Чего-то вот только около тебя,

Аннушка, она уж очень обихаживает... Боюсь я.

– В скиту-то вместе сидели, ну и дружим. Натерпелась она там довольно... И не расскажешь всего... И теперь еще, как вспомнит, так и зальется слезами горькими Агния-то Ефимовна.

А Агния Ефимовна делала свое дело, не покладая рук. Она уже получила тайным путем от Капитона два письма. Дело у него не ладилось, и он просил все новых и новых денег. Счастье точно отступило от Капитона, когда он сошелся с Агнией Ефимовной. Все пошло через пень колоду. А тут же рядом другие все богатели не по дням, а по часам. И все получали свою часть... Лаврентий Тарасыч и Густомесов загребали деньги лопатой, а из-за их спины урвали свою долю и остальные, как Рябинины и Огибенины. В каких-нибудь два года уездный глухой городок сделался неузнаваемым, точно его залила золотая волна. Везде строились большие дома, справлялись богатые свадьбы, веселье катилось широкой рекой. Около больших людей наживалась и вся остальная мелкота. Страшное богатство хлынуло на всех, и все говорили только о таежном золоте.

Чужое веселье не давало спать только Агнии Ефимовне. Она ненавидела больше всех старика Лаврентия Тарасыча, памятуя его отношения, и повела свою бабью политику. Нашелся у нее и помощник, какой-то выгнанный приказный Кульков, писавший прошения по кабакам. Разыскала его Агния Ефимовна, призрела, одела, обула и начала сама учиться приказным кляузам. Пьяница Кульков знал все и в ее умелых руках сделался кладом.

– Ах, если бы утопить Лаврентия Тарасыча! – вздыхала Агния Ефимовна, слушая деловые речи дошлого приказного человека. – Ничего бы, кажется, не пожалела... Дом тебе куплю, Кульков, ежели обмозгуешь.

– Утопить-то такого осетра трудненько, а напакостить можно в лучшем виде. Первое дело, надо его поссорить с Яковом Трофимычем...

– А как их поссоришь? Уж очень верит Яков-то Трофимыч Лаврентию Тарасычу... Старые дружки. Еще в степи фальшивые бумажки вместе ордынцам сбывали. Водой их не разольешь...

– В большом-то все умны, а мы их на маленьком подцепим, благодетельница. Москва от копеечной свечки сгорела...

И научил приказная строка уму-разуму. Все счета по промыслам были на руках у Агнии Ефимовны. Кульков разыскал в них одну графу, где был показан какой-то лишний расход на шарников. С этого и началось. Агния Ефимовна вперед подтравила мужа, а когда приехал Лаврентий Тарасыч, вся история и разыгралась, как по-писаному.

– Да что ты пристал ко мне с шарниками? – вспыхнул Мелкозеров. – Не стану я тебя обманывать...

– Да это все равно, Лаврентий Тарасыч, а денежки счет любят.

– Отвяжись, смола!.. Плевать я хочу на твоих шарников...

– Тебе плевать, а мне платить...

– Да ты за кого меня-то считаешь, Яков Трофимыч?

Тут уж вспыхнул Густомесов и отрезал:

– За благодетеля я тебя считаю, Лаврентий Тарасыч... Али забыл, как тогда пожалел меня и за здорово живешь получаешь теперь с промыслов любую половину. Да еще на шарниках нагреть хочешь...

И этот покор стерпел бы Мелкозеров – было дело, – не помяни Густомесов о шарниках. Лаврентий Тарасыч вскипел огнем, ударил кулаком по столу и заявил:

– Коли твои такие разговоры со мной, так я тебя и знать не хочу, слепого черта. Да еще тебе же нос утру...

Когда на шум прибежала Агния Ефимовна и принялась уговаривать вздоривших стариков, взбесившийся Мелкозеров оборвал ее.

– А ты чего тут свой бабий хвост подвернула? Брысь под лавку...

Густомесов вскочил, затрясся и крикнул:

– Вон, Лаврушка!.. Знаю я тебя, заворуя... и сам тебе еще почище нос-то утру. Вон из моего дома...

Эта сцена послужила началом громадного процесса, тянувшегося целых двадцать лет и стоившего тяжущимся несколько миллионов. Стороны ничего не жалели, чтобы утопить друг друга, а около этого дела кормилась целая орда приказных. Кульков знал, как «отшить» «ндравного» толстосума, и заварил кашу. Агния Ефимовна торжествовала, избавившись так легко от последнего человека, который мог ей быть опасным. Она сама повела процесс и настраивала мужа. Яков Трофимыч мог только дивиться, откуда она все знает, – ни дать ни взять тот же приказный.



Когда Капитон вернулся из тайги по последнему пути, все дело было уже сделано. Он приехал невеселый, ночь-ночью. Да и нечему было веселиться: целых восемьдесят тысяч закопал Капитон в тайге, а заработал из-за хлеба на воду. Зато Агния Ефимовна еще никогда не была так весела.

– Все будет по-нашему, милый, хороший!.. Отдохни лето, а осенью я тебя отпущу.

Заговорила, уластила Агния Ефимовна друга милого, и Капитон махнул на все рукой. Двум смертям не бывать, одной не миновать... Совестно было ему перед безответной женой, вот как совестно, а тут чужая жена за душу тянет. Пробовал Капитон сопротивляться, но из этого ничего не вышло.

– Ты только у меня пикни! – грозилась Агния Ефимовна. – Сейчас все на свежую воду выведу и вместе с тобой в Сибирь пойду...

– Ах, змея, змея... – удивлялся Капитон.

Подался даже Егор Иваныч, когда заварилось дело Густомесова и Мелкозерова. Агния Ефимовна сама пошла по судам и все вызнала. Старик только дивился, откуда что берется у бабы. Очень уж ловкая бабенка оказалась, такая ловкая, что и не видано было в Сосногорске. Всех обошла, везде у ней была своя рука.

– Ну, баба, – дивился старик. – Ей и книги в руки... Заперла она дух нашему Лаврентию Тарасычу. Вот как заперла....

Теперь уж Агния Ефимовна шла и ехала, куда хотела, и везде ей был почет и первое место. Широко развернулась умная баба, на все руки была ходок, только своего сердца не могла утешить. Очень уж любила она Капитона, который только не ел из ее рук.

– Не тебе бы такую бабу любить, – говорила она, ласкаясь к Капитону. – Прост ты у меня, да еще делить тебя приходится с женой...

– Ну, ты это оставь... Анна тут ни при чем.

Агния Ефимовна теперь ревновала Капитона к жене и не могла никак совладать с собой. Все-таки она его жена, – из песни слова не выкинешь. Она следила за ними и мучилась, когда Капитон начинал жалеть жену. Агния Ефимовна возненавидела теперь несчастную женщину и поэтому была с ней особенно ласкова. Капитону делалось страшно, когда он видел их вместе. Он начинал бояться Агнии Ефимовны, как лошадь боится хорошего кучера. А она назло ставила

его постоянно в такие положения, что вот-вот все раскроется и он пропадет ни за грош. Теперь Агния Ефимовна назначала ему свидания у себя в доме и целовала на глазах у мужа. Ей нужна была опасность, нужно было, чтобы Капитон боялся, нужно, чтобы постылый муж нес кару за свое недавнее тиранство...

Мало этого, Агния Ефимовна являлась к Капитону, как к себе домой, и всем распоряжалась, как настоящая хозяйка. Даже прислуга не смела ничего сделать без ее приказа. Анна Егоровна все это видела, мучилась про себя, плакала, но никому и ничего не говорила. Раз только она сказала Агнии Ефимовне:

– Побойся ты бога, Агния, если людей не стыдишься...

– Какая ты плупая, Аннушка, – засмеялась Агния. – Было бы за что ответ держать да бога бояться... Вон и то говорят, что я любовница твоего мужа. А кто осудил, с того и грех взыщется...

Анна Егоровна сама не знала, есть что-нибудь у Капитона с Агнией или это ей кажется. Очень уж смело держала себя Агния. С нечистой-то совестью от добрых людей бегают, а она всем в глаза смотрит. Капитон был какой-то странный, и Анна Егоровна видела только одно, что он тоже побаивается Агнии. Хорошо было уж то, что Капитон не обижал жены и с глазу на глаз обходился с ней ласково.

– Тошно мне, Аннушка, – говорил он перед отъездом в тайгу. – Только и отдыхаю на промыслах.

Капитон был рад, когда лето прошло и он мог уехать из Сосногорска в тайгу.

– Смотри, мил-сердечный друг, не забывай меня, – наказывала Агния Ефимовна на прощание.

– Ох, не забуду, Агния... Надела ты мне веревку на шею.

– Своя жена веревка-то, а чужая на утеху молодецкую... Ах, ты, удал-добрый молодец, что крылья-то опустил?

### XIII

Процесс Густомесова с Мелкозеровым точно послужил примером для других. Огибенины и Рябинины, работавшие вместе, тоже перессорились и тоже начали судиться. Спорные промысла оставались без дела, а нажитые в тайге капиталы пошли на тяжбы. В то же время

коренные сибиряки не дремали и по готовым следам напали на таежное дело и, с своей стороны, подняли споры против сосногорских золотопромышленников. От Иркутска до Петербурга все суды были завалены этими делами. В тайгу посылались специальные комиссии для исследования дела на месте и только сильнее запутывали кипевшую войну.

Но самым громким процессом оставался все-таки густомесовский. Лаврентий Тарасыч рвал и метал, чтобы утереть нос противнику, и расстроил свои личные дела по заводам. Сильный был человек, но все средства были в делах, и приходилось рвать живым мясом деньги из разных статей. Вообще, выходило очень скверно. Раза два Мелкозеров подсылал Егора Иваныча для переговоров с Густомесовым, но тот возвращался ни с чем.

– Приступу к нему нет, – объяснял старик. – В том роде, когда человек осатанеет...

– Ничего ты не умеешь сделать как следует, – сердился Лаврентий Тарасыч, топая ногой. – Сам поеду и все устрою...

– Кабы хуже не вышло, Лаврентий Тарасыч, потому как там эта самая змея... Все от нее.

– Ты меня учить?!.

Егор Иваныч только пожал плечами. Мелкозеров, действительно, отправился сам к Густомесову и этим уже сделал шаг к примирению. Ведь сколько лет дружили, хлеб-соль водили, а тут из-за каких-то шарников подняли смуту... Мелкозеров ехал с самыми миролюбивыми намерениями, которые разбились сейчас же, как только он вошел в густомесовский дом. Его встретила Агния Ефимовна и довольно дерзко спросила:

– Вам кого нужно, Лаврентий Тарасыч?

– Как кого? – вскипел старик. – Чей дом, к тому и приехал...

– Дом мой...

Мелкозеров надел шапку, молча повернулся, плюнул и вышел. Только напрасно себя срамил. Надо было слушать Егора-то Иваныча... Агния Ефимовна торжествовала свою самую большую победу, рассказывая мужу, как она встретила гордого толстосума.

– Ловко ты его обзатылила! – восторгался Яков Трофимыч. – Плюнул, говоришь? Ха-ха... Не поглянулось. Отваливай в палевом, приходи в голубом...

Это он раньше засылки делал через Егора Иваныча, а теперь сам раскочился...

– То-то озлился, бедный! Ловко... Все хвалился нос утереть мне, а тут самому утерли.

– Еще не то будет, дай срок...

– Верно, Агнюшка. Ничего не пожалею, чтобы извести его...

Эти успехи уже перестали радовать Агнию Ефимовну. Что она ни делала, а плавное все-таки оставалось: слепой муж держал ее, как железная цепь, а Капитон принадлежал другой. Много передумала Агния Ефимовна, и так и этак раскидывая умом, а выходило одно. Ну, в лучшем случае, муж умрет – Аннушка останется. Аннушка умрет – муж останется. А когда оба они умрут, пожалуй, и не дождешься. Потом Агния Ефимовна заметила печальную вещь, именно, что за последние два года сильно состарилась. Пока сидела в неволе – все было хорошо, а теперь подкралась старость, как вор... И никуда не уйдешь, ничего не поделаешь. А тут еще, как назло, Анна Егоровна похорошела. Здоровая такая стала, белая, молодая, одним словом, кровь с молоком. Приедет Капитон из тайги и променяет чужую жену на свою.

Агния Ефимовна решила на последнее средство. Она вызвала Капитона из тайги и заявила ему, что они вместе поедут хлопотать по делу с Лаврентием Тарасычем в Петербург.

– Этого Яков Трофимыч хочет, – объяснила она, глядя вопросительно на милого друга, – Вот поговори с ним сам...

Капитон ожидал всего, но только не этого. Он ушам своим не верил. Густомесов принял его одного, велел запереть все двери и повел серьезные речи.

– Сердился я на тебя, Капитон, а теперь надоело... Не стоит. А лучше ты сослужи мне службу, съезди с Агнюшей в Петербург. Ловкая она у меня, оборотистая, а все-таки куда одна баба повернется... Только одно тебе скажу: не очень-то она тебя любит. Так уж ты того, как-нибудь сократи свой карахтер. Не всякое лыко в строку... Да и не молода она сейчас-то, так тебе и покориться в самую пору.

Агния Ефимовна повела дело так, что муж должен был упрашивать ее ехать с Капитоном. Она для приличия поломалась и согласилась только с тем условием, если поедет вместе Аннушка. Это был второй акт комедии. Анна Егоровна отказалась от поездки

наотрез, с настойчивостью, удивившей даже Агнию Ефимовну, точно это была совсем другая женщина.

– Поезжайте лучше одни, – уговаривала она мужа. – А мне что-то нездоровится, да и отец тоже все что-то припадает...

Эта поездка была отчаянным ходом со стороны Агнии Ефимовны. Она своими руками разрушала работу нескольких лет и шла вперед очертя голову. Единственная мысль овладела ею безраздельно... Пожить с Капитоном хоть один месяц, как живут другие. А там пусть будет, что будет... Старость была на носу, и терять времени не приходилось.

– Теперь ты мой, мой... весь мой! – шептала Агния Ефимовна, когда они выезжали из Сосногорска с Капитоном на почтовых. – Час – да мой...

Капитон угрюмо молчал, предчувствуя что-то недоброе. Он вообще заметно охладел и тяготился этой связью, опутавшей его по рукам и по ногам. Когда Агния прижималась к нему головой или плечом, он испытывал неприятное чувство, точно его начинало что-то давить.

– Любишь меня? Ведь любишь? – шептала Агния, напрасно стараясь заглянуть ему в глаза. – А я знаю, о чем ты думаешь... Ты о жене скучаешь.

\* \* \*

Вместо себя при Якове Трофимыче, уезжая, Агния Ефимовна оставила Кулькова. Как это случилось – проболтался ли Кульков спьяна, или выдал свою благодетельницу сознательно, или проснулась в нем совесть, – но не прошло двух недель после отъезда, как вся история устроенных Агнией Ефимовной хищений раскрылась во всей полноте. Говорили, что Кульков куплен был Лаврентием Тарасычем, что его запугал Егор Иваныч; но это все равно, – он после своего предательства прожил только один месяц, и в его скоропостижной смерти обвиняли Агнию Ефимовну, хотя она и была в Петербурге.

В одно прекрасное утро Густомесов послал за Егором Иванычем. Когда старик приехал, Густомесов принял его келейно и заявил свои сомнения относительно сохранности своих капиталов. Осторожный

Егор Иванович пригласил еще третье достоверное лицо и только тогда приступил к проверке густомесовских капиталов. Оказалось, что наличность представляла скромную цифру в сорок тысяч, а четырехсот тысяч не доставало. Вместо банковых билетов оказалась простая белая бумага, которую Яков Трофимыч берег в железном несгораемом шкафу. Но этого было мало. У Агнии Ефимовны была от мужа полная доверенность, и по этой доверенности она набрала денег направо и налево, где только могла набрать. Кто же мог не поверить Густомесову? В общем, сумма растраты простиралась до миллиона, а Густомесов оказался чуть не нищим. Удар был настолько велик и неожидан, что Яков Трофимыч повторял только одно:

– Не понимаю... Ничего не понимаю. Это Капитон грабил меня. Это его дело...

Возникло новое громкое дело. Капитон и Агния Ефимовна были возвращены в Сосногорск этапным порядком и заключены в тюрьму. По старым порядкам суд тянулся несколько лет, и обвиняемые все время сидели в тюрьме. Агния Ефимовна от начала до конца выдержала характер и не признала за собой никакой вины: знать не знаю, ведать не ведаю. Как с ней ни бились, но довести до сознания не могли, а старый уголовный суд держался именно на признании самого обвиняемого. Мало этого, – она запутала в деле много других, которых обвиняла, главным образом, во взяточничестве, вымогательствах и сообщничестве. Дело разрасталось все больше, так что даже сами судьи были не рады ему. Капитон не сдавался года три, а потом махнул на все рукой и принес повинную. Когда это передали Агнии Ефимовне, она со спокойной улыбкой заметила:

– Кто повинился, с того и взыскивайте...

Восемь лет тянулось дело, пока Агния Ефимовна предстала перед судьями. Но и тут вышел казус: Густомесов скорострительно умер накануне. Некому было обвинять, и громадное дело рухнуло само собой. Присутствовавший на заседании Егор Иванович думал свою горькую думу: не открой он таежного дела, ничего бы не было, а главное, не загубил бы он дочери.

– Да, хорошее приданое я тебе приготовил, Аннушка...

Оправданные судом Капитон и Агния Ефимовна сейчас же уехали в Сибирь, и об них не было ни слуху ни духу.

Первый вал бешеного сибирского золота пролетел, и в Сосногорске наступило тяжелое похмелье после пира горой.

## Не укажешь...\*

### Рассказ

#### I

Летнее душное утро. Солнце поднялось без лучей, в кровавом зареве. Воздух стоит неподвижно, точно расплавленный металл. Земля уже две недели томится засухой, а дождя все нет. Громадное село Вершинино точно вымерло. Нет обычного оживления, деловой суеты и движения. В воздухе точно висит роковая мысль о засухе. Широкая улица пуста, и только кой-где у завалинок копошится белоголовая деревенская детвора. Некоторые признаки жизни замечаются в двух пунктах – у кабака и волостного правления. У волости стоят две пустых телеги и привязана к столбу хромая лошадь. В тени ворот лежит волостной пес Гарька; он высунул язык и изнемогает от наливающегося зноя. Все окна в волости распахнуты настежь, но эта крайняя мера не достигает цели – в комнате и душно, и пыльно, тяжело.

– Вот так жарынь навалилась... – изнемогающим тоном повторяет староста Вахромей, не обращаясь, собственно, ни к кому. Здоровенный староста вообще испытывает угнетающую тоску, когда сидит за столом. Кажется, и дела никакого нет, а тяжело сидеть чурбаном. Вон старшина, седенький и лысенький старичок, бывший содержатель постоялого двора, тот увяз в дела и читает какие-то бумаги, которые ему подсовывает писарь Костя, кудрявый молодой человек с зеленоватыми глазами. У писаря всегда дело, и он вечно скрипит пером, скорчившись над бумагами.

– Хоть бы дождичка... – уныло тянет староста, отмахиваясь рукой от мухи, которая стремится сесть непременно на его нос. – Вот бы как хорошо!..

Ты бы шел домой, Вахромей, – советует старшина, – а то зря только торчишь тут...

А што я буду дома делать?.. Здесь-то все же на людях...



– Право бы шел, – продолжает советовать старшина. – Делать тебе нечего, ну, богу бы помолился насчет бездождия. Ты у нас заместо дьякона – столько же работы...

Старшина – ядовитый старичонка и не упускает случая поязвить добродушного и глуповатого старосту. В свободное время писарь Костя помогает ему в этом скромном занятии, и случилось не раз, что разозленный Вахромей бросался с кулаками на Костю, и писарь спасал свою приказную душу бегством. Но сейчас Вахромей не может даже сердиться и только моргает заплывшими жиром свиными глазками. До обеда еще далеко, а тут хоть ложись да помирай. В голове Вахромея проползает мысль о том, что хоть бы конокрада поймали – все же развлечение. Кроме начальства, сейчас в волости всего два мужика, которые почтительно стоят у дверей и внимательно следят за писарем, как тот выправляет им новые паспорта. Вообще ничего интересного... Староста слушает, как храпит сторож Ипат в своей каморке, как где-то жужжит муха, как воркуют голуби, – опять скучно. Хоть бы бабы подрались и пришли судиться, или Тришкубуяна привели, или завернул бы сторож Агап, который вечно жалуется на зятьев, – хоть бы что-нибудь этакое подходящее. Небось, в ненастье, особенно в осеннюю пору, так все и прут в волость, а теперь ни одна собака не забежит. Чтобы развлечься хотя немножко, Вахромей принялся ловить муху. Он закрывал глаза и ждал, когда она усядется к нему на нос, но муха оказалась хитрее и не поддавалась этой уловке. Это невинное занятие неожиданно было прервано топотом босых ног сейчас под окном. Вахромей высунулся в окно и закричал:

– Куда вас, пострелов, несет? Вот уж я вас!..

Промчавшаяся детвора что-то крикнула в ответ и исчезла, как спугнутая стая воробьев.

– Куда бы им бежать? – подумал вслух Вахромей, – Уж не пожар ли, сохрани бог!..

Точно в ответ на эти слова, откуда-то из-за угла вынырнула босоногая и белокурая девчонка, которая подошла к окну и тоненьким голоском проговорила:

– Дяденька, што я тебе скажу...

– Ну?..

Девочка перевела дух и ответила:

- Максим-то, который печи кладет...
- Ну?..
- Максим-то повесился, дяденька...
- Что ты врешь-то, глупая?..
- Вот сейчас провалиться, повесился... В бане у себя... Наши ребята видели. Все туда бегут...
- Это печник Максим?
- Он, он... Ребята-то бегут мимо бани, а в предбаннике голые ноги болтаются. Вот сейчас провалиться!
- Силантий Парфеныч, слышишь? – обратился Вахромей к старшине.
- Чего-нибудь врет девчонка... – отозвался старшина. – А ты с большого-то ума уши развесил!
- Это недоверие оказалось преждевременным, потому что прибежал запыхавшийся сотский и подтвердил рассказ девочки. Впечатление получилось ошеломляющее. В Вершинине за десять лет это был всего второй случай, что человек вздумал повеситься. Утопленников было достаточно, бабы отравляли мужей, один солдат зарезался, а удавленники составляли большую редкость. Да и печник Максим – человек пожилой, непьющий, справный. Еще недавно он в церкви печь перекладывал.
- Что же мы будем делать?.. – спрашивал всполошившийся старшина. – Ах, разбойник!.. Время-то какое выбрал: страда на носу, а он веситься...
- А если ему нравится? – пошутил Костя.
- Вот я ему покажу... – ругался старшина. – Пойдем, Вахромей. Живого, сотский, вынули из петли?
- Как есть живой... ругается... Ребята доглядели, Силантий Парфеныч, а то бы удавился вконец.
- Ах, разбойник! Ах, душегуб!..

## II

Староста Вахромей совершенно был счастлив случившимся событием, которое точно разбудило его. Он быстро шагал вперед всех, так что старшина едва поспевал за ним. По дороге их обогнали еще

две стайки деревенской детворы, летевшей к месту происшествия. От волости до избы Максима было всего сажень сто, – пройти по улице к церкви, а потом повернуть направо.

– Нет, время-то какое выбрал, а?.. – повторял старшина. – Добрые люди к страде готовятся, а он петлю себе приспособил... Ах, разбойник, разбойник!..

Около избы Максима собралась уже целая толпа, состоявшая из ребят, баб и стариков. Настоящих мужиков было не видно, – они точно совестились за случившееся. Изба у Максима была новая, хорошая, и двор хороший, и огород, и всякая хозяйственная пристройка. Одним словом, жил человек справно. Это обстоятельство еще сильнее озлило старшину. Ежели бы это наделал какой-нибудь пьянчуга, как зарезавшийся солдат или забулдыга Тришка, а то настоящий, справный мужик, у которого старший сын женат второй год да две девки-невесты на руках., – Чего вам тут понадобилось? – накинулся старик на баб. – Брысь по домам!.. Точно на свадьбу сбежались!

Толпа попятилась, но не расходилась. Вахромей схватил валявшуюся палку и бросился разгонять.

– Убирайтесь домой, бессовестные!.. С человеком, можно оказать, несчастье, а они плазуют. Вот уж я вас!..

Максим, пожилой мужик с окладистой бородой, сидел у себя на крылечке и не шевельнулся, когда начальство вошло во двор. Это спокойствие немного озадачило старшину, и он проговорил как-то растерянно:

– Ты это что, Максим, надумал-то... а?..

Максим молчал, глядя куда-то в угол. В сенях что-то шевельнулось, и послышались сдержанные рыдания. Вахромей уперся глазами в Максима и рассматривал его с удивлением барана, который стукнулся головой в забор. Писарь Костя тоже смотрел на Максима, напрасно стараясь увидеть в нем что-нибудь такое, что говорило бы об удавленнике, о человеке, который мог повеситься, – смотрел и ничего не находил. Человек, как все другие люди, Максим всегда был молчаливым, молчал и теперь.

– Нет, ты что молчать-го? – уже с азартом наступал старшина, проникаясь своей ответственной ролью начальника. Вот сидишь, вытаращил глаза, а мы за тебя отвечай... Время-то какое стоит, а?.. Вот-вот все поедут на покос, а тут мертвое тело... Одними понятиями

заморили бы, да еще ставь подводки под станового, да под следователя, да под дохтура. Это как, по-твоему?.. Тебе-то все равно, а мы бы не расхлебались с начальством... Одних харчей сколько бы сошло за тебя, разбойника: и станового корми, и дохтура, и следователя... Эго как, по-твоему?.. Да еще хорони тебя... Может, и попу пришлось бы платить, и за гроб, и за могилу, да еще поп-то отпевать бы не стал. Кабы ты своей смертью помер, так и похоронили бы тебя честь-честью свои домашние, а тут нам же пришлось бы с тобой возиться...

Эти хозяйственные соображения подняли в старшине всю злость, и он даже замахнулся на неудачного удавленника.

– Надо осмотреть баню, – решил писарь Костя в качестве делового человека. – Все по порядку...

– И то осмотреть... – поддакнул Вахромей. – Может, там найдется што-нибудь... Ведь черт его знает, што у него было на уме!

Баня была старая, как ее поставил еще отец Максима. Осмотр не дал ничего интересного: баня как баня. Даже не было веревки, на которой хотел повеситься Максим.

– Надо понятых созвать, – советовал Костя. – Составить протокол на всякий случай. Да и баню надо, тово, опечатать.

Понятыми взяли соседей. По пути привели жену Максима, пожилую, болезненную женщину с убитым лицом. Она, как комок, бросилась в ноги старшине и запричитала:

– Будь отцом родным, Силантий Парфеныч, не погуби... Ничего я не знаю, ничего не ведаю.

– Ах, плупая баба!.. Нашей причины тут никакой нет, а што следоват по закону, то Максим и получит.

Так как олицетворением закона являлся писарь Костя, то жена Максима и переползла к его ногам. Понятые стояли сумрачно и старались не смотреть на эту жалкую сцену, пока Вахромей не поднял старуху на ноги. Общее внимание теперь было занято принесенной старухой веревкой. Это был обрывок старых вожжей и походил на все остальные веревки. Как ее ни вертели, в веревке не оказалось никаких особенно зловещих особенностей. Писарь занес ее в протокол, как вещественное доказательство: «а вышеизложенную веревку приобщили к настоящему делу». Под протоколом подписался старшина, а Вахромей и понятые поставили кресты. После этой невинной церемонии больше ничего не оставалось делать, хотя все и

сознавали, что нужно что-то сделать: случай вышел не за обычай, и всем почему-то было совестно.

– А что мы с ним будем делать? – взмолился старшина каким-то упавшим голосом. – Как его так-то оставить?..

– Конечно, связать, – соглашался Вахромей. – Еще убежит, пожалуй...

Эта мысль почему-то показалась всем самой вероятной, и все торопливо зашагали во двор. Костя нес веревку, завернув ее в протокол. А Максим по-прежнему сидел на крылечке, в прежней позе. Старшина почувствовал новый прилив законного озлобления и накинулся на Максима с новым азартом:

– Ах, ты, идол отчаянный!.. Погляди-ка, как ты начальство свое беспокоишь! Все, брат, в бумагу описали, и веревка твоя – во... Будет над нами тебе издеваться! Да... Тоже придумал!

– Чего с ним разговаривать, – вмешался Вахромей, жаждавший тоже проявить слою энергию. – Костя, давай-ка сюда веревку-то...

В качестве специалиста Вахромей очень ловко скрутил Максиму руки назад и даже для безопасности поплевал в узел.

– Ну, теперь трогай.

Максима торжественно повели в волость. Он шел без шапки, опустив голову. В избе раздался громкий бабий вой. Вахромей шел впереди всех и кулаками разгонял толпу любопытных.

– Нет, что мы будем с ним делать! – повторял старшина, чувствуя изнеможение.

– А там видно будет, Силантий Парфеныч, – решил Костя. – Созовем старичков, пусть они решают... Дело совсем особенное. Ни к чему его не подведешь...

### III

Хлопоты с Максимом заняли как раз все время до самого обеда, чем особенно был доволен староста Вахромей, скучавший без дела до тошноты. Неудачник-удавленник был посажен в холодную, а начальство отправилось по домам обедать.

Около волости собралась кучка любопытных, ожидавшая дальнейших событий. Ответственными лицами при холодной

оставались каморник Ипат, из отставных солдат, и сотский с бляхой. Посажённый в заключение Максим не проронил ни одного слова.

– Еще сделает над собой что-нибудь, – сомневался Ипат, заглядывая в дверное оконце. – Эй, Максим, ты жив?

Максим молчал.

После обеда начальство выспалось, напилось чаю и явилось в волость уже под вечер, когда свалил дневной жар.

В волости уже собрались старички, долженствовавшие решить судьбу Максима. Все чувствовали себя неловко и потихоньку переговаривались между собой. Всем было ясно одно, именно – что не иначе, что Максима попутал нечистый, а с другой, и закон требовал удовлетворения. Ведь если каждый так-то начнет безобразничать, то что же это будет?.. Вообще чувствовалась важность наступившего момента и еще большая важность предстоявшей ответственности.

– Ну, старички, надо это самое дело обмозговать, – заявил старшина, усаживаясь на свое место.

Писарь Костя вооружился бумагой и пером, чтобы писать постановление. Старичкам была предъявлена веревка, и они отнеслись к ней с должным вниманием. Седые и лысые головы внушительно качались, а веревка переходила из рук в руки. Самый влиятельный из стариков, бывший церковный староста Сысой, заявил первый:

– Не порядок, господа старички...

– Уж это што говорить!.. – загалдели разом судьи. – Прямо сказать: всех он острамил, Максим.

– А перед начальством кто должен отвечать? – опять начал горячиться старшина. – Он-то задохся бы в петле, а мы отвечаем... Да еще мы же его и хорони на опчественный счет, да харчи начальству, да протоны, да поп бы еще не стал хоронить самоубивца. А пора наступает страдная... Понятых должны бы были измором морить у мертвого тела. Вот какое дело, господа старички...

– Уж на што хуже, Силантий Парфеныч... Страм. А надо его самого, идола, допросить...

Сторож Ипат торжественно ввел Максима. Удавленник был бледен, но спокоен. Он был в одной рубахе, пестрядинных портах и босой, – такой упрощенный костюм совсем не вязался с трагическим положением Максима. Он несколько раз переступил с ноги на ногу,

потом почесал одну ногу другой и посмотрел на вершининский ареопаг. Что происходило в душе этого человека? Что довело его до мысли о самоубийстве? Ведь было же что-то, что заставило его лезть в петлю, и это все чувствовали, рассматривая Максима с озлобленным любопытством. Наложить на себя руки – страшный грех, а Максим не побоялся. Писарь Костя громко прочитал протокол осмотра места действия, а затем Максиму была предъявлена «вышеизложенная веревка».

– Эта, што ли? – сурово спросил Вахромей.

Максим взял веревку, подержал ее в руках, обвел присутствующих удивленным взглядом и конвульсивно улыбнулся.

– Ах, Максим, Максим!.. – укоризненно говорил один из старичков. – Вот как нехорошо! И што это тебя попутало?.. И что мы, значит, с тобой сейчас должны сделать? Отпустить так – не порядок... Ведь не порядок? Ну, отослать тебя к становому – закона того нет. Так, Коскентин? Озадачил ты нас (вот как...)

– Что вы с ним, господа старички, понапрасну балакаете? – обиделся старшина. – Ведь он-то нас не жалел, когда в петлю лез...

– Нет, постой, Силантий Парфеныч... Ты свое уж сказал, а надо все по душе, на совесть, чтобы никому не обидно было. Ведь и в ём, в Максиме, тоже не пар, а душа... Ну, как ты сам-то о себе полагаешь, Максим, про это свое качество, а?..

Подсудимый переминается с ноги на ногу и запускает руку в затылок. Этот жест обличал, очевидно, начинавшееся раскаяние. Человек приходил в чувство у всех на глазах.

– Ну, Максим, так как же нам с тобой быть?.. По совести будем говорить, на полную очистку... Устыдил ведь ты нас всех. Руки опустились у всех... Ах, Максим, Максим!.. До чего ты нас-то довел?

Потом вдруг произошло общее молчаливое соглашение. Старшина сделал таинственный знак Ипату. Максима подхватили сотские... Через десять минут он поднимался с грязного пола и, поправляя приведенный в беспорядок костюм, угрюмо проговорил:

– А тоже не укажешь...

Ипат, уносивший пук розог, остановился, ожидая нового приказания, но старички только замахали на него руками.

# Оборотень\*

## Рассказ

### I

Весь округ Белых-Ключей был взволнован дерзостью совершенного преступления. Даже на таких бойких промыслах, где «не без греха», то есть ежегодно совершались убийства, настоящий случай произвел особенное впечатление. Убили среди белого дня нового приискового поверенного компании наследников Апрелева. Положим, убили в лесу, но вся обстановка преступления говорила об отчаянной смелости разбойников. По дороге шли и ехали с одних промыслов на другие; дорога вообще была бойкая и людная.

– Арсюткино дело! – решили все в один голос. – Некому, кроме его...

Арсютка был в своем роде приисковый герой. Он давно уже «ходил в семи душах», то есть судился за убийство семи человек, и приговорен был к бессрочной каторге. Он был родом из Белых-Ключей и время от времени являлся на родину, где его ловили, представляли по начальству, а затем он уходил на каторгу, чтобы «в некоторое время выворотиться обратно». Все к этому привыкли, а становой Иван Павлыч, имевший резиденцию в Белых-Ключах как в центре целого золотопромышленного округа, не без самодовольства говорил, когда проходил новый слух о возвращении Арсютки:

– Ничего, пусть погуляет, а моих рук ему не миновать... Четыре раза его ловил. У меня кошка с котятками не пройдет мимо... Да.

Золотопромышленная система Белых-Ключей была заброшена далеко на север Урала и занимала площадь не в одну тысячу верст. Селения были разбросаны на большом расстоянии. Даже колесные дороги были не везде, а сообщение происходило летом по рекам и лесным тропам. Зато зимой везде была дорога. Открытые лет двадцать тому назад золотые промыслы очень оживили этот край. Появились временные поселки, население увеличилось благодаря приливу



промысловых рабочих. Последние набрались, по меткому выражению, «с бору да с сосенки» и представляли типичную промысловую ватагу, перекочевывавшую с места на место. Стоило пройти слуху, что где-нибудь найдено новое месторождение золота, и ватага являлась попытать счастья. Знаменитые апрелевские промыслы переживали несколько таких периодов; то они «изубоживались» – и рабочая волна с них отливала в другие места, то на них открывалось новое золото – и волна прилиwała снова. Сейчас промыслы находились в состоянии такого прилива.

У апрелевской компании было несколько поверенных, с главным поверенным Степаном Никитичем во главе. Это был худенький седенький старичок с маленькими глазками и какими-то смешными густыми бровями, совсем уж не гармонировавшими с мелкими чертами лица.

– Не может этого быть!.. – говорил Степан Никитич, когда на промыслах случалась оказия. – Отчего же меня не убивают? Да-с, слава богу, двадцать лет вожу и золото и деньги, и все знают, когда я еду, а вот жив. Никто еще пальцем не тронул. Я, батюшка, старый приисковый волк... Я и Арсютку сколько раз видал. Да-с...

Убитый поверенный Черняков только недавно поступил на службу в компанию и был командирован в Екатеринбург за получением из банка довольно крупной суммы для расчета рабочих. Очевидно, его поджидали на дороге и убили наповал выстрелом из засады. Ямщик убежал в лес, бросив лошадей на дороге. Убийцы похитили сумку с деньгами и скрылись. Чернякова нашли мертвым в экипаже. Это был еще совсем молодой человек, лет тридцати.

– Арсюткина работа, – уверяли все. – Отчаянный человек, одним словом...

Недели за две до убийства уже ходили слухи, что Арсютка «выворотился» с каторги и что его видели. Но кто видел и где, оставалось неизвестным, потому что все боялись отчаянного человека, которому было все равно.

– Ну и народец только! – возмущался становой Иван Павлыч. – Боятся разбойника... Да ведь у него не две головы? А что он убил Чернякова, так это верно. По работе видно...

В Белых-Ключах проживала еще мать Арсютки, больная, полуслепая старуха. Арсютка каждый раз ее навещал, но старуха

молчала, и даже Иван Павлыч не сердился на нее.

– Что же поделаешь: для нас Арсютка – разбойник, а для нее сын, – объяснял он.

А об Арсютке продолжали ходить самые упорные слухи. Кто-то его встретил на дороге, потом его видели в покосной избушке, потом он просил у кого-то хлеба и т. д. и т. д. Все эти слухи Иван Павлыч принимал за личное оскорбление. Помилуйте, какой же он становой, если разбойник Арсютка ходит у него под носом и нисколько его не боится? Да и перед апрелевской компанией совестно, потому что убитый Черняков вез с собою больше двадцати тысяч и все эти деньги достались Арсютке. А тут еще Степан Никитич подзуживает. Положим, старый друг и приятель, а все-таки обидно.

Главное управление апрелевской компании помещалось в Белых-Ключах, рядом с становой квартирой. По вечерам, когда работа кончалась, Степан Никитич выходил на крылечко и кричал:

– Эй, Иван Павлыч, разе взыгранем?

Иван Павлыч в это время пил обыкновенно чай у открытого окна и отвечал:

– Да что-то аппетита нет на карты, Степан Никитич...

– Боишься остаться без трех, как в прошлый раз?

– Ах, ты, старая кочерыжка!..

Нужно сказать, что Иван Павлыч очень любил играть в карты, но считал своим долгом немного поломаться. Все-таки, как хотите, он начальство, чиновник, а Степан Никитич хоть и главный поверенный, но все-таки служит по вольному найму.

– Иван Павлыч, что же ты... а? – слышался голос Степана Никитича. – И Гаврило Федотыч уж ждет...

Иван Павлыч грузно поднялся, надел летний китель и с недовольным видом отправился в контору.

– Ну, вот и я... – хмуро заявил он, появляясь на террасе конторы, где уж был поставлен столик с закуской и Гаврило Федотыч, промысловый бухгалтер, мрачный и молчаливый господин, разбирал карты.

– Ну вот, ну вот... – бормотал Степан Никитич, играя бровями. – Надо поломаться... а? Хорошо, я тебе объявлю большой шлем... хе-хе...

Нужно сказать, что игра в карты в Белых-Ключах происходила при некоторых особенных условиях. Дело в том, что Белые-Ключи засели в болоте, и летом не было житья от так называемой «мошкары». Это маленькое насекомое, почти едва заметное, отравляло всем жизнь. Ничтожная по величине мушка лезла в глаза, уши, рот, нос и преобильно кусалась. У людей непривычных, с чувствительной кожей в один день лицо превращалось в пузырь. Единственным спасением от этой «мошкары» служили «смолокурки», то есть железные коробки, в которых тлело смолье, пускавшее струю едкого дыма. Конечно, было неприятно дышать таким дымом, кашлять от него, чихать и проливать слезы, но все-таки из двух зол это было лучшим. В июльские жары рабочие носили такие смолокурки на поясах. Особенно надоедала «мошкара» вечером, когда собиралась на огонек. У Степана Никитича была устроена специальная смолокурка для игры в карты, которая и ставилась под карточный стол, так что игроки все время находились в дыму.

– Ну, вот и отлично! – радовался Степан Никитич, когда на террасе показалась грузная фигура Ивана Павлыча. – У нас и смолокурка готова.

По обычаю, перед игрой немного выпили и закусили.

– Время наступает ночное, нужно зарядить для безопасности, – шутил хозяин. – А то еще Арсютка, того гляди, напугает...

Иван Павлыч нахмурился, но ничего не ответил: обладая веселым характером, старик иногда перешучивал.

Сели играть в преферанс. Из-под стола так и валил дым, но приходилось терпеть. Бухгалтеру везло, как всегда, и Иван Павлыч начал сердиться и рисковать.

– А вот мы вашу даму по усам, Иван Павлыч, по усам! – выкрикивал Степан Никитич, убивая считанную взятку.

Выпили еще по маленькой. Иван Павлыч покраснелся. Тут случилось нечто необыкновенное. Иван Павлыч сходил с короля черв, а Степан Никитич убил его козырем, да еще проговорил:

– А мы и Арсютку по усам... х-ха!..

Это уж было слишком. Иван Павлыч побагровел, молча поднялся, молча надел свою форменную фуражку и молча пошел с террасы.

– Иван Павлыч, голубчик, воротись! – умолял Степан Никитич, напрасно стараясь удержать старого приятеля за рукав, – Ну, так,

сорвалось с языка... Ну его к черту, Арсютку!.. Иван Павлыч, голубчик...

Но Иван Павлыч был неумолим и молча ушел к себе домой. Тогда уже рассердился Степан Никитич.

## II

Нет ничего печальнее, когда рассорятся два старинных друга... Десять лет были знакомы, водили хлеб-соль, ежедневно встречались, и вдруг – нет ничего. Когда Степана Никитича спрашивали об Иване Павлыче, он с удивлением поднимал свои густые брови и говорил:

– Какой Иван Павлыч? Я не знаю никакого Ивана Павлыча...

То же проделывал и Иван Павлыч, когда его спрашивали про Степана Никитича, и прибавлял:

– Ах, да, вы говорите про этого... да, про этого... гм... Не советую вам с ним встречаться.

Прибавьте к этому, что оба друга очень скучали, угнетаемые одиночеством. Какое общество, в самом деле, можно было найти в Белых-Ключах? Иван Павлыч дошел до того, что по вечерам дулся в шашки с собственным письмоводителем, а Степан Никитич играл на флейте, и, нужно отдать ему справедливость, прескверно играл. Хуже всего было то, что им приходилось встречаться по делам службы, и они вынуждены были разыгрывать комедию старой дружбы, чтобы не подавать соблазна подчиненным.

А виновник этой глупой ссоры, Арсютка, продолжал «бегать», и его продолжали видеть в разных местах, даже зараз в нескольких местах. Иван Павлыч поклялся его поймать и налетал орлом по первым слухам, но Арсютка ускользал у него из-под самого носа с отчаянной дерзостью. Главное, что было обидно: денег у Арсютки было достаточно, – ну и шел бы с богом на все четыре стороны, так нет – засел в Белых-Ключах. Даже по ночам Ивану Павлычу спалось плохо: все грезился Арсютка. Даже начал Иван Павлыч заговариваться. Встанет к окошку, погрозит кулаком на приисковую контору и бормочет:

– Я тебе покажу Арсютку, старая кочерыжка!.. За ухо к тебе на двор приведу... Да...

Степан Никитич скучал, особенно по вечерам. Так бы и позвал Ивана Павлыча или сам пошел к нему. Раза два он<sup>1</sup> машинально подходил к становой квартире и даже поднимался на крылечко, а потом отплеывался и торопливо уходил к себе домой.

Чтобы как-нибудь убить время, он начал частенько уезжать на другие прииски, где можно было провести время в компании. Раз он отправился на прииск Говорливый, где жил доверенным Егоров, у которого была жена Анна Сергеевна, великая мастерица делать пельмени. День задался дождливый, дорогу развело грязью, и пара лошадей с трудом тащила легонький плетеный коробок. Верстах в шести от Белых-Ключей попался какой-то мужик с котомкой за плечами, как ходят приисковые рабочие. Он сидел на пеньке и перевязывал ногу. Когда плетенка поровнялась с ним, мужик поднялся, снял шапку, поклонился и проговорил:

– Степану Никитичу доброе здоровье!..

– А ты как меня знаешь?

– Кто же тебя не знает, Степан Никитич. Одним словом, благодетель... Все за тобой сидим, как тараканы за печкой.

Кучер остановил лошадей, чтобы поправить сбочившуюся дугу. Мужик показал глубокую рану на ноге и проговорил:

– Довез бы ты меня, Степан Никитич... Все равно один едешь, а мне по пути.

Степан Никитич понюхал табаку и пожалел промыслового человека. Славный такой мужик. Сейчас видно свою, приисковую косточку.

– Ну, садись на козлы, как-нибудь доедем, – пригласил Степан Никитич.

– На вашей работе ногу-то извел, Степан Никитич.

Мужик перевязал свою ногу на скорую руку и взмогился на козлы. Кучеру, очевидно, было неприятно везти лишнего человека, и он что-то ворчал себе под нос...

– Много вашего брата тут шляется... Всех не перевозишь. Еще лошадей пересобачишь...

Поехали. Степан Никитич любил дорогой побалагурить и подробно расспросил мужика, откуда он идет, куда и зачем. Тот отвечал все как следует быть и в заключение попросил покурить «цигарочку».

– Табаку я не курю, а вот понюхать можешь, – предложил Степан Никитич и прибавил, посмеиваясь и прищелкивая пальцем по крышке табакерки: – Это, братец, у меня оборона против разбойников... Ведь всю жизнь с деньгами по лесам ездю. А напади разбойник, я ему в глаза и брошу щепотку табачку... хе-хе!.. Пока он будет чихать да кашлять, меня и след простыл.

– И Арсютки не боишься?

– И Арсютки не боюсь... Я ему прямо всю морду табаком залеплю. Я ведь не Иван Павлыч... Хе-хе!..

– Ах, ты какой лукавый, Степан Никитич! – смеялся мужичок, покачивая головой.

Потом он прислушался и сказал:

– Степан Никитич, а ведь за нами погоня!

– Какая погоня?

– А Иван Павлыч со стражниками гонится за Арсюткой... Значит, его видели где-нибудь поблизости. В самый бы раз тебе, Степан Никитич, теперь его табаком своим посыпать...

Действительно, это была погоня, и Степан Никитич только подивился, какое у мужика чуткое ухо.

«Погоню гнал» сам Иван Павлыч в сопровождении четырех своих стражников.

– Экая, подумаешь, Арсютке честь, – заметил мужичок. – Он-то один бежит пешком, а за ним пятеро верхом гонятся. Нагнал он холоду Ивану-то Павлычу...

Погоня летела на полных рысях. Иван Павлыч издали узнал плетенку Степана Никитича и про себя обругал «старую кочерыжку», которая шляется в такую погоду по промыслам. По пути Иван Павлыч сообразил, что старикашка едет именно есть пельмени к Анне Сергеевне. «Вот лукавый старичонка!» – обругал он его про себя. Увидав сидевшего на козлах мужика, Иван Павлыч только улыбнулся: «Эге, Степан Никитич все хвастался, что не боится Арсютки, а сам теперь с осторожным ездит... Вот так храбрец!.. Ах, ты, старая кочерга... Вот тебе и король черв. Смеется, видно, последний. Х-ха!..»

Догнав Степана Никитича, Иван Павлыч сделал вид, что не узнал его, и даже отвернулся: «Э, пусть чувствует, старый колдун»...

– Ишь, как гордится Иван-то Павлыч, – заметил мужик на козлах, передвигая свою шапку с уха на ухо. – И тебя не хочет узнавать,

Степан Никитич.

– Бог с ним, – смиренно ответил Степан Никитич и угнетенно вздохнул.

Плетенка до прииска Говорливого тащила уже часа три, и Степан Никитич даже пожалел, что поехал в такую даль за семь верст киселя хлебать.

Когда вдали показалась приисковая стройка, сидевший на козлах мужик остановил самовольно лошадей.

– Ну, Степан Никитич, спасибо тебе, что подвез, да и от погони укрыл...

Степан Никитич ничего не понимал и молча смотрел, как мужик спустился с облучка, поправил свою котомку и снял шапку.

– Спасибо, говорю, – продолжал мужик. – А встретишь Ивана Павлыча, так скажи, что, мол, Арсютка тебе поклонник прислал...

– Что-о?.. Да ты...

– Я и есть самый Арсютка... Аль не узнал, Степан Никитич?.. Ну, а теперь прощай...

Арсютка повернулся, перепрыгнул дорожную канаву и быстро зашагал к ближайшему леску. Степан Никитич выскочил из экипажа и неистово закричал:

– Держи его, разбойника!! Арсютка, стой!! Кучер, держи его!..

– Да, ступай-ка сам и поддержи его, – спокойно ответил кучер, почесывая в затылке. – Он тебе покажет...

– Караул!! Батюшки, держите!.. – орал Степан Никитич, бегая около экипажа. – Арсютка, стой!..

Когда Арсютка скрылся в лесу, Степан Никитич накинулся на кучера.

– Ты... ты ведь его узнал?.. А?..

– Конечно, узнал...

– Так что же ты все время молчал, негодяй... а?

– У меня не две головы... Рядом сидели, – ну, как пырнет ножом в бок. Ты его сам посадил, Степан Никитич, твой и ответ...

– Я?! Ах, ты... Да я... я...

На Говорливый прииск Степан Никитич приехал в страшном волнении. Как на грех, Иван Павлыч сидел в приисковой конторе и пил чай. Все страшно переполошились, когда Степан Никитич

рассказал о случившемся, кроме Ивана Павлыча, который довольно ядовито заметил:

– У страха глаза велики, Степан Никитич... Тебе просто поблазнило от древности твоих лет.

– Мне?! А кучер?

– А твой кучер – просто дурак... Если он будет болтать глупости, так я его велю выдрать.

Это приключение сильно подействовало на Степана Никитича. Старик как-то сразу опустил плечи, начал всего бояться, прислушивался по ночам к малейшему шороху и по секрету всем сообщал:

– Это был оборотень... Он по душу мою приходил... Да...

Вообще человек рехнулся.

Через полгода Иван Павлыч поймал Арсютку, устроив облаву в лесу. Степан Никитич был вызван в качестве свидетеля, но не признал в Арсютке того мужика, которого вез на козлах.

– Да ты погляди на меня-то хорошенько, Степан Никитич, – дерзко говорил Арсютка. – Еще тогда меня табачком угощал...

– Нет, ты – оборотень... – повторял Степан Никитич.



## Семейная радость\*

### Рассказ

#### I

Старуха Марья Андреевна почти целый день проводила у окна. Ей было уже за восемьдесят, и она плохо слышала, хотя горничные и уверяли противное – что не нужно, так старая ведьма, не бойсь, услышит.

– Давно черти с огнем на том свете ищут, – уверяла горничная Даша, очень бойкая и задорная особа. – В чужой век живет старая карга.

Старуха смотрела на Дашу своими мутными глазами, качала головой и отвечала:

– Ужо вот тебя на том свете черти-то припекать будут...

Когда старуха сердилась, лицо у нее делалось страшным: глаза как-то останавливались, нижняя челюсть отвисала, из-под платка на голове выбивались космы начинавших желтеть седых волос. Сейчас трудно было сказать, была она когда-нибудь красива или безобразна, только крючковатый нос и выдававшийся вперед подбородок говорили о резких, типичных чертах.

Итак, Марья Андреевна сидела у окна и смотрела на улицу. Трудно было бы сказать, о чем она думала и в состоянии ли она вообще о чем-нибудь думать. Впрочем, этим никто не интересовался. Поднималась она раньше всех в доме и этим досаждала прислуге. Потом шла к заутрене – досаждала дворнику; потом приходила из церкви прямо к чаю и досаждала решительно всем, потому что всякому до себя, а эта старуха только мешается. Одним словом, в богатом доме ей не было места, и она это чувствовала. Чуть кто подойдет – она сейчас поднимется и перейдет на другое место.

– Бабушка, да что ты все толчешься! – ворчали на нее. Даже в глазах рябит...

Если старуха засиживалась на одном месте, когда на нее находило забытье, это еще больше возмущало всех.

– Помилуйте, что она торчит на одном месте, как кукла! Смотреть тошно...

Когда старуха замечала это общее недовольство, у нее делалось испуганное лицо и она старалась куда-нибудь спрятаться, что было не легко, так как семья была большая и все комнаты были разобраны. Нигде не было места Марье Андреевне, и она слонялась по дому, как тень.

Прислуга устраивала ведьме всевозможные каверзы, а когда та жаловалась дочери Елене Федоровне, настоящей хозяйке, то получала один и тот же ответ:

– Какая вы, маменька, странная... Отчего же прислуга делает неприятности только вам одной?.. Вы просто выжили из ума и со всеми ссоритесь... Ведь этак вы всех из дому выживете. Просто согрешила я с вами...

– Вот умру, тогда никому мешать не буду, – ворчала старуха. – Вы все хороши...

Но злейшими, настоящими врагами ведьмы были двое маленьких внучат, которые не давали ей покоя. Детская изобретательность безгранична. Маленький Коля не мог пройти мимо, чтобы не задеть бабушку локтем, а раз даже подставил ей ногу, и старуха пребольно расшиблась. Варя была постарше и по-своему изводила старуху. Подойдет к ней, сделает ласковое лицо и заговорит:

– Бабушка, ах, как я вас люблю!..

– Уйди, змееныш...

– Нет, серьезно... И все вас любят. Жаль только, что вы скоро умрете. Так жаль, так жаль...

– Тебя еще переживу, дрянная девчонка! Назло вам всем буду жить...

От злости голова бабушки начинала трястись, а на губах выступала пена. Это забавляло маленьких инквизиторов, и они устраивали настоящую травлю, так что старуха боялась их больше, чем больших. Несколько раз внучата доводили ведьму до того, что она с яростью бросалась к образу и громко начинала их проклинать. Это выходило уж совсем смешно, и маленькие мучители хохотали до слез.

– Бабушка, милая, прокляни еще немножко... Скоро умрешь, и некому будет проклинать. Ну, еще чуточку...

– И проклянута!.. Всех проклянута, все змеиное отродье... Не будет вам счастья.

Детская жестокость являлась только отражением жестокости больших. Никто не любил старухи, пережившей самое себя и дети эту нелюбовь довели до открытой ненависти. Все опыты ведьмы найти защиту у Елены Федоровны кончались еще большей неудачей, чем распри с прислугой.

– Если уж вы не можете ужиться, маменька, с детьми, в которых все-таки ангельский образ, значит, и в самом деле вам пора умирать.

– Не избывай постылого, матушка, приберет бог милого, – ворчала ведьма.

– Вот вы всегда так, маменька: сами накликаете беду. Недавно опять проклинали невинных младенцев...

– У, змееныши... – шипела ведьма, страшно ворочая своими мутными глазами. – Мало их проклясть... да.

Надо было случиться так, что и Коля и Варя действительно умерли, умерли от тех безжалостных детских болезней, бессмысленных и обидных, как самая величайшая несправедливость. Еще накануне шалун Коля за общим чаем с удивительной ловкостью отодвинул бабушкин стул, и ведьма полетела на пол, а через два дня он уже лежал на столе в качестве одной из бесчисленных жертв дифтерита. Через пять дней умерла Варя от той же болезни. Обезумевшая от горя Елена Федоровна всю вину свалила на мать.

– Это ваша работа, маменька!.. – повторяла она, ломая руки. – Вот вы их проклинали все... Недаром вся прислуга говорит, что вы в чужой век живете.

Весь дом был против нее, а зять, муж Елены Федоровны, заявил, что не может видеть эту отвратительную старуху. Оставалось еще двое старших детей – женатый сын Василий и замужняя дочь Маня. Они тоже были против бабушки, потому что у них были свои дети, а она как раз накличет беду. Особенно вооружалась Маня. Это была красивая женщина, которая привела в дом красавца-мужа из оголтелых дворян. Она заявила вместе с отцом, что тоже не может видеть ведьму.

– Что же я буду с ней делать? – в отчаянии повторяла Елена Федоровна, начиная держать сторону матери. – Не могу же я выгнать восьмидесятилетнюю старуху на улицу...

– Зачем же на улицу, мама? – сказала Маня. – Никто не гонит, а только можно бабушку устроить иначе...

– Например?

– Мало ли как можно... Нанять комнату в приличном семействе или небольшую квартирку.

– Чтобы все указывали на нас пальцем? Ах, Маня! Этак ты и меня в меблированные комнаты выселишь...

– С вами, мама, нельзя серьезно говорить... У вас сейчас жалкие слова начнутся. Я говорю только о том, что бабушке же было бы удобнее...

Маня, ты ошибаешься, – с ласковой строгостью сказал ей нахлебник-муж, – Действительно, будут говорить... Одним словом, неудобно, и тамапа права, как всегда.

Муж Мани был дипломат и во всем соглашался с тамапа. В данном случае он больше всех ненавидел проклятую старуху и с глазу на глаз настраивал постоянно опеку против нее. Одно уж то, что она ходила в каких-то ситцевых платьях и повязывала по-деревенски голову ситцевым платком, – одно это чего стоило. Приедут гости, люди солидные, а эта кикимора и вылезет.

– Может быть, можно старушку перевести в нижний этаж, – дипломатично советовал он. – Там есть очень милая комнатка рядом с кухней... Старушки любят тепло.

Этот план был отложен на время, тоже из страха перед знакомыми, – люди злы и наговорят бог знает что: рядом с кухней, из кухни постоянно идет чад, и т. д.

## II

Гости донимали всех, как это умеют делать милые знакомые. Елена Федоровна несколько раз пробовала прятать старуху в такие моменты, но гости были неумолимы, особенно гости. «А где наша милая старушка? – спрашивали дамы. – Ах, как вы счастливы, Елена

Федоровна, что у вас есть такая бабушка! Знаете, когда в доме есть такая старушка, чувствуется так уютно и тепло... да».

Это преувеличенное внимание добрых знакомых объяснялось общечеловеческой слабостью кольнуть в самое больное место: все знали, что несчастная старуха всем мешает и что ее никак не могут изжить, и поэтому устраивали самую ядовитую травлю. С другой стороны, все знакомые отлично помнили, что мичуринские капиталы пошли именно от бабушки и пошли темным путем. Тайна этого богатства должна была умереть вместе со старухой, и тогда наследники вздохнули бы свободнее. Конечно, добрые знакомые завидовали Мичуриным и не упускали случая стороной распространять про них самые ужасные вещи. Например, кто не знал, как эта бабушка ограбила родных внучат? У Марьи Андреевны было двое детей – сын Иван и дочь Елена. Иван нажил большой капитал большими плутнями, а потом попал под суд. Он предчувствовал беду и вперед передал деньги матери с условием, чтобы она их в свое время передала его детям. Старуха вместо этого передала капитал Елене Федоровне. Сын Иван так и умер в тюрьме, а его дети остались нищими. У Мичуриных о них никогда не говорили, точно их и на белом свете не существовало. Особенной наследственностью и жестокостью отличалась Елена Федоровна. Она прямо ненавидела несчастных племянниц и считала личным оскорблением, что они имели дерзость существовать. Время от времени она все-таки испытывала смутные угрызения совести и думала, что другие люди умирают же, а вот эти несчастные живут, несмотря на бедность. Если бы они умерли, да и с бабушкой вместе!

После смерти Коли и Вари у Елены Федоровны явилась счастливая мысль, именно – переселить бабушку вот к этим ненавистным племянницам. Ведь она не чужая им, пусть они в свою долю поухаживают за ней.

– Мысль, тапан, гениальная, – с восхищением одобрил этот план зять-дипломат. – Знаете, мы даже не имеем права лишать наших милых родственниц этого удовольствия... Конечно, нам не легко будет расстаться с милой бабушкой, но они имеют на нее такое же право. Да...

Выселение бабушки состоялось необыкновенно быстро. Ограбленные племянницы жили где-то на окраине и вдвоем занимали

одну комнату. Но «милой бабушке» нашлось место. И какое отличное место: у самой печки! Племянницы существовали работой, которую брали из модных магазинов, и кое-как сводили концы с концами. Бабушку они приняли без удовольствия, но и без ненависти.

– Живите, бабушка... Место найдется.

Старуха посмотрела на дело иначе. Она ни за что не хотела переезжать к озлобленным внукам и страшно протестовала. Из мичуринского дома ее увезли почти силой. Уезжая, она еще раз прокляла Елену Федоровну со все чады и домочадцы.

– Маменька, успокойтесь... – уговаривала Елена Федоровна. – Нехорошо, вы себя тревожите.

– У, змея... – шипела старуха.

Странно, что, поселившись у внушек, где был и уход и привет, старуха страшно скучала об оставленном змеином гнезде и неутешно плакала.

– Я для них все сделала... – повторяла она в отчаянии. – На чьи деньги они живут? Тогда сын Иван все мне оставил, а я все отдала Елене. Да... Разорила я вас, внушки, пустила по миру. Ну, а милая дочь Елена меня на старости лет выгнала из дому... Не будет им счастья!..

– Бабушка, зачем помнишь старое? – уговаривали внушки, – Нам ведь ничего не нужно...

– Глупые вы, вот что... Если бы у вас были деньги, так не остались бы перестарками. Замуж бы вышли, а теперь вот христовыми невестами живете... Тоже не сладко. Другие-то живут да радуются, а вы над иголкой высохли.

Внушки действительно были уже в том возрасте, когда о женихах не думают. Старшей было за сорок, а младшей под сорок. Впрочем, им и некогда было думать о своей женской «судьбе» – все отнимала забота о куске хлеба. А тут еще бабушку бог послал... Елена Федоровна, спровадив старуху, не позаботилась обеспечить ее, – много ли старухе нужно? Пусть внушки позаботятся сами о ней – не чужая.

У внушек старуха прожила недолго. Ее точно съела тоска по ненавидевшей ее семье. Она все тосковала и не отходила от окна. Сядет и сидит, не шевелясь, целые часы. События последних лет как-то совсем выпали из ее памяти. Она жила далеким прошлым, где ярко

вставляли одна картина за другой. Ей тогда казалось, что она слышит шаги сына Ивана. Раз она проснулась и заявила:

– Ну, внушки, не буду больше никого беспокоить... Скоро помру. Видела во сне сына Ивана. Вошел он в комнату и этак пальцем меня манит... Ничего не говорит, а только пальцем...

Действительно, через три дня старухи не стало. Она умерла, сидя на стуле у окна.

Известие о смерти бабушки произвело в мичуринском доме большой переполох. Все были рады и все старались не выдать своей радости. Многолетняя обуза спала с плеч. Только для приличия погоревала Елена Федоровна.

– Это милые внушки уморили старуху, – роптала она. – Она прожила бы еще лет десять, если бы не внушки...

## Старики не запомнят\*

### Рассказ

#### I

Старик Иван Герасимович жил в сарайной, то есть в двух маленьких комнатках, устроенных под сараем. Раньше здесь жили разные старушки из бедных родственниц, а сейчас пришла очередь Ивану Герасимовичу. Пока старик был в силах, он жил в главном доме, выходящем на улицу пятью окнами. Дом был деревянный, старый, но простоял бы еще лет двадцать с лишком, но сын Тихон взял и сломал его.

– Будет, пожили, тятенька, в дереве достаточно, – объяснил он своим певучим ласковым голосом. – Поставим каменный домик, как у других протчих. Чем мы их хуже? У Нефедовых вон какой домище схлопали, у Кондратьевых, у Волковых – все строятся. Ну, а нам как будто и совестно перед другими... Слава богу, капитал позволяет.

Жаль было Ивану Герасимовичу зорить старое пепелище, а с Тихоном разве сговоришь, – уж что задумал, точно на пень наехал. Характерный человек этот Тихон, из молодых да ранний. Раньше пред отцом слова пикнуть не смел, а теперь смел спорить и перечить и делал все по-своему. Иван Герасимович, сухой и высокий старик с окладистой седой бородой, раньше держал весь дом в ежовых рукавицах, а как жена Анна Петровна умерла лет пять тому назад – сразу опустил и точно захирел. Попробует крикнуть и задать острастку, а слушать некому. Даже кухарка Фекла, которая помнила, как Иван Герасимович колачивал жену, и та нисколько сейчас не боялась его, потому что человек вышел из силы и никому не страшен.

– Будет, поцарствовал, – ворчала она себе под нос. – Раньше-то все как огня боялись, а теперь посиди в сарайной-то... Покойница Анна Петровна вот как натерпелась. Может, и в землю ушла от тебя...

Падение Ивана Герасимовича в собственном доме произошло как-то само собой, благодаря ласковой хитрости Тихона, который



ограничивал отца шаг за шагом с ловкостью настоящего дипломата. Окончательно убил старика новый каменный дом. Случилось это так... Дело в том, что, принимаясь за постройку нового дома, Тихон сказал отцу:

– Тятенька, вы пока поживете в сарайной, а я с женой перебыюсь как-нибудь у тестя Павла Егорыча. Оно тяжеленько по чужим углам таскаться, а приходится потерпеть... Час терпеть – век жить. Кстати, вы и за работой присмотрите, потому как свой глаз – алмаз.

Иван Герасимыч согласился, о чем потом жалел. Очень уж хитрым оказался Тихон... Постройка тянулась целый год, и старик зорко наблюдал за всем. Все-таки не без дела сидеть. Потом каменный дом просыхал целую зиму, потом его отстраивали полгода внутри, а когда пришлось переезжать в новый дом, Ивану Герасимовичу не оказалось в нем места. Прямо этого Тихон не говорил отцу, но старик и сам видел, что ему приходится оставаться в своей сарайной.

– Нельзя, тятенька, по старинке жить, – объяснялся Тихон, делая бессовестное лицо. – Надо и гостиную, и кабинет, и спальню, и детскую, и столовую – все, как у других. Есть каморка около кухни, да и там Фекла живет. А у вас здесь преотлично: и тепло и уютно. Затешили перед образом лампа-дочку, затопили печку – отлично. Старички любят тепло... Самоварчик поставили. Тишина, покой, уют... Дал бы, не знаю, что дал, чтобы так пожить.

Иван Герасимович понял, в какую он ловушку попал самым глупым образом, и молчал. Он начал бояться Тихона, который забрал все дела в свои руки и никого больше не хотел знать. У них был свой кожевенный завод и лавки с кожевенным товаром.

Когда Иван Герасимович по привычке приходил на завод или в лавку, то чувствовал себя и здесь чужим. Все к нему относились с уважением, делали вид, что слушают каждое его слово, а делали все, как хотел Тихон. И знакомые купцы, старые приятели по торговле, относились к нему так же.

– Богу молишься, Иван Герасимович? – подшучивали над ним.

– И то молюсь, – отвечал Иван Герасимович, сдерживая накопившееся озлобление. – Худо в этом нет...

– За нас по поклоннику отложи, Иван Герасимович... Тебе уж заодно для души постараться. Хорошо, сказывают, у тебя в сарайной...

– Да, ничего, тепло...

– Тихон Иваныч уж устроит... Он уж для родителя ничего не пожалеет.

– Ничего, не жалуясь... Помирать пора... К ненастью места не могу найти, а в сарайной тепло, тихо.

– Вот-вот, в самый раз. Много ли старичку нужно: самоварчик поставил, лампадочку затеплил...

Уездный городок Казачинск затерялся в далекой степной киргизской глуши. Он являлся типичным представителем промышленного купеческого пункта, какие встречаются только по ту сторону Урала. В уезде не было ни одного дворянского имения. Купец-промышленник типичной сибирской складки составлял здесь все, а за ним уже шел уездный маленький чиновник – полицеймейстер, исправник, заседатель. Далее здесь полицеймейстер являлся шишкой. Все дела сосредоточивались на торговле скотом, салом, кожей, шерстью и хлебом. Ни обрабатывающей, ни добывающей промышленности не полагалось, кроме двух – трех салотопен да кожевенного завода. Жили по старинке, как деды и прадеды. Купечество было все средней руки, и самым богатым человеком считался татарин Антай, который жил в двенадцати верстах от города. В Казачинске не было даже трактира, несмотря на шесть тысяч жителей. Единственным развлечением служил торжок под Успеньев день, когда делались крупные закупки окота, да зимние ярмарки по окрестным деревням. Вообще городок жил самой мирной жизнью, и никаких особенных событий здесь не полагалось, за исключением пожаров, степных голодовок и маленьких бед. Заседатель по обычаю простых купеческих детей справлял именины и свадьбы, ходил по гостям «на огонек» и вообще жил тихо и мирно, благословляя судьбу.

– У меня главное, чтобы все тихо, – повторял заседатель. – Чтобы ни-ни...

В собственном смысле представителями интеллигенции являлись старичок-доктор, живший в Казачинске с незапамятных времен, и смотритель уездного училища, тоже старичок и тоже живший с незапамятных времен. Но и эти представители платили дань установившемуся духу городской жизни: у доктора была салотопенная заимка, а смотритель завел извозчичью биржу.

– Что же, нам, слава богу, жить можно, – говорили все, когда проходил день.

Конечно, играли в картишки, выпивали при случае, сплетничали и совсем не знали, что такое скука. Кто придумал, что в маленьких провинциальных городах жить скучно, – неправда, чему Казачинск служит самым убедительным доказательством.

## II

Иван Герасимович был живой историей Казачинска. Его все знали, и он всех знал. Историю своего города он считал по большим пожарам, которых было три, когда весь Казачинск выгорал дотла. В третий пожар сгорели и собор и пожарная каланча. Сидя сейчас в сарайной, Иван Герасимович от нечего делать припоминал прошлое и доходил постепенно к заключению, что чем дальше, тем будет хуже. По вечерам к нему завертывал кто-нибудь из старичков, и неслись тихие душевные разговоры.

– Уж как только будут жить после нас? – судачили старики. – Чем дальше, тем труднее жить... Баранина-то нынче в сапожках ходит. Прежде за барана давали по полтине, а нынче и приступу нет. Кишки бараньи – и те покупают.

– А шерстка как взыграла? Маслице коровье, кожи... С салом еще всяковато бывает, а к другому протчему и не – подходи. На что, кажется, яйца – самая пустая вещь, а и им пошел ход...

– Кто только все это добро лопают, подумаешь... Кажется, кожу с себя сними, и то покупатель найдется.

– На ярманке сорок скупают... Ну, куда ее, сороку? А покупают.

Старички качали головами и решали, что, в конце концов, все это грешно – и только.

– Я еще помню, как пшеничка по двугривенному была, – вспоминал Иван Герасимович. – И то жаловались, что дорого. А нынче шесть гривенок пудик... Тоже вот крупы разные, овес – ни к чему приступу нету. Прежде старики жаловались, что житья нет от дороговизны, а пожилы бы теперь. Ладан, и тот вздорожал... Похороны-то во что обойдутся?

Но всего удивительнее оказывались нынешние люди.

– Голову нашего, Ивана Павлыча, я помню, когда еще он с ребятами на улице в бабки играл...

– А я ему уши дирал за озорство.

– Да... А теперь, поди-ка, и рукой не достанешь. И семья была небогатая, а вылез в люди. Встретишься на улице, а он и не узнает... Распыхался из ничего.

Стариковские мысли выплывали, как талая вода, которая образует ржавые наледи. Все чувствовали, хотя и смутно, что наступает что-то новое, люди будут жить уже совсем по-иному. Наступал конец старины. Что держалось отцами и дедами, точно провалилось. И как ловко орудуют нынешние-то молодые. Еще материно молоко не обсохло на губах, а уж он расширился.

– Твой-то Тихон Иваныч далеко пойдет, – говорили старику Ивану Герасимовичу. – Хватка у него мертвая, как у хорошего волка... И при этом великая жадность на все. Все ему мало... Недавно что он сказал одному старичку: «Потуда, грит, и купец, пока в ём эта жадность»... Ей-богу!.. И раньше это случалось, только не говорили всего своими словами. Случалось и не без греха, а только каждый про себя грех-то свой знал... А тут: на, смотрите все, каков я есть человек.

Судачившие старички напрасно старались припомнить, чтобы в их время было что-нибудь подобное. Бывали, конечно, разные слухи, а только то, да не то. А тут еще пошли слухи о железной дороге, которая должна была пройти как раз через Казачинск. Это уж выходило совсем несообразно ни с чем.

– И для чего нам эта самая чугушка? – роптали старички. – Слава богу, жили без чугушки не хуже других...

– Сказывают, эта самая чугушка все как метлой подметет: и сальце, и маслицу, и шерстку, и сметанку, и главное – весь хлебушко слопают.

– Уж это известно... И в газетах все давно описано. Отец протопоп рассказывал...

– А молодые-то радуются, по глупости, конечно. Тот же Тихон Иваныч вот как нагреет руки около этой самой чугушки. У него ушки на макушке... Подряды какие-то затевает, потом проезжающие номерки хочет строить, потом в городские головы метит попасть...

– От него сбудется. Увертлив уродился...

– Вот таким-то все это на руку. Хлебом не корми...

Иван Герасимович сначала судачил вместе с другими стариками, а потом вдруг замолчал. Все говорят, а он сидит и молчит.

– Иван Герасимович, да скажи что-нибудь? – уговаривали его старые приятели. – О чем раздумался-то? Вот твой-то Тихон Иваныч, сказывают, несостоятельность хочет устроить и нарочно к адвокату ездил, который этими самыми делами занимается. «Пожалуйте на чашку чаю», – и конец тому делу. За рублик-то и получай любую половинку, а то и поменьше... Нынче это даже весьма просто. Всякий желает капитал нажить.

Иван Герасимович продолжал молчать и только загадочно улыбнулся. Всем сделалось ясно, что старичку что-то вступило в голову, и его оставили в покое.

Они были правы. У Ивана Герасимовича, действительно, явились свои мысли. Он даже по ночам не спал и все думал.

– Нет, довольно!.. – повторял он, споря с каким-то – неизвестным противником. – Одним словом, будет... И железную дорогу хочешь слопать, и шубу выворотить, и городским головой быть, – нет, брат, шалишь!.. Мы еще укоротим тебя, добра молодца, и в оглобли заведем и хвост муфтой подвяжем в лучшем виде. Силов моих больше не стало терпеть... Стой, Тихон Иваныч, и не моги дышать!

В один прекрасный день, надев праздничный длиннополый сюртук и замотав по старинной моде шею черной атласной косынкой, Иван Герасимович отправился к сыну, в каменный дом, где уже не бывал давненько.

– Ах, тятенька, в кои-то веки собрались, – запел Тихон, делая сладкое лицо. – И при всей форме...

– Дело есть... надо поговорить с тобой... – довольно сурово ответил старик. – Да... Хочу тебя уничтожить, – весь тут сказ. Будет мне дурака валять и добрых людей смешить. Все мое, а ты как знаешь...

– То есть как ваше, тятенька?

– Не о чем нам с тобой разговоры разговаривать. Сказано: все мое. Выезжай из дому, одним словом...

– Помилуйте, тятенька, да ведь вы же своими руками при собственной живности передали мне все по форме. Я и держу-то вас в сарайной только по милости... Ей-богу-с! Спросите кого угодно...

Иван Герасимович ничего не отвечал, а только повернулся и ушел.

Потом он побывал и у заседателя, и у протопопа, и у исправника, и везде объявил о своем – намерении опять вступить в дела, а сына Тихона прогнать. Старику показалось, что его слушают будто не так, как следует, и во всем соглашались, как с маленьким ребенком.

– Да, да... – шамкал старичок-протопоп. – Оно, конечно, хотя во всяком случае, несмотря на сие...

Исполнив все, как следовало, Иван Герасимович вернулся к себе в сарайную совершенно успокоенный. Вечером он сидел за самоваром и с особенным удовольствием попивал чай с малиновым вареньем. Именно в этот блаженный момент раздался осторожный стук, и в дверях показалась голова Тихона.

– Тятенька, можно к вам?

Не дожидаясь позволения, в комнату вошли протопоп, исправник, заседатель и старичок-доктор. Они поздоровались и чинно уселись по местам. Тихон остался у дверей, точно боялся, что отец убежит.

После некоторых пустых разговоров доктор надел золотые очки и проговорил деловым тоном:

– Ну-ка, ангел мой, Иван Герасимыч, покажи язык.

В первую минуту Иван Герасимович совершенно растерялся, а потом сразу все понял. У него мороз пробежал по спине. Старик забормотал что-то совсем несвязное, а гости переглянулись между собой.

Через месяц Иван Герасимович был объявлен страдающим старческим слабоумием. Тихон пришел к нему в сарайную, погрозил пальцем и проговорил:

– Теперь уж вам, тятенька, полагается одна постная пища... да-с. Для души даже весьма полезно. Мы еще сот двух таких же старичков устроили.

– А где мы в Челябине остановимся? – спрашивал я своего кучера Андронича, когда сквозь мягкую мглу летней ночи плянули на нас первые огоньки городского предместья.

– Да сколько угодно местов, – уверенно ответил Андронич. – Прежде-то я на постоялом у Спирьки останавливался, а то еще старуха Криворотиха принимает проезжающих. Я эту самую Челябину, может, разов с десять проехал.

– Поезжай, где лучше. А то нет ли гостиницы или номеров?

– Ну, насчет проезжающих номеров шабаш: и в заведении этого нет. У знакомых больше останавливаются... В лучшем виде к Спирьке на постоялый подкатим.

Я находился в отличном расположении духа. Последняя станция от Токтубаевской станицы к городу Челябинску (Оренбургской губернии) представляла собой что-то необыкновенное, точно мы целых тридцать верст ехали по широкой аллее какого-то гигантского парка. Колеса мягко катились по утрамбованному песчаному грунту, кругом две зеленые стены из столетних берез, чудный летний вечер – одним словом, что-то уж совсем фантастическое, и я не знаю в Зауралье ни одной такой станции. Лошади бежали с необычной быстротой и тоже находились, видимо, в прекрасном расположении духа, что с ними случалось нечасто. Одним словом, станция промелькнула, как сон, а впереди сладко грезился удобный ночлег.

– Эй, шевели бородой! – покрикивал Андронич на свою пару, прибавившую в виду станции прыти. – Помешивай!

Вообще мы въехали в Челябинск с большим шиком, как, вероятно, ездит только местное начальство. Маленький степной городок уже спал, несмотря на то, что было ровно десять часов. Мы промчались по одной улице, повернули в какой-то переулок и вдруг остановились на какой-то площади.

– Вот те и раз! – вслух удивился Андроныч, почесывая затылок. – То ли переезжать реку Мияс, то ли нет...

– Поезжай к Спирьке...

– Да вот то-то и есть, што забыл я, где он живет: на этой стороне али за Миясом...

– Ну, так к Криворотихе ступай! – К Криворотихе-то ближее, да только..

Новое чесание затылка и неопределенный звук удивления. Одним словом, мой Андроныч оказался вороной и больше ничего. Недалеко от нас проходили какие-то молодые люди, видимо, гулявшие, и я спросил их, как проехать к постоялым дворам.

– За Мияс ступайте, – ответил в темноте молодой голос.

– Конечно, за Мияс, – сердито заворчал Андроныч. – Рази без него не знаем.

Спросить дорогу для Андроныча было смертной обидой, и он сейчас же впадал в самое мрачное настроение. По этому поводу у нас было уже несколько столкновений.

– Поезжай за Мияс, – повторил я, чтобы подразнить Андроныча. – Туда же, хвастается: «Я проезжал Челябину»...

Андроныч угнетенно молчал и так тронул вожжами, что лошади поплелись нога за ногу, точно пьяные. Мы проехали мимо каких-то лавок, потом по большому мосту через Мияс. Эта великолепная степная река катилась здесь широким разливом, оживляя небольшой степной городок. Челябинск славится как хлебный центр. Степной хлеб отсюда идет на горные заводы. За мостом опять начиналась какая-то площадь и ряды деревянных лавчонок. По всем признакам, это был хлебный рынок.

– Ну, куда теперь? – спрашивал я.

– А вот тут и есть, у самого базара... – неохотно ответил Андроныч, находившийся под впечатлением обиды. – Переулок будет сейчас направо: тут и Спирька.

Не доезжая переулка, я заметил на воротах вывеску «Постоялый двор» и велел остановиться. Делал я это назло Андронычу, чтобы не ехать к его Спирьке. Вылезши из экипажа, я подошел к запертым воротам и принялся стучать в них. Где-то брехнула собака и смолкла. На улицу рядом с воротами выходил какой-то флигелек, но, очевидно, он пустовал. Главнее жильё стояло где-то в глубине двора. Я стучал



битых минут десять и не добился ничего, точно постоянный двор был заколдован или весь вымер. Андроныч торжествовал, наблюдая мои бесплодные усилия.

. – Ежели бы, например, чрез ворота... – посоветовал он ядовито.

– Ступай сам через ворота, дурак, – обругался я, усиливая стук.

Еще бесплодных пять минут, и я плюнул.

– Спят, как зарезанные, – ворчал Андроныч.

– Ступай к Спирьке...

– Вот тут, сейчас за углом... Такой низменный дом пятистенный.

Мы завернули за угол и остановились у пятистенного деревянного дома, точно вросшего в землю. Я остался в экипаже, предоставив Андронычу проситься на квартиру.

Он уверенно спустился с козел, захлестнул вожжи к сиденью и, не торопясь, своей развалистой походкой направился к воротам. Последние, конечно, оказались запертыми. Андроныч презрительно толкнул их ногой, прислушался и, плюнув, пошел к окну. Началось осторожное постукивание в стекло. И этот дом оказался выморочным, как мой постоянный двор.

– Стучи сильнее... – посоветовал я. – А то через ворота полезай. Спирька проснется и в шею тебе наладет...

Андроныч по очереди перебрал все окна и даже припадал ухом, стараясь уловить ответное движение; наконец где-то послышался старческий голос, спрашивавший, кто стучится.

– Пусти переночевать, Спиридон Егорыч...

– Какой Спиридон Егорыч? Никакого тут Спиридона нет...

– А постоянный кто держит? Прежде Спиридон держал...

– Был и Спиридон, да вышел: три года, как помер.

Маленькое окошечко отворилось, и показалась старушечья голова.

– А я думала, обоз пришел... – недовольным тоном проговорила она.

– Да ведь деньги-то одинаковые, что с нас, что с обоза, – заспорил Андроныч, задетый за живое.

– Много с вас денег возьмешь, с одной-то подводы, – ворчала старуха. – А беспокойства не оберешься... Савельюшко, вставай!..

– Старая крымза! – обругался Андроныч вполголоса.

В отворенное окно было слышно, как шлепали босые ноги, беззубый старушечий шепот и возгласы: «Савельюшко, да вставай же! Где у нас спички-то?.. Савельюшко!» Неизвестный Савельюшко, очевидно, спал, как зарезанный, и не подавал признаков жизни. Старухе надоело его будить, и она принялась сама разыскивать спички, охая и причитая.

– Да вот тебе спички, бабушка, – заговорил Андроныч, подавая спички в окно, – Да шевелись поскорее... Кони пристали, и барин вон спит в повозке.

В избе затеплился огонек, и поднялись новые оханья и причитания. Андроныч плюнул от нетерпения и пошел к воротам. Старуха долго возилась около засова и едва его вытащила. Старые ворота с покосившимися полотнищами распахнулись, как беззубый рот, и моя повозка въехала наконец во двор. На улице и по тракту стояла пыль столбом, а во дворе была такая грязь, точно мы заехали в болото. Даже лошади остановились, увязнув по колено в навозе.

– Куда это ты меня завез? – накинулся я на Андроныча. – И лошадей утопил, и экипаж не вытащить...

– Да они, подлецы, сроду не чистили двора-то! – ругался, в свою очередь, обозлившийся Андроныч. – Прямо, как помойная яма...

Он сдернул с крыши громадного навеса драницу и бросил ее мне, чтобы перейти от засевшего в навозе экипажа в избу. Воздух был невозможный. Я кое-как перебрался на крылечко и вошел в низкую избу, такую грязную, что страшно было сесть на лавку. Старуха сидела у стола и дремала. Оплывшая сальная свечка горела около нее в облепленном разной гадостью железном подсвечнике. Я с тоской оглядел всю избу, напрасно отыскивая уголок, где бы можно было прилечь.

– А я думала, обоз пришел... – ворчала старуха.

– Да ведь ты видела, бабушка, что не обоз, так о чем тут разговаривать. Нельзя ли самоварчик...

– Ну вот, ставь еще самовар вам... Ежели бы обоз... беспокоят добрых людей... Обозные-то сколько одного сена возьмут, овса, а то один самовар...

– Не буду же я есть сено для твоего удовольствия!..

Пока мы так перекорялись со старухой, в дверях показался Андроныч, и я опять накинулся на него.

– Куда ты меня завез, Андроныч?.. Разве можно ночевать в этой помойной яме?

– И ступайте с богом, откуда вы приехали... – ворчала старуха. – Самовар еще вам ставь... Спирьку спрашивают, а Спирька три года, как помер.

Между старухой и Андронычем завязался довольно оживленный диалог, закончившийся настоящей ссорой. Ничего не оставалось, как убираться из этой проклятой помойной ямы, в которой мы потеряли битый час.

– Ну, Андроныч, ты выезжай на улицу, а я пойду сам отыскивать квартиру, – решил я.

– Вот язва сибирская! – ругался Андроныч.

– Ах ты, гужеед! – ругалась старуха.

## II

Оставив Андроныча ругаться со старухой, я отправился разыскивать квартиру. О тротуарах, конечно, не было помину, и, чтобы не сломать шею, я отправился серединой улицы. Но и дут приходилось постоянно наткаться на какие-то камни, точно их подкидывала мне под ноги какая-то невидимая рука. Раза два я делал отчаянные курбеты, как лошадь на скачках с препятствиями. Как на грех, ночь была темная, а фонарей не полагалось, как и тротуаров. Я брел по улице буквально ощупью, высоко поднимая ноги и ощупывая каждый раз место, на которое ставил ногу. Как ездят по такой проклятой дороге? В душе у меня закипело озлобление. Вот уже целый час потерял... Точно в ответ на мои мысли, в десяти шагах от меня тонко зазвенела чугунная доска ночного сторожа. Это был спасительный, братский призыв погибающему...

– Эй, сторож, где ты? – обратился я к окружающей тьме.

– Я здесь... – ответил невидимый голос совсем близко.

– Вот что, голубчик, где бы найти квартиру, – взмолился я. – Мне только лошадей поставить, а спать я буду в экипаже...

– Да вот сейчас... У Перфенаго постоялый двор, вот за углом.

– Да нас старуха выгнала оттуда...

– Ах язва!.. Ну, так вот сюда пожалуйте...

Приглашавший меня голос показался мне необыкновенно симпатичным, а в уме мелькнула торжествующая мысль: вот уж я покажу дураку Андронычу, как ищут квартиры!

– Сюда, сюда... – манил меня сторож. – Тут канавка, так вы осторожнее...

Я перебрался через канавку и чуть не стукнулся лбом) в забор. Старичок-сторож сидел на приступке какой-то деревянной лавочки. Я готов был обнять его, как Робинзон обнимал Пятницу.

– Бог с ней, со старухой, – успокаивал меня сторож, поднимаясь. – Известно, баба – разве с ней сговоришь... А постоянный двор Уксенова вот сейчас.

– Где?

Сторож подошел к забору и стукнул в него: «здесь». «Отлично, а мой Андроныч еще раз дурак...»

– Да я сам разбужу Уксенова, – вызвался сторож и на мгновение исчез в какой-то щели, отделявшей лавку от забора.

Я слышал, как он завяз где-то в досках и царапался ногтями, как кошка. Потом послышался угнетенный вздох, и из щели ответил знакомый голос:

– Ах, прах его побери!.. Раньше-то в заборе доска одна выпала, собаки лазили, ну, я и думал пролезть в дыру-то. Ах ты, грех какой, подумаешь...

Старик с трудом вылез из щели и сейчас же дал совет:

– Вот што, барин... Сейчас, значит, вы обогнете лавку, потом все вправо, вправо, и сейчас, например, новые ворота: это и есть самый Уксенов. Новые ворота... все направо...

– А собак нет около лавок?..

– На цепях собаки-то, а ты все, примерно, вправо забирай...  
Рукой подать.

Нечего делать, пришлось воспользоваться этим коварным советом, в чем я так быстро раскаялся. В провинции все лавки и торговые помещения оберегаются злыми псами, и поэтому я старался идти самой серединой прохода между лавками, забирая вправо. Это было довольно рискованное путешествие, потому что с обеих сторон визжали блоки, гремели железные цепи, и на меня с удушливым лаем бросались нарочито обозленные торговые псы. «А что, если порвется цепь или лопнет блок?.. Нет, лучше не думать...»

Еще раз направо, и желтым пятном смутно обрисовались новые ворота. Ну, слава богу! Только я сделал несколько шагов к воротам, как мне навстречу грянул громадный пес, коварно стороживший меня. Что произошло дальше, я плохо отдаю отчет. Конечно, я бросился бежать, подгоняемый удушливым лаем гнавшегося по пятам цербера. Где я бежал и как спасся от зубов челябинского злейшего пса, не помню, но только я в конце концов очутился опять на той же улице, по которой шел раньше. Я узнал ее по камням. Возвращаться к коварному сторожу, пославшему меня на растерзание, конечно, не стоило, и я уныло поплелся по улице вперед. От необычно быстрого бега просто дух захватывало, и я ругал опять Андроныча вместе с проклятой старухой, проклятым сторожем и проклятыми торговыми псами.

Надежда не оставляет человека, как известно, до последнего момента, и я рассчитывал найти постоянный двор: Колумб открыл Америку, а не найти постоянного двора – стыдно.

– Эй, кто идет?..

Предо мной вырастают неожиданно три всадника, как в романе Майн-Рида. О, это был ночной обход и мое спасение! Я объяснил свое общественное положение и причины, заставившие блуждать ночью по незнакомой улице. Строго спрашивавший голое объездного казака проговорил самым добродушным тоном:

– Да вот здесь можно ночевать... Вот дом строится.

– Мне только лошадей поставить, а сам я усну в экипаже, – повторил я стереотипную фразу таким жалобным голосом, точно оправдывался.

– Да и искать было нечего: вон он, постоянный... – внушительно и добродушно повторяет объездной. – Эй, сторож!..

Около ближайшего забора что-то завозилось, а потом спросонья сторож ударил в доску.

– Ах, баранья голова!.. – обругал казак. – Вот господин проезжающий ищет, где остановиться, так ты тово, проводи к Афоне.

Стороне бросил свою доску и обнаружил необычайную подвижность: забежал к воротам, постучал, потом заглянул в окно строившегося нового дома и тоже постучал и кончил тем, что отодвинул какую-то доску в заборе и уполз собачьим лазом.

– Ну, теперь он вас устроит, – отечески проговорил казак, отъезжая.

– Спасибо... Увидите экипаж, так посылайте сюда.

Объезд удалился, а я остался у ворот в сладком ожидании, что здесь наконец завершатся мои челябинские злключения. Слышно было, как сторож босыми ногами прошлепал через весь двор, поднялся по какому-то крылечку и необыкновенно ласково заговорил, постукивая в дверь:

– Афоня... отворись, голубчик!.. Афонюшка, милый, будет спать-то... Афоня!..

Сторож модулировал свою нежность на все лады и просился таким умильным голосом, точно хотел проникнуть по меньшей мере в царство небесное.

– Афанасьюшко, голубчик!.. Афоня... Ах, Афоня!..

На эти умильные возгласы дверь наконец растворилась, и начались предварительные переговоры. «Да кто едет-то?.. Разве не стало других постоянных дворов?» Впрочем, этот Афоня оказался очень сговорчивым мужчиной и сам вышел отворить мне ворота. Это был среднего роста плечистый мужик с окладистой русой бородой и удивительно добродушным русским лицом. Он осмотрел меня и проговорил:

– Давно бы вам ко мне приехать... Места на двести возов хватит. Самоварчик прикажете соорудить?

– Пожалуйста...

Отрядив сторожа навстречу Андронычу, я наконец вздохнул свободно, как пловец, попавший в тихую пристань. Часы показывали половину первого, так что поиски ночлега продолжались «битых» два с половиной часа... Афоня оказался большим хлопотуном и принялся ставить самовар, пока я отдыхал, сидя на крылечке. Пока я рассказывал ему о своих поисках, он омеялся таким тихим, хорошим смехом и все приговаривал:

– Ну вот... Все с курицами спать ложатся у нас, такое уж заведение. И на город не ходит...

Когда Андроныч торжественно въехал во двор, самовар уже был готов и шипел с таким отчаянным усердием, точно его поставили в первый раз.

– Ну и старуха! – ворчал Андроныч, откладывая лошадей. – Настоящая купоросная кислота...

Пока строился дом, Афоня перебивался в небольшом флигельке, который и предложил в полное ваше распоряжение, даже вместе с какой-то девицей, спазшей посреди пола в довольно откровенной позе. Афоня прикрыл ее каким-то халатом. Напиться чаю с дороги – это удовольствие понятно только для людей, которым приходится делать тысячи верст на лошадях. Но и это невинное удовольствие для меня было отравлено мухами, которых оказались целые полчища, как только внесли огонь. Они самым нахальным образом облепили стол, хлеб, сахар, кринку с молоком, лезли в рот, падали в горячий чай, и вообще получался какой-то мушиный шабаш. Пока несешь стакан с чаем, в него мухи валились буквально десятками... Никогда, ни раньше, ни после, я не видел ничего подобного и выразил невольное удивление незлобию Афони, который мог жить в таком улье.

– Вы бы их истребляли чем-нибудь... – посоветовал я.

– Пробовал изводить, да не помогает, – ответил Афоня. – Вот зима придет, так и мухам: конец.

Оставаться спать во флигеле нечего было и думать. Я отправился в свой дорожный тарантас. После всех тревог этого испорченного вечера так приятно было отдохнуть. Небо на востоке уже светлело. Ночной холодок заставлял так сладко вздрагивать и еще крепче кутаться в дорожное одеяло. Где-то далеко пробило два часа, и на улицах зазвонили чугунные доски. Я заснул сейчас же настоящим челябинским мертвым сном. Но не больше как через час был разбужен Андронычем, который застучал дверью.

– Ты это что?

– Да в горнице лег спать... ну, только и Афоня: настоящее муравьище развел у себя – и клопы, и блохи, и тараканы, и мухи. Точно в крапиве проснулся...

Андроныч неистово чесался, дергал головой и обругал еще раз всю Челябину.

Авдей Семеныч Гаряев волновался сегодня вдвойне. Первое волнение носило общий характер, – старик волновался каждую весну, когда открывалась навигация. Он сегодня нарочно поднялся пораньше, чтобы полюбоваться из окна своего кабинета, как побегут по Фонтанке первые пароходы. Открывавшаяся навигация производила на него хорошее и вместе грустное впечатление, потому что с ней для него неразрывно была связана мысль о далекой-далекой сибирской родине. Зима надолго разлучала Сибирь со всем остальным миром, а когда «проходили реки» – она точно делалась ближе. Конечно, теперь уже проведена великая сибирская железная дорога, но по старой привычке Авдей Семеныч все-таки волновался, глядя из своего окна на шнырявшие по Фонтанке финляндские пароходики. Он приехал в Петербург молодым, кончил университет, поступил на службу, да так и застрял здесь навсегда. Сначала держала служба, хотя он поступил «пока», чтобы вернуться на родину с некоторым служебным положением, потом он женился на девушке из петербургской чиновничьей семьи, которая не могла себе даже представить, что можно жить где-нибудь, кроме Петербурга, наконец появились дети и т. д. и т. д. Жизнь прошла как-то незаметно, хотя Авдей Семеныч и не расставался с заветной мечтой когда-нибудь уехать на родину, и уехать навсегда. Вот откроется такая навигация, он и махнет в Сибирь со всем своим чиновничьим гнездом. Дети уже подросли, и им следует посмотреть, как живут настоящие люди и что такое настоящая жизнь.

«Да, пусть молодежь послужит Сибири, – любил думать Авдей Семеныч. – Кока будет врачом, Павлик юристом, Серж инженером, а Игорь... Ну, этот еще мал, из него икона и лопата еще может выйти, как у нас говорят в Сибири».

Будущая участь в Сибири единственной дочери Милочки пока еще оставалась невыясненной. Девушка пробовала учиться на курсах,



но из этого ничего не вышло, потом такая же история была проделана с консерваторией, а сейчас Милочка мечтала о карьере актрисы.

Вторую причину сегодняшнего волнения Авдей Семеныч держал в руках. Это была телеграмма друга детства Прохора Козьмича Окатова, который извещал из Москвы, что будет в Петербурге утром, с курьерским поездом. Авдей Семеныч перечитывал эту телеграмму и счастливо улыбался.

– Вот ведь что придумал старик, – думал он вслух. – Никогда не бывал в столицах и вдруг: «буду с курьерским поездом». Как Леля будет рада... да. Она его отлично знает по моим рассказам. Как же, вместе в школе учились, вместе голодали...

В гостиной, куда выходила дверь кабинета, горничная вытирала пыль; Авдей Семеныч несколько раз показывал свою голову и получал довольно сухой ответ;

– Барыня еще спят...

– Гм... да...

Было еще рано, а барыня Елена Павловна по-петербургски вставала поздно. Авдей Семеныч морщился и опять возвращался к своему окну.

«А ведь Прошка теперь старик, – продолжал он думать, припоминая портрет друга детства. – Оброс бородой, потолстел, поседел...»

Сквозь призму сорокалетней разлуки он видел кудрявого мальчика с задорно вздернутым носом, скуластого и с вечной улыбкой на губах. Какой он сейчас, – портрет, конечно, мог дать только приблизительное понятие.

Пробило девять часов. Терпение Авдея Семеныча истощилось, и он отправился в спальню к жене. Она имела привычку, проснувшись, лежать в постели, а потом мылась целых два часа, так что выходила к утреннему чаю только в одиннадцать. В собственном смысле чая она не пила, а только кофе, как и все дети. Авдей Семеныч шел к жене с некоторым страхом, потому что она не любила, когда ее тревожили утром. Но дело было особенное, и ему необходимо было переговорить с ней.

– Можно войти, Леля? – спросил он у дверей спальни немного виноватым голосом.

Ответа пришлось подождать. Елена Павловна встретила мужа довольно холодно, одним вопросительным взглядом.

– Леля, я... то есть видишь ли...

– Где-нибудь пожар? – перебила она его, кутаясь под шелковым одеялом до подбородка. – Вы врываетесь, Авдей Семеныч, в мою спальню с таким лицом, что... что...

– Ах, Леля, совсем не то! – взмолился Авдей Семеныч. – Ты помнишь Окатова?

– Которого сослали в каторгу?

– Ах, не то!.. Я тебе так много говорил о нем. Мы вместе росли с ним, вместе учились в школе, вместе голодали... да... И вдруг он едет к нам...

– То есть как к нам?

– То есть в Петербург, – поправился Авдей Семеныч, сдерживая радостное волнение. – Ты знаешь, как я его люблю... Сорок лет не видались... да... Таких людей больше нет и на свете, Леля.

Елена Павловна отнеслась к этому известию совершенно равнодушно и даже как будто была недовольна. Ох, уж эти сибирские друзья детства... Тащатся в Петербург за тридевять земель неизвестно зачем. Авдей Семеныч вдруг почувствовал себя виноватым, как это с ним случалось в присутствии жены нередко.

– Да, так я того, Леля... гм... – бормотал он, глядя на часы. – Мне нужно торопиться на вокзал...

– Скажите, пожалуйста, какие нежности!.. Я предчувствую, что ты его притащишь к нам, и предупреждаю вперед, что совсем этого не желаю. У нас не постоянный двор...

Радостное настроение Авдея Семеныча как-то сразу погасло. Ведь он уже вперед уступал гостю свой кабинет. Пусть бы пожил, недельки две можно было бы и потесниться. Но у Елены Павловны были специально петербургские нервы, и она не выносила присутствия постороннего человека в своем доме. И спорить с ней на этом основании было невозможно, а только приходилось соглашаться, как и в данном случае.

Из дому Авдей Семеныч выехал огорченный, а тут еще и извозчик попался скверный. Едва-едва успели к поезду. Авдей Семеныч торопливо бежал по платформе, вглядываясь в лица пассажиров, мелькавшие в окнах. А если он не узнает Окатова и тот с

вокзала отправится с багажом прямо к нему? Но последнего не случилось. Из вагона третьего класса грузно выкатилась какая-то меховая масса. Это и был Окатов, одетый в две шубы. Друзья детства узнали друг друга почти сразу...

– Авдей Семеныч...

– Прохор Козьмич...

Друзья расцеловались, а потом начали удивляться, как оба постарели. Окатов оброс бородой до самых глаз, и прежними оставались одни глаза. Гаряев имел наружность типичного петербургского чиновника.

– Да, брат, вот как оба постарели, – громко говорил Окатов, крепко пожимая руку старого друга. – А ты – настоящий питерский чинодрал... ха-ха... Поди, и чин действительного статского советника имеешь?

– Около того... Вот что, Прохор Козьмич, мы напьемся чаю здесь, на вокзале, и поболтаем... А дома у меня жена не совсем здорова...

Авдей Семеныч лгал, не моргнув глазом. Окатов только посмотрел на него и что-то пробормотал себе под нос.

## II

Друзья детства прошли в буфет и предались чаепитию, причем Окатов пил с блюдечка и вприкуску. Он покраснелся и постоянно вытирал лицо каким-то бабьим платком с пестрыми разводами.

– Да, Авдей Семеныч, того... – повторял он, отдуваясь и чмокая. – Порядочно-таки воды утекло... Скоро и помирать придется.

Авдей Семеныч терпеть не мог разговоров о смерти и только морщился. Между прочим, он дипломатически ввернул в разговор, что есть очень удобные и недорогие меблированные комнаты, в которых можно будет устроиться на время. Когда Окатов посмотрел на него прищуренными глазами, он немного смутился и перевел разговор на общих сибирских знакомых. Представьте себе, семья Корчагиных вся вымерла, Егор Коротких два раза овдовел, Чикалевы разорились, Мишка Колотилов разбогател, разорив всю родню, и т. д. В общем, веселых вестей было мало...

– Все, брат, у нас по-новому пошло, – объяснял со вздохом Окатов. – Старики повымерли, теперь наша очередь, а что из молодых выйдет – еще на воде вилами писано...

– Ну, а железная дорога?

– Что дорога... Голод она нам привезла – вот тебе и железная дорога.

– Это ты напрасно, Прохор Козьмич... Железная дорога – великое дело. Теперь по всей-то Сибири пять – шесть миллионов населения, а будет пятьдесят. Одним словом, идет к вам цивилизация..

– Вот она где нам, ваша-то цивилизация, – проговорил Окатов, указывая на свой широкий красный затылок. – Коснулась она нас даже очень. И какого только народа ни наехало, а скоро и нам житья не будет. Да вот я вылез из своей берлоги, чтобы похлопотать в Питере кой о чем. Дела, братец ты мой...

Авдей Семеныч облегченно вздохнул, когда водворил друга детства в меблированных комнатах на Лиговке. Про себя он даже согласился, что жена права, не желая принимать сибиргостя к себе в дом. Одни сибирские шубы чего стоили, а потом эти ужасные мешки вместо чемоданов, точно у переселенца. Совестно было бы перед собственным швейцаром. Наконец, Окатов делал все так громко: стучал ногами, двигал стулом, хохотал, сморкался. Петербургский чиновник начинал чувствовать себя в его присутствии каким-то больным человеком, как расколотая посуда, которая дребезжит, когда хлопнут дверью.

– Я, брат, теперь завалюсь спать на двои сутки, – объяснил Окатов на прощанье. – Надо отоспаться... Ведь целых двенадцать ден не спал на железной дороге. Так, как заяц, закроешь один глаз и лежишь всю ночь, настоящего сна ни-ни!

Окатов сдержал свое слово, проспал «двои суток» и явился с визитом к Горяевым только на третий день. Он принес прямо в кабинет небольшой деревянный бочонок и какой-то таинственный сверток, заделанный в рогожку. Авдей Семеныч очень обрадовался ему, а Елена Павловна приняла его довольно сдержанно.

– Я так много слышала о вас от мужа, – проговорила она как-то особенно кисло.

– Ну, это он напрасно, – ответил Окатов. – Не велика птица, о которой стоит говорить... А вот я вам, сударыня, привез сибирских

гостинцев: в бочонке соленые омули, а тут бутылки с наливкой из облепихи. Моя баба отлично делает наливки...

Елена Павловна при слове «моя баба» поморщилась, а Горяев радостно заметил:

– Омули? Ах, вот это отлично... Леля, облепиха – это наша сибирская ягода, которую называют сибирским ананасом. Спасибо, Прохор Козьмич... Из омулей мы устроим сибирский пирог... да?

Гость довольно бесцеремонно осмотрел всю квартиру, удивился ее цене и все покачивал головой.

– Да, по-барски живете...

– Нельзя, Прохор Козьмич, от других отставать, – точно извинялся Авдей Семеныч. – Я, собственно говоря, не люблю все эти обстановки... гм... да...

– Пыли много наберется, – согласился Окатов.

Елена Павловна была недовольна, что гость явился с первым визитом прямо к обеду, точно не мог выбрать другого времени. Она дала понять это мужу без слов, и петербургский муж принял виноватый вид.

За обедом собралась вся семья, и все смотрели на сибирского гостя, как на заморского зверя. Кока шепнул Милочке:

– Обрати внимание, какой у сибирского друга красный нос...

– Мне кажется, что он вот-вот подкрадется с пальцем к собственному носу... – ответила Милочка, принимая по-институтски невинный вид.

– Я тоже подозреваю, что он имеет довольно смутное представление об употреблении носовых платков... Это открытие цивилизации еще не дошло до Сибири, как употребление мыла и ножниц.

Молодые люди шептались довольно невежливо и сдерживали смех. А гость ничего не замечал и держал себя довольно развязно. Он громко захохотал, когда горничная подала маленький графинчик водки и какую-то ликерную рюмочку.

– Я, Прохор Козьмич, ничего не пью, – объяснил Авдей Семеныч.

– А я все пью, Авдей Семеныч... Только не найдется ли у тебя рюмки побольше?

«Он напьется и устроит какой-нибудь скандал», – решила Елена Павловна, с ужасом наблюдая, как гость хлопнул две рюмки.

– По-нашему, по-сибирски, сударыня, между первой и второй рюмкой не дышать, – объяснил Окатов, прожевывая кусок селедки. – Да-с... А вот скоро у нас введут в Сибири винную монополию, водка будет дешевая.

Хлопнув Авдея Семеныча по коленке, Окатов прибавил:

– Как ведро водки выпьем, так рубль двадцать копеек в кармане... Ха-ха!..

– Сибирская политическая экономия, – шепнул Павлик Милочке. – И очень просто...

А гость продолжал ничего не замечать, даже когда Кока довольно ехидно его спросил:

– Прохор Козьмич, а вы умеете закусывать водку живой рыбой?

– Даже отлично... Спросишь живую стерлядку, графинчик водки и закусываешь.

– Живой стерлядью? – с ужасом спросила Елена Павловна.

– Да... Ломтиками ее нарежешь, перчиком посыплешь, солью – и отлично.

– Это ужасно...

– Нисколько, сударыня. Ведь едят же живых устриц...

Выпив графинчик, Окатов покраснелся и окончательно повеселел. Когда подали рыбу, он опять осрамился, потому что начал ее есть с ножа. Елена Павловна старалась не смотреть на него, а Милочка убежала из-за стола, чтобы отхохотаться в коридоре. Но там вышла новая беда: в коридоре Милочку остановила горничная Маша и шепотом проговорила:

– И что только будет, барышня...

Что случилось?

Горничная фыркнула, закрыв рот из вежливости ладонью, и объяснила:

– Бочонок-то, который гость привез, мы поставили в кухню, а от него такой дух пошел... С души прет!..

– Ну, это дело мамы...

А в столовой друзья детства предавались своим воспоминаниям, которым не было конца. Окатов после двух – трех фраз повторял:

– Авдей Семеныч, а помнишь, как мы с тобой голодали? Ах, как жрать хотелось... Смерть! Одежонка плохонькая, сапоги дырявые, брюхо пустое... А тут еще дерут и за букву ять, и за латынские

спряжения, и за пение на гласы. Ох, как драли... Из своей кожи готов выскочить, – вот как драли, сударыня. Зато теперь уж нас ничем не проймешь, как дубленую кожу, которая не боится ни дождя, ни холода, ни жара.

### III

Окатов был еще несколько раз у Горяевых, а потом сразу прекратил посещения. Это очень огорчало Авдея Семеныча, хотя дома он и не решался высказать своих мыслей открыто. Очевидно, сибирский друг детства догадался, что он является в обстановке петербургской чиновничьей семьи и лишним и смешным. Это мучило Авдея Семеныча, как всякая несправедливость. Сибирские омули были выброшены в помойную яму, а о наливке из облепихи Серж сказал, что она пахнет кошачьими хвостами. Эта выходка взорвала Авдея Семеныча, и он «сделал сцену».

– Как ты смеешь так говорить, щенок? – накинулся он на Сержа. – Что ты понимаешь, кроме ресторанов? Ты просто погибший ресторанный человек...

За Сержа вступилась Елена Павловна, и разыгралась целая семейная история.

– Вы все ничего не понимаете! – кричал взбешенный Авдей Семеныч. – Вы все – дармоеды и нахлебники. У нас ни у кого живого места нет, и поэтому свежий настоящий человек производит впечатление какого-то монстра.

Конечно, Авдею Семенычу за свою выходку пришлось просить потом прощения у Елены Павловны. Впрочем, она поняла, что нужно держать себя с сибирским другом детства вежливее, и сделала детям строгий выговор. Между прочим, она открыла, что муж потихоньку бывает у Окатова и тщательно это скрывает. Задето было женское любопытство. О чем они могли говорить и что могло их связывать? Видимо, Авдей Семеныч чем-то тревожился.

– Отчего твой друг перестал бывать у нас? – спрашивала Елена Павловна мужа. – Может быть, он чем-нибудь обиделся?..

– Нет... гм... Зачем ему у нас бывать?

– Мне кажется, что мы его принимали как следует и я делала все, чтобы он чувствовал себя у нас, как дома.

Авдей Семеныч засмеялся, что с ним случалось очень редко.

– Зачем ему у нас бывать, Леля? Это вольный человек, из совершенно другого мира... У него свои интересы, свои понятия и взгляды. Ты думаешь, он не понял, как его вышучивали наши милые молодые люди? Очень даже понял, хотя и не говорил ничего мне. Я знаю только одно, что он жалеет меня...

– Он?.. тебя?!. Этот... этот...

– Не договаривай, пожалуйста... Он для тебя «этот», а для меня... гм... Нет, ты не поймешь меня, Леля. Мы будем говорить на двух разных языках.

– Он смеет тебя жалеть?!

– Представь себе, что смеет, потому что он прав... Да, прав... Разве это жизнь, как мы живем? Разве мы с тобой живые люди?

– Благодарю вас, Авдей Семеныч...

Елена Павловна даже прослезилась и демонстративно ушла в свою комнату.

Окатов прожил в Петербурге около двух недель и как-то вдруг собрался домой. Он приехал прощаться в воскресенье утром, а не к обеду, как делал раньше. Авдей Семеныч понял, что старик догадался, как петербургские хозяйки не любят кормить лишнего человека.

– Да, брат, уезжаю, – говорил он, тяжело расхаживая по кабинету Авдея Семеныча. – Будет, всего посмотрелся. Пора домой...

– Да ведь ты хотел прожить здесь целый месяц? – уговаривал его Авдей Семеныч немного фальшивым тоном.

– Хотел к передумал...

Известие об отъезде сибирского друга детства так тронуло Елену Павловну, что она назначила даже завтрак на целых полчаса раньше. Это мог оценить только один Авдей Семеныч.

– Что же вы так рано нас оставляете, Прохор Козьмич? – говорила она с деланным участием. – Наш весенний сезон только что открывается... Посмотрели бы на наши острова, съездили бы в Павловск на музыку или на Иматру... Загородные сады начинают открываться... Серж говорит, что будет хорошая оперетка...

– Нет, это нам не рука-с, сударыня, – довольно грубо ответил Окатов. – Пора в свою берлогу...



Улыбнувшись, он прибавил:

– Стар я стал и ничего вашего не понимаю... Вот хоть у вас: сидим за столом, полный порядок, а ежели разобрать, так все у вас какое-то игрушечное – не графин, а графинчик, не рюмка, а рюмочка, не чашка, а чашечка... Да и люди мне кажутся тоже как будто не настоящими, а так, как берут вещи на подержание. Взять и Лвдея Семеныча – совсем он отстал от своего-то родного и даже разговора нашего сибирского не понимает.

– Ну, это ты уж напрасно, – обиделся Авдей Семеныч.

– А вот и не понимаешь! – спорил Окатов. – Вот переведи-ка на свой питерский язык: *лонись мы с братаном сундулей тенигусом хлыном хлыняли...* Ха-ха!..

– Да, пожалуй, и не понимаю, – согласился Авдей Семеныч. – Мудрено что-то...

– А дело очень просто: *недавно мы с двоюродным братом вдвоем ехали на лошади в гору...*

Сибирский язык произвел впечатление, и все громко смеялись, а громче всех сам Окатов.

– Это какой-то сибирский волапюк, – заметил презрительно Павлик.

– Что же, и за границей есть местные говоры, – объяснил Авдей Семеныч. – Прованс и Вандея, Бавария и Мекленбург почти не понимают друг друга.

Авдей Семеныч никогда ничего не пил, а тут назло жене выпил красного вина к несколько рюмок сибирской облепихи. Милочка не могла на него смотреть без улыбки. Какой папа смешной – весь покраснел, глаза сделались мутными, язык начал заплетаться. Окатов, кончив графинчик водки, хлопнул его по плечу и неожиданно заявил:

– А вот что, Авдей Семеныч, смотрю я на тебя и думаю: эх, хорошо было бы, ежели взяли бы мы с тобой и махнули в Сибирь... а?..

– Я и сам то же думаю, – еще неожиданнее согласился Авдей Семеныч и даже стукнул кулаком по столу. – Да, едем... Довольно!.. Ах, как я устал, весь устал!..

– У нас, брат, отдохнешь... Поля, лес, реки – все, чего душа просит. Другим человеком будешь...

– Вот-вот... И я то же думаю. Завтра же едем... Даю тебе честное слово. Возьму отпуск сначала, а потом переведусь на службу в Сибирь. Слава богу, земля не клином сошлась...

– В Сибири место всем найдется, – поддерживал Окатов. – Люди нужны... Хорошо у нас. Свет увидишь, по крайней мере, живых людей...

Авдей Семеныч вскочил и нервно заходил по столовой. Елена Павловна молча глядела в свою тарелку. Молодые люди переглядывались, едва сдерживая смех. Ах, какой смешной папа... Наконец Елена Павловна не выдержала и спросила:

– А как же я, Авдей Семеныч? Ты говоришь все время только об одном себе...

– Ты?..

Авдей Семеныч вдруг захохотал.

– Ты? Я тебя совсем не знаю... Да, не знаю. Ты для меня совсем чужой человек...

Расходившегося Авдея Семеныча едва увели спать. Он что-то такое громко говорил, размахивал руками и старался вырваться. Когда дверь кабинета заперли, оттуда долго еще слышался его охрипший голос:

– Да дайте же мне быть человеком хоть раз в жизни!.. Оставьте меня!..

#### *IV*

Авдей Семеныч проспал мертвым сном до одиннадцати часов вечера и проснулся с страшной головной болью. В доме было тихо. Он вышел в гостиную – там никого не было, в столовой – тоже. Авдей Семеныч послал горничную за сельтерской водой и вернулся к себе в кабинет. Елена Павловна заперлась у себя в спальне, и идти к ней было невыносимо.

«Пробуждение пьяного петербургского чиновника...» – с горечью подумал Авдей Семеныч, шагая из угла в угол по кабинету.

Он припомнил до мельчайших подробностей довольно безобразную сцену в столовой, и ему сделалось совестно перед детьми. Что они подумают о нем? Ну, жена посердится, наговорит

кислых бабьих слов, а затем примирится на какой-нибудь шляпке. А вот дети... гм... да... Вообще скверно. В голове Авдея Семеныча еще бродили пары облепихи, и он не мог признать себя виновным по существу дела. Да, он был прав, но только высказать все это следовало другими словами и совсем уж при другой обстановке.

Освежившись сельтерской водой, Авдей Семеныч завалился спать.

– Спи, пьяненький петербургский чиновник, – думал он вслух. – Ты осмелился в собственном доме, кажется, единственный раз сказать правду...

Проснулся Авдей Семеныч на другой день рано, потребовал себе чаю в кабинет, оделся и вышел из дому раньше обыкновенного на целых два часа. Чтобы убить время, он долго гулял по набережной Фонтанки, выходил на Неву и вполне освежился. Все вчерашнее ему показалось каким-то сном. Неужели это был он, Авдей Семеныч, всегда скромный, вежливый, тихо и покорно тащивший тяжелое семейное ярмо?

Да, случай, – бормотал он, покачивая головой.

Он боялся даже думать о том, как он вернется со службы домой и как покажет глаза жене и детям. Да, положение было ужасное... Он был счастлив, что может идти в свой департамент и с головой зарыться в бесконечную работу до пяти часов вечера. А там будь что будет... Подходя к месту своего служения, Авдей Семеныч припомнил, что вчера обещал Окатову приехать на вокзал проводить его. Этого еще недоставало... Как он встретится с другом детства и что будет говорить с ним?

– А это все он виноват, неистовый сибиряк! – решил наконец Авдей Семеныч, оправдываясь перед самим собой. – Конечно, он... Все он! Если бы не он, ничего бы и не было. Одним словом, не поеду его провожать...

Но Окатов предупредил последнюю мысль и сам явился в департамент, чтобы пригласить друга детства пообедать где-нибудь с глазу на глаз. Авдей Семеныч испугался, когда курьер подал ему карточку Окатова.

– Они там-с, ждут вас в приемной, ваше превосходительство, – докладывал курьер, почтительно вытянувшись.

Его превосходительство смущенно жевал губами и медлил.

– Гм... да... – бормотал он, потирая лоб рукой. – Да... Так скажи этому господину, что меня нет... то есть, что я был на службе, а потом уехал... Нет, стой!.. Ты скажешь... скажешь... Одним словом, скажи, что меня нет!..

– Слушаю-с, ваше превосходительство!

# М-те Квист, Бликс и Ко\*

## Очерк

### I

На соборной площади губернского города Краснокутска стоял дом соборного протопопа Миловзорова, сдававшийся внаймы под торговые помещения. Город был хотя и бойкий, но протопоповскому дому как-то не везло, – кто его ни снимет, тот и прогорит. Была торговля «колониальными товарами», потом галантерейная, потом мануфактурная, но все они провалились в самом непродолжительном времени. Колониальный торговец бежал от долгов, галантерейщик объявил себя несостоятельным, а мануфактурист предлагал своим кредиторам по десяти копеек за рубль. Местные краснокутские коммерсанты объясняли эти крахи прямо домом, в котором «неладно». Сам протопоп умер, а протопопица жила во флигеле с сыном. Дом стоял пустым уже целых два года, и это огорчало протопопицу до глубины души, потому что лишало ее главной статьи дохода. Что думал сын протопопицы, занимавший место в одном из частных банков, было неизвестно, потому что это был очень сдержанный молодой человек, не любивший болтать.

В одно прекрасное утро на роковом доме появилась громадная вывеска: «Квист, Бликс и Ко, комиссионеры заграничных торговых фирм». По сторонам вывески были прибиты аншлаги с изображением швейной машины, велосипеда, кофейной мельницы и разных других, более или менее соблазнительных предметов. В окнах нового магазина можно было видеть самые предметы торговли и целый ряд разноцветных афиш, рекомендовавших удивительнейшее мыло для вывода пятен (марка «последнее слово науки»), еще более удивительный порошок для чистки металлов, несколько вернейших средств от насекомых необыкновенный инструмент, заменявший пилу, алмаз для резания стекла, складной аршин и служивший, смотря по желанию, ножом и вилкой, и т. д. Удивительнее всего было то, что

магазин открылся как-то вдруг, неожиданно, а его вывеска напоминала те цветы, которые распускаются в одну ночь.

– Немцы какие-то, – объясняла протопопица любопытным. – Прямо с железной дороги приехали вечером, дали задаток за два месяца вперед, а утром уж магазин открыли.

Знакомые протопопицы только покачивали головой. Что-то, уж очень быстро все сделалось, особенно принимая во внимание то, что «немцы» должны были отдохнуть после дороги и, по крайней мере, выспаться. Впрочем, на то они немцы... На русских магазинах по неделе одну вывеску прилаживают: сначала привезут ее на двор, и стоит она на дворе дня два, потом вытащат на улицу – тоже стоит битых три дня, потом начинают поднимать – тоже дня два займет. А дальше перевозят товары, распаковывают, раскладывают, наводят «выставку» для заманивания доверчивых покупателей, – глядишь, двух недель как не бывало. Хозяин ругается с вывесочным мастером, с приказчиками, задерживает платежи за квартиру и так далее, а тут в одну ночь все дело обернули, точно в сказке, где все делается по щучьему велению.

Когда степенный сын протопопицы проходил утром на службу, то заметил в одном окне открытого магазина свежее и молодое личико какой-то женщины. Она была белокурая, с такими большими серыми глазами. На окне стояла спиртовая лампочка, на которой что-то варилось в никелированной кастрюльке. Молодой человек оглянулся, а молодая женщина спряталась за штору, и он видел только краешек белой утренней кофточки с прошивками.

«Когда они успели шторы повесить?» – подумал молодой человек и с особенным вниманием несколько раз прочитал вывеску, напрасно стараясь угадать, кто была прелестная незнакомка – m-me Квист или m-me Блике.

Протопопица отличалась еще большей наблюдательностью и, когда сын вернулся со службы к обеду, сообщила ему под секретом, что «комиссионеры» – люди семейные и что у них есть дети.

– Как у них? – удивился сын. – У которого-нибудь одного... Ведь одна женщина?

– А кто их разберет... Может, по ихнему закону и это можно.

– У всех, мамаша, закон один. Вот как они торговать будут, когда у нас уж в трех магазинах велосипедами торгуют, а швейными

машинами и не считаешь?

– Опять-таки их дело, Сережа. Платили бы деньги за квартиру... Я свечу пообещала поставить Николаю-угоднику. А деточки славные, девочка да мальчик. Девочка-то на Бликса смахивает, – такая же черномазая, – а мальчишечка на Квиста больше нашибает – белобрысый такой.

– Мамаша, вы ошибаетесь: Блике белокурый, а Квист – сильный брюнет.

– Ну, это все равно, а только я про то, что дети-то разные... Вот одеты они по-господски, точно картинка. Немка-то, и надо полагать, пробойная: везде поспекает, – и за детьми углядит, и кофий варит, и в магазине торчит за кассой. Кухарку и горничную нанимают, а пока все сама... Славная бабочка, кабы не немка.

Появление новой торговой фирмы послужило темой для разговоров соседей на целую неделю. Поговорили, посудачили и оставили в покое. Вопрос о принадлежности молодой женщины Квисту или Бликсу так и остался открытым, хотя женщины и обсуждали его с особенной настойчивостью. Удивляло всего больше то, что немка жила, как часы: вставала в известное время, варила на спиртовке молоко и кашу своим ребятишкам, а в десять часов утра, несмотря ни на какую погоду, выводила их гулять. А остальную часть дня, как птица в клетке, сидит за проволочной решеткой своей кассы, а когда нет работы – женским делом что-то ковыряет и шьет. Общее мнение резюмировало, что немка хорошая и собой красивая, высокая, здоровая, веселая. Выйдет на улицу – любо посмотреть. Хоть бы и не Квисту с Бликсом впору. Комиссионеры, вообще, составляли тайну. Известно было только, что они отлично ездят на велосипедах, курят сигары и живут дружно.

Провинциальная публика с какой-то жадностью накидывается на каждую новинку, а потом так же быстро свыкается с ней и забывает. Новая фирма пережила этот прилив внимания, а затем попала в полосу равнодушия, как судно, которое захватывает штиль. Известно было одно, что и Квист и Блике о чем-то усиленно хлопочут, ездят на извозчиках, со всеми знакомятся и ведут какие-то свои дела. Покупателей было немного, и немка могла свободно заниматься в своей проволочной клетке шитьем и вязаньем.

Наступила зима. По вечерам Сергей Миловзоров уходил в клуб. Скучища там была ужасная, за исключением двух игорных комнат и бильярдной. Даже семейные вечера не приносили оживления. Дамы усаживались играть в карты, а в общей зале кружились две – три пары. Краснокутские кавалеры не желали танцевать, девицы уныло бродили из комнаты в комнату, как стерляди в трактирном аквариуме, и все вместе ужасно скучали, испытывал какое-то беспричинное озлобление. Миловзоров скучал вместе с другими и шел в клуб только потому, что решительно некуда было деваться по вечерам. И вдруг семейные вечера ожили благодаря появлению в них комиссионеров Квиста и Бликса. Они веселились напропалую, то есть танцевали, ухаживали за своей дамой, а потом ужинали. Получалось что-то необычайное для чопорной провинциальной публики, боявшейся на каждом шагу потерять собственное достоинство. А Квист и Бликс танцевали, правда, не особенно искусно, но зато так весело, что приходили даже присяжные клубные игроки в общую залу, чтобы посмотреть на чудачков. Квист и Бликс удивлялись, в свою очередь, скучающей краснокутской публике, – помилуйте, такой хороший зал, целый оркестр музыки, недурная кухня, – как же тут не веселиться? Потом они так трогательно ухаживали за своей дамой и танцевали с ней поочередно с отчаянным усердием, вызывая еще раз в публике вопрос, который же из них настоящий муж? Больше, – когда один комиссионер уезжал куда-нибудь по делам, в клуб являлся другой и держал себя так, как будто он и есть настоящий муж, которого так напрасно доискивались досужие люди. Благодаря неутомной веселости Квиста и Бликса семейные вечера вдруг оживились, и другие начали веселиться просто из зависти.

В числе этих других был и Миловзоров. На танцах он познакомился с обоими комиссионерами, которые представили его своей таинственной даме.

– Зоя Егоровна, это наш молодой хозяин, Сергей Иванович Миловзоров.

Зоя Егоровна молча протянула длинную белую руку и посмотрела на молодого хозяина какими-то печальными глазами. Это



выражение Миловзоров заметил у нее давно, и оно страшно не соответствовало внешнему веселью комиссионеров. Она веселилась точно по обязанности, по крайней мере ее лицо не принимало участия в этом веселье. Миловзорову теперь она казалась красавицей, конечно, по сравнению с красноскутскими дамами. После одной веселой кадрили-монстр он предложил ей руку, чтобы пройти по залам.

– Благодарю вас... – как-то деревянно ответила она, подавая свою руку.

Они шли несколько времени молча.

– Извините – нескромный вопрос, Зоя Егоровна, – заговорил Миловзоров, задерживая шаги: – у вас такой грустный вид...

Она остановилась и с удивлением посмотрела на него.

– Разве это так заметно? – проговорила она и чуть покраснела.

– Да, то есть мне так кажется. Вероятно, вы очень скучаете?..

– О, нет, мне некогда скучать... нисколько...

Она говорила с иностранным акцентом и очень мило картавила, что особенно нравилось Миловзорову. Он тоже ей нравился – плечистый, с окладистой русой бородой и таким добродушным русским лицом. Из таких добродушных увальней выходят прекрасные мужья.

– Почему вы сделали такой вопрос? – обратилась она к нему после длинной паузы и опять посмотрела своими печальными глазами.

– А так. Право, не знаю, я думал, что вы больны.

– О, нет, я здорова.

Это внимание ее тронуло. Совершенно чужой, незнакомый человек, а между тем интересуется ее здоровьем.

За первым разговором последовал ряд других. Обыкновенно встречались в клубе. Зоя Егоровна по привычке сама искала глазами своего кавалера и улыбалась ему издали. Ей делалось как-то легче, когда он был около нее, тут, рядом. Это было то чувство хорошей дружбы, которое так редко встречается и которое, вероятно, поэтому так ценится женщинами. Вместе с тем Миловзоров заметил, что Зоя Егоровна вечно настороже, как дрессированная цирковая лошадь. Она знала даже шаги своих комиссионеров и повиновалась каждому их взгляду беспрекословно. Ей иногда хотелось подольше остаться в

клубе, но один взгляд Квиста или Бликса мгновенно возвращал ее к ее обязанностям.

Раз Миловзоров спросил с добродушной откровенностью настоящего провинциала:

– Зоя Егоровна, скажите, пожалуйста, как ваша фамилия?

– М-ме Квист, Бликке и К°, – ответила она с улыбкой.

Потом она чуть заметно вздохнула и прибавила:

– Представьте, Сергей Иванович, вы – попович, и я – поповна. Да, настоящая поповна, только английская. В Россию я попала шестнадцати лет, а теперь мне двадцать пять. Да...

– Вы скучаете о своей Англии?

– И да и нет... Мне как-то обидно думать о своей родине. Впрочем, вы едва ли меня поймете... Это нужно испытать.

– Я постараюсь понять, Зоя Егоровна...

– Да? Впрочем, вы добрый и поймете... Помните, как вы в первый раз пожалели меня? Мне это было больно... да. Я, действительно, испытываю тяжелое чувство, когда смотрю на вашу русскую публику, именно я завидую, что не родилась русской поповной. Вы не смейтесь, это так. Европейская девушка уже является формой товара, который безжалостно отправляется во все части света, то есть подвергается изгнанию, как элемент ненужный и обременительный у себя дома. На этом международном рынке самым дешевым товаром является немка, а за ней мы, англичанки. Француженки представляют выгодное исключение и умеют продать себя дорого. Главный рынок для немок – Россия, а для англичанок – Америка, Австралия и частью азиатская Индия. Вы только представьте себе, что ежегодно десятки тысяч таких европейских девушек должны покидать родной угол и подвергать себя страшной неизвестности. Да, за ними культура, все чудеса цивилизации, известная выдержка характера, но ведь главное-то для всякой женщины – свой угол, домашний очаг, и эта международная женщина бродит по всему свету, как своего рода вечный жид. А русскую девушку вы почти нигде не встретите, за исключением богатых семей, которые путешествуют по Европе для собственного удовольствия, и еще учащих женщин, которые потом возвращаются в Россию. Русская девушка нужна еще у себя дома, у нее есть свой угол. Наконец весь склад русской жизни совсем другой, и прежде всего нет этого

ужасающего эгоизма, которым пропитан каждый европейский мужчина. Вот почему английская поповна для вас является m-me Квист, Бликке и Ко.

Она опять посмотрела на Миловзорова своими грустными глазами и вздохнула, а он смутился, как человек, который шутя вызвал наболевшую откровенность.

### III

Протопопица стала замечать, что с Сережей как будто что-то неладное творится. Он всегда был неразговорчивым и серьезным, а теперь уж начал совсем задумываться. Или на службе торчит, или у себя дома шагает из угла в угол. Даже похудел за зиму. У матерей есть свой инстинкт, и они чувствуют беду.

– Сережа, ты бы сходил куда-нибудь, – советовала она, – Молодой человек, что сидеть дома-то?..

– Куда же мне идти?

– Мало ли у нас знакомых: к судейским кому-нибудь или к своим банковским.

– Не стоит, мамаша. Скучно одинаково везде...

Семейные вечера в клубе кончались на масленице (этого слова Зоя Егоровна никак неумела выговорить), и Миловзоров серьезно скучал. Теперь он мог встречать Зою Егоровну только на улице, когда она делала свою утреннюю прогулку с детьми. Душевные разговоры кончились, и Зоя Егоровна точно начала сторониться русского поповича. А он смотрел на нее такими странными глазами, что заставлял ее краснеть и хмурить тонкие брови.

– Почему вы никогда не пригласите меня к себе? – откровенно спрашивал Миловзоров. – Ведь я хорошо знаком с Квистом и Бликсом...

– У нас это не принято. Мужчины у нас не бывают... Это только русские тащат к себе домой каждого встречного. Это не относится к вам, Сергей Иванович, а я так, вообще, говорю...

Миловзоров смотрел на нее и думал про себя: «Какая она хорошая, вся хорошая. С такой женщиной не страшно связать всю жизнь». Обратной стороной этой простой и естественной мысли

являлась какая-то глухая ненависть к Квисту и Бликсу с их самодовольством, выдержкой и европейским эгоизмом. Собственно, положение Зои Егоровны являлось утонченным цивилизованным рабством, за которое не приходилось даже платить, как это делалось в доброе старое время настоящего откровенного рабства. Комиссионеры эксплуатировали ее самым бессовестным образом, кончая ее комиссионерским материнством. Даже протопопица удивлялась безответности мудреной немки. А Миловзоров думал о ней все время и у себя в банке и дома по ночам. Как-то, после одной из таких бессонных ночей, он дождался Зои Егоровны во время утренней прогулки и проговорил без всяких предисловий, виновато опустив глаза:

– Зоя Егоровна, выходите за меня замуж... Я вас очень... очень люблю... Право, мы прожили бы недурно.

Она страшно смутилась и посмотрела на него испуганными глазами, как на сумасшедшего.

– Я знаю, что вы даже не m-me Квист, Бликке и Ко а просто конторщица. Когда пройдет ваша молодость, вас вышвырнут на улицу, как бросают негодную тряпку... О, я все знаю, я столько думал об этом!

Она схватила своих детей за руки, точно искала в них защиты, и ответила упавшим голосом:

– Если бы я встретила вас лет десять назад, когда была девушкой, тогда... А теперь...

– Я не требую сейчас ответа. Вы подумайте серьезно... Я уже решил про себя.

Он даже улыбнулся и так спокойно посмотрел на нее. В его карих добрых глазах действительно светилась решимость, та отчаянная славянская решимость, которая идет на все.

– Вы хорошая, хорошая, хорошая... – повторял он, продолжая улыбаться. – Вся хорошая! Я буду ждать...

Зоя Егоровна не выходила на обычную прогулку целых три дня, опасаясь новой встречи, а Миловзоров три дня не ходил на службу. Он заперся у себя в комнате и шагал из угла в угол. Протопопица окончательно была убита и не знала, что ей делать. На четвертый день, утром, он взял свой портфель и отправился на службу.

Протопопица обрадовалась и видела, как он завернул в магазин Квиста и Бликса.

Когда Миловзоров зашел в магазин, Зоя Егоровна сидела за своей решеткой, как всегда. Он даже не поздоровался с ней, а подошел прямо к прилавку с витриной, за которой сидели Квист и Бликс.

– Я пришел... да, я пришел... – заговорил он сдавленным голосом, глядя в упор на комиссионеров. – Я хотел сказать... да...

Квист и Бликс подумали, что попович пьян, и переглянулись.

– Скажите, пожалуйста, господа комиссионеры, если бы вы встретили девушку, которую два негодяя захватили бы в самое позорное рабство... Да, именно рабство. Нет, хуже...

– Что вам угодно? – спросил Квист, сдвигая брови.

– Мне угодно сказать вам, что так нельзя. Помилуйте! Ведь она человек, она мучается, у нее испорчена вся жизнь, она лучше вас, и меня, и многих других.

– Послушайте, нам не до философии... – заметил Бликс. – Вообще, извините, нам некогда...

– Некогда? Ха-ха... А я вас заставлю выслушать меня, потому что я говорю про нее, вот про эту девушку, которая сидит в вашей клетке.

Миловзоров указал на Зою Егоровну и поклонился ей издали.

– Милостивый государь, какое право вы имеете вмешиваться в чужие дела? – сказали в один голос комиссионеры.

– Какое право? А вот какое право... Представьте себе, что у Зои Егоровны есть брат... да, брат... и этот брат – я. Да, я, я!.. Я прихожу и говорю вам, Квист и Бликс, что вы негодяи... да, негодяи!..

Зоя Егоровна страшно перепугалась. Но дальше произошло все так быстро, что она не успела даже крикнуть о помощи. Она видела только, что Миловзоров выхватил из кармана револьвер и в упор выстрелил сначала в Квиста, а потом в Бликса. Квист присел и схватился за руку, а Бликс нырнул под прилавок, как заяц. Дальше Миловзоров как будто растерялся и с удивлением посмотрел кругом, а потом бросил револьвер, сел на табурет и закрыл лицо руками.

Через десять минут в магазин явилась полиция. Миловзоров оставался на прежнем месте и спокойно говорил:

– Ах, как я ее люблю... да, люблю.

Квист отделался легкой раной в левой руке, а Блике – одним испугом. Они не дождались суда и незаметно исчезли из Краснокутска, оставив на память протопопице свою вывеску. М-те Квист, Блике и Ко исчезла вместе с ними. Через полгода Миловзорова судили и нашли, что он действовал в психически-расстроенном состоянии.

## Последняя веточка\*

### *Из старообрядческих мотивов*

#### *I*

Когда мне случается проезжать через большое село Займище, я всегда завертываю в старый бороздинский дом, к старушке Миропее Михайловне: такая милая и почтенная старушка, что совестно проехать мимо. Сам бороздинский дом представлял собою нечто совсем особенное: двухэтажный, большой, с крутой железной крышей, весь почерневший от времени, он был построен еще стариком Бороздиным, и построен так крепко из кондового леса, что простоял целых сто лет и не пошатнулся, только бревна сделались бурыми, да крышу несколько раз переменили, точно старый дом менял шапку.

В Займище была всего одна улица, огибавшая полукругом большое Черное озеро на целую версту; дома вытянулись в два порядка, и почти у каждого в огороде торчало по нескольку деревьев. Последним Займище резко отличалось от всех окрестных сел и деревень.

– Это еще наши деды сады сохранили... – объясняла Миропея Михайловна. – Ну, старинка-то и держится. Дикое прежде место было, раменье, а теперь все кругом вон как обчистили.

Бороздинский старый дом стоял в самом центре села и упирался задами в озеро. Таких старинных домов в Займище было несколько, но они все развалились или стояли пустые; держался один только бороздинский, так умненько поглядывавший своими маленькими окнами на улицу и на своих новых соседей. Я всегда испытываю какое-то особенное чувство почтения, когда еще издали завижу два ряда окошек бороздинского дома, вышку со слюдяной оконницей, сплошную массу служб, шатровые ворота с деревянной резьбой, завалинку, на которой любил летом посидеть сам старик Михайло Васильич, любясь бегавшими по улице внучатами: что-то такое

почтенное и строгое чувствовалось в этой деревянной громаде, служащей живой летописью четырех поколений. Нынче, в наше грошное и обманчивое время, таких хороших, именно семейных домов больше не строят, а из кожи лезут, чтобы из дома сделать что-то вроде трактира с номерами для господ приезжающих. Михайло Васильич потому и не любил бывать в городе и постоянно жаловался:

– Остановиться не у кого – с души воротит... Трактир не трактир, казарма не казарма, а только настоящих домов нет. Исшатался народ, дома-то не живут, – ну, скворечницы себе и налаживают...

Маленькая калитка с железным кольцом вела на широкий двор, устланный деревянными плахами; на Урале еще сохранились кое-где такие дворы с деревянным полом; они занесены к нам раскольничьими выходцами из лесных заволжских губерний. Иногда они делаются совсем закрытыми, так что во дворе совсем темно даже среди белого дня. Кругом бороздинского двора вытянулись сплошной деревянной стеной сараи, конюшни, амбары, стаи, кладовые и кладовки; но теперь все это хозяйственное строение было пусто и заметно ветшало с каждым годом: где крыша дала течь, где угол осел, где дверь покосилась; нужен был везде хороший хозяйский глаз, а его-то и не было. Самый дом выходил на двор широким крыльцом; за ним следовали холодные стены с какими-то хозяйственными перегородками. Главные покои находились во втором этаже, под ними – теплые повалуши, над ними – светелка и летник; около жилых комнат жались разные тайнички, переходы, чуланы и каморки.

В бороздинском доме больше пятидесяти лет существовала тайная раскольничья моленная, в которой и теперь еще молились займищенские староверы. Эта моленная образовалась из разоренных скитов, которые процветали в Займище еще в тридцатых годах настоящего столетия. Скиты были опечатаны предержавшими «властодержцами», старики и старицы были изгнаны, а святыня, какую успели спасти, вся перешла в бороздинский дом, и Михайло Васильич берег эту святыню, как зеницу ока.

Теперь бороздинский дом стоял почти совсем пустой, за исключением одной только угловой комнаты в нижнем этаже, где перебивалась сама Миропея Михайловна со своей десятилетней внучкой Афонюшкой.



– Главная причина – топить надо бы всю хоромину, а дрова ноне дорогие, – объясняла старушка с неизменным тяжелым вздохом, – Где взять-то!.. Наше дело сиротское, сами крохами питаемся от добрых людей. Не оставляют нас с Афонюшкой...

Миропея Михайловна любила показывать родительский дом и не раз водила меня по всем этажам. Комнаты были небольшие и сохранились в том виде, в каком остались после самого Михайла Васильича: старинная тяжелая мебель, выкрашенные клеевой краской стены, желтые полы, изразцовые печи, бронзовые канделябры, двуспальные кровати, везде по углам образа старинного письма. В гостиной канареечного цвета висел портрет самого Михайла Васильича, писанный масляными красками; это был седой, благообразный старик с темными, суровыми глазами.

По шатавшимся лесенкам и переходам мы поднялись в светелку, где росли и невестились четыре поколения бороздинских красавиц и где выросла сама Миропея Михайловна, единственная дочь Михайла Васильича. Мне эта светелка нравилась больше всех других комнат, потому что с нее открывался отличный вид на все Займище, Черное озеро и синевшие вдали «уральские бугры».

– Хорошо здесь! – говорил я, любуясь видом.

– Прежде лучше было, – вспомнила Миропея Михайловна, поглядывая в окошечко. – Покойник-тятенька очень даже любил сюда заходить... Прежде-то наше Займище было красивее не в пример. Не было вон тех пустырей по улице, да и дома не так строили...

– Пустыри от скитов остались?

– От них от самых... Земелька одна осталась да могилки... А сколько боголюбивого народичку тут проживало: старцы, старицы, странные люди, убогонькие, сироты. А нынче что?.. Не глядели бы глазыньки... Домишко-другой поставят, так и тот заворуем глядит... Ну, так и живут!

Открывавшийся из светлицы вид окрестностей Займища был замечателен тем, что вся эта всхолмленная широкая равнина, по дну которой катилась горная речонка Вежайка, образовавшая Черное озеро, – вся эта равнина была пропитана золотым песком, снесенным сюда с восточных отрогов Уральского хребта. Когда-то по берегам Вежайки и Черного озера красовались вековые леса, а теперь, благодаря золоту, все превращено было в безлесную пустыню,

изрытую по всем направлениям; там и сям желтыми пятнами выделялись работавшие и заброшенные прииски, шахты, валы перемывок, старые отвалы.

– Вон как землю-то кругом изрыли!.. – печально говорила Миропея Михайловна, рассматривая окрестности. – Прежде-то куда ни повернись – везде лес, шуба шубой, а нынче девкам за грибами некуда сходить. С золотом-то этим все по миру пошли... Бедует народ.

– Да ведь у вас хорошие были прииски?

– А господь с ними, голубчик... Разорение одно от них, кто ежели по-истовому живет. Не таковское это дело... И без золота жили, а с золотом все прожили остальное, что было накоплено еще покойничком-тятенькой. Дом, вон, того гляди, начнет разваливаться, и поправить нечем... Тут бы гвоздик заколотить, там бы досточку наладить, а управа-то не берет, да и дело наше с Афонюшкой женское, неспособное.

Афонюшка, быстроглазая смуглая девочка, всегда слушала рассказы бабушки с немым вниманием и постоянно расспрашивала, кто жил в этой комнате, кто в той, где спал дедушка Михайло, где обедали, работали, веселились. Старый бороздинский дом был до краев наполнен такими семейными воспоминаниями: на лежанке внизу жила юродивая Домнушка, в светелке свои девушки, дедушка Михайло умер в угловой, где неугасимая горит и теперь, на святках играли в «вовмолки» (жмурки) в средней комнате, где обедали, гостей принимали в желтой гостиной и т. д., и т. д.

– А в синей комнате жил твой отец с матерью, – прибавляла старушка. – Тихой он был характером-то... Ну, а мать задорная была; так-то ничего – добрая, только сердцем горяча: чуть что – и загорелась, как порох.

– У вас всех детей сколько было, Миропея Михайловна?

– Девять человек в живых, да шестерых схоронила, голубчик. Из живых-то четыре дочери замужем были, потом три сына были женатых да два холостых... Афонюшка от середняка пошла, Спиридоном звали. При покойничке в дому за сорок человек постоянно живало, а как я своих детей подняла на ноги да оженила, так и не сосчитаешь скоро-то... Дочери, конечно, при мужьях жили,

ну, старший сын выделился, а остальные все одной кучей. Это до промыслов было, а как занялись золотом – все и пошло врозь...

К этому старушка неизменно прибавляла:

– Теперь вот одна Афонюшка осталась, как синь-порох... Всех я перехоронила; пошел, видно, наш бороздинский род на перевод.

## II

Всего интереснее в бороздинском доме была та угловая каморка, в которой приютилась Миропея Михайловна со своей внучкой. Довольно большая и длинная комната с низким потолком была так загромождена какими-то сундуками и старинной мебелью, что буквально пошевелиться было негде; старушка, как мышь, сносила в свою нору все, что оставалось хорошего в доме. Весь этот хлам служил для нее бесконечным материалом для воспоминаний, которые покрывали каждую вещь точно слоем пыли. Зеленое кресло, стоявшее в углу, осталось от тятеньки Михайла Васильевича, который любил на нем сидеть; комод с бронзовыми уголками и ручками – от покойницы маменьки; в сундуках хранились старинные шубы, крытые какой-то необыкновенной материей, толстой, как кожа, шелковые сарафаны, выложенные дорогим позументом, старинные дорогие покрывала, повязки, кокошники, душегрейки и т. д. Раза два или три в год, главным образом весной, Миропея Михайловна извлекала все это «добро» из недр своих сундуков и проветривала. Это было настоящее торжество, и маленькая Афонюшка не отходила от «баушки», рассказывавшей историю каждой вещи своим ровным, невозмутимым, голосом, точно журчал по камешкам ручеек. И лицо у бабушки делалось какое-то совсем особенное – такое ласковое-ласковое и печальное, а глаза подергивались слезой.

– Баушка, о чем ты плачешь? – спрашивала девочка, сама готовая расплакаться над всеми этими шубами и сарафанами.

– Так, милушка... Стара я, Афонюшка; раздумаешься да раздумаешься, ну, и защежит сердечушко. Тебе это еще рано знать...

– Разве все старые люди плачут, баушка?

– Да как тебе сказать-то, милушка... Есть и веселые старички, только это редко бывает: мало веселого-то бог нам посылает, – ну,

человек терпит-терпит, да и не вытерпит.

Девочка плохо понимала печальные размышления бабушки и только ласково прижималась к ней своей русой, кудрявой головкой. Небольшого роста, худощавая, но еще очень крепкая для своих шестидесяти лет, Миропея Михайловна невольно обращала на себя общее внимание тем, что переживает красоту и молодость и что мы называем внутренней, душевной красотой. Эта красота сказывалась и в неторопливых движениях, и в ласковой улыбке, и больше всего в спокойном, сосредоточенном взгляде больших темных глаз, полных неугасавшего огня. Темненькое платье и такой же платок на голове придавали старушке немного монашеский вид и еще лучше оттеняли ее морщинистое лицо с такой необыкновенной кожей, цвета церковной просвиры; это лицо было проникнуто внутренним светом, и ни одна тень не ложилась на него. На такие лица хочется смотреть, точно сам делаешься лучше от одного их присутствия.

Рядом с бабушкой десятилетняя Афонюшка выглядела настоящим полевым цветочком, хотя Миропея Михайловна одевала ее тоже во все темное: ситцевое темненькое платьице, такой же платочек на голове и только в виде исключения какая-нибудь светленькая ленточка в русой косе или нитки стеклянных бус на шее. От этой монашеской простоты тоненькое и бледное личико девочки казалось еще свежее, а светлоглазые глаза блестели, как два дорогих камня. В тихой и однообразной жизни разрушавшегося бороздинского дома детский голосок, неугомонная возня и проказы Афонюшки являлись точно солнечным лучом; девочка выросла в этой развалине, как растет и гнездится где-нибудь в забытом угле одинокая травка.

– Болит мое сердечушко об этой Афонюшке, ох, болит! – не раз говаривала Миропея Михайловна, когда девочка играла под окном или на дворе. – Не жилища она на белом свете!.. Вот и чашечку как-то разбила, – фарфоровая такая была чашечка, еще покойничек-тятенька у китайца в Ирбитской купил. Из этой чашечки я маленькая чай пила, потом своих дочерей поила... И все в шкапике эта чашечка стояла, сколько годов стояла, а тут, как на грех, и попади на глаза Афонюшке: «Дай да дай, баушка миленькая...» – «Разобьешь!» – «Нет, баушка». Ну, ластилась, ластилась ко мне, я и дала ей чашечку-то. Поиграла она с ней, а потом сели чай пить, я только налила кипятку – чашечка-то на несколько частей и развалилась, сама собой развалилась. И так мне

было жаль этой чашечки, так жаль, что и сказать не умею; даже смешно рассказывать-то, что о таких пустяках человек может беспокоиться.

Нужно сказать, что в комнате Миропеи Михайловны был заветный стеклянный шкаф, битком набитый разной разностью: стояла в нем старинная чайная посуда, висели на гвоздиках фарфоровые и сахарные пасхальные яйца, отдельной пирамидкой красовались старые бонбоньерки; тут же лежали неизвестно для чего обломанные детские игрушки, какие-то подушечки, вышитые бисером, дорожные серебряные стаканчики, несколько обношенных альбомов и т. д. С каждой вещицей здесь непременно было связано какое-нибудь семейное воспоминание, заставлявшее Миропею Михайловну тяжело вздыхать: куклой в синем сарафане играла любимая дочь Феюшка, из серебряного стаканчика пил всегда тятенька, когда случалось ездить в дорогу, зеленую бонбоньерку подарил свекор, сахарное яичко с желтым барашком привезла матушка-свекровушка, когда родился Спирия, в альбомах были фотографии всей родни и бесчисленных знакомых.

– И нынче хорошие-то люди не обегают, а прежде знакомство большое у нас было по всей округе, – любила повторять старушка, перебирая в шкапу свои семейные реликвии. – Уж про наших-то уральских и говорить нечего: кругом свой народ был – в Екатеринбурге, в Шадрине, в Ирбите, по заводам везде, в Тюмени, в Верхотурье. А были знакомцы из Нижнего, из Иркутска, из Москвы – хорошие знакомцы, хоть не видались годами. Торговое дело, нельзя: на людях жили...

Но, как ни дорог был Миропее Михайловне ее заветный стеклянный шкаф, служивший для нее живой семейной летописью, первое место в ее каморке принадлежало, конечно, переднему углу, где от полу до потолка, в два створа, стоял старинный «иконостас», выкрашенный синей краской. Этот иконостас был фамильной святыней, и всегда пред ним теплилась неугасимая лампада. Всех икон было больше двадцати, и все старинного редкого письма, с темными ликами, дорогими окладами и самой подробной биографией каждого образа.

– Старинка все! – ласково говорила Миропея Михайловна, любуясь своим иконостасом.

Коллекция бороздинских икон была в своем роде замечательное явление. Она составила в смутную эпоху разорения займищенских скитов, когда Михайло Васильич много «облюбовал божьего благословения», то есть приобрел за большие деньги некоторые «истинники» древних писмен. Таким образом к нему попали «фрязи» XVII века, иконы новгородского пошиба, строгановское письмо и особенно много икон так называемого сибирского письма. Между прочим, в этом хранилище был образок работы знаменитого Рублева, хотя и под сильным сомнением: таких «истинников» греческого, киевского и новгородского дела много выпускает Москва, где проживают доднесь великие мастера из нового делать старое. Вся эта «древляя» иконопись была украшена дорогими окладами обронного и басменного дела, с разными поднизями, рясно и цатами, унизанными жемчугом и самоцветным камнем.

– Была еще одна у меня икона, да не умела хранить, – рассказывала однажды Миропея Михайловна, закручинившись. – Не к рукам, видно, или уж так господь хотел наказать.

– Куда же она у вас девалась?

– Икона-то?.. Потеряла я ее – мой грех... То есть и не потеряла даже, а так как-то сама собой ушла из дому. Таких икон я больше и не видывала: лик Еммануилов был, прямо радостный образ самого Христа-младенца. Уж я искала-искала его, ревела-ревела, обещания всякие давала: нет, как под землю ушел образок... Из себя-то он был такой маленький, складеньком, и всегда в иконостасе на первом месте стоял, потому как он у нас был родовой, и покойничек-тятенька, когда им меня благословлял, крепко наказывал: «Блюди его пуще глазу, ежели добра себе хочешь... По всему нашему роду прошел образок-то, с ним прадед наш с Керженца на Урал пришел; у прадеда-то только всего и имущества было, что этот самый образок». Так все и вышло, как покойничек-тятенька Михайло Васильич сказал... Хранила я этот образок, действительно, неусыпно и везде его из дому с собой носила. Так и замуж выходила, и замужем больше двадцати лет прожила. Детишек на ноги мало-мало успела поднять и пристроить по своим делам: девок замуж повышала, сыновей по занятиям разным... Все у нас хорошо шло, дом как полная чаша, а тут образок-то и потеряйся. И как это случилось – даже ума не приложу... Так уж, видно, господу было угодно. Перед самой эго пасхой случилось, на страстной

неделе... Уборка у нас шла по дому-то; ну, дом вон какой, – замоталась я грешным делом, а тут сунуло меня в суседи к одной старушке кардамону прихватить для соления. Так, всего-навсего вывернулась я, может, на полчаса. Прихожу домой, хватать, а образка-то и нет. Весь дом перерыли – нет образка... Ко мне в моленную, окромя ребятишек своих да одной женщины-поломойки, никто не входил. Ну, кроме этой женщины, некому взять... Согрешила, поклепала на нее – нет, говорят, не брала. Так и пошло с тех пор у нас в доме нестроенье, да вот до чего и дошли: все ушло, как дым. А я тогда с горя-то чуть даже с ума не сошла: день и ночь ревела об образке. Раз этак лежу ночью и вдруг удостоилась, грешная и недостойная раба, сонного видения одного старца. Входит он будто прямо ко мне в покои, поглядел-поглядел на меня таково строго и вымолвил: «Не умела ты, Миропеюшка, беречь своего счастья»... Только всего и сказал.

### III

История бороздинской семьи очень характерна. Как большинство раскольничьих семей, Бороздины были выходцами из России, откуда их гнали «знаки» гражданской «телесно ощущаемой власти» и «любезного никонианского духоборного суда». Это было в начале XVII века, когда Урал только еще населялся и представлял собою ту «любезную пустыню», где свободно могли укрыться по лесным дебрям, болотинам, раменью и «за великими грязями» целые тысячи «изящных страдальцев» за старую веру. Между прочим, беглые населенники облюбовали Черное озеро, и таким порядком образовалось Займище, это сильное раскольничье гнездо, сохранившееся до последних дней. В числе других бежавших из «расейских» насиженных мест был и прадед Бороздин, участвовавший в основании Займища и принесший с собой на Урал только один образ «радостного Христа-младенца».

Займище, как большинство раскольничьих выселков, быстро окрепло, развилось и превратилось в богатое промышленно-торговое село. «Ронили» кругом лес, разбивали пашни, покосы и всякие уголья, завели разный промысел, и Займище быстро воссияло, не в пример другим православным насельям и «жилам»<sup>[6]</sup>. Крепкая раскольничья

организация, артельный склад, взаимная помощь, поддержка «отъинуд» – все это вместе взятое сделало свое дело; но самым главным секретом быстрого процветания Займища являлся тот дух единения, который создается всякими гонениями, а религиозными в особенности. Итак, Займище процвело и мало-помалу сделалось самым укромным уголком для всех других раскольничьих беглецов, находивших здесь приют, хлеб и ласку. «Миленькие горемыки», бежавшие иноземной пестроты и никонианского запинания, «ухлебливались» в Займище, слушали ночное правило и старое пение и шли дальше отыскивать новые дебри, медвежьи углы и непроходимые трясины. Бороздины скоро выделились своим достатком из среды своих односельчан и крепко стали во главе ревнителей первобытного благочиния и раскольничьих милостивцев. Особенно на этом тернистом и опасном пути прославился старик Михайло Васильич, который «изрядно был болезнен о деле божьем», тем более, что ему пришлось действовать в тяжелые николаевские времена, когда на древнее благочестие посыпались дождем административные «запинания»: скиты разорялись, моленные запечатывались, книги и иконы отбирались, раскольничьих попов и старцев травили, как зайцев, и они должны были жить под вечным страхом. Михайло Васильич, благодаря своему богатству и связям, умел ладить с духовными и светскими властодержцами, помогал направо и налево и постоянно горел ревностью к своему делу. Большой поддержкой для старика Бороздина был Екатеринбург, где процветала раскольничья поповщина под крылышком сильных людей Рязановых, хотя Михайло Васильич склонялся больше к беспоповщине.

Здесь необходимо оговориться. Кроме поименованных выше внутренних и внешних условий, благоприятствовавших быстрому насаждению и развитию раскола, существовала еще одна сила, которая, по нашему мнению, имела в высшей степени важное историческое значение в исторических судьбах древнего благочестия: это выдающаяся роль, которую заняла во всех раскольничьих согласиях женщина, особенно в беспоповщине. Последняя и самая «немогущая чадь женская», отринувши свою немощь, могла принимать самое живое и деятельное участие во всех делах своего гонимого братства. Женские слабые руки с молитвой, лаской и чисто



женской ловкостью сделали то, чего не могла сделать никакая «мужская крепость»: они давали настоящую раскольничью закалку из поколения в поколение. В бороздинской семье женщины всегда имели видное положение и заправляли большими делами. По наследству эта черта перешла и к Миропее Михайловне, которая после смерти отца взяла на свои руки весь дом; она вышла замуж за небогатого человека из овоих староверов и держала мужа в руках.

Бороздинский дом под началом Миропеи Михайловны поднялся на небывалую высоту, особенно когда подросли у нее сыновья. К этому времени как раз около Займища было открыто богатое золото, и сама старушка увлеклась легкой наживой, тем более, что с первых же шагов на этом скользком пути ее «сильно поманило», то есть заявленные прииски оказались очень богатыми. Раньше Бороздины занимались отчасти подрядами, отчасти торговлей, смотря «по времени», как говорил Михайло Васильич; с открытием золота бороздинский дом закипел совсем новой жизнью и прогремел на целый округ. Но в самый разгар этой бойкой жизни бороздинский род как-то вдруг «пошел на перевод» – сыновья перемерли один за другим, умерли дочери и даже все внучата, за исключением Афонюшки. Капиталы все были вложены в дела, и Миропея Михайловна осталась почти ни с чем, едва сохранив от общего разгрома только жалкие крохи. Впрочем, молва говорила, что у старухи запрятаны чуть не целые миллионы, как говорится всегда в таких случаях. Миропея Михайловна встретила свое несчастье с христианской покорностью и только сказала:

– Бог дал, бог и взял... Господь за наши-то грехи и не это терпел.

Она не плакала, никогда не жаловалась, а только вся точно съежилась и ушла в себя. Жизнь ее еще нужна была для Афонюшки, которая осталась круглой сиротой: нужно было «поднять» девочку, а главное – дать ей бороздинскую закалку. Далее для Миропеи Михайловны исходом горя служила сложная деятельность по нуждам своего раскольничьего общества. Она вся ушла в эту работу и мало-помалу сделалась мирским человеком, к которому шли со всех сторон встречный и поперечный со всякой нуждой и задельем, за хорошим советом, а чаще всего – за хорошим словом. В бороздинском доме всегда можно было встретить кого-нибудь из ее бесчисленных клиентов, и, кроме того, у ней вечно проживали какие-то безыменные

старушки, юродивые и просто «странные люди». По раскольничьим домам этого выбитого из всякой колеи люда толпится всегда видимо-невидимо.

– Охота вам водиться с этими бродягами! – скажет кто-нибудь старушке. – Еще украдут у вас что-нибудь...

– А куда же им деться, миленький? – спросит Миропея Михайловна. – Для бога-то все равны мы, грешные... Надо же и странненьким где-нибудь жить. Ихняя-то молитва, пожалуй, будет доходнее до бога...

Раз я встретил у ней совершенно особенного субъекта. Это был парень лет двадцати, очень простоватый на вид и с каким-то детским выражением лица. Он сидел босой, в одной ситцевой рубашке и как-то глупо улыбался.

– Откуда у вас такой молодец? – спросил я.

– Этот-то? А из лесу, миленький, пришел...

– Как из лесу?

– Да так... Он совсем ничего не понимает по-нашему-то, и слов-то у него нет настоящих. Вот хлеб знает, лучину, воду, ну, так, пустяки разные. Из бегунов он... Маленьким где-нибудь выкрали, затащили в лес, да там и воспитали по-своему.

– А к вам-то как он попал?

– Да от знакомца одного получила... Имя даже у него никакого нет, братцем его звали. Ну, зовем теперь Иванушкой... Иванушка, ты чего в лесу-то делал?

Иванушка мотнул головой и певуче ответил:

– Дрова рубил, сестрица... Вокруг кадочки с водой бегал в рубахах. Лучина горит... сестрицы бегают...

– И не разберешь его хорошенько: то ли он из бегунов, то ли из хлыстов. Разумом-то уж больно прост...

– Где же его нашли?

– А на дороге увидели, с топором идет. Заплутался в лесу и вышел на дорогу. Ну, его и забрали: кто, чей, откуда?.. А у него вон какой разговор-то: сестрицы да братцы, около кадочки бегали... Давай по судам таскать, к следователю представляли; ну, побились-побились, да и отдали на поруки. Теперь у меня живет покуда...

– Что же вы с ним делать будете?

– Да так... может быть, образуется; жаль, тоже живая душа, да и любопытный. Всякого народу нагляделась на своем веку, а таких-то еще не видывала... Как есть человек от пня: разговору даже нашего не знает. Теперь вон Афонюшка грамоте его учит, – так замаялась, сердечная. Не знаю, что будет; пусть поживет пока.

Иванушка сидел на стуле и только как-то странно мычал. Лицо у него было настолько глупое, что сомневаться в его понимании было трудно. Темные волосы, полное дряблое лицо, толстые губы, какой-то вечный взгляд в сторону – все это, в сущности, не представляло ничего особенного: человек как человек, каких встретишь везде, стоит выйти на улицу. Но, вместе с тем, в Иванушке была какая-то неуловимая особенность, которая производила неприятное впечатление, по крайней мере, на меня. Есть люди, к которым чувствуешь совершенно безотчетное недоверие.

Так братец Иванушка и остался жить в бороздинском доме в качестве странного человека. Вел он себя смиренно и тихо, любил покушать и спал за троих. Занятия с Афонюшкой подвигались крайне туго, хотя Иванушка, видимо, напрягал все свои силы. Нужно было видеть их вместе, и только тогда объяснялась политика старой «баушки». Однажды мы сидели и пили вечером чай. Окно во двор было открыто. Миропея Михайловна взглянула на него и знаком пригласила меня тоже посмотреть. Картина была действительно оригинальная: в тени у крыльца сидел прямо на полу Иванушка и, видимо, лез из кожи, чтобы прочесть без ошибки какое-то мудреное слово; из-за его плеча выплядывало личико Афонюшки, серьезное и сосредоточенное не по летам. Девочка держала себя совсем как большая и даже походила на маленькую старушку.

– Слава тебе, истинному Христу! – набожно прошептала Миропея Михайловна, широко вздохнула, перекрестилась и вытерла наворачнувшуюся непрошеную слезу. – В бороздинскую кровь пошла девчурка-то...

#### *IV*

В раскольничьих делах Миропея Михайловна всегда принимала самое живое участие, а в последнее время посвятила себя им

окончательно. Да и было над чем поработать: раскол извне и изнутри подвергался самым разрушительным веяниям.

– Разве жизнь по нынешним временам? – роптала старушка, покачивая головой. – Только маются да себя обманывают... Вон какую штуку укололи паши-то займищенские с городским банком вашим; слышал, поди?

– Мельком слышал. Это о Митрофанове?

– Да, о Митрофанове... Наш ведь он, Митрофанов-то, займищенский старожил, старообрядец тоже. Ну, было у него кожевенное заведение в Займище и торговлишка в городе. Хорошо... Только как-то попал он в городскую управу да в банк. Сидел-сидел там и придумал штуку: давай займищенских мужиков наших соблазнять, чтобы они домишки свои в банк закладывали, а уж я, дескать, своим-то помогу. И началась потеха... Приходит мужик в банк и закладывает свой домишко, кто за двести, кто за четыреста, а кто и за всю тысячу (рубλικов. Митрофанов всех нахваливает, как самых справных мужиков, а сам вместо денег-то и рассчитывает их своими кожами, да еще по своей цене. Сколь же он ни хитер, прости ты меня, господи!.. Выискался же такой пес... Ну, наши-то займищенские и позакладывали своих потрохов тысяч на восемьдесят. Легкое место сказать!.. Ну, выкупить нечем, проценты нести в банк тоже нечем, – и пошли все продавать с аукциону. Продавали-продавали, да едва тысяч шесть набрали... Деньги-то мужики размотали, домов лишились, да и посиживают теперь ни у чего. Скажи ты мне, ради истинного Христа, слыханное это дело, а?.. Положим, Митрофанова судили, лишили прав и сослали куда-то в хорошее место, а все-таки наши займищенские захудали для его воровства, как последние нищие. Это как по-твоему?..

– Очень некрасиво вышло...

– Уж на что некрасивее, милушка. А главное, мужики – что ни на есть самые простые – и те на разные хитрости поднялись; вот беда-то где наша! Диви бы были они ученые какие, образованные там, а то просто все народ от пня. Да и везде это пошло, на всякие манеры поднимаются: один дом застрахует да выжжет, другой несостоятельным себя объявит, третий просто украдет здорово живешь... Ох, тошнехонько и говорить-то!.. А все оттого, что ослабел народ, шататься начал из стороны в сторону да искать, где ему

легче... Вишь, всем зараз тяжело стало, точно прежде не жили... Да еще как жили-то! Уж нынче ли не жить, кажется: слава богу, до всего, кажется, свободно, а вот ты поди, потолкуй с народом-то...

Старушка часто возвращалась к этой теме и постоянно иллюстрировала ее новыми подробностями.

– Прямо, последние времена наступают, – несколько раз повторяла она в заключение. – Чего же еще нам ждать-то остается?.. Прежде мы все православных корили за ихние поступки, а нынче и наши старообрядцы в отличку пошли: один лучше другого стараются сделать.

Уральский раскольничий мир за последнее время действительно переживает самую пеструю полосу всяческих напастей, преимущественно внутреннего характера. Возникли нелады, мятеж и свара немалые, и «сталось развратное прекословие, неукротимое рассечение и рознь даже до драки». Первые семена раскола на Урал занесены беспоповщиной и были особенно утверждены выгорецкими выходцами и кержаками; поповщина явилась после, но также утвердилась на Урале я даже перевысила беспоповщину. Затем наступило междусвященство, и опять старчество забрало прежнюю силу, чему способствовала царившая между раскольничьими попами вражда и крайне соблазнительное поведение. В самое последнее время жестоко схватились между собой екатеринбургские раскольничьи попы Трефилий и Иоанн, так что эта «пря» вызвала приезд на Урал самого Савватия, епископа тульского и пермского. Но Савватий не умиротворил, а еще больше подлил масла в пылавший огонь раздора, потому что стал на сторону Иоанна, отринув Трефилия как черноризца; между тем последний пользовался особенными симпатиями паствы. Одним словом, совершился великий соблазн, множивший новые разделения и свары.

Миропея Михайловна хотя душой и тяготела к своим излюбленным старцам, но в то же время сильно болела всеми неустройствами и рознью приемлющих священство.

– Все, миленький, от одного корня-то пошли, – говорила старушка и укоризненно качала головой. – Прежде этого не было... Нехорошо! Ох, как это нехорошо!.. Старики вздорят да тянутся промежду себя, а молодые в сторону глядят. Какой-то совсем равнодушный народ нынче пошел... Нельзя сказать, чтобы там в

православные уходили, а так как-то, все им равно. Не стало прежнего прилежания к своему, божье дело пустеет.

Но самым больным местом старушки были те секты, которые народились и нарождаются на Урале. Этого нельзя было объяснить ни равнодушием к божьему делу, ни отпадением; выходило что-то такое совсем особенное, не подходившее ни под какие рамки. Миропея Михайловна просто отказывалась понимать целую полосу народившихся религиозных веяний, потому что эти последние «новины» казались ей хуже самого заклятого никонианства.

– Воистину пестрая вера пошла! – с каким-то ужасом говорила Миропея Михайловна. – Какие-то «пахтеи» завелись, бегуны эти самые, хлысты... Ох, прости ты, господи, наши великие согрешения! А то вон в Невьянском заводе еще Лучинкова вера завелась... Сказывают, ребят воруют да лучинками до смерти затыкивают, чтобы кровь для причастия добыть.

– Все это сказки, Миропея Михайловна. Невьянские лучинковцы – те же бегуны и детей крадут, чтобы воспитать где-нибудь в лесу, вот как ваш Иванушка.

– Знаю, что басни, только иногда сумление возьмет; вон какой нынче откаткой народ пошел!

Мне особенно часто приходилось встречать в последнее время в бороздинском доме какого-то высокого мужика, который, очевидно, имел большое дело до старушки. Он всегда смиренно сидел в углу на стуле и выплядывал исподлобья; по костюму в нем сразу можно было узнать заводского «мастерка».

– Это еще что у вас за мужик? – спросил я Миропею Михайловну.

– Так, мужичок один... – уклончиво отвечала старушка, строго собирая свои сухие губы. – Из Коробковского завода он будет, – ну, иногда забредет по пути. Надоел до смерти: самый сумлительный мужичонка и упрямый... Господь с ним совсем!..

Видимо, что этот гость был из неприятных, и старушка сильно волновалась после каждого его визита. Однажды я зашел к ней в разгар очень неприятной сцены: Миропея Михайловна бегала с несвойственной ее возрасту быстротой по комнате, размахивала руками и, видимо, сильно горячилась, о чем свидетельствовали красные пятна, выступившие у нее на лице; мужик стоял у окна и смотрел, по обыкновению, в сторону, а при моем появлении сейчас же

вышел из комнаты, не простившись ни с кем. Миропея Михайловна от волнения долго не могла выговорить ни одного слова, пока я не принес ей воды.

– Что у вас такое случилось тут? – спросил я, когда старушка немного успокоилась.

– А вот видел мужичка-то? Так вот этот самый мужичок жилы из меня тянет!.. Он из неплательщиков, секта такая есть в Коробковском заводе. Только эти неплательщики жен своих не хотят знать, детишек – тоже, и все шлются на какую-то четырнадцатую статью горного устава, будто там все это обозначено, то есть и насчет податей, чтобы не платить, и относительно жен, чтобы их не считать за настоящих жен.

– Ничего там нет такого, Миропея Михайловна, да и быть не может.

– И я то же говорю. Ну, статочное ли это дело, чтобы начальство такой закон написало! А вот поди, потолкуй с ними: уперлись об эту четырнадцатую статью, как быки в стену, – и не своротишь. Да и все евангелие на русском языке читают, а старых наших книг и знать не хотят, тоже вот двуперстия... Это как по-твоему?

## V

Весной мне нужно было по одному делу съездить по недавно открытой уральской железной дороге в Пермь. Движение только что открылось, и поезд был битком набит публикой, спешившей перебраться в российскую сторону. Я взял билет третьего класса и сейчас же после первого звонка постарался занять место в вагоне «у окошечка». Публика совалась с узлами и дорожными принадлежностями из вагона в вагон, отыскивая места получше. Происходили неизбежные в таких случаях недоразумения и пререкания из-за мест, публика ссорилась, ворчала, на скорую руку прощалась с провожавшими родственниками и знакомыми и вообще сильно волновалась. Напротив меня на скамье поместился неизбежный «купец», без которого вы не обойдетесь ни на одной железной дороге или на пароходе. Такой купец непременно занимает три места и отстаивает их всеми правдами и неправдами, пока не

наткнется на какого-нибудь зубастого обер-кондуктора. Купец везде забрал большую силу и располагается на железных дорогах и на пароходах, как у себя дома, а вся остальная публика служит только некоторым дополнением к нему. Мой купец был достойным представителем своего сословия и держал себя с большим апломбом, обложившись кругом мешками и подушками, точно крепость в осадном положении. Рядом со мной – тоже купец, тоже занял два места и тоже отбивался от осаждавшей публики.

– Занято место... нельзя-с!.. Проходите дальше...

– Да у вас целых три места!

– Это женино место-с, а тут дитю... пожалуйста дальше-с!.. В следующем вагоне даже пустота...

Доверчивые пассажиры тянули к несуществовавшей пустоте, а купцы переглядывались и хихикали. После второго звонка показалась какая-то женщина с мешком в руках, и я в ней узнал сразу Миропею Михайловну.

– Места ищите, Миропея Михайловна?

– Места... Ах, да я и не признала вас сразу-то! Заморилась совсем, все обзаведение обошла, и нигде не пускают...

– Садитесь вот сюда, – указал я место рядом с собой.

– Занято-с... дитю придет, – попробовал защититься купец.

– Нет уж, пожалуйста, оставьте свои фокусы, ваше степенство...

Это моя родственница.

– Сродственница? Ну, так пожалуйста-с, мадам, а я, значит, напротив вас сяду вот к ним... По двое на лавочке и будет!..

Старушка опустила на скамью свой кожаный мешок и как-то безнадежно посмотрела кругом, как ребенок, которого «закружили» и у которого Есе вертится в глазах. Она была одета по-дорожному, в старую лисью шубку и в тяжелую, теплую шаль. Поместившись на лавочке, Миропея Михайловна истово перекрестилась сама, перекрестила окно вагона и даже купцов.

– Вы не в первый ли раз по железной дороге? – спросил я.

– В первый, голубчик... не бывала сроду, а вот привел господь. Не думала, не гадала, а довелось. До смерти и напугалась: иду по вагонам-то, а сама думаю: вот раздавят... Иду да про себя молитву творю. Ох, согрешила я, грешная...

– А далеко вы собрались?



– Я-то? Уж не спрашивай, голубчик... Сама не знаю, куда еду. Сказывают, язык до Киева доведет... В Москву пробираюсь; не знаю, как господь донесет.

– А как же вы с Афошошкой-то расстались?

– Да ведь нету у меня Афонюшки-то, голубчик...

– Как так?

– Еще перед Рождеством по осени умерла моя голубушка...

Старушка вытерла скатившуюся слезу и замолчала. В это время поезд двинулся, и она торопливо начала креститься, боязливо посматривая в окно, которое застилало клубами черного дыма.

– Ох, страсть какая!.. – зашептала Миропея Михайловна с неприятным ужасом. – Батюшки, как бы не расшибло... Больно уж стучит да и дым этот... Ежели бы знала, так ни в жисть не поехала бы... Да, по осени, голубчик, преставилась моя Афонюшка... только не совсем будто правильно. Помнишь Иванушку-то? Ну, от него и в землю пошла моя касаточка...; Чуть ведь он ее до смерти не убил, едва живую отняли. Ну, известное дело, много ли ребенку нужно... измял он ее, как медведь. По осени-то в огороде у меня уборка шла – картофель копали, лук резали. Я сама-то в подполье копаюсь, а Иванушка с Афонюшкой в огороде овощ собирают. Только так что-то у меня с самого утра сердце давило... Ну, я нет-нет да и загляну в огород. Все было ничего, а тут прихожу да так и помертвела вся... Иванушка-то завалил Афонюшку в борозду, придавил ее коленом да и душит. Господи, так у меня со страсти даже ноженьки подкосились... Не помню, как я ее вырвала у него; а Афонюшка вся синяя из лица-то, и пена на губах. Ах, грех какой!.. А Иванушка на меня тоже остребенился: я от него с Афонюшкой, он за мной; да ведь я едва ушла от него! Страшный такой, глаза кровяные, трясется... Ну, отводилась я с Афонюшкой и спрашиваю, что у них такое вышло. Афонюшка и говорит; «Ничего, баушка... Я посмеялась над Иванушкой, что у него картофель хуже, а он меня и принялся душить. Дальше уж не помню»... Сильно он повредил ее тогда, – грудку измял, горлышко издавил; ну, она, Афонюшка-то, и начала чахнуть. Как свеча тает... Все покашливать начала по ночам, нехорошо таково покашливать, да и преставилась.

– А сколько ей лет было, вашей Афонюшке-то? – спросил один из купцов, переглядывавшихся во время этого рассказа.

– Да тринадцатый годок пошел бы на зимнего Николу.

– Так-с... А из себя как она была?

– Да что же, девочка-девочкой... ребенок совсем.

– Нда-с... случается-с, ежели недосмотр. Надо было освидетельствовать...

Миропея Михайловна только теперь поняла, куда гнул купец, и вся вспыхнула: это подозрение оскорбило ее до глубины души, и она только прошептала:

– Что вы, что вы, господь с вами!.. Ребенок, ангельская душа...

– А Иванушку-то вы в суд предоставили? – спросил второй купец.

– Да ведь странненький... как представлять-то?.. Не от ума...

Ну, уж это вы совсем напрасно-с, мадам... Нужно было прямо в окружной, там бы все разобрали.

Нет уж, милушка, господь нас миловал от судов, а на суды и без нас много охотников-то... Меня ведь надо было судить-то, мой недосмотр. Уж легче бы на душе, кабы такой суд где был, а то теперь вот все и думаю да мучаюсь про себя. Два года выжил Иванушка-то у меня, все был ничего, тихий такой да покорный...

– Они, подлецы, все на одну колодку! – заявил первый купец. – Странные-то эти... Все ничего, прихрулится, как путный какой, а потом и облапошит. У нас этак же странница одна жила, Федосьей звали. Ну, для спасения души держали, а она, шельма, запон кожаный у повозки срезала да и убежала с ним... Это прежде странные-то будто точно что бывали, а по нонешним временам... не такие времена, мадам!..

Поезд мчался по холмистой равнине, которая идет от Екатеринбурга к Невьянску. Далее местность все повышается и за Кушвой вступает в настоящую горную область. По сторонам мелькали небольшие лесистые горки, торфяные болота, полосы воды и там и сям работавшие старатели.

В Невьянске наши купцы вышли.

– Хорошее было место! – печально заметила Миропея Михайловна, поглядывая в окно на расстилавшуюся картину первого по времени основания уральского завода, – Много наших старообрядцев отсюда вышло. Ну, а теперь то же, что и у нас в Займище: умаление и пестрота.

– А вы зачем в Москву, можно узнать?

– Дельце вышло одно, голубчик, – ответила старушка, оглядываясь по сторонам. – Вышло разрешение нам на моленные, значит, можем себе ставить их; ну, и везде ставят по своей силе: у вас в Екатеринбурге, в Тагиле... Еще есть боголюбивые-то народы. У нас в Займище тоже надумали моленную, ну, посудили, порядили и вырядили, чтобы наш бороздинский дом повернуть в моленную. В самой середке он стоит, осередь жила, да и крепко поставлен... Я даром его отдала, потому – куда мне дом-то. Так же стоит, а мне одну каморочку – и довольно. Еще вот Афонюшка-то жива была, так забота с ней, как и что, а теперь... Ну, а нам и не разрешили, начальство не разрешает. Отводят место за жилком. Послали в Питер особенного ходока. Хлопотал он там цельную зиму и пишет, что расходов много и что, главное, надобно сделать какому-то чиновнику ужин с французинкой... ей-богу!.. Пятьсот цалковых на ужин-то просит. Вот я и поехала сама, чтобы без французинки поужинал-то... Надо послужить миру и нашей сестре. Только еду я, голубчик, а сердце у меня не лежит ни к чему... даже весьма это грешно. Как умерла Афонюшка, точно во мне что оборвалось и точно я себе-то чужая стала... Последняя веточка от Бороздинского роду была, и та изгибла. Да и старой вере, видно, тоже конец приходит, хоть там и моленные разрешили: не стало прежнего... пестрота началась.

Странно было слушать эти речи под грохот мчавшегося поезда, да и сама Миропея Михайловна чувствовала это, с тоской поглядывая на пронесившиеся мимо нас синие дали. Все было кругом новое, все торопилось жить, – одна она оставалась в стороне, с глазу на глаз со своим старым горем, от которого ни (уйти, ни уехать, а главное – незачем было больше жить... Что может быть страшнее этого?

\* \* \*

Из своей поездки в Москву старушка не вернулась: она умерла где-то дорогой.

## Сократ Иванов\*

### Глава из романа «Железный голод»

#### I

...Сократ Иванов страшно волновался уже целых две недели. Вся петербургская плавная контора Загорских заводов тоже волновалась и по той же причине, именно – старика заводовладельца Иннокентия Павлыча Мутнова разбил паралич, и ждали его единственного наследника Павла Иннокентича, который проживал большую часть своего времени за границей. «Старик» Иннокентий Павлыч совсем не был стариком, – ему только исполнилось пятьдесят лет, но благодаря широкой барской жизни он представлял из себя ходячую развалину. Выписанный из-за границы знаменитый доктор, которому заплатили за визит двадцать пять тысяч, осмотрел больного, покачал головой и сказал:

– Вы только напрасно бросили ваши деньги, вызывая меня. Этому человеку нужно было умирать восемь лет тому назад...

Заграничная знаменитость не стеснялся и говорил это при больном, который смотрел на него непонимающими глазами и бормотал:

– Пэ-пэ-пэ!..

Сократ Иванов, в качестве близкого человека, присутствовал при этой сцене, и его душили слезы. «Господи, за что такое божеское попущение? Уж, кажется, Иннокентий Павлыч не делал ли добра – и вдруг все кончено. Добрейшей души был человек, а тут хуже несмысленного младенца. А все эти заграничные дорогие доктора довели... Чуть что – и сейчас за границу. Ох, уж эта заграница, унесла она много веку у Иннокентия Павлыча. Кажется, здоровьем бог не обидел, – когда в полку служил, все остзейские бароны удивлялись его здоровью, потому как мог целую неделю пить без просыпу, а потом ледяную ванну примет и опять, как стеклышко. Да, была сила, кажется, век бы ее не изжить... Конечно, впоследствии времени, когда

Иннокентий Павлыч перешли на одну русскую водку, они сразу начали жиреть и достигли восьми пудов веса, – так что же из того? Бывают господа и еще поувесистее. Ну, а там от театра много Иннокентий Павлыч перетерпели, можно сказать, настоящую муку принимали – и француженки, и балетчицы, и наездницы из цирка».

С другой стороны, жалея «старика», которому служил всю жизнь, как служил его отцу на уральских заводах, Сократ Иваныч рассчитывал что-нибудь получить на свою долю от нового барина, который в заводских делах, конечно, ни в зуб толкнуть. Считая себя самым близким человеком к Иннокентию Павлычу, каким он был в действительности, Сократ Иваныч имел полное основание рассчитывать, что будет как бы по наследству пользоваться благоволением и нового заводовладельца.

«Куда же он без меня-то? – думал Сократ Иваныч, перебирая в уме свои заслуги „старiku“. – Молоденек еще, в настоящий разум не вошел, да и не господское это дело, чтобы разную черную работу делать».

Заветной мечтой Сократа Иваныча было попасть в почетные опекуны или что-нибудь в этом роде, неотвественное, бесконтрольное и всесильное. До сих пор судьба к нему благоволила. Отец Сократа Иваныча был простой заводский фельдшер, влачивший самое жалкое существование благодаря запою. Сократ Иваныч выдвинулся своими редкими способностями еще в заводской школе, откуда его по протекции заводского управляющего поместили в гимназию, а из гимназии он уже сам пробрался в университет, где и кончил юридический факультет. С университетским дипломом в кармане ему, конечно, везде была скатертью дорога, но он вернулся на родной Урал и на своих заводах начал прохождение службы, переходя с места на место по лестнице довольно сложной заводской иерархии. Но все эти ступеньки, в сущности, не вели ни к чему, как понимал и сам Сократ Иваныч, но он выплыл на свежую воду, когда пришлось ликвидировать заводское крепостное право. Он сразу сделался крупной силой, потому что обставил такими непроходимыми западнями уставную грамоту, что и до сих пор заводское население ведет нескончаемую тяжбу о земле. За этот подвиг Сократ Иваныч был вызван в Петербург, где и был представлен лично самому Иннокентию Павлычу, который ни разу не бывал на своих уральских заводах. В

представлении заводского населения владелец заводов был чем-то вроде полубога, и даже Сократ Иванович испытывал какой-то суеверный страх, когда представлялся ему в первый раз Этот страх усиливался особенно тем, что здесь все говорили только по-французски, а он дальше грамматики не пошел.

– Много слышал о вас... да... – шепеляво говорил Иннокентий Павлыч, тогда еще молодой, но уже обрюзглый от полноты человек, – Да, много... Мне будет приятно работать вместе с вами... да.

Близкими людьми к владельцу тогда были один остзейский барон и польский граф без титула. Насколько добродушно отнесся сам владелец к своему заводскому самородку, настолько высокомерно встретили его эти приспешники. Они даже не подавали ему руки, и Сократ Иванович сразу понял, какую борьбу ему придется вынести с этими случайными людьми.

Попав в Питер, Сократ Иванович потянул новую ляжку. Вся контора косилась на него, как на выскочку, и приходилось иметь дело со сплоченным годами, дружным врагом. Много было неприятностей и каверз, пока Сократ Иванович преодолел все и крепко стал на ноги. Он одевался по-провинциальному и прикидывался простачком, которого только телята не лижут. Именно эта уловка и производила самое выгодное впечатление на Иннокентия Павлыча, который, хлопая верного раба по плечу, любил говорить:

– Самородок ты у меня, Сократ Иванович... да... настоящий самородок!..

Сократ Иванович носил старомодные длиннополые, с узкими рукавами, высокой талией и широким воротником сюртуки, пестрые бархатные жилеты и повязывал шею черной косынкой, брился каждый день и зачесывал волосы по-старинному – височками. За обедом он ел рыбу с ножа, брал соль пальцами, крошил в суп хлеб и шампанское закусывал соленым огурцом. Последнее приводило Иннокентия Павлыча в восторг, и он показывал своим гостям уральского самородка, как редкость. Нужно сказать, что Сократ Иванович никогда не унижался перед своим владыкой и вообще держал себя с большим достоинством. В конторе он скоро сделался силой, так что недавние враги стали заискивать перед ним и скоро почувствовали на себе его тяжелую руку. Но Сократу Ивановичу контора совсем не была нужна; у

него были другие планы и мысли, слишком далекие от канцелярской работы.

Благодаря протекции владельца, Сократ Иванович сделался известным и в «сферах». С ним начали советоваться по заводским делам настоящие особы, дельцы и даже ученые люди. Последним шагом было его появление в ученых обществах, где трактовались вопросы отечественной промышленности и где составлялись всевозможные ходатайства. Сократ Иванович и здесь не потерялся, хотя и считал нужным скрывать полученное им университетское образование. Он говорил по-сибирски на «о» и любил уснащать речь народными поговорками. Орудовавшие здесь представители науки совсем не знали провинции, и Сократ Иванович для них сделался незаменимым, золотым человеком, тем более, что он всегда точно прятал самого себя, оставляя ученым людям приятную уверенность, что они додумались до всего своим собственным умом. Он никуда не лез, не втирался, не искал протекции, не домогался влиятельных связей, а шел по своей собственной дороге спокойно и уверенно, как работает хорошо налаженная машина. Кончилось тем, что Иннокентий Павлыч начал гордиться своим самородком и слепо верил каждому его слову. И Сократ Иванович не обманул этого доверия, потому что от чистого сердца работал в интересах процветания фамилии Мутновых.

– Это мой Ришелье, – говорил про него Иннокентий Павлыч. – Уж он вывезет из всякой беды... Другого такого человека не найти.

В скромной деятельности Сократа Ивановича была прямо блестящая эпоха, именно – в разгар промышленного прогресса России, когда воссияли железнодорожные концессионеры и нарождались всевозможные акционерные общества, банки и предприятия, как грибы после дождя. Это был великий промышленный праздник, когда из ничего создавались миллионы. Приглашали и Сократа Ивановича на этот пир, но он скромно отказался.

– Где уж нам с суконным рылом в калашный ряд. Со своими-то делишками дай бог управиться...

А делишки у Сократа Ивановича были не маленькие. После эмансипации, когда отошла даровая живая рабочая сила, нужно было ее чем-нибудь заменить и заменить так, чтобы миллионный дивиденд Иннокентия Павлыча не умалился ни на одну йоту. Последнее было

слабостью Сократа Иваныча. Там, где-то далеко на Урале, делались сокращения, урезки, тысячи мелочных прижимок, а здесь, в Петербурге, получался желаемый миллион ежегодного дохода. Сократ Иваныч все предусматривал, все предвидел, и на все у него было свое средство, хотя и приходилось трудненько. Нужно было заменить расход на живую заводскую силу чем-нибудь новым. Сократ Иваныч понимал, что он, как один человек, бессилен, и что нужно было создать артель, как он называл синдикаты. Конечно, дело было нелегкое, потому что свои уральские заводчики тянули кто в лес, кто по дрова, и приходилось тащить их чуть не за волосы.

В самый критический момент, когда Сократ Иваныч готов был прийти в отчаяние, выручили его американцы, которые привезли в Нижний на ярмарку листовое кровельное железо по 1 р. 20 к. за пуд, тогда как уральское не могло продаваться дешевле 4 рублей. Американское дешевое железо произвело настоящую панику среди уральских горнозаводчиков и поневоле сплотило их. Результатом этого получилась та высокая пошлина на заграничный чугун, благодаря которой пуд чугуна, стоивший в Лондоне 14 копеек, в Петербурге стоил 1 рубль. Разница в этих ценах оставалась в карманах уральских горнозаводчиков, что делалось в интересах преуспевания русского горного дела, потому что «Россия для русских». В переводе покровительство заводчикам означало то, что русский народ ежегодно должен был выплачивать заводчикам *minimum* двадцать миллионов рублей – «не пито – не едено», как выражался Сократ Иваныч.

## II

Года за три до паралича Иннокентия Павлыча в русском заводском деле произошел неожиданный крутой переворот, которого не предвидел даже Сократ Иваныч. Вышло так, что китайской стеной пошлин на привозный из-за границы чугун они не только не обеспечили себя, а даже послужили на пользу заграничной конкуренции. Хитрый иностранный человек перевел свои капиталы в Россию, настроил на юге заводов и преспокойно начал откладывать в свой бездонный заграничный карман заграничную пошлину,



увеличивая производство с невероятной быстротой. Даже веривший всему, что скажет Сократ Иваныч, Иннокентий Павлыч заметил ему:

– А ведь того, Сократите, мы, собственно, для них поработали... А? Они в наши готовые сани сели, да и поехали... Теперь уж они вырабатывают столько, сколько мы вырабатываем при всех наших привилегиях, при даровой земле, лесах и водяных двигателях, при фабриках, созданных еще даровым крепостным трудом, а через десять лет будут вырабатывать втрое больше нашего и сожрут всю заграничную пошину. Так я говорю?

– Да-а... вообще... – бормотал Сократ Иваныч, – А мы что-нибудь придумаем...

Звезда Сократа Иваныча пошла к закату, чего не желал замечать только он один. В петербургской конторе уже чуть не в глаза смеялись над ним, особенно главный заводской юрисконсульт Миревич, человек неизвестного происхождения, выросший у него под носом совершенно незаметно, как вырастают новые зубы. Когда Иннокентия Павлыча хватил паралич, юрисконсульт при всех сказал всеильному Сократу Иванычу:

– Ну, ваша песенка спета, многоуважаемый... Вы создали в России железный голод, а придется его расхлебывать уж другим.

Сократу Иванычу пришлось вынести в жизни много, и он только улыбнулся. Очень уж смел юрисконсульт – видно, из молодых, да ранний... Не таких фендриков обламывали. Обиднее всего было то, что на стороне юрисконсульта были все служащие в конторе, чего, как опытный служака, Сократ Иваныч, конечно, не мог не замечать. Но у него уже выработалась логика избалованного счастьем человека, и он отнесся к общественному мнению своего заводского муравейника свысока. Поболтают и перестанут. Даже на юрисконсульта Сократ Иваныч не мог рассердиться по-настоящему, потому что тот умел говорить все в каком-то шутливом тоне.

«Погодите, вот приедет молодой барин, тогда увидим... – думал про себя упрямый старик. – Легкое-то перо по верху воды плавает...»

Но все-таки Сократ Иваныч волновался, особенно, когда молодой барин известил о своем приезде не его, а контору. Иннокентий Павлыч, когда уезжал на теплые воды, никогда так не делал.

Время тянулось ужасно медленно, хотя, кажется, терпению можно было научиться при безалаберном Иннокентии Павлыче, у

которого всегда было семь пятниц на неделе. Вот так же напишет, что выезжает завтра, а потом и жди его. Сократу Иванычу случалось дежурить на варшавском вокзале по целым неделям.

Можно себе представить изумление старика, когда ему доложили, что молодой барин приехал.

– Когда приехал?!

– Да уж, почитай, дня с три, – ответил его собственный секретарь.

– Три дня?! Не может быть...

– Верно-с, Сократ Иваныч...

– Как же меня не известили?

– Барин устали с дороги и приказали никому не говорить о своем прибытии. Даже в конторе никто не знал-с... В том роде, как инкогнито.

Сократ Иваныч полетел в контору. Оказалось, что там все знали, когда приехал владелец, а юрисконсульт Мирович заметил:

– Что же тут особенного, Сократ Иваныч? С каждым поездом люди приезжают из-за границы, и я не раз приезжал... Очень просто.

– Да да... бормотал растерявшийся старик. – Конечно, бывает... Иннокентий Павлыч тоже приезжал... да. Случается...

Самые маленькие служащие, еще недавно трепетавшие пред всесильным Сократом Иванычем, теперь хихикали над ним, даже не закрывая рот ладонью. Крышка Сократу Иванычу...

Новый владелец, во избежание беспокойства, остановился не в собственном доме на Васильевском острове, а в Европейской гостинице, что показалось Сократу Иванычу кровной обидой. Что же это такое в самом деле, точно приехал какой-то бедный родственник, который не знает, куда ему голову преклонить. Сократ Иваныч отправился прямо из конторы в Европейскую гостиницу и попросил доложить о себе. Вышел англичанин-камердинер, презрительно оглядел его с ног до головы и даже не удостоил ответа, хлопнув дверью под самым носом Сократа Иваныча. Оставалось только вытолкать его, Сократа Иваныча, в шею...

– Господи, что же это такое? – застонал он. – Это... это... Всю жизнь верой и правдой служил... И вдруг...

Сократ Иваныч послал свою визитную карточку и получил ее обратно.

– Никого не велено принимать, – докладывал лакей. – Они еще изволят почивать...

– Да ведь сейчас скоро два часа?

Сократ Иваныч написал письмо и не получил ответа.

Свидание состоялось только через несколько дней. Молодой владелец написал сам Сократу Иванычу, что ждет его вечером, в девять часов. Когда Сократ Иваныч приехал, то был неприятно изумлен, что у Павла Иннокентича сидит Мирович и что, следовательно, не может быть настоящего, серьезного разговора.

– Ах, очень рад, – говорил Павел Иннокентии, пожимая руку Сократа Иваныча. – Я хорошо помню вас... Прежде вы носили усы... да?

– Нет, не случилось, Павел Иннокентич.

– Ну, так баки или что-то в этом роде...

Павел Иннокентич имел наружность заграничного коммивояжера и по-русски говорил с сильным акцентом. Из наследственных признаков оставалась одна барская шепелявость, усиленная вставными зубами. Мирович смотрел на Сократа Иваныча со своей обычной улыбкой. Старик про себя обругал его прохвостом, который успел забежать вперед и предупредил его. – Да, рад... – повторял Павел Иннокентич, решительно не зная, что ему говорить с главным уполномоченным отца. – Решительно, я помню вас... Тогда вы не выпускали изо рта сигары.

– Сроду не курил, Павел Иннокентия.

– Да? Значит, у вас такой вид, как будто вы постоянно курите сигары...

Разговор получался совсем шуточный, как обыкновенно говорил Мирович. Сократ Иваныч тоже не знал, что ему говорить. Выручил Мирович, который со свойственным ему нахальством проговорил:

– А мы только перед вами, Сократ Иваныч, вели беседу с Павлом Иннокентием о нашем русском железном голоде... – Именно... да! – подхватил, обрадовавшись, Павел Иннокентия. – Ведь вы, Сократ Иваныч, если можно так выразиться, были одним из авторов этого голода...

– Помилуйте, куда уж мне, – скромно отказался Сократ Иваныч, отмахиваясь рукой. – Поумнее нас найдутся в Санкт-Петербурге люди... Старался – это было, ничего не жалел.

– Знаю, знаю... – перебил его владелец. – В прошлом году по вашему предписанию было составлено на моих заводах пять тысяч протоколов по части этих... этих... ну, как они по-русски называются?

– Покосяки и лесные росчисти... – поправил Сократ Иваныч. – Собственно, нам они не нужны, но нужно было нарушить право давности владения заводских мастеровых... Нам от этих протоколов один убыток. Специального адвоката наняли... гербовых марок сколько истрачено...

– Одной бумаги истрачено сто стоп, – прибавил Миревич. – Это тоже чего-нибудь стоит... чернила... Адвокат свои сапоги износил.

Сократ Иваныч замолчал, огорченный до глубины души этим шутовством.

– Нет, поговорите серьезно, – начал Павел Иннокентия, чистя свои ногти щеточкой. – Да, серьезно... Я знаю положение наших заводских дел и... и не желаю себя обманывать. Наше положение вполне критическое, то есть уральских заводчиков, и мы стоим на краю обрыва. Не правда ли? Скажу больше: мы собственными руками создали себе конкурентов. Я знаю, Сократ Иваныч, что вы серьезно и плодотворно поработали в этом направлении... Нашу пошлину преспокойно кладут в карман южнорусские горнозаводчики, а потом они достигнут перепроизводства и будут играть на понижение железных цен. Кажется, я выражаюсь ясно? Нам с ними трудно будет конкурировать, вернее сказать – невозможно, потому что за них всесокрушающая сила европейского капитала. Не трудно предвидеть и близящийся результат, то есть полное обесценение наших уральских горных заводов...

Нет, уж это вы позвольте... – вступился Сократ Иваныч, забываясь, что перебивает «самого».

Позвольте досказать... – мягко остановил его Павел Иннокентия. – Для чего обманывать себя? Наступает эпоха железного голода самих заводчиков, то есть на Урале. Пока мы не создали себе счастливых конкурентов на юге, мы были в цене, как единственные производители железа, а теперь роль переменялась. Но это еще цветочки, а ягодки впереди, – нашим конкурентом явится вся Сибирь, которая до сих пор служила для нас рынком. Мы потеряли все до одного южные рынки, а сейчас теряем Сибирь...

Павел Иннокентия говорил совершенно спокойно, продолжая чистить ногти. Сократ Иваныч хотел что-то возразить, но был остановлен.

– Позвольте, я доскажу свою мысль... Мне кажется, что мы упустили удобный момент, когда можно было продать заводы.

– Продать?! – в ужасе спросил Сократ Иваныч, не веря собственным ушам.

– Да, продать, – ответил спокойно Павел Иннокентия, не глядя на Сократа Иваныча. – Страшного ничего в этом нет... Вещь самая обыкновенная. Конечно, продать не так, как продают лошадь, а предварительно устроить акционерную компанию и т. д. Понимаете?

– Но ведь заводы посессионные, Павел Иннокентия?

– Вот в том-то и дело... Это тормозит развитие настоящего русского железного дела, и в этом смысле мы должны были действовать сейчас же после эмансипации, когда всякий мужик получил землю. О, тогда была эпоха широких экономических перспектив, а для государства каких-то несчастных тридцать миллионов десятин – пустяки...

– Совершенные пустяки, – подтвердил Мирович, раскуривая сигару.

Сократ Иваныч хотел что-то опять возражать, но у патрона явился сонный вид, и аудиенция кончилась.

– В другой раз как-нибудь мы кончим беседу, – заявил он, щупая свои виски. – Да, в другой... У меня невралгия.

Это была принятая им манера избавляться от надоедливых людей. Когда дверь за Сократом Иванычем затворилась, Павел Иннокентия понюхал какого-то спирта, улыбнулся и весело проговорил по-французски:

– Что я такое говорил сейчас этому старому дураку?

– Ничего, все правильно, – успокоил его Мирович. – Необходимо его подтянуть с первого раза... В сущности, в нем сейчас столько же нужды, сколько в гнилом зубе, который только мешает.

Сократ Иваныч вернулся домой в совершенно оглушенном виде, точно его ударили обухом по голове. Он понял теперь, почему Минович говорил, что его песенка спета. Да, все было кончено. Вероятно, его место при новом владельце и займет вот этот самый прохвост Минович. А сколько было трудов, хлопот, неприятностей, чтобы Мутновы получали с заводов свой миллион дохода. Сократ Иваныч в буквальном смысле выжимал его из заводов, высчитывая каждую копейку. Он был предан безгранично своим владельцам, сохранял в крови то крепостное право, в котором родился. Это был добровольный раб, не щадивший ничего, чтобы только возвеличить своих патронов.

И вдруг – нет ничего, точно остутился в яму.

– Продать заводы... акционерная компания... – бормотал Сократ Иваныч, шагая по своему кабинету.

Старик понимал, что ему незачем самому идти к новому владельцу и что нужно выждать время, когда он одумается и сам его призовет. Конечно, призовет... В этом случае Сократ Иваныч, – нужно отдать ему справедливость, – меньше всего думал о самом себе. Что ему – есть у него и свой домишко на Петербургской стороне, за который по случаю заплачено семьдесят тысяч, есть дача в Павловске, есть на черный день и маленькие деньжонки – тысконок триста. Детей у него не было, а была только одна жена Анфуса Даниловна, из своих, уральских. Для двоих за глаза всего хватит.

«Ничего мне не нужно, – с тоской думал отвергнутый патроном старик. – А для заводов мог бы поработать, и еще пот как поработать... Да, куда угодно пошел бы к другим заводчикам, и сейчас бы назначили тысконок тридцать в год».

Но разве можно изменить Мутновым? Сократ Иваныч не мог себе представить, как заводское дело могло идти без его руководства. Конечно, стоит ему только уйти, как все пойдет через пень колоду. Земля-то ведь под заводами, в сущности, казенная, и заводское население давно хлопочет о наделе. И дадут наделы... Тогда Павел Иннокентич вот как вспомнит Сократа Иваныча... Придет да еще в ножки поклонится. А теперь какой разговор: продать!

Целый месяц Сократ Иваныч ждал, ждал и думал и, наконец, придумал. Это было утром. За утренним чаем он несколько раз повторял:

– Железный голод... хе-хе! Вот я вам покажу, какой бывает железный голод... да-с.

Жена смотрела на него удивленными глазами, ничего не понимая. Она вообще ничего не понимала в его делах да и не интересовалась ими.

Чему ты радуешься-то? – спросила она.

А радуюсь, потому что весело... хе-хе!.. Придумал одну веселенькую штучку... Только я к этому форсуну, Павлу Иннокентичу, не пойду. Шалишь... Вот тебе хомут и узда, а я тебе не слуга.

Сократ Иванович наскоро оделся и отправился к старому барину, у которого уже не был давненько. Больной, конечно, был дома, забытый всеми. Домашний врач еще спал, и Сократ Иванович вошел без доклада. Больной сидел в раздвижном кресле и даже не посмотрел, кто вошел в комнату.

– Голубчик, Иннокентий Павлыч, ведь это я... – говорил Сократ Иванович, трогая его за плечо.

Больной повернулся к нему лицом и забормотал:

– Пэ-пэ-пэ!..

– Да, да, я самый!..

Придвинувшись совсем близко и оглядевшись осторожно кругом, Сократ Иванович заговорил, быстро роняя слова:

– А ведь я придумал штуку, Иннокентий Павлыч. Теперь, значит, крышка всем этим южнорусским заводчикам. Будет, поиграли... Пора и честь знать.

Больной проявил желание подремать, и его голова свесилась на один бок, но Сократ Иванович взял его за плечо и заставил слушать.

– Пэ-пэ-пэ! – уже сердито бормотал он, напрасно стараясь освободиться.

– Совершенно верно-с, Иннокентий Павлыч, изволили выразиться: мы им пропишем пэ-пэ!.. И как просто все... – Он придвинулся еще ближе и прошептал больному на ухо: – Ведь Россия для русских... да? Мы этих южнорусских заводчиков и заставим принять православие, да чтобы по два раза в год каждый говел... Так-с? Народ все упрямый, ну, они и уберутся в свою за границу, как тараканы из нетопленной избы...

В дверях стоял доктор и отчетливо слышал все, хотя Сократ Иванович и говорил шепотом.

«Ну, и этот готов», – думал он, поднимая брови.



## В последний раз\*

### Повесть

#### I

Маремьяна Власьевна убиралась на дворе и ворчала:

– Тоже, гость называется... И гость свое время должен знать. А мой-то Семеныч и рад лясы точить хоть до утра... тьфу!.. Вон и двор не прибран, и овса надо прикупить, и сена только-только осталось; а вдруг обоз придет?.. С гостями-то просидишься как раз...

Высокая, рослая и полная женщина, Маремьяна Власьевна не походила на загнанную бабу и напрасно жаловалась на мужа. Так просто хотелось поворчать бабьим делом.

Она несколько раз заглядывала в окошко чистой половины, где останавливались проезжающие почище, и видела, как за большим самоваром, какие подают только на постоянных дворах, сидит все та же компания: муж Гаврила Семеныч, сосед Огибенин и проезжий гость, плотный, немолодой человек, одетый по-городски, в серое суконное пальто, подпоясанное гарусным шарфом.

– И о чем, подумаешь, разговаривают... тьфу! – ворчала Маремьяна Власьевна, проходя сенями в мелочную лавочку, где торговала вдовая дочь Душа.

Ей казался подозрительным неизвестный гость. Ох, и нанесет худого человека, тоже не обрадуешься; а Семеныч прост!

– За водкой не посылали, Душа? – спросила она сердито.

– Гость посылал, а только тятенька не пьет. Огибенин так рюмку за рюмкой и хлещет.

– Ну, этому в самый раз!

Маремьяна Власьевна присела на скамеечку и с жалостью посмотрела на дочь. Какая-то она ледащая да нескладная вся и старше своих лет кажется. Уж, кажется, голодом никто не морит, и работа не тяжелая сидеть в лавке, а все чахнет. Вон купчихи или торговки на

базаре – в коже места нет. Напустил кто-нибудь на Душу сухоту, не иначе дело. Мало ли худых людей на свете!

На «чистой половине», действительно, шел самый оживленный разговор. Старик Огибенин, с испитым хищным лицом и жилистой шеей, горячился больше всех, размахивал руками и выкрикивал хриплым голосом:

– Господи, да ежели бы сила-мочь, да всю бы округу перевернули вверх дном!

Хозяин Гаврила Семеныч держал себя солидно и говорил сдержанно, поглаживая окладистую темную бороду. Он сидел в одном жилете с ситцевой рубахой-косовороткой навывпуск, как носят городские мещане. Худошавый, высокий, с решительным взглядом небольших серых глаз, он производил впечатление именно солидного человека, видавшего виды. Даже и чай он пил как-то солидно, не торопясь, аккуратно откусывая сахар. Гость был купеческой складки, коротенький, с заплывшими глазками и гнилыми зубами... Время от времени Огибенин в подтверждение своих слов обращался к нему:

– Уж Гаврила Семеныч знает, он всю округу наскрозь знает...

– Чего же тут не знать? – скромно отзывался Гаврила Семеныч. – Всем известно, слава богу... Кто не знает, отчего разорились Курчаевы? И очень просто... У них золото шло гнездовое, а они разведку закатали по всей россыпи шахматом. Ну, где шурфом-то угодишь прямо на гнездо?.. Бились-бились, денег издержали уйму, а под конец и обессилели. Тыщ пять проработали, а потом едва за пятьсот рублей продали прииск Мелькову.

– А тот близко восьмидесяти тысяч нажил, – дополнил гость хозяйскую речь. – Действительно, дело известное... Может, и не хватало-то сотни, другой.

– Вот-вот! – выкрикивал Огибенин. – Тоже взять Теленковых... Верное дело было, натакались<sup>[7]</sup> на постоянную жилу, а силенки-то и не хватило!

– Ну, у Теленковых особь статья вышла, – остановил его Гаврила Семеныч. – Несуразный человек сам-то Арефий... Ему все подавай дело с маху, а это не манер. Золото-то к рукам идет тоже, а не зря.

Оказалось, что гость хорошо знал и дело Теленковых... Справная была семья, а теперь вконец изнищала.

– Подвел их Лука Саввич Прохоров, – объяснил он, покачивая головой. – Все обещал помочь, а как дело коснулось, – он сейчас, например, в кусты. Теленковы-то и остались на бобах.

Маремьяна Власьевна не утерпела и вошла в избу, чтобы послушать, о чем говорят. По выражению лица мужа она догадалась, что и он относится к гостю недоверчиво. Это ее успокоило. Старуха недолюбливала вообще этих проклятых разговоров о золоте.

– Все-то у вас золото на уме, – проговорила она, не обращаясь лично ни к кому. – Аники-воины!

– И будет золото, кума!.. – заплетавшимся языком ответил за всех Огибенин. – Ивана Панфилыча Оглоблина забыла? Вот так же сидел со мной на лавочке и даже очень горевал; последний у тещи вымолил четвертной билет; а теперь на тройке разъезжает, дом двухэтажный имеет... Вот оно какое, золото-то, бывает!

– Это ему, надо полагать, теща наворожила золото-то, – заметил с улыбкой гость. – Не иначе дело... От ихнего брата, баб, тоже много зависит, ежели другой человек ослабеет и начнет бабу слушать.

– А вот это уж ты напрасно говоришь! – сердито оборвала Маремьяна Власьевна шутивого гостя. – У мужиков-то у всех одна вера: поколь у него деньги, так и шире его нет; и жена нипочем; а коль промотал деньги, – ну, сейчас оглобли-то и поворотил к жене.

Гаврила Семеныч не вступался в этот разговор, а только нахмурился. Не любил он пустых бабьих слов.

Маремьяна Власьевна отлично знала, что такое значит, когда муж молчит, и ушла.

Весенний день кончался. Гаврила Семеныч зажег жестяную лампочку и молча слушал пьяную болтовню захмелевшего Огибенина.

– Эх, и нет же лучше места, как наш Миясский завод! – повторял старик, точно кто-нибудь с ним спорил. – Вот какое местечко господь уродил: направо – золото, налево – золото, кругом золото... На, получай, ежели у тебя есть умственность! Конечно, Златоуст – город, например, и Челябинка – тоже, а какая им цена? Так, одно звание... По всему Уралу такого удобного места не сыщешь, как наш Миясский завод! Так я говорю, Гаврила Семеныч?

– Говорить все можно, – уклончиво ответил Гаврила Семеныч, поглаживая бороду. – Мало ли золота по Уралу, особливо на севере...

– Ах, то совсем даже наоборот, Гаврила Семеныч... – захлебываясь, спорил Огибенин, – Бывать не бывал, а только слухом земля полнится. И золото тоже золоту рознь... Возьми теперь в степе золото, ну, Кочкарь – опять свой манер, а супротив нас не выйдет!

– Получше нашего-то будет, – вставил свое слово гость. – И даже весьма получше... В Кочкаре жильное золото работают, ему и конца-краю не будет. Возьмите промысла Подванцева или Екатеринбургский прииск: на сто лег золота хватит. Да... А у вас кругом все россыпи. Сегодня есть, а завтра – тью-тью!

– К казенному золоту большие деньги нужны, – объяснял Гаврила Семеныч. – Чего одна шахта стоит? А тут паровую машину ставь, чтобы воду отливать, тут тебе бегуны и прочее. Больших это все тысяч стоит.

Разговор завязался серьезный, и были разобраны все золотые промыслы Южного Урала по ниточке, где, что и как. Особенно хорошо были известны ошибки неудачников золотого дела.

– Да что тут говорить! – заявил Гаврила Семеныч, поднимаясь с лавки. – Я сам раз с пять зорился на этом самом золоте и могу вполне соответствовать.

Откуда-то явилась вторая бутылка водки, и Гаврила Семеныч «разрешил». После двух рюмок он сразу покраснелся.

– Что вы меня учите? – говорил он. – Ученого учить – только портить... Сами отлично все можем понимать и соответствовать. Тоже на золоте выросли сызмальства... Слава богу, всяких народов насмотрелись вполне достаточно и можем понимать, что и к чему. Всю округу вот как понимаем...

– Ах, господи! – подобострастно выкрикивал Огибенин. – Ежели, примерно, родительского дома не пожалели, Гаврила Семеныч...

– А что мне родительский дом? – азартно заговорил Гаврила Семеныч, ударив себя в грудь. – Своих трех домов не пожалел... да! Ежели считать, так и не сосчитаешь, сколько тут капиталу убито. Одним словом, зараза! Нет, брат, я это дело вот как знаю!..

Он даже стукнул кулаком по столу. Гость тоже покраснелся и смотрел на него прищуренными, улыбающимися глазами.

– Да, что же делать! Случается... – соглашался он, потирая жирной ладонью свою круглую коленку.

– Бывает?! – уже выкрикивал Гаврила Семеныч. – Конечно, дураков учат и плакать не велят... Верно!.. Ну, а теперь пусть кто-нибудь надует Гаврилу Семеныча Поршнева? Хе-хе!..

## II

Гость остался ночевать.

– Кто он такой будет? – спрашивала Маремьяна Власьевна мужа. – Откуда взялся?

– А кто его знает, – уклончиво ответил Гаврила Семеныч. – Сказывал, что с Сойминских промыслов едет в Кочкарь.

– А зовут как?

– Зовут-то Егором Спиридонычем Катаевым. По торговой части занимается...

– Оно как будто и не похоже. Очень уж он допытывался о нашем мясском золоте...

– Кто его знает, что у него на уме? Сказывал, что едет куда-то на Балбук... Пали слухи, будто башкиры обыскали золото в верховьях реки Белой.

– Вот, вот!.. В самый раз ему прикачнулась печаль о чужом золоте!

– Не наше дело, – строго остановил жену Гаврила Семеныч, – Мало ли чужестранных народов у нас по золотым промыслам околачивается! Может, у него легкая рука на наше-то золото. Случается... Вон екатеринбургские купцы как поднимают Кочкарь: деньги прямо лопатой гребут. Из Невьянска тоже и прочие...

Утром на другой день Гаврила Семеныч поднялся рано, как всегда, наскоро напился чаю и ушел с гостем на базар. Последнее опять обеспокоило Маремьяну Власьевну.

А весеннее утро было отличное. Стояли последние числа апреля, и снег везде стоял. Начали распускаться вербы и березы. По низинам около воды высыпала первая зелень. Улицы в Мясском заводе в буквальном смысле тонули в грязи, и возы с кладью приходилось иногда добывать из нее бастрыгами и прочим дрекольем.

– Время-то какое... а? – повторял Катаев, любовно глядя на далекую линию гор. – Вода тронулась... Самое время теперь работать

на промыслах. Огнем горит работа...

– Это уж что говорить, – соглашался Поршневу. – Вся сила в воде... Так, говоришь, обыскали башкиришки золото на Белой?

– Богатое золото, сказывают... В самой верхотине реки, где она выпадает под Чи-Ташем.

– Случалось, бывал. Это за Терebinском будет... Ох, и народец только там живет, первые воры на всю округу!

– Ну, и по другим местам тоже рта не разевай, Гаврила Семеныч! Известно, промыслы...

– Да, случается... Я еще на Кумышаке бывал, Егор Спиридоныч.

– Ну-у?., Катаев даже остановился. Даже в летописях Южного Урала, где добыто много золота, прииск Кумышак являлся чем-то сказочным.

– Да, был... В горе башкиришки обыскали вот какую жилу! Прямо наверх вышла. Ну, только башкиришкам от нее ничего не досталось, потому как дача-то приграничена к Балбуку, значит, Базилевскому. Работы поставили кое-как, – смешно было смотреть... Кварц-то был облеплен золотом, точно пчелами. Его толкли прямо в чугунных ступах, и не золото толкли из кварца, а кварц из золота.

– Пудов с десять золота добыли, сказывают?

– Около того... А как поставили настоящие работы, – шахту ударили, бегуны устроили и прочее, – жила сразу изубожилась.

– Расщепилась?

– Да... Много тут денег даром было потом-то заколочено, да толку не вышло.

– Это уж всегда так бывает, ежели в жиле видимое золото. Выбрали гнездо – и прощай! В настоящей крепкой жиле крупинки не увидишь золота...

На базаре Катаев обошел все лавки, где можно было купить разную приисковую снасть: ломы, лопаты, кайлы, веревки и т. д. Он приценился к товару, и видно было, что человек знает свое дело до точности. Поршневу указал ему, где можно заказать тачки, приисковые таратайки, вашгердты, насосы. В общем всего на прикидку выходило рублей на шестьсот с хвостиком, да еще надо было прикинуть провоз.

– Ну, провоз-то пустое, – заметил Катаев. – Все равно придется купить штук пять своих лошадеенок, три – четыре телеги, – сами свезем.

Прикинув все в уме, Поршневу сообразил, что дело по расчету подходит к тысяче рубликов. «Ох, круглая денежка!..» Про себя он даже пожалел Катаева. Как раз мужик в петлю головой залезет, а что будет – еще неизвестно. Но ему нравилась обстоятельность гостя и какое-то особенное, деловое спокойствие. Вот таким людям и золото в руки... В душе Гаврилы Семеныча заныло что-то забытое, старое, обидное. Он припомнил свои личные неудачи и последовательный ряд разорений. Конечно, глуп был, не понимал настоящего дела, да и добрые люди помогли.

Домой с базара они вернулись только к обеду. Гость остался еще на день, чтобы выехать завтра пораньше утром. За обедом опять шли разговоры о золоте и промысловом деле.

– Да будет вам! – ворчала Маремьяна Власьевна. – Слушать-то тошнехонько...

– А ты и не слушай! – резко оборвал ее Гаврила Семеныч, начиная сердиться на жену. – Ведь никто не неволит. У нас свои разговоры, и не вашего бабьего ума это дело.

Маремьяна Власьевна обиделась и замолчала. Но Гаврила Семеныч разошелся и, стукнув кулаком по столу, проговорил:

– И те дураки, кто вашего брата, баб, слушает!.. Да... А я вот возьму да вместе с Егором Спиридонычем и махну на Белую. Ей-богу, уеду!.. Что я тут сижу дома, как чирей?! С по-стоялым-то и без меня управишься; а я, даст бог...

– Гаврила Семеныч, голубчик, не снимай головы! – завопила Маремьяна Власьевна, бросаясь в ноги мужу, – Прости глупую бабу на скором бабьем слове!..

– Ладно, отвяжись!.. Довольно уж мне тебя слушать-то. Досыта наслушался... Добрые люди дело делают, а я сижу да свою бабу слушаю! А вот поеду – и конец тому делу!

Из кухни, где обедали, дверь со стеклянным окошечком вела в лавку, чтобы на всякий случай видно было, что там делается. Когда в этом окошечке показалось испуганное лицо Души, Гаврилы Семеныч окончательно рассвирепел и, оттолкнув валявшуюся у его ног жену, набросился на дочь:

– А тебе что нужно?! А?! Да я вас всех вот как распатрону!..

Одним словом, Гаврилы Семеныч так разошелся, что гостю пришлось его успокаивать:

– Перестань грешить, Гаврила Семеныч! И разговор-то самый нестоящий... Ну, съездим, ну, посмотрим, а там, примерно, как есть ничего нет, – ну, с теми же глазами и домой возворотимся. Ты, Маремьяна Власьевна, даже совсем напрасно беспокоишься... Надо сказать так: сейчас все реки играют, а нам надо переезжать через реку Урал. Положим, она в верхотине даже очень невеличка, и курицы ее вброд перейдут; а по веснам она вот как играет, когда с гор поляя, вешняя вода скатится. Не дай бог!.. А мостишко дрянной, – по нему, пожалуй, сейчас и не проедешь.

– Да я ничего, поезжайте с богом!.. – со слезами в голосе говорила Маремьяна Власьевна. – Я ведь не перечу.

Несмотря на эти умиряющие слова, Гаврила Семеныч все-таки не мог успокоиться и тяжело дышал. Он не верил притворному согласию жены.

Как на грех, в самый критический момент в дверях показалась голова старика Огибенина. В обыкновенное время Гаврила Семеныч не обращал на него внимания и даже относился к нему, как к пустому и нестоящему человеку, а тут так и набросился, точно родной брат пришел.

– Да, старик... то есть в самый раз!.. Ах ты, мой милый!..

Обняв ничего не понимающего Огибенина, Гаврила Семеныч любовно проговорил:

– Вот человек... Господи, да ежели бы ему деньги!.. Так говорю, Савва Яковлич?

– Действительно, Гаврила Семеныч... весь изнищал... – бормотал Огибенин. – Можно сказать, превратился в образ червя, который одной землей питается...

– Вот, вот!.. Ничего, старик, в некоторое время ты нам годишься. Егор Спиридоныч, да это такой... такой человек, который, пряменько сказать, на два аршина под землей видит. Что поделаешь, беднота заела... Вот и пропадает, как червь... Мы и его с собой захватим, Егор Спиридоныч! У меня и тележка подходящая есть... Заложим парочку и махнем. Огибенин за кучера...

Огибенин охотно соглашался со всем и только опасливо поглядывал на Маремьяну Власьевну, которая сидела в стороне на лавке и не вступалась больше в разговор. Она рассчитывала умолить мужа ночью. Они по старинке спали на одной перине, и без



свидетелей легче было говорить. Но Гаврила Семеныч увел гостя на чистую половину, велел поставить самовар, и Маремьяна Власьевна не могла его дождаться.

– Ох, беда бедовая!.. – плакала старушка. – Головушка с плеч...

### III

Утром поднялись чем свет. Гаврила Семеныч торопился, точно на пожар. Маремьяна Власьевна не утерпела и накинулась на него:

– Бога ты не боишься, Гаврила Семеныч!.. Кто мне пред образом клялся, что в последний раз на золоте разорился? А ты опять за то же... Всё разоришь и всех по мирупустишь!

Поршневу собирался молча, не обращая внимания на жену, что ее окончательно вывело из себя. Когда он стал запрягать в телегу гнедого киргиза, она схватилась за узду.

Не дам Гнедка!.. Мой Гнедко!.. Какая теперь дорога-то, разбойники вы этакие?.. В один день по распутице изведете лошадь... А мы другую подпряжем, глупая! – спокойно ответил Поршневу. – Гнедко в корню, а в пристяжке пойдет Воронко... Огибенин, орудуй! Разбойники вы все, вот что! – кричала Маремьяна Власьевна на весь двор. – Погубители!..

Катаев попробовал было уговорить расходившуюся старуху, но только махнул рукой.

– Ты-то к чему прикачнулся, оборотень?! – вопила она на него. – Откуда тебя нелегкая принесла?.. Чтобы тебе ни дна, ни покрышки, окаянной душе!..

Досталось по пути и старику Огибенину, который спорить и возражать по бедности не мог, а только встряхивал головой. Он и не рад был, что попал в хорошую компанию, потому что постоянно случалось одолжаться у Маремьяны Власьевны, а теперь и на глаза к ней не показывайся! Баба характерная, живьем съест, ежели расстервенится.

Все вздохнули свободнее, когда выехали наконец из ворот поршневого дома. Маремьяна Власьевна бежала за телегой по улице и что-то кричала, грозила кулаком и вообще неистовствовала, как сумасшедшая. Гаврила Семеныч угрюмо молчал. Ему было немножко

и совестно перед посторонними людьми и обидно за взбесившуюся жену. Что же, кажется, он хозяин в своем собственном доме, и никто ему не смеет указывать...

– Через недельку вернемся, – говорил Катаев. – Еще неизвестно, что там...

– Не таковское дело, чтобы его наверняка делать, – спокойно отвечал Поршневу. – Конечно, баба не понимает ничего... Ну, что я буду мерить овес да выдавать сено ямщикам, – и без меня обойдутся. Засиделся я дома-то, набаловал жену, – вот она и дичит, как оглашенная. Ничего, обойдется...

В сущности, действительно, Маремьяна Власьевна совершенно напрасно так беспокоилась. Между Катаевым и Поршневым даже не было никакого серьезного уговора по части золотого дела, и своим вмешательством она только подлила масла в огонь. Гаврила Семеныч просто хотел встряхнуться и подышать свежим промысловым воздухом. Сказалась вечная промысловая тоска о не дававшемся в руки счастье. А сейчас он сидел в телеге и думал запавшей в голову одной фразой: «А что, я не хозяин в своем доме? Слава богу, не дом меня нажил, а я его».

Весенняя дорога была тяжелая, и на третьей версте сильный коренник уже «задымился» от пота.

– Ничего, подберется, – говорил Огибенин, отвечая на тайную хозяйскую мысль Гаврилы Семеныча. – Застоялись у тебя лошади...

Дорога шла на юго-запад, пересекая волнистую равнину, в глубине которой красиво громоздились горы. Картину портило полное отсутствие леса. А когда-то здесь был настоящий вековой башкирский «урман», то есть непроходимый лес. Но в «некоторое время» он был безжалостно истреблен на потребности открытых еще в «казенное время» золотых промыслов, знаменитых по своим богатствам даже в летописях Урала.

Остатки вековых башкирских боров были окончательно истреблены самым безжалостным образом частными золотопромышленниками.

В первый день едва сделали верст шестьдесят и заночевали в открытом поле. Поршневу опять не хотелось, чтобы знали о его поездке, и даже отворачивался, когда по дороге кто-нибудь встречался. Узнают и будут болтать, что Поршневу опять поехал золото искать. Примета

самая нехорошая. Когда уже были на стану и сидели около огонька, подъехал кто-то верхом. Начинало темнеть, и Поршневу не сразу узнал вершника.

– Мир на стану, Гаврила Семеныч!..

– Мир дорогой!..

– Куды наклался, на ночь глядя?

– А так... дельце наклевалось... Да это никак ты, Артамон Максимыч?

– Около того... Аль не узнал?

Это был знаменитый гуртовщик Гусев, поставлявший на промыслы киргизских баранов и быков. Он грузно спешился, со всеми поздоровался и особенно пристально посмотрел на Катаева.

– Из подрядчиков будете? – спросил он.

– Да, около этого...

– Коней у нас угнали, вот какой подряд выходит, – солгал Поршневу. – Едем в Терebinск выкупать.

– Дело известное... Терebinцы – первые конокрады, почище башкирцев будут.

Поршневу чувствовал, что Гусев не верит его выдумке, и был рад, когда он уехал.

– Отчаянная башка! – ворчал он, когда затих лошадиный топот. – Ведь все знают, что он с деньгами ездит... Ночное время, а в поле один Никола бог.

Огибенин задал лошадям сена и, свернувшись клубочком у огонька, сейчас же заснул. Катаев достал из внутреннего кармана завернутый в платок кусок змеевика со вкрапленным в него золотом, которое можно было рассмотреть простым глазом. Поршневу долго рассматривал этот мудреный камень «со знаками» и только покачивал головой.

– Не случалось такой оказии видеть, Егор Спиридоныч... Настоящее жильное золото обязательно в кварце.

– А кто ему указал непременно в кварце быть? Это змеевик-камень. Я показывал его знакомому штейгеру, – он одобрил и даже весьма. «Хоть бы, – говорит, – пес, да яйца нес». У меня заявка сделана уж года с два, да все как-то руки не доходили. А вот нынче собрался и своего паренька туда послал еще перед пасхой, чтобы орудовал.

– Вязковат камень-то, Егор Спиридоныч! Трудно его будет из породы добывать, да и золото из него тоже не скоро выковыряешь.

– Ничего, добудем! Жила идет вершков в десять ширины...

Определенных переговоров и условий раньше не было сделано, и будущие компаньоны уговорились тут же, около огонька.

– Да и какой разговор, Гаврила Семеныч? Моя половина, твоя половина – вот и все слова. А там уж что господь пошлет...

Поршневу долго не мог заснуть. Его охватывала все сильнее и сильнее золотая лихорадка, и он для собственного оправдания перебирал в уме десятки имен тех счастливцев, которые разбогатели на золоте. Ничего не было, одолжали по десяти рублей, а сейчас и рукой не достанешь. В то же время ему представлялась плакавшая жена, и Гаврила Семеныч только подавленно вздыхал. Ну что же, действительно, тогда и клятву давал перед образом и всякие неподобные слова говорил, – было дело, только все это делал в отсутствии ума. И жену Маремьяну Власьевну пожалел Гаврила Семеныч. Что же, век вековали, баба настоящая, сурьезная, все равно, как медведица в дому. Все ухранит, сбережет, усмотрит, – ни синь-пороха не пропадет.

Бывают ночные мысли и бывают дневные. Утром Гаврила Семеныч проснулся бодрым и веселым. Его охватило то особенное настроение, которое дает только бойкая промысловая жизнь. Да и кругом уже все было очень хорошо. Вчера ехали целый день по казенным золотым промыслам, где работы велись точно на парад. Зимой снимали верховики, а с весны начинали работать россыпи. Конечно, матушка-казна ухватила самые лучшие куски, но и партикулярные люди не дремали. Поршневу опытным промысловым взглядом взвесил каждую работу и только любовался. Везде золото, и дорога шла по золоту. Сколько лет работают добрые люди, а золота не убавилось. Да еще мало ли золота лежит в земле «на счастливого»? Только надо уметь его взять...

За казенными промыслами начиналась площадь частных. Тут орудовали неизвестные питерские люди, которые сами никогда и в глаза не видали своих приисков, а за них орудовали поверенные, управляющие и разная приисковая челядь.

– По золоту едем, Егор Спиридоныч! – повторял Поршневу. – Инженеры-то в белых перчатках только жалованье умеют получать.

На пути попадались глухие башкирские деревушки, ютившиеся по берегам горных озер и впадавших в них речонок. Все это была вымирающая, отчаянная гольтьба, кое-как питавшаяся около золотых промыслов.

Фунта земли не пашут, – негодовал Катаев, на глаз оценивая башкирскую бедноту. – Ни с чем несообразный народ... Сдадут свою землю в аренду за расколотый грош под промысла, да сами же и нанимаются в работники.

– У него душа короткая, у башкирца, – объяснял Поршневу. – Где же ему пашню поднимать? Он поработал день – два, много – неделю, и, например, сейчас расчет подавай!

#### IV

– Мне нужно заехать в Поляковку, – заявил утром Егор Спиридоныч, когда Огибенин распряг лошадей.

Это было в сторону от дороги в Терebinск. Получался крюк верст в десять. Да и разговора об этом раньше не было. Поршневу ничего не сказал, хотя ему именно в Поляковку и не хотелось ехать, потому что там у него было много знакомых.

– А мы вот как сделаем, – решил Катаев, – ты поедешь, Гаврила Семеныч, прямо в Терebinск, а пока вы там будете кормить лошадей, я вас догоню. Дельце есть маленькое в Поляковке, – нужно повидать одного человека... Вы меня довезете до Балбука, а там я пешочком доберусь.

Балбук являлся центром громадного района, где сильной рукой работала компания Базилевского. Промысла занимали арендованную у башкир землю в несколько сот тысяч десятин.

Дело было старинное, испытанное и давало верный доход. Поршневу бывало на этих промыслах по разным делам сотни раз и знал все, как у себя в кармане.

Высадив Катаева под Балбуком, Огибенин обернулся к Поршневу и сказал:

– Финтюрит он...

– Не наше дело, Савва...

Огибенин только тряхнул головой. Он почему-то вдруг невзлюбил Катаева и про себя назвал его «темной копейкой» был казенный медный рудник, и сейчас можно было еще видеть запущенную, обвалившуюся шахту. Терebinцы не пользовались особенно хорошей репутацией, а славились как завзятые конокрады, переправлявшие лошадей с одного склона Урала на другой. Поршневу не раз случалось бывать здесь по делам. Он остановился у одного знакомого, который сразу догадался, в чем дело.

– Катаевский змеевик приехал плодать, Гаврила Семеныч?.. Его надобно зубами грызть... Никакая снасть не берет.

– Так, вообще... Полюбопытствовать охота, – условно признавался Поршневу. – Где уж нам золото добывать... Простого ходим, ногой за ногу запинаемся...

Катаев приехал верхом, когда уже на столе весело кипел самовар. Он был весел и все время шутил.

– Люблю терebinцев, – говорил он, подмигивая. – У них какая вера: сам сыт – конь голоден, конь сыт – сам голоден... хе-хе!.. Почище башкирцев выходит...

Поршневу не любил шутить вообще и молчал.

Они переночевали в Терebinске, а ранним утром на другой день отправились на «змеевую жилу», как Поршневу называл про себя новый прииск.

Перед отъездом Огибенин устроил настоящий скандал. Когда Поршневу велел ему запрягать лошадей, он отказался наотрез.

– И запрягать не буду и коней не дам, – заявил он самым решительным образом. – Вот тебе и весь сказ...

– Да ты сбесился, старый черт?! – обругал его Поршневу.

– Сказано: не дам. Это ты сбесился, а не я...

– Да ведь кони-то мои?

– Кони твои, а отвечать-то за них Маремьяне Власьевне должен я...

Сначала Поршневу вспылит, а потом одумался. Пришлось взять терebinских лошадей.

– Вы поезжайте, а я по колее за вами и пешком дойду, – говорил Огибенин. – Не угоните от меня далеко...

Действительно, угнать было трудно, потому что приходилось ехать «в дело», то есть без всякой дороги.

– Ничего, пусть пройдет, – шутил Катаев. – Для аппетита это весьма полезно..

От Теребинска ехали битых два часа. Здесь горы точно перепутались между собой, и приходилось делать объезды.

– Зимой-то совсем близко, – утешал Катаев. – А теперь вон как и настоящую-то дорогу развело...

Новый прииск Катаев назвал «Змеевиком». Он залег в горном ущелье, на берегу безымянной горной речонки. Издали можно было рассмотреть несколько новых построек – небольшая казарма для рабочих, контора, амбар для разной приисковой рухляди, конюшня с навесом и т. д. Золотоносная жила «выпала» прямо в скале, выступавшей к речке каменной грудью. Место было красивое вообще.

– Ну, вот мы и дома, – весело говорил Катаев, когда лошади остановились у самой конторы. – Эй, человеки, кто есть жив?

В окне конторы показалось очень миловидное девичье личико, улыбнулось и скрылось.

– Вон какая у меня птаха приспособлена, – шутил Катаев. – Татьяной звать...

– А для чего она на прииске живет? – спросил Поршневу, нахмурившись.

– А шти кто нам будет варить? Я люблю, чтобы все было в аккурате...

– Молода, штобы в лесу-то одной жить...

– Не одна живет, а с добрыми людьми. На что нам старух-то?..

Из-под навеса показался белобрысый парень, прихрамывавший на левую ногу. Он даже не поклонился хозяину, а только что-то буркнул себе под нос.

– Ну, Миша, принимай гостей!.. Как у вас дела?

– Два хомута третьева дни украли...

– А рабочие где?

– Ушли ночью. Они хомуты-то сблаговестили...

Катаев начал ругаться, а Миша угрюмо смотрел куда-то в сторону, не выражая никакого желания оправдываться.

Контора была выстроена на живую нитку, как все приисковые постройки, и делилась на две половины; в большей была контора, а в меньшей – кухня. Пока Татьяна ставила самовар, Катаев повел показывать жилу. Она проходила неправильной полосой прямо в

камне. Правильной работы еще не было, а только делались пробы в том месте, где прослойка змеевика вспучило и образовался довольно большой желвак.

– Это к есть твоя жила? – спросил Поршневу, тыкая палкой в змеевик.

– Она самая, Гаврила Семеныч... Змеевик – камень мягкий, хоть зубами его грызи!

– Да, тут, действительно, надо зубами выгрызть твое золото, – решил Огибенин тоном специалиста. – Самый вредный камень... Кварц трещину дает, если его порохом или динамитом рвать, а тут будет только воронки вырывать. Я видел такую-то одну жилу...

Жила не понравилась и Поршневу, но он промолчал.

В конторе их уже ждал кипевший самовар. Татьяна не показывалась, и Катаев насильно вывел ее за цуку.

– Ну, иди, иди, пирожница!.. – уговаривал ее Катаев. – Покажись добрым людям.

– Отстань, смола! – довольно сурово ответила девушка, стараясь освободиться. – Ты вот постыдись лучше добрых-то людей...

Поршневу заметил, что «пирожница» одета слишком форсисто для приисковой стряпки и отвечает хозяину неподобающе. Одним словом, нехорошо.

После чаю, захватив разную снасть, отправились делать пробу. Нужно было произвести взрыв. Огибенин и Миша принялись за работу, то есть при помощи железного лома и молота сделали глубокое отверстие в змеевике. Катаев сам заложил в него пороховой патрон, провел пороховую нитку и заклинил наглухо отверстие. Когда произведен был взрыв, слова Огибенина оправдались: вместо трещин и кусков жилы получилась) одна воронка.

Работа шла до самого вечера, а толку никакого не получились. Нароботался досыта и Гаврила Семеныч, благо в охотку было и поработать. Улучив минуту, он спросил Мишу, что это за птаха Татьяна.

– Танька-то? – равнодушно ответил Миша. – А так, просто дура...

На другой день работа началась с раннего утра. Бились изо всей мочи. «Знаки» золота были налицо, а жила не поддавалась, точно ее заморозила нечистая сила. У Поршнева все время не выходила из головы «птаха». Красивая девка, нечего сказать, а только неподобающее



это дело, чтобы баловство разводить. Встретив ее на крыльце, Поршневу не утерпел и сказал:

– Нечего тебе делать здесь, милая... Шла бы ты лучше подбру-поздорову домой...

– А ты зачем сюда приехал? – огрызнулась птаха, не моргнув глазом. – Ступай уж ты лучше домой-то: тебя жена вот как ждет..., – Зачем со стариком вяжешься?

– А тебе какое дело пригорело? Очень он мне нужен, старый пес... Да я на него и глядеть-то не хочу, на гнилое дерево.

– Ну и девка!.. Не сносить тебе своей головы, Танька!

– Такая уж уродилась...

## V

После отъезда мужа Маремьяна Власьевна несколько дней ходила, как помешанная. Она потихоньку от дочери плакала и по десяти раз выскакивала за ворота, когда слышала, что кто-нибудь едет. Ей все казалось, что это Гаврила Семеныч, и даже узнавала побезку своих лошадей. Но Гаврила Семеныч и не думал возвращаться домой. Дочь Душа тоже не раз всплакнула, глядя на убивавшуюся мать. Она уллучила вечером минутку избегала к дяде по матери.

– Ох, не ладно у нас в дому! – жаловалась она. – Мамынька слезьми изошла...

Дядя, родной брат Маремьяны Власьевны, отнесся к этому случаю довольно равнодушно и ответил:

– Что же, не вы первые, не вы последние через это самое золото слезы льете... Гаврила Семеныч – человек сосредоточенный и лучше вас знает, что делает.

Дядя сам «ходил в штейгерах» на промыслах и сочувствовал зятю.

Маремьяна Власьевна вызнала на базаре про Катаева все, что могли ей сообщить другие. И какой он товар накупил, и когда товар был отправлен, и откуда он взялся в Миясе, и где раньше жил. Относительно последнего показания расходились, но все в голос хвалили его, как человека обстоятельного.

На базаре уже знали, куда уехал Поршнев, и лавочники подшучивали над Маремьяной Власьевной:

– Ужо скоро купчихой первой гильдии будешь, когда твой Гаврила Семеныч накопает золота...

– Настоящая купчиха и то, – соглашалась с горькой улыбкой Маремьяна Власьевна. – В самый раз калачами у вас на базаре торговать...

Мужчины вообще были на стороне Гаврилы Семеныча, а знакомые торговки от души жалели Маремьяну Власьевну.

– Рука у него тяжелая на золото, у твою мужа, – судачили бабы. – Уж сколько раз зорились-то на этом золоте...

– Ох, и не говорите, милые!.. Другим и счастье господь посылает, а нам один разор.

– Денег-то много он с собой взял?

– Ничего, ничего не знаю... Деньги все у него. Больших-то денег и нет, а так, про черный день...

Маремьяна Власьевна не договаривала. Она отлично знала, что у мужа на руках было близко «тысячи» и что он все их увез с собой. «Еще убьют где-нибудь, – думала она. – Деньги не малые, визнают и убьют»... На промыслах убийства из-за денег были не редкостью, потому что промысловый народ отчаянный, с бору да с сосенки. Заводские свои хороши, а промысловые еще почище...

Прошли мучительных две недели. Раз поздно вечером Маремьяна Власьевна хотела уже ложиться спать, как кто-то постучался в ворота. Это был старик Огибенин, приехавший верхом. Маремьяна Власьевна обрадовалась ему, как родному, и даже расплакалась.

– Голубчик ты мой, Савва Яковлич, а я уже не думала и в живых вас видеть, – причитала она, не зная, куда посадить дорогого гостя. – Ни слуху, ни духу о вас...

– А что нам делается? Слава богу, живы и здоровы... Вот меня за порохом послали да хомуты новые выправить. А твоих лошадей я вот как берегу, как свой глаз... Не сумлевайся!

Чтобы выпытать от старика всю подноготную, Маремьяна Власьевна послала за водкой, велела разогреть старые щи, сделать яичницу, – одним словом, пущены были в ход самые решительные меры.

– Сам скоро собирается приехать, так лучше моего расскажет, – пробовал уклониться старик от прямых ответов, – Соскучился, говорит...

Водка, конечно, сделала свое дело и развязала старику язык.

– Хорошего мало, Маремьяна Власьевна... Крепко мне наказывал Гаврила-то Семеныч ничего тебе не говорить, потому как самое у нас пропащее дело. Только понапрасну деньги травим... Оно, золото-то, на глазах, а в руки не дается. Сперва-то Гаврила Семеныч даже совсем было от него отшатился, хотел все бросить и ехать домой, ну, а потом точно приклеился к этой самой жиле. Наняли человек с десять рабочих и долбят жилу с утра до ночи, как дятлы. Оно уж очень любопытно: тут вот оно, золото, на глазах, а в руки не дается. Одного пороху сколько извели... Гаврила Семеныч все своими руками вот как старается. Да...

Захмелев и желая угодить Маремьяне Власьевне окончательно, Огибенин рассказал и про Таньку-пирожницу.

– Ну, мой Гаврила Семеныч на озорство не пойдет, – с уверенностью проговорила Маремьяна Власьевна. – А вот Катаеву-то и постыдиться можно... Седой волос его прошиб, а он пустяками занимается...

– А хороша девушка из себя, можно сказать, что всем взяла, – не унимался Огибенин. – И ростом, и лицом, и характером... А я только к тому о ней завел речь, что она ведьма... Эго она заморозила жилу, не иначе дело... Осинovým колом ее, ведьму!..

– Ну, миленький, тебе пора и соснуть. Ступай-ка домой! Тоже, чай, жена-то вот как ждет. Завтра договорим...

Появление Огибенина немного успокоило Маремьяну Власьевну. У ней явилась надежда, что муж подурит-подурит и бросит.

– Скажи Гавриле Семенычу поклонник, – наказала она, когда Огибенин уезжал на другой день, – Да еще скажи, что, мол, жена баньку истопит, как он приедет домой. Любит он у меня в баньке попариться... Пусть приисковую-то плину отмоет.

Поршнеv приехал домой совершенно неожиданно, гораздо раньше, чем его ожидала Маремьяна Власьевна. Он приехал вечером, когда уже стемнело, на паре своих лошадей.

– Ну, как вы тут без меня живете? – ласково спросил он жену.

– Ничего, слава богу, Гаврила Семеныч! – с бабьей покорностью ответила Маремьяна Власьева. – Раз с шесть обозы наезжали, так разные мужички останавливаются... Сено сейчас дорого и овес тоже.

Она представила мужу полный отчет за все время, и он остался доволен.

– Золото ты у меня, а не баба! – похвалил Поршнева жену и по пути приласкал Душу, которую всегда любил. – Руководствуйте дома, а я...

Он не договорил и только вздохнул. Маремьяна Власьева заметила, что он вообще какой-то «туманный». И его какая-то виноватая ласковость тоже ей не нравилась.

«Ох, не к добру!..» – думала она, припоминая обычную строгость мужа.

Поршнева прожил дома два дня и все время ходил по каким-то делам. Маремьяна Власьева не закинула ни одного слова об его деле, пока он сам не разговорился.

– Дело, что же, надо правду сказать, неважное... Порохом ничего не можем взять, ну, попробуем диомидом. Так-то его не продают, а есть у меня дружок, казенный штейгер, так чрез него раздобудемся. Порох-то в одну сторону бьет, а диомид, как молонья, во все стороны... Вот этакое дело выходит.

Рассказал он и про Катаева.

– Мудреный он какой-то... Не разберешь. А так ничего, дело свое знает. Упорный мужичонка, можно сказать... У нас такое условие с ним: твоя половина – моя половина. Чтобы, значит, никому не обидно. А там, что уж бог даст.

– Лукавый он... – заметила Маремьяна Власьева и сейчас же пожалела, что не сдержала своего бабьего языка.

Поршнева только посмотрел на жену и замолчал. Он всегда как-то нехорошо молчал. Было очевидно, что он догадался относительно болтовни старика Огибенина.

Перед отъездом Поршнева точно отмяк. Он купил на базаре два платка и подарил их жене и дочери.

– Ничего, как бог... – заметил он вскользь, когда у Маремьяны Власьевны показались на глазах непрошеные слезы. – Все от бога...

Ей так много хотелось сказать ему, чтобы отошло наболевшее сердце, но говорить было трудно. Ему было жаль жени и тоже

хотелось сказать много, а ничего не сказалось.

– Ты на меня не сердись, – проговорил Поршневу, когда уже лошади были заложены. – Мало ли что бывает...

Она (молчала.

– Знаешь, Маремьяна, – прибавил он неожиданно для самого себя. – Как это тебе сказать... Одним словом, выходит в том роде, как будто я боюсь Катаева... И не то, что боюсь, а вот он посмотрит на меня – и конец тому делу. Точно вот я весь чужой делаюсь... И даже не люблю я его, очень даже не люблю, а не могу.

– Кругом он окрутил тебя, Гаврила Семеныч...

Поршневу не обиделся, а только молча обнял жену и тряхнул головой. Она хотела провожать его до базара, но он ее остановил.

– Не к чему... Оставь!

Она не понимала, как ему тяжело было уезжать. Но его неудержимо тянула какая-то неведомая сила к «Змеевику».

На другой день Маремьяна Власьевна узнала, что муж набрал на базаре в долг разного товара полную телегу. Этого она уже никак не могла понять. Деньги у него были, и должаться не было смысла.

## VI

Привезенный Поршневым динамит мало помог делу. Змеевик не поддавался. Приходилось добывать его ломом и кайлами. В результате месячной работы получилось едва несколько золотников.

– Ничего, привесимся к делу, – утешал Катаев. – Уж очень даже любопытно... Вот ежели бы бегуны поставить...

– А деньги где? Бегуны на худой конец стоят тыщи три-четыре...

У Катаева в голове вечно сидели всевозможные замыслы, и только не хватало денег, чтобы производить их в исполнение.

Время шло, и жизнь на «Змеевике» изо дня в день тянулась без всякого разнообразия, как и на других промыслах, с той разницей, что он был совсем в стороне, и никто посторонний не заглядывал в эту глушь. Впрочем), раз неожиданно приехал гуртовщик Гусев.

– Был в Терebinске, наслышался чудес про вашу жилу и нарочно приехал поглядеть на оказию, – объяснял он, – Сказывают, вы золото-то прямо руками берете...

– Вот, вот, в самый раз руками, – поддакивал Катаев. – Не хочешь ли поучиться? А то и нас поучишь... Ты ведь не даром всю жизнь по промыслам маячишь и всего напяделся. Может, и нас поучишь...

Катаев по обыкновению шутил, а вышла совсем не шутка. Гусев внимательно осмотрел всю жилу и работы и покачал головой.

– Эх, братцы, не с того вы конца работу ведете! Надо как раз совершенно наоборот...

– Ну, ну, поучи!

– А очень просто: вы самую-то жилу оставьте, а взрывайте пустую породу с обеих сторон. Она и останется у вас, как облупленное яичко.

Этот совет изумил и Катаева и Поршнева.

– Ах ты, братец ты мой, ведь оно того... действительно... – бормотал Катаев, почесывая в затылке. – Оказали мы себя, Гаврила Семеныч, вполне лишенными ума... Верное твое слово, Артамон Максимыч. Ежели по камню-то шарахнуть динамидом, так тут всю гору разворотит... Правильно!

Поршневу тоже не мог не согласиться с мнением Гусева, хотя уже и не верил в змеевую жилу.

– Дорогонько обойдется пустую-то породу рвать динамидом, – заметил он. – Двойная работа...

– А это уж ваше дело. Чей воз – того и песенка, как говорится.

– Поступай к нам в компанию, Артамон Максимыч, – предложил Катаев. – Троице-то веселее...

– Не нашего это ума дело... Мое золото по степи гуляет да хвостиком помахивает.

Поршневу (казалось, что Гусев приехал на «Змеевик» неспроста и что у него с Катаевым есть какие-то тайные дела. В последнем он скоро убедился. По вечерам он любил сидеть на крылечке. Лето было в разгаре, и кругом было так хорошо. Сидя на своем местечке, Поршневу слышал сдержанный разговор, доносившийся из кухни, и сразу узнал голоса Татьяны и Гусева.

– Подвел меня один приятель в Троицке... – рассказывал Гусев. – Из сартов он... Ну, и раньше с ним дела делывал, а тут забрал он у меня товару близко фунта, да и был таков...

– Таких дураков, пак вы с Катаевым, не так еще надо учить... Не горохом торгуете!..

– Ах, Танюшка, случается и на девушку бабий грех. Егор-то Спиридоныч вот как на меня зарычал... полтыщи как не бывало...

– Денежная беда деньгами и раскрывается, а вы-то еще и сами влопааетесь. У Катаева-то от старости его лет совсем ума не стало...

– Ну, на его век хватит... да и от него останется... Ты-то вон как за него уцепилась, Танюшка...

– Я-то? А мне тошнехонько и глядеть-то на него... «Духовную, грит, напишу и тебе, грит, Таня, триста рублей откажу...» А сам все врет, все врет...

– Да ты, глупая, возьми да сама и уйди от него... Свет не клином сошелся, Танюшка...

– А ежели я не могу? Моченьки моей нет... Было дело и уходила, а потом сама же к нему и приду, как собака... Старый дьявол он, вот что! Какая-нибудь у него есть присушка... За глаза-то я его вот как терпеть не могу, а пришел, заговорил, поглядел – я точно и сама не своя. И боюсь я его... Не знаю, чего, а боюсь... Просто в другой раз хоть руки на себя наложить...

Поршнева ст этих слов точно кипятком ошпарило. Ведь и он то же самое говорил про Катаева своей жене... А потом он отлично понял этот таинственный разговор о «товаре». На промыслах товаром называют краденое золото. Значит, и Катаев и Гусев промышляли по этой части да и его могли подвести каждую минуту.

«Завтра же уйду! – решил Поршнев про себя. – Тут такой беды наживешь, что и не расхлебаешься с ней. Недаром Маремьяна Власьевна так его невзлюбила с первого разу... Ее, брат, не проведешь!»

Но на следующий день Поршнев остался на «Змеевике», проклиная самого себя. Все вышло как-то само собой. Он даже пробовал заговорить с Катаевым по душе, но тот его предупредил.

– А ты не сумлевайся, Гаврила Семеныч!.. Есть и поумнее нас с тобой народы, которые ежели подвержены... Грех-то не по лесу ходит, а по людям.

– Да я что же, Егор Спиридоныч... – бормотал Поршнев с виноватым видом. – Сегодня я здесь, а завтра ступай на все четыре стороны...

Катаев хихикнул и, подмигнув, проговорил:

– Это тебя Гусев напугал? Хе-хе!.. А я не держу. Волка бояться – в лес не ходить.

В сущности, Катаев говорил самые пустые слова, на которые даже и отвечать было нечего, но вместе с тем Поршневу чувствовалось, как он его опутывает именно этими пустыми словами, как паук муху паутиной. Во время разговора, который происходил в конторе, Поршневу инстинктивно оплянул на дверь в кухню и увидел в ней Татьяну, наблюдавшую его улыбающимися и в то же время строгими глазами. О, теперь они понимали друг друга уже без слов и соединялись невидимо в общей слабости и в общей ненависти, – ненавидят только бессильные люди.

Тем дело и кончилось, и все пошло своим чередом. Летом Катаев уезжал раза три по каким-то делам, о которых не любил говорить, и возвращался через несколько дней усталый, измученный озабоченный. Оставаясь на прииске один, Поршневу всячески избегал Татьяны, которая преследовала его своими строгими, улыбающимися глазами. Потом он видел, что она часто плакала, и раз, когда он проходил мимо ее окна, ясно слышал ее слова:

– Убить его мало, старого колдуна...

В счетах по прииску Катаев отличался большой аккуратностью и выводил все до последней копейки.

– Твоя половина – моя половина, – любил он повторять при этих расчетах. – Мне чужого не надо, сохрани бог... И своего не отдам. Денежка счет любит.

А денежные счета все увеличивались. Нужно было содержать десять человек рабочих, четырех лошадей, потом стоила немало разная приисковая снасть («без снасти и клопа не убьешь», – говорил Катаев), поездки, постройки и т. д. Деньги текли незаметно, а прибыли было мало. Каждый золотник добытого золота обходился дороже раз в десять, чем за него приходилось получать по ассигновкам горной лаборатории.

Относительно сдачи добытого золота скоро выяснилось, почему Катаев так упрямо держится за свой «Змеевик», дававший, в сущности, громадные убытки. На каждом прииске ведутся в самом строгом порядке приисковые книги, в которых записывается каждая доля добытого золота, и Катаев преспокойно записывал в книгу по «Змеевику» стороннее золото.



– Это как же так выйдет, Егор Спиридоныч? – решился наконец спросить его Поршнев.

– А вот так и выйдет... Это уж не твое дело, а у нас комар носу не подточит. У меня еще есть прииск, под Кочкарем... А казне-матушке все равно, с какого прииска ни получить золото.

– Ну, за это по головке не гладят, Егор Спиридоныч.

– И пусть не гладят... Слава богу, не мы первые, не мы последние. А главное – мораль. Что мы будем, как дураки, в пустое место колотиться изо всех печеней? Зачем мы, напримерно, будем добрых людей смешить своей дуростью? Нет, уж лучше я посмеюсь. Убыток убытком, а срам зачем же напрасно принимать?

Поршнев не мог не согласиться с этими рассуждениями, тем более, что ответственным лицом по прииску являлся один Катаев.

На «Змеевике» были еще двое, которые не принимали прямого участия в хозяйстве прииска, но знали все, что его касается, лучше самих хозяев, – это «молодец» Миша и Огибенин. Они сошлись между собой молча и следили за каждым шагом своих хозяев. Миша не любил зря болтать, но умел слушать старческую болтовню Огибенина.

– Теперь у нашего Гаврилы Семеныча перевалило, надо полагать, на шестую сотню, – говорил старик, подсчитывая расходы по прииску. – А доходу наберется – не наберется рублей с пятьдесят...

«Молодец» Миша молчал, как заколдованный, несмотря на все попытки Огибенина заставить его разговориться. Выведенный этим упорным молчанием из всякого терпения, Огибенин бросал шапку оземь и начинал ругаться.

– А вот возьму, брошу все и уйду!.. Не глядели бы мои глаза на вас. Что я тут болтаюсь, как непокаянная душа?! Вот с места не сойти, если не уйду...

Миша упорно молчал.

Между прочим, этих людей соединяла всего крепче общая ненависть к Таньке-пирожнице.

– Змея подколодная и вывела на змеевую жилу!

Прошло лето. Наступила осень, всегда в горах сырая и ветреная. На «Змеевике» дела находились в прежнем положении и царило уныние. Даже рабочие работали нехотя, как на зсех промыслах, где золото идет плохо. Некоторые прямо уходили.

– Что нам на пустом месте биться? – объясняли они. – Даром только хлеб едим...

Но Поршневу не желал расставаться с делом и решил его вести до конца, пока хватит сил. Им овладело непобедимое упрямство. А деньги быстро подходили к концу, хотя можно было работать до первых заморозков. Катаев тоже заметно подтянулся и неохотно делал расчеты, учитывая каждую копейку. Поршневу понимал, что он это делает только для отвода глаз, чтобы не платить его, поршневу, доли, а что деньги у него есть и не маленькие.

«Краденое золото поднимает», – с огорчением думал Поршневу.

С другой стороны, у Поршнева задета была его гордость, именно, что Катаев высосал из него все деньги, а теперь над ним же и важничает. Скоро будет прямо за последнего нищего считать. Вот так «твоя половина – моя половина»... Оно так и выйдет, когда Поршневу придется бросить все дело.

«Нет, погоди, я еще покажу тебе, старому черту!» – про себя ругался Поршневу.

По-настоящему, когда вылетел из кармана последний рубль, следовало бы вернуться к себе домой и приняться за свое насиженное дело. Но Поршнева точно приковала какая-то невидимая сила к «Змеевику». Ему казалось, что еще немного потерпеть, перемочься, и дело наладится. Вернуться домой мешало отчасти и то, что все знали о «Змеевике», о котором ходили самые нелепые слухи, и его одолели бы расспросами и шуточками.

– Поезжай-ка ты, в самом деле, домой, Гаврила Семеныч, – ласково уговаривала его Татьяна. – Только даром здесь путаешься... Пора и честь знать. А дома у тебя полная чаша, сам большой – сам маленький.

– А ты отчего не едешь?

– Ну, мое дело десятое... Одним словом, непокрытая девичья голова, как дом без крыши. Некуда мне ехать...

Сначала Поршневу сторонился пирожницы и делал вид, что совсем ее не замечает, а потом свыкся и даже любил с ней поговорить.

Девушка была умная и с характером. Она ему нравилась чередовавшимися припадками ласковости и какой-то особенно красивой тоски.

Поршнева на время спасло то, что ударили ранние заморозки, и работы пришлось прекратить. Ставить теплые казармы для работ не хватало средств. По окончательному расчету, Поршневу остался должен Катаеву около двухсот рублей.

– Я тебе к рождеству все заплачу, – говорил Поршневу. – Как-нибудь сколочусь...

– Знаю, что заплатишь, да я тебя и не неволю, – ответил Катаев. – Человек ты обстоятельный и сам вполне можешь понимать...

Невесело возвращался к себе в Мяс Гаврила Семеныч на паре своих лошадок. Огибенин правил за кучера и всю дорогу потряхивал головой.

Маремьяна Власьевна встретила мужа с великой радостью и ни одним словом не заикнулась об его делах. Надо, так и сам скажет. Дома все было благополучно. Постоялый двор и мелочная лавочка работали хорошо, и Поршневу получил около ста рублей чистой прибыли.

«Катаевские денежки... – с горечью думал он, пересчитывая засаленные кредитки. – На эту прорву никаких денег не напасешься...»

И перед женой ему было совестно: вот приедет Катаев и за здорово живешь отберет трудовые, кровные денежки... По пяточкам да по копеечкам копила Маремьяна Власьевна свой капитал, а он пойдет прахом, как ветром дунуло. Обида взяла Гаврилу Семеныча, и он решил, когда приедет Катаев, рассчитаться с ним по-своему. Пусть чувствует кошка, чье мясо съела.

Занялся своими делами Поршневу, и все пошло, кап по писаному. Вообще жить было можно, хотя нажива была и небольшая.

Прошло около месяца, и Поршневу отдохнул, точно стряхнул с себя налетевшее вихрем увлечение легкой наживой. В минуту откровенности он рассказал жене все, как было. Маремьяна Власьевна даже не убивалась о потерянной тысяче рублей да о долге в двести, а только сказала:

– Твое дело, Гаврила Семеныч... Ты наживал деньги, тебе и знать, что и к чему. А я твоя раба последняя. Что прикажешь, то и буду

делать. Век вековали, и делить нам нечего.

Очень понравился ему этот ответ жены, и еще раз сделалось совестно, что он ее и обижал, и скрывался, и обманывал. И она же еще жалела его, по-хорошему жалела, на совесть. С такой бабой жить, как за каменной стеной. Эта уж ухранит, сделай милость, и не выдаст, что бы ни случилось. Правильная баба, одним словом...

Опять зажили Поршневы душа в душу. Маремьяна Власьева опять повеселела и опять воротила все хозяйство. А работы было немало, когда привалит обоз телег в сорок. Всех ямщиков надо накормить, напоить, обо всем позаботиться. А Гаврила Семеныч сам перестал даже на базар ходить, а все поручал жене. Он точно стыдился своей летней прорухи. И знакомых избегал, а только когда зайдет Огибенин – ну, посудачат вдвоем о разных приисковых делах. Выходило так, как будто ничего и не было.

– Деньги – дело наживное, – говорила Маремьяна Власьева к случаю. – Пришли – ушли... Не с деньгами жить, а с добрыми людьми.

Старик Огибенин был того же мнения, тем более, что никогда не имел денег, а всю жизнь «околачивался у воды без хлеба».

Одним словом, все пришло в порядок, и Маремьяна Власьева даже начинала забывать эту налетевшую вихрем беду, как вдруг, недели за две до рождества, неожиданно приехал Катаев, да еще со своей пирожницей, которую Маремьяна Власьева сейчас же назвала поганкой.

– Не наше дело, – заметил ей Гаврила Семеныч. – Наше дело сторона...

– И все-таки поганка!.. – настаивала Маремьяна Власьева, охваченная неожиданной тревогой.

Гаврилу Семеныча неожиданно выручила безответная дочь Душа, которая как-то сразу сошлась с приисковой пирожницей и сделала открытие, что та уже «на тех порах», то есть беременна, и приехала в Мияс «разродиться». Маремьяна Власьева сразу осела. Как не покрыть девичьего греха? А по уральской поговорке, тем море не испоганилось, что пес налакал...

Судили-рядили на тысячу ладов, судачили, бранили старого греховодника Егора Спиридоныча за его баловство, а в конце порешили так, что надо пирожницу укрыть.

– Сотельный билет тебе скощу, Гаврила Семеныч, – говорил Катаев. – А только сослужи службу... Конечно, грешный человек... совестно...

– Это не мое дело, – строго ответил Поршневу. – Поговори с моей женой... Это их, бабье, дело.

Маремьяна Власьевна и Душа приняли сторону пирожницы. Уж очень девушка хороша издалась, и безответная какая-то, а старый змей хитер.

– Маремьяна Власьевна, голубушка, – говорил Катаев, прижимая руки к сердцу. – Вот как перед богом, так и перед тобой... Грешный я человек, действительно, а только по духовной откажу Тане триста рублей... Меня же будет вспоминать, старика.

Пожалела Маремьяна Власьевна непокрытую девичью головушку и даже оставила ее у себя. Не дорого – не дешево, а купил ее скощенными со счета ста рублями. Деньги не маленькие, хотя и виноват кругом, На дворе у Поршневых был флигелек, и Татьяну туда можно было упоместить в лучшем виде. Все-таки не зверь, а живой человек. Пса, и того жалеют.

Устроив свою пирожницу, Катаев оставался в Миясе недолго.

– Ох, дела у меня, Маремьяна Власьевна! – повторял он, качая головой. – Вот какие дела... В том роде, как в котле кипишь. Может, ты и сердитуешь на меня, а только напрасно: моя половина – твоя половина.

– И не говори, Егор Спиридоныч, – ответила с бабьей отчетливостью Маремьяна Власьевна. – Не нашего бабьего это ума дело... Говори с Гаврилой Семенычем, а мое – бабье дело.

Гаврила Семеныч все время отмалчивался. Он как-то вдруг точно потемнел. Первая заметила это Душа.

– Мамынька, с тятенькой неладно... Опять закрутил его Егор Спиридоныч.

– Ну, это не твоего ума дело, – почему-то сурово ответила дочери Маремьяна Власьевна.

Перед отъездом Катаев, как будто между прочим, заметил Поршневу:

– Ну, Гаврила Семеныч, ты, значит, того... Сколачивайся за зиму-то деньжонками, а весной я опять приеду в гости.

– На «Змеевик» я не поеду, Егор Спиридоныч. Ну его...

– И окромя «Змеевика» дела найдем до усов...

### VIII

В первый момент к предложению Катаева попытать счастья летом еще раз Поршневу отнесся очень недоверчиво и даже посмеялся про себя.

«Ишь, какой сахар нашелся!.. Закопал я на „Змеевике“ близко тысячи рубликов – и будет. Очень даже благодарны вам, Егор Спиридоныч. Сыты по горло...»

Поршневу не скрыл закинутого Катаевым лукавого словечка от жены, и Маремьяна Власьевна страшно перепугалась.

– Да не змей ли, прости господи!.. – повторила она в ужасе. – Вот человека нанесло на нас... Погубитель он наш!

– А ты не бойся, старуха, – утешал Поршневу жену. – И мы тоже не лыком шиты... Не на таковых напал. Одурачил он меня тогда, пряменько сказать... В другой-то раз и поумнее будем.

Но Маремьяна Власьевна не успокоилась. Она сердцем чуяла неминуемую беду. Змей не отстанет, пока не изведет вконец всю семью.

Предчувствия не обманули Маремьяну Власьевну. Гаврила Семеныч начал потихоньку собирать деньги, где только мог. Были кое-какие долги, и он получил их с особенной настойчивостью. Потом он налег на свой постоянный двор и торговлю; но тут много получить было нельзя. К марту он едва-едва сколотил рублей триста. Пришлось обратиться к займам.

«Что же, получу и отдам, – успокаивал себя Поршневу. – Сам давал займы...»

Но тут вышла неприятная история. Люди, которые имели деньги, и могли дать, и дали бы еще год тому назад, теперь точно сговорились и в голос отвечали:

– На что тебе деньги-то, Гаврила Семеныч? Слава богу, кажется, все у тебя есть...

– Оборотец надо сделать один... – лгал Поршневу, скрывая свои планы.

Богатые мужики отлично знали, какой оборотец на уме у Поршнева, но делали вид, что ничего не подозревают. В первое время

Поршневу было очень трудно просить и обманывать, но потом все как рукой сняло, лишь бы добыть денег. Он не постыдился обобрать до нитки старуху-тетку, верившую ему по старой памяти.

– Ох, Гаврилушка, распоследние копеечки тебе отдаю, – стонала старуха. – Это у меня смёртные денежки, чтобы похорониться чем было...

Нелегко было Поршневу слушать такие слова, но делать было нечего, приходилось терпеть.

В начале апреля Катаев приехал. Он сделал вид, что приехал навестить Татьяну, а потом по пути побывать на «Змеевике» где оставалась разная приисковая снасть. Поршнев встретил гостя хмуро и почти неприветливо, а Маремьяна Власьевна вся почти насторожилась, как птица над своим гнездом. Но змей сделал такой вид, что не замечает. Он оказывал теперь преувеличенную заботливость по отношению к пирожнице и подолгу засиживался у нее во флигельке, где она пока еще жила. Родившийся у нее ребенок сейчас же был отдан на воспитание куда-то в дальнюю деревню, и девушка страшно тосковала. Она, как говорится, не находила себе места, и Маремьяна Власьевна искренне ее жалела. Когда Катаев вошел во флигелек, Татьяна страшно испугалась. Она вся тряслась и смотрела на гостя округлившимися от страха глазами.

– А я тебе гостинца привез, Танюшка, – говорил Катаев, подавая шелковый головной платок. – Вот носи да не потеряй...

Она не взяла платка и только отодвинулась подальше от гостя.

Потом Татьяна побежала к Маремьяне Власьевне вся в слезах.

– Убегу... убегу... – шептала она в отчаянии. – Ох, погубитель он мой!

– Обижает он тебя?

– Нет, никогда не обижал... А только боюсь я его до смерти. Он ласково-ласково заговорит, а я трясусь, как осиновый лист... Теперь зовет меня на лето в Кочкарь, – там у него новый прииск; а я ему: не поеду! Ну, а он смотрит на меня и улыбается... Вот это самое мне нож вострый, когда он улыбается. Взяла бы его и на мелкие части растерзала...

– Тебя ведь никто не неволит, Татьяна, ехать с ним... Живо у нас дело найдется. Хочешь, я с ним сама переговорю...

– Ох, голубушка, Маремьяна Власьевна, ничего не говори! Мне же хуже будет! Вот и сейчас я его ругаю, а он рукой повел – я и пошла за ним, как овца. Нету моей волюшки, точно связал он меня, старый хрен...

Девушка и плакала, и смеялась, и ластилась к приголубившей ее Маремьяне Власьевне. Старуха ее полюбила и за глаза называла «приворотной гривенкой» – и тиха, и ласкова, и на всякое дело быстрая. Этакой-то девушке да пропадом пропадать – вчуже жаль.

Одно только смущало Маремьяну Власьевну по отношению к Катаеву, что он змей – в этом не было сомнения, – а в то же время такой богомольный. Каждое утро он молился по часу, да еще как молился: станет на колени и заливается слезами.

«Или уж очень грехов много накопил, – соображала Маремьяна Власьевна, – или уж такой угодник уродился...»

Катаев пожил в Миясе несколько дней, съездил на «Змеевик», а потом отправился в Кочкарь, захватив с собой Татьяну. Безответная, болезненная Душа очень привязалась к ней и провожала с горькими слезами, да и Маремьяна Власьевна жалела красавицу-девушку: что она – ни баба, ни девка, ни вдова.

При отъезде Катаев сказал Поршневу всего несколько слов:

– Вода скоро пройдет, Гаврила Семеныч... Каждый день вот как дорог.

После отъезда Катаева Поршневу ходил, как в тумане. Он точно боролся с самим собой. Власьевна чуяла неминуемую беду, и раз вечером сама первая проговорила:

– Ехал бы уж ты лучше к Катаеву, Гаврила Семеныч... Смотреть на тебя тошнехонько. А мы тут и без тебя с Душой управимся...

Поршневу ничего не ответил жене, а только вышел из комнаты. Ему было совестно до слез и жаль уж очень жену. Хорошая она женщина, правильная до последней ниточки. И как его насквозь понимает...

Через неделю Поршневу уехал в Кочкарь к Катаеву да так и пропал на целое лето. Маремьяна Власьевна точно вся окаменела. Она знала, что муж занимал денег везде, где только мог их достать, и что он вернется домой только тогда, когда спустит все до последней копейки. А слухи шли стороной. Проезжал через Мияс гуртовщик Гусев и болтал на базаре, что видел Гаврилу Семеныча на Кочкаре и



что дело у него с Катаевым идет неважно. Лучше, чем на «Змеевике», а все-таки неважно. Потом Маремьяна Власьевна посылала старика Огибенина вызнать, что и как, но Огибенин доехал только до Челябинска, пропил деньги и пропал без вести. Час от часу делалось не легче.

Наступил август. Зарядило непроглядное уральское ненастье. Железная дорога еще не была проведена, а по тракту и проселочным дорогам не было ни прохода, ни проезда. Бесконечные обозы просто тонули в непроглядной грязи. Вообще на Урале август бывает хуже сентября.

Раз поздно вечером, когда Маремьяна Власьевна хотела уже ложиться спать, кто-то осторожно постучал с улицы в окна. Душа уже спала, и она сама пошла отворять ворота. Эго был Гаврила Семеныч. Он приехал верхом, весь мокрый, иззябший, несчастный. Привязав измученную лошадь к столбу выстаиваться, он прошел в заднюю избу, не снимая мокрого татарского азяма, присел к столу, закрыл лицо руками и горько заплакал.

– Гаврила Семеныч... голубчик... господь с тобой!..

Ах, не говори ты со мной!.. Убить меня мало, – вот каков я есть человек... Только всего и осталось, что на себе: крест да ворот.

Что ты говоришь, Гаврила Семеныч?!. Перестань, родной... Не с деньгами жить – с добрыми людьми.

– Вот именно... с добрыми...

Поршневу как-то нехорошо засмеялся и ударил кулаком по столу.

– Не жалею ты меня, Маремьяна Власьевна!..

Маремьяна Власьевна поставила самовар, сделала яичницу исправницу, добыла откуда-то водочки и стала угощать мужа.

– Назябся ты, вот погрейся-ка лучше, Гаврила Семеныч; а поговорить еще успеем...

– И то успеем... Здорово я промерз. Нитки сухой не осталось...

Поршневу выпил всю бутылку водки, чего раньше с ним не случалось, съел яичницу и сейчас же завалился спать. Маремьяна Власьевна видела, что ему все время хотелось ей что-то рассказать и что он пожалел расстраивать ее на ночь. Он проспал до самого обеда, попросил опохмелиться, но ничего не рассказывал. Маремьяне Власьевне показалось, что он как будто чего-то боится и как будто прячется.

– Ты никому не говори, что я приезжал, – предупредил он жену. – Мне тут нужно одного человека повидать вечером... Дельце есть.

Маремьяна Власьевна, конечно, догадалась, какое у мужа дельце, но промолчала. Как стемнело, Поршневушел и вернулся только около полуночи. Видимо, он где-то раздобылся деньгами и заметно повеселел.

– Ничего, старуха, еще поживем... – говорил он, укладываясь спать. – Никто, как бог.

– Я ведь ничего тебе не говорю, Гаврила Семеныч, – покорно ответила Маремьяна Власьевна. – Тебе лучше знать твои дела, а я твоя раба последняя. Что прикажешь, то и буду делать.

## IX

Из дому Поршневуехал как-то крадучись, как и приехал, ранним утром, когда еще было совсем темно. Он ехал в хорошем настроении и все потряхивал головой.

– Ах, ты, братец ты мой... а?! – повторял он вслух, точно кому-то отвечал, – Да-а... Как по писаному все вышло. Ай да Егор Спиридоныч!..

Дорога на Кочкарь была не близкая, а в осеннюю распутицу и очень тяжелая. Но зато легко было на душе у Гаврилы Семеныча. Он так легко раздобылся в Миясе деньгами, совсем даром получил, то есть не даром, конечно, а под вексель, как научил Катаев. Раньше-то как выпрашивал, унижался и везде отказ, а тут сказал одно словечко: вексель – и готово. Раньше он слышал о векселях и даже видал их, но хорошенько не понимал, в чем суть. А тут Катаев научил: скажи им, что за вексель-то и дом у тебя продадут. Только и всего. Поршневу двух самых скупых толстосумов под вексель взял целую тысячу рублей, повторяя слова Катаева. Раньше отказывали, а тут катаевскими словами их точно обмороком обнесло. Поршневу казалось, что Катаев, действительно, немножко колдун: как скажет – точно топором отрубит.

До Кочкаря Поршневуехал три дня, хотя и сильно торопился. Очень уж распутица одолела, и лошадь выбилась из сил. Под самой Челябой (вместо «Челябинск» на Урале говорят «Челяба») Поршневу

встретил Гусева, который всегда появлялся неожиданно, точно из земли вырастет.

– Гавриле Семенычу нижайшее...

– Артамону Максимычу сорок одно с кисточкой. Куда бог несет?..

– А так... волка ноги кормят... Егор-то Спиридоныч соскучился по тебе. Поторапливайся... Поклонник наказывал сказать.

Кочкарь – по-ученому кочкарская система золотых промыслов – представляет собой одно из странных проявлений несметных уральских сокровищ. Это степное ровное место, отделенное от главных горных массивов Урала громадным расстоянием, было в буквальном смысле насыщено золотом, разработка которого, вероятно, займет не одну сотню лет. Удивительнее всего здесь то, что главную силу здесь составляли коренные месторождения золота, так называемые «жилы», тогда как в горах и предгорьях они составляли редкое исключение. В Кочкарь, как в обетованную землю, стекались десятки тысяч рабочих со всего Урала. Это было что-то вроде маленькой Калифорнии.

От Челябины, едучи прямо на юг, было до Кочкаря около ста верст. Здесь начинались уже благодатные земли Оренбургского казачьего войска. Золотая лихорадка охватила громадную область уже лет пятьдесят, и ей не предвиделось конца. Катаевский прииск находился на «обочине» главных промыслов, недалеко от казачьей станицы Михайловской. В этой степной местности каким-то чудом сохранился казенный сосновый бор, и около него давно шли мелкие разведки. Катаев сделал заявку, по старым брошенным шурфам и поставил работы. Золото было рассыпное, в разрушистых, легко обрабатываемых песках, но добыча его обходилась дорого благодаря отсутствию воды. Промывку песков приходилось производить водой из степных озерин, куда нужно было отвозить пески. Поршневу рассыпная добыча золота была знакома с раннего детства, и он относился к делу с большим доверием, хотя оно и требовало денег, денег и денег. Что значит какая-нибудь тысяча рублей, когда каждый субботний расчет рабочих уносил сотни рублей? Одним словом, расходы по прииску превышали доходы, и даже всегда спокойный и невозмутимый Катаев хмурился к кряхтел. Впрочем, Поршневу больше не верил ему ни на волос и только мечтал о том счастливом времени, когда он вернет затраченные на «Змеевике» и здесь деньги.

– Ну, вот и отлично, – похвалил Катаев, когда Поршневу рассказал о добытых им деньгах. – Теперь мы живой рукой обернемся... Вот только этой тысячи и не доставало, Гаврила Семеныч.

Между Катаевым и Поршневым были какие-то странные счета. Когда Поршневу считал один, все выходило в его пользу; а когда начинал считать Катаев, получались обратные результаты. Так случилось и с привезенной Поршневым тысячей рублей: деньги точно растаяли. Оказались неоплаченными счета за харчи рабочих, за приисковые постройки, и т. д., и т. д. Даже вышло как-то так, что и денег не стало, да еще Поршневу оказался должным Катаеву.

– А ты считай, малиновая голова, – советовал Катаев. – Денежка счет любит... Мне твоих-то денег не нужно. Терпеть это я ненавижу, ежели сумление в расчетах. А у меня один расчет: твоя половина – моя половина.

Поршневу как-то сразу растерялся и даже не нашел, что сказать Катаеву. Ездил, хлопотал, заложился свыше ушей – и вдруг ничего. Он вдруг точно весь потемнел.

Катаев больше не стеснялся и откровенно жил в одной комнате с Татьяной. Девушка очень скучала о брошенном ребенке и по-своему ненавидела старого сожителя, хотя и не могла уйти от него. Она давно жалела Поршневу за его простоту и не раз советовала бросить все и заняться в Миясе своим делом.

– Стыдно, Татьяна, домой-то с пустыми руками ворочаться, – объяснял Поршневу. – Авось, бог поможет как-нибудь справиться, ну, тогда и домой...

Когда Катаев отобрал у него привезенные деньги, он сказал Татьяне:

– Меня бог наказывает, Таня... Перед образом тогда клялся, что в последний раз, и преступил клятву.

– И в самом деле нехорошо, – соглашалась Татьяна, участливо качая головой. – Большой это грех...

Поршневу чувствовал себя уже лишним в прииске. Катаев точно не замечал его, как не замечают бедных приживальцев. Прямой обиды не было, а чувствовалось скверно. И оставаться на прииске скверно и уходить некуда. Особенно тяжело делалось по ночам, когда в голову лезли самые дикие мысли.

С своей стороны, Катаев тоже начал тяготиться присутствием обнищавшего компаньона. Прогнать его так, за здорово живешь, как будто и совестно, а держать без всякого дела на своей шее начетисто. Катаев соображал и так и этак, пока не придумал новой штуки, от которой Поршневу еще раз ахнул.

Раз сидели они вечером за самоваром и пили чай. Катаев как-то особенно пристально смотрел на Поршневу, а потом проговорил со вздохом:

– Гляжу я на тебя, Гаврила Семеныч, и вчуже жалею... Что ты теперь, миляга, делать-то будешь?

– Не знаю, Егор Спиридоныч... Две руки остались – вот и весь капитал.

– Так-то оно так, а только с одними голыми руками недалеко уедешь... Без снасти, говорится, и клопа не убить. Да... Главная та причина, что выйдет тот срок твоим векселям, ну, у тебя за них дом-то и отберут.

– Отберут, Егор Спиридоныч! С тем и деньги у добрых людей брал...

– Так, так...

Подумав немного, Катаев прибавил:

– А ведь можно дом-то за вексель и не отдавать, Гаврила Семеныч... Есть такой фортель, и я даже очень хорошо удумал. Тебя жалеючи говорю... Векселя – векселями, а дом – домом.

Поршневу ничего не понимал.

– А ты, Гаврила Семеныч, продай мне дом-то... Понимаешь? Векселя-то с носом и останутся... Надо ведь умеючи деньги-то в долг давать. Ты подумай хорошенько, я тебя не тороплю... Можно сказать, прямо даром с меня денежки получишь. Одним словом, жалеючи...

Предложение было заманчиво, и думать тут было решительно нечего. При окончательных переговорах Катаев сильно прижал в цене, но выбирать было нечего. Уплатив Поршневу наличными шестьсот рублей, Катаев проговорил:

– Совсем даром денежки получаешь, Гаврила Семеныч. Ну, а пока пусть твои живут в моем доме по-прежнему. Я его потом в духовной откажу своей пирожнице, ежели она, например, будет вполне соблюдать себя по своей женской части.

Обидно было все это слушать Поршневу, но, снявши голову, о волосах не тужат. Он опять ожил в надежде на какое-то дикое счастье. А вдруг пойдет золото, – в одну неделю можно разбогатеть. До заморозков оставалось еще больше месяца.

Но тут случилась новая беда. От осенних дождей выступила подпочвенная вода, и пришлось поставить дорогие насосы для откачки, а главное – терять дорогое время. Пески затягивало илом, и промывка замедлилась.

– Экое наше горькое с тобой счастье! – жаловался Катаев.

Полученные за дом деньги ушли по той же дорожке, как и добытые векселями. Через месяц Поршнев был совершенно свободен от всяких денежных знаков и неожиданно исчез с прииска, не простившись ни с кем.

Весной следующего года нашли в лесу «тело неизвестного человека», как гласит полицейский протокол. По произведенному дознанию, это тело принадлежало «купеческому брату» Егору Спиридонову Катаеву.

Прошло еще полгода. В мясское волостное правление явился Поршнев с повинной:

– Берите меня... Это я убил Катаева...

## Старый шайтан\*

### Рассказ

#### I

Осип Максимыч Чебаченко, «ушибленный женой» доктор, как говорили про него злые языки, по обыкновению молчал, а его жена Дарья Гавриловна, бывшая акушерка, ликовала.

– Это будет целесообразно... – повторяла она ни к селу, ни к городу. – Да, целесообразно... Мадам Нансен исходила с мужем на лыжах всю Швецию, а затем Шпицберген; мистрис Пири тоже на лыжах исходила со своим мужем, капитаном Пири, всю Гренландию... Ты слышишь, Осип Максимыч?..

– Гм... да... то есть целесообразно...

– Отчего же я не могу ехать, то есть идти с вами в экспедицию? Кажется, ничего нецелесообразного в этом нет?

– О, да... гм... вообще... Очень целесообразно...

В тоне мужа слышалась некоторая ирония, но жена давно привыкла не обращать на него внимания. Он был плечистый, коренастый мужчина, с окладистой русой бородкой, лет под сорок; она – сильная брюнетка с усиками и большими красными руками. В последнее время она была особенно занята собой, что забавляло мужа. Такая простецкая бабища и вдруг принялась на старости лет рядиться. Дарья Гавриловна и в молодости не блистала красотой, а теперь модные костюмы положительно делали ее смешной. Она походила на горничную, донашивающую старые платья своей барыни. Всего больше доставалось лицу – Дарья Гавриловна чем-то каждый вечер растирала его, засыпала пудрой, массировала морщины в углах глаз, подводила глаза, чтобы они казались больше, и подолгу «работала» перед зеркалом, не стесняясь присутствия мужа. Секрет этого запоздалого кокетства заключался в том, что в заброшенном на далекий север уездном городишке Заволочье она являлась почти

единственной дамой и на этом основании пользовалась некоторым вниманием мужчин.

В Заволочье было всего четыре тысячи жителей, а интеллигенция – наперечет по пальцам. И какая интеллигенция: какие-то дряхлые старцы, дослуживавшие свой срок на пенсию, молодые, начинающие люди, приезжавшие сюда на короткое время, до приискания настоящего места, и, наконец, очень сомнительные чиновники с прошлым, которые отбывали здесь свою чиновничью ссылку. Народ был все бессемейный, а две-три дамы достигли того предельного возраста, когда мужчины бывают только вежливы. Одним словом, Дарья Гавриловна почувствовала себя женщиной.

«Что же, на чужой стороне и старушка – хлеб», – ядовито думал про себя Осип Максимыч, наблюдая молодившуюся жену.

По наружному виду доктор казался добродушным малым, но, в сущности, он отличался скрытою ехидностью и даже ядовитостью. Если эти милые душевные качества не проявлялись постоянно, то только потому, что он боялся своей жены. Ненавидел ее и боялся. Она отвечала ему тою же монетой, но с тою разницей, что нисколько его не боялась. В общем они составляли то, что называется счастливой парочкой.

Поднятый разговор об экспедиции, затеянной председателем земской управы Костылевым, как доктор и предчувствовал, закончился следующим супружеским диалогом:

– С нами примет участие Люстиг, – вскользь заметила она.

– Не может быть? У него блуждающая почка... Это не целесообразно... Виноват, я только теперь догадываюсь, для чего ты сшила себе зеленую фланелевую мужскую блузу...

– Оставь, пожалуйста... Ты ничего не понимаешь. У тебя всегда найдется какой-нибудь паллиатив...

Образование Дарьи Гавриловны было довольно скудно, и на этом основании она особенно любила вставлять иностранные слова, иногда совершенно неуместно, как в данном случае. Впрочем, ее репертуар в этом отношении не отличался обширностью: паллиатив, корректно, компромисс и т. д.

– Ты съездишь к нашему председателю земской управы... – продолжала Дарья Гавриловна как ни в чем не бывало, – и



уговоришься с ним окончательно... Он так упрашивал меня принять участие в этой экспедиции.

«Врет, все врет... – думал доктор. – Впрочем, милейший Григорий Семеныч и сам немного того... не все дома...»

Чтобы быть последовательным, доктор отправился к председателю и повел дело довольно дипломатически, чтобы не показаться навязчивым. Но Григорий Семеныч предупредил его.

– А я только хотел ехать к вам, Осип Максимыч, чтобы уговориться относительно нашей экспедиции. Меня уже спрашивали Люстиг и Фомин.

Председатель земской управы Костылев отличался очень веселым характером и неистощимой предприимчивостью. В качестве холостяка он имел все права быть веселым, но за предприимчивость ему попадало. Последним председательским «пунктиком» было оживление глухого северного края при помощи путей сообщения, для чего он выпрямлял течение глухих упрямых рек, проводил новые дороги по непроходимым дебрям, мечтал о соединительных каналах, пароходстве и даже своей собственной, земской Заволочской железной дороге. Его называли мечтателем и советовали обратиться к воздухоплаванию. Затеваемая экспедиция была связана именно с целью пройти новую линию земской дороги, которая должна была соединить Заволочье с бассейном Печоры. Наполовину была уже сделана просека, и оставалось докончить вторую половину.

– Очень хорошо... – повторял Костылев, потирая руки от удовольствия. – Какие места я вам покажу... Пальчики оближете!..

Доктора немного смущало только то, что Костылев ни слова не говорит об участии в экспедиции Дарьи Гавриловны, что составляло суть его визита. Самому ему как-то неловко было говорить об этом. Доктор сидел на диване и курил папиросу за папиросой, а Костылев, кудрявый блондин с большими близорукими глазами, шагал по комнате и развивал свои планы, постоянно повторяя: «Не правда ли?»

У доктора уже являлось предательское желание уйти домой, что он и сделал бы, если бы не боялся показаться жене с пустыми руками. Но в самый критический момент его выручили Люстиг и Фомин. В Заволочье звонков не полагалось, двери не затворялись (во всем городе был всего один вор), и гостеприимный хозяин, когда в передней слышалось топтание и предупредительный кашель,

обыкновенно кричал, как часовой на посту: «Кто там?» Но свои люди вваливались без всяких церемоний. Лесничий Люстиг, тонкий, черноволосый господин с претензиями провинциального щеголя, с брелоками, булавкой в галстучке и медными перстеньками, еще в передней визгливо продолжал спор, очевидно, начатый еще дорогой:

– А я вам говорю, Аркадий Яковлич, что будет прекрасная погода... да!.. Мой анероид никогда меня не обманывает, а потом я старый лесной волк...

– А мой барометр предсказывает ненастье, – сказал Фомин, довольно неуклюжий господин, косолапый и с несоразмерно длинной спиной, точно самой природой предназначенный всю жизнь волочить таксаторскую цепь. Да, ненастье...

Врет ваш барометр! А вы вечно желаете спорить и портите другим характер... Мой анероид... Впрочем, вы можете и дома оставаться, а мы совершим экспедицию и без вас... Ах, доктор, здравствуйте!.. Вот кстати, голубчик! А я только что от вас... да...

Люстиг играл в Заволочье роль души общества. Немного играл на гитаре, пел больным тенориком малороссийские песни, никогда не отказывался от партии в винт, рассказывал остроумные анекдоты и при всяком удобном случае считал почему-то нужным уверять всех, что он настоящий, коренной хохол, несмотря на свое имя, отчество и фамилию – Карл Карлович Люстиг.

– Ну, так как, Григорий Семеныч? – говорил Люстиг, фамильярно хлопая Костылева по плечу. – Решено: оживляем край? Пусть губернатор говорит, что у нас в Заволочском уезде петух с тремя курицами подохнет с голоду, а мы ананасы будем разводить... Ах, кстати: Дарья Гавриловна согласилась принять участие в нашей экспедиции. Знаете, это самый лучший знак: разве возможна жизнь без женщины? Я ей, то есть Дарье Гавриловне, свои лакированные ботфорты послал еще утром... Ах, виноват, я, кажется, выдаю чужой секрет...

– Что же, отлично... – бормотал Костылев, поглядывая на ухмылявшегося Фомина. – Да, хорошо...

Таким образом, вопрос был решен, и доктор мог вернуться на свое пепелище со спокойной совестью. Дорогой он тоже ухмылялся и повторял про себя: «Тоже обрадовала милейшая Дарья Гавриловна почтеннейшую публику... Вот дурища писаная!» Он был прав,

потому что не успела за ним затвориться дверь, как Фомин и Костылев накинулись на Люстига.

– Вы нас без ножа зарезали!!.. Ну, куда мы потащим за собой эту корову?.. И все ваш язык, Карл Карлыч...

– Я... что же я? – вертелся Люстиг. – Я тут ни при чем. Она сама пристала ко мне с ножом к горлу... Как же отказать даме?

– Ну и ступайте с ней вдвоем оживлять край... – ворчал Фомин, пользуясь случаем. – Две ночи придется провести в лесу, и вдруг дама... тьфу!.. А вы ей свои сапоги посылаете...

– Это какая-то зебра полосатая! – ругался Костылев. – И я могу только удивляться, что некоторые люди могут на нее обращать внимание...

Друзья доктора рассуждали, как истинные друзья, и чуть не поддались.

## II

Сборы в экспедицию немного затянулись из-за того, что Дарья Гавриловна слишком долго выбирала фасон мужских панталон для своего костюма. Вопрос получился самый серьезный и рассматривался со всех точек зрения, с принятием во внимание всевозможных дорожных случайностей. Разрешился он тем, что Дарья Гавриловна собственноручно соорудила себе настоящие кавалерийские рейтузы. Доктор так и покатился со смеху, когда она показалась ему в примерке.

– Вот это так целесообразно и никаких паллиативов! – заметил он с обычной ядовитостью. – Корректно вполне и без компромиссов...

– Болван!..

Члены экспедиции собрались у Костылева и всячески изощряли свое остроумие по адресу Дарьи Гавриловны.

– Недаром говорится, что бабьи сборы – гусиный век, – ворчал Фомин. – Одним словом, будет зеленая чертова кукла... А все Люстиг со своим языком... У меня барометр падает, господа...

Не менее внимания занял вопрос относительно головного убора, пока Дарья Гавриловна не остановилась на высокой шляпе тирольских

охотников с орлиным пером. Последнее, впрочем, пришлось заменить петушиным, но это были уже пустяки.

Наконец костюм был готов в окончательной форме и назначен день выступления экспедиции. Стояли последние июльские дни, и погода начала хмуриться. Но ждать дольше было некогда. В состав экспедиции, кроме упомянутых выше лиц, входили лесник Парфен, в качестве «вожа», и председательский кучер Евсей. Половину дороги предполагалось сделать по просеке на лошадях, а дальше – пешком. Ранним утром у ворот докторского дома стояли шесть верховых лошадей. Первоначально Дарья Гавриловна хотела ехать в дамском седле, но ввиду трудностей пути согласилась сесть в мужское, тем более, что где-то читала об англичанках, которые ездят по-мужски. Картина получилась во всяком случае эффектная, и Люстиг был в восторге, когда круглые ноги Дарьи Гавриловны обрисовались в седле во всей своей красоте.

– Я даже и не подозревал, что у вас такие красивые ноги, Дарья Гавриловна, – с утонченной любезностью говорил Люстиг.

– Мало ли вы чего не подозреваете... – кокетливо отвечала она, краснея от комплимента.

Костылев и Фомин только переглядывались, а доктор морщился. А вдруг рейтузы при каком-нибудь прыжке лошади лопнут? Кучер Евсей ухмылялся, а лесник Парфен, человек мрачного характера, старался не смотреть на шалую барыню и даже отплевывался.

Было рано, и экспедиция выступила из Заволочья, не возбуждая внимания еще спавших обывателей. Скверно было только то, что небо начинало хмуриться. За городом сейчас же начинался лес, прорезанный еще свежей просекой. Везде валялись неубранные бревна, вывороченные пни, кучи хвороста, так что экспедиция вытянулась гуськом. Люстиг все время ехал за Дарьей Гавриловной и болтал всякий вздор.

– Если бы вы вместо блузы, Дарья Гавриловна, надели гусарский мундир, было бы еще лучше.

– Ах, отстаньте, насмешник... Мне и без того так стыдно... Все мужчины, и я одна женщина...

– А мне так совсем не стыдно...

В голове экспедиции ехал «вож» Парфен с двумя ружьями за спиной, а последними – председатель и Фомин.

– А ведь она походит на зеленого попугая, – уверял Костылев. – Не правда ли?

– И отчасти на Робинзона Крузо.

– Вернее – помесь Робинзона с зеленым попугаем... Новый зоологический вид. А милейший Люстиг напоминает огорченную миногу...

Просека тянулась на двадцать верст, до урочища Ядьва. Конечная цель путешествия была река Кибос, где была небольшая деревушка Войтух. Костылев, страстный поклонник природы, целую зиму рассказывал о красотах девственного леса, но их пока никто еще не замечал. Лес тянулся какой-то чахлый, болотный. Ели и березы были вытянуты какими-то метелками и обросли бородастым лишайником, точно старческой бородой. Жесткая болотная трава не придавала особенной красоты пейзажу, а проросли белого оленьего моха придавали ему траурный характер. Единственно, что было красиво, это гиганты сибирские кедры. Они стояли, как бояре, в дорогих бархатных зеленых шубах. Некоторые деревья были в два обхвата.

– Разве это не красиво? – кричал Костылев, когда проезжали мимо такого великана. – Не правда ли? Некоторые деревья были так красивы, что мы их обходили просекой... Жаль рубить такого красавца.

Сначала этот восторг разделяли и другие, а потом начались протесты:

– И совершенно напрасно не рубили. Мы теперь вдвое дольше проедем из-за вашей сентиментальности.

Дарья Гавриловна, отъехав верст пять, перестала болтать и напрасно старалась устроиться в седле поудобнее. У нее начали отекать ноги и ломило спину. Седло оказалось самое неудобное, заставлявшее чувствовать каждое движение лошади<sup>[8]</sup>. В довершение всего пошел дождь, и Дарья Гавриловна гневно обратилась к председателю:

– Что же это такое, Григорий Семеныч?

– Очень просто: дождь...

– А где же обещанная вами природа?

– Посмотрите внимательно кругом. Вон впереди прекрасный кедр.

– Благодарю вас...

К счастью, начавшийся дождь прекратился, и все приободрились, даже унылый скептик Фомин. Доктор только теперь догадался, что следовало захватить пледы и макинтош. Вон председатель оказался хитрее других: Парфен вез в тороках для него походный брезент.

– Благодарите бога, что в конце июля нет мошкеры, – оправдывался председатель.

– Мы походим сейчас на героев Майн-Рида или Купера и без мошкеры, – отозвался доктор. – Вероятно, вы помните романы «Всадник без головы», «Следопыт»...

– Первое относится к Люстигу, – заметил Фомин. – Этот милорд плохо кончит, я это предчувствую.

Последние версты для Дарьи Гавриловны были настоящей пыткой. Она стерла ноги до крови и должна была молчать, чтобы не подать повода к остроумию мужчин. А Парфен точно назло на все вопросы, скоро ли будет Ядьва, самым хладнокровным тоном отвечал:

– А вот сейчас, барышня... в один секунд...

– Он или сошел с ума, или смеется над нами! – негодовала Дарья Гавриловна, едва держась в седле.

– Pour etre belle – il faut souffrir, – отвечал Люстиг.

До Ядьвы ехали часов пять. Дарью Гавриловну сняли с седла чуть не полумертвую. Она едва держалась на ногах, и Люстиг должен был водить ее под руку, как опоенную лошадь. Остановку сделали на красивой лужайке, на берегу речки Ядьвы, где кончалась просека. Парфен устроил сейчас же громадный костер и повесил над ним походный медный чайник, чтобы согреть воды для чая.

– А ведь недурно, господа!.. – восхищался Костылев. – И если подумать, что всего через несколько лет эта пустыня оживится... Появятся заводы, фабрики, мельницы, бумажные заводы, хлебопашество – и все это только благодаря новой дороге!.. Вырастут починки, деревушки, целые села... Не правда ли?.. Я верю в наш север, который до сих пор совершенно пропадал. Прибавьте к этому, что здесь найдут каменный уголь, медные руды, золото, нефть...

Все ничего не имели против будущего оживления настоящей пустыни, и только Фомин прибавил:

– Вы забыли, Григорий Семеныч, алмазные копи, клюквенный морс, маринованные грибы, трюфели, шелковичных червей и женьшень...

Все позавтракали с удивительным аппетитом, и каждому казалось, что он никогда еще не ел так вкусно. Одна Дарья Гавриловна молчала: ей трудно было сидеть, и каждое движение вызывало гримасу. Фомин и Костылев посматривали на нее с затаенным злорадством: «Э, пусть второй раз не лезет, куда не следует!»

– Господа, здесь, конечно, хорошо, а мы не должны забывать, что к вечеру должны быть на Кибасе, чтобы не заночевать в лесу... – предупреждал Костылев. – Правда, остается всего верст пятнадцать...

Он намеренно убавил целых пять верст, чтобы поддержать настроение. Впрочем, мужчины, когда выпили водки за процветание окружавшей их пустыни, ободрились и готовы были идти хоть к Северному полюсу. Дарья Гавриловна тоже выпила большую рюмку мадеры и получила способность слушать любезности сидевшего рядом с нею Люстига.

– Ну, господа, пора... – заявил Костылев, глядя на часы. – Парфен, смотри, не ошибись дорогой!..

– Эх, барин, неладно вы сказали... – ворчал «вож». – Слава богу, не впервой! А только вы под руку говорите...

Его беспокоило главным образом то, что в артели замешалась баба. «Уж это, известно, не к добру... И черт ее понес, подумаешь. Не бабьего это ума дело. Вон и Карл Карлыч увяз с ней, как косач на току...»

Дарья Гавриловна соображала про себя, что хотя пешком и будет идти трудненько, но все-таки лучше, чем ехать верхом по-мужски, да и отдохнуть можно.

– Теперь мы пойдем уже настоящим девственным лесом, – объяснил Костылев с апломбом хозяина, – Прошу, господа, обратить внимание... Я тоже в первый раз здесь летом, а линию проходили зимой. Будемте в некотором роде пионерами цивилизации, Дарья Гавриловна... Не правда ли?

Председательский кучер отправился домой. Лошади бежали к родному стойлу без поводьев, с деловым видом.

Рекомендованный Костылевым девственный лес с первых шагов оправдал свое название. Сначала шли по какой-то тропе, которая потом, как в сказке, вдруг исчезла. Деревья поднимались все выше и точно сознательно загораживали заволочским пионерам дорогу. Хуже всего были лежавшие в разных направлениях, давно поваленные бурей или упавшие от собственной старости громадные деревья. Они поросли зеленым мохом и лишайниками, и приходилось через них перелезать с большим трудом. Этот бурелом и валежник отравлял буквально каждый шаг вперед. Особенно доставалось Дарье Гавриловне, которой благодаря коротким ногам приходилось перелезать через каждую колодину по-ребячьи.

– Дда-а... – повторял доктор, наблюдая смешно карабкающуюся по колоднику жену. – Получается история с географией.

В довершение всего попали в моховое болото. Ноги вязли по щиколотку.

– Парфен, да ты куда нас завел, негодяй?! – ругался Люстиг, уставший помогать Дарье Гавриловне в ее акробатических упражнениях.

Парфен остановился, почесал в затылке и только покрутил головой. Зимой тут никакого болота не было.

– Известно, Карла Карлыч, лес... ну, лес и есть...

– А болото откуда?

– Зимой-то его не было, значит, этого самого болота...

– Дурак!..

Сделали передышку. Костылев, как всегда, чувствовал себя превосходно и восхищался даже болотом. Он не желал замечать, что члены экспедиции начинают на него коситься. Его сейчас больше всего занимала точно из-под земли выскочившая собака, настоящая промысловая лайка. Дарья Гавриловна сочла нужным по-дамски испугаться.

– А может быть, это волк?.. А вдруг она бешеная и укусит меня?..

– Што вы, барышня, зачем бешеная, – объяснил Парфен, – Просто глупый пес... Лыской звать... И какой хитрый живот: я-то не хотел ее брать с собой, так она огородами бежала, а потом, значит, стороной за нами гналась. На стану и не подошла к нам, потому, мол, отправят вместе с конями домой...

– Да, миленькое путешествие... – ворчал Фомин.



– А мы скоро придем в эту деревню?.. – по-детски спрашивала Дарья Гавриловна. – У меня уж ноги промокли... Вы, Карл Карлыч, нарочно подсунули мне какие-то дырявые сапоги, чтобы у меня сделался насморк.

Принятая довольно снисходительно собака присоединилась к общей компании и с задорным лаем бросалась по сторонам, обнюхивая невидимые следы. Весь лес был наполнен самыми соблазнительными ароматами: пахло белками, лисицами, зайцами, тетеревами... Напав на след, она радостно взвизгивала и исчезала, как тень.

Дальнейшее путешествие являлось уже настоящим мучением. Дарья Гавриловна поминутно отдыхала, просила пить и капризничала.

– Знаете, что мы устроим? – говорил Фомин председателю, – Устроим волокушу и запряжем в нее Люстига. Пусть везет свою даму.

Волокушами называют на севере самый оригинальный и очень остроумный экипаж: две длинных жерди привязываются по бокам лошади таким образом, что задние их концы волокутся по земле. На этих концах и устраивается сиденье. Жерди выбираются тонкие, чтобы качало. На таком экипаже можно везде проехать без дороги.

Решающий момент для всей экспедиции наступил тогда, когда пошел дождь. Кругом болото, и даже укрыться негде.

– Что же это такое? – проворчала Дарья Гавриловна, в изнеможении опускаясь на первую болотную кочку. – Григорий Семеныч, куда вы нас завели? У меня будет воспаление легких... перитонит... Это совсем не корректно с вашей стороны!..

– Да, действительно... как-то странно... – поддержал жену доктор.

– Господа, если вы припомните, я решительно никого не приглашал... – оправдывался Костылев. – Да, решительно никого...

– А кто зимой все уши нам прожужжал о красотах девственного леса, черт бы его побрал?! – наступал доктор, повышая голос.

– Пожалуйста, без компромиссов... – визгливо прибавила Дарья Гавриловна.

– Нам остается только заблудиться в этом проклятом болоте, – ворчал Фомин, обращаясь тоже к Костылеву.

– Господа, прежде всего необходимо выбраться из болота, – ответил Костылев, сохраняя спокойствие. – А там поговорим... Парфен, иди вперед... Господа, терпение...

Вся экспедиция как-то сразу получила самый жалкий вид. Пионеры заволочской цивилизации шагали с самым озлобленным видом, проклиная председателя. А дождь все продолжался. Часы показывали четыре. Костылев только теперь встревожился, именно когда Парфен оглянулся на него и почесал в затылке. Экспедиция заблудилась... Придется ночевать в лесу, все промокнуло до нитки, запасов никаких. Одним словом, отлично... Приходилось идти по компасу наудалую. Через час Парфен вывел господ из болота, чему все обрадовались несказанно. По крайней мере, можно развести огонь и обсушиться.

Дорогой Костылев имел удовольствие слышать, как друзья без особенных церемоний прохаживались на его счет, называя, например, идиотом, сумасшедшим и т. д. Он скрепя сердце делал вид, что ничего не слышит, и утешал себя поговоркой, что истинные друзья познаются только в игре и в дороге.

Парфен быстро устроил под развесистой елью громадный костер, а около пего из мягких пихтовых ветвей ложе для барышни. Дарья Гавриловна повалилась на эту импровизированную постель и залилась настоящими слезами. Она и устала смертельно, и промокла, и хотела есть... Доктору пришлось ухаживать за ней, как за ребенком: он с трогательной заботливостью сушил над огнем все принадлежности ее костюма. Мужчины, конечно, ушли подальше и устроили себе другой костер. Здесь уже разыгралась настоящая драма.

– Это просто свинство! – решительно заявлял Люстиг, разместив кругом костра в живописном порядке подробности своего туалета. – Да, свинство...

– Это вы, кажется, по моему адресу? – заметил Костылев, начиная утрачивать хладнокровие.

– Если хотите, то по вашему...

– Вы... вы... вы...

Произошла очень бурная сцена, так что Фомину пришлось невольно принять на себя роль доброго гения.

– Господа, ради бога успокойтесь! Простая случайность... Я предупреждал, что мой барометр падает, Карл Карлович, а вы спорили

и смеялись...

– Убирайтесь вы к черту с вашим барометром!..

– Позвольте, вы забываетесь, милостивый государь!.. Я... я... я...

Тут пришлось вступить уже председателю, но враги накинулись на него – с необыкновенным азартом. Костылев начал даже потихоньку отступать, потому что самые разумные и убедительные слова потеряли теперь всякий смысл.

– Куда вы нас завели... а?..

– У вас в голове зайцы прыгают!..

На шум и крик прибежал доктор. Он был в одном жилете и без шапки.

– Господа, пожалуйста, успокойтесь!.. – убеждал он, делая самые трогательные жесты обеими руками. – У Дарьи Гавриловны лихорадка, может образоваться сыпной тиф, а вы тут поднимаете крик на целый лес... Дарья Гавриловна плачет... у нее истерика... Карл Карлыч, Аркадий Яковлевич, Григорий Семеныч!

– Убирайтесь вы к черту, то есть к вашей жене... да!..

Кто крикнул роковую фразу, осталось неизвестным, но доктор затрясся от бешенства и ни с того ни с сего бросился, подняв кулаки, к Костылеву. Что могло произойти среди этих промокших до костей героев, трудно сказать, но Парфен испугался и спрятался за кустом. Еще наотвечаешься за одуревших господ... Вон какая музыка пошла!..

Микола милосливый, Успленья матушка... – шептал он, закрывая со страха глаза.

Когда он открыл глаза, ему сразу сделалось все понятно. Сначала предупредительно зарычала Лыска и сделала несколько прыжков к лесной опушке, но сейчас же вернулась и, поджав хвост, спряталась за хозяина.

«Господи, уж не медведь ли?» – подумал Парфен.

Привычным охотничьим глазом он сразу заметил человека, прятавшегося за стволом сухарины, то есть высохшего на корню дерева. Собственно, он видел не самого человека, а только выставлявшуюся из-за дерева лысую, совсем как пасхальное яйцо, голую голову. Недаром Лыска, ходившая на медведя, так оробела и схоронилась за хозяйскую спину. В следующий момент Парфен, размахивая своей шапкой, уже бежал к продолжавшим галдеть господам и, задыхаясь на ходу, кричал:

– Барин... ваше благородие, Григорий Семеныч!.. Родимый мой!.. Ён пришел сам!..

– Кто ён?

– А который, значит, все время нам глаза отводил и в болото всех загнал... «старый шайтан»... ён самый... Эвон за деревом прячется!.. Ах, ты, господи, грех-то какой вышел!.. А я на барышню судачил, потому как неподобное дело женскому полу бродить по лесу без дороги... Я его сейчас предоставлю, старого колдуна!..

Никто ничего не понимал. Но появление «старого шайтана» сразу прекратило начинавшийся бой врукопашную, именно, когда доктор бросился с кулаками на Костылева.

#### *IV*

«Старый шантан» продолжал стоять на старом месте. Это был невысокий, сгорбленный старик, одетый в лохмотья и даже не в лохмотья, а во что-то такое, чего разобрать было нельзя. Вернее сказать, этот костюм состоял из всевозможных заплат, причем куски материи мешались с вытертыми, изношенными кусками собачьего и оленьего меха. Он был без шапки и босой. Старое лицо тоже точно было составлено из отдельных кусков тонкой и сухой старческой кожи, а глубокие морщины показывали места бесчисленных швов. Узкие темные глазки, как у хищного зверька, совсем прятались под напухшими красными веками. На этом лице из кожаной мозаики волосы топорщились какой-то бурой шерстью, как лишайники на очень старых деревьях. Голова была совершенно голая, и только за ушами осталось по коротенькой прядке волос – остатки кос, какие носят вогулы.

Рядом со стариком стояла пестрая, черная, с ярко-желтыми пятнами, собака, точно застывшая в своей неподвижной позе. Она вся была зрение и слух. Это был великолепный экземпляр породистой вогульской лайки, которой в лесу не было цены. Доказательством ее благородного происхождения были желтые круглые пятна на бровях, что знатоками-охотниками особенно ценится. Широкая грудь, тонкие ноги, задранный на спину кольцом пушистый хвост, острая морда и большие, необыкновенно живые глаза довершали картину редкого

типа. К этому еще нужно добавить необыкновенную чистоту и особенный блеск густой шерсти, какой встречается только у лесных животных и уже теряется у домашних собак, вкусивших запретного плода цивилизации – собачьих конур, дворов и комнат.

«Старый шайтан» долго и внимательно смотрел, что делается у докторского костра, а потом как-то по-заячьи присел на корточки и душливо захохотал. Именно в этот момент его и накрыл Парфен.

– Ты это чему обрадовался, старый шайтан?

– Депка смешной!.. Ух, какой смешной депка!..

Дарья Гавриловна перед костром сушила распущенные волосы и, действительно, имела оригинальный вид, потому что осталась в одних зеленых рейтузах. Зеленая блуза, беспомощно опустив пустые рукава, висела на колышке перед огнем.

– Ах, ты, старый шайтан!.. Это наша барышня... – объяснил Парфен, благочестиво отворачиваясь от соблазнительного зрелища.

– Депка... – упрямо повторял «старый шайтан» и опять хохотал, широко раскрывая свой беззубый рот. – Ух, какой смешной депка!..

Собаки сначала поворчали друг на друга и проделали все церемонии первого собачьего знакомства, особенно когда вогул сделал приятное открытие, что Лыска – дама. Впрочем, за излишне торопливые любезности он получил от Парфена удар ногой в бок, а Лыска пребольно рванула его зубами за ухо. Парфен обратил особенное внимание на берестяной заплечник, болтавшийся на спине «старого шайтана», и без церемонии открыл его.

– Эге, да тут и уха будет господам и косач на жаркое... Давленный косач-то?

– Давленный...

– Этакий ты черт-Иваныч... Ну, да ничего, не говори только господам, а самим им не догадаться, что ты силками душишь птицу.

– Стреляная скоро портится....

Появление «старого шайтана» произвело известную сенсацию. Всем вдруг сделалось стыдно. Ведь еще немного, и могла произойти настоящая свалка. И все это происходило на глазах постороннего человека, Парфена, который вернется домой и будет всем рассказывать, как дрались в лесу образованные господа. Вообще очень хорошо... Теперь, чтобы затушевать собственное смущение, все с особенным вниманием отнеслись к «старому шайтану».

– Ты, братец... да... гм... Ты здесь живешь? – совершенно глупо спрашивал Люстиг.

– Везде живу... – отвечал старик, улыбаясь своей беззубой детской улыбкой.

– У тебя дом есть где-нибудь?..

– Какой у него дом, Карла Карлыч, – объяснил Парфен. – Летом-то по лесу шляется... Наладит себе шалашик из еловой коры и спит в нем, а зимой околачивается около добрых людей. В избы-то его не пускают, ну, так он по баням живет.

Фомин занялся рассматриванием ружья «старого шайтана». Это была самая старинная малопульная винтовка с самодельной ложей. Как старик ухитрился убивать из нее белок и куниц, трудно было понять.

– Да, орудие... – заметил Парфен тоном специалиста. – А шайтан из нее вот как лихо запаливает. Белку прямо в голову бьет... Он из рыбы кожу умеет делать. Ну-ка, шайтан, покажи господам свою рубаху.

Рубаха оказалась верхом вогульского искусства. Она была действительно сделана из выделанной рыбьей кожи и сшита беличьими жилами.

– Настоящий пещерный человек, – определил доктор. – Интересный экземпляр вообще. Прямо для этнографического музея.

Костылев ничего не спрашивал «старого шайтана», не осматривал его, а просто налил походный серебряный стаканчик водки и молча поднес его старику. «Старый шайтан» взял стаканчик, перекрестился и выпил, блаженно закрыв глаза.

– Да ты разве православный, старик? – удивлялся Фомин.

– Мой четыре раза православный!.. – не без гордости ответил «старый шайтан». – Два раза отец крестил да два раза сам себя крестил... Рубаха получал, крест получал... потом острог сидел...

– Это его, ваше благородие, за омман в острог-то садили, – объяснял Парфен, – потому не омманывай попов, что некрещеный. Исправник-то тебя драл, шайтан?

– У! у!.. Шибко драл... Шайтан умирать хотел...

Всем это показалось очень смешным, и «старый шайтан» получил от Люстига второй стаканчик водки.

– Вы ему не очень втравлийте водку, Карла Карлыч, – заметил Парфен не без зависти. – Много ли старику надо... Ему-то, сказывают наши старики, больше ста лет. А напьется прежде время и из лесу не выведет...

– Разве мы заблудились? Этого еще не доставало!.. Господа, поздравляю!.. Парфен, да ты сбесился?.. Как ты смел, каналья!.. А?..

– Ваше благородие, Карла Карлыч, моей тут причины никакой нет, – смело оправдывался Парфен. – Зимой ездили с Григорий Семенычем, – никакого болота не видали... Я и сам дивился: откуда болото взялось? А это, Карла Карлыч, ён глаза отвел, шайтан... Уж я верно вам говорю. Рукомесло-то у него известное... Ни одной свадьбы без него не играют у нас. Самый вредный человек... Известно, живет в лесу и с разной нечистой силой знается. Даве как напугал у меня Лыску... Я уж подумал, не медведь ли, грешным делом.

– Так он, по-твоему, колдун?

– Известно, колдун... Ён все может: и кровь заговаривает, и килу устроит в лучшем виде, и глаза отведет. Бабы, которые выкликают, до смерти его боятся. Это у него разлюбезное дело, штобы в бабу запустить беса... У него, ваше благородие, на все есть свой заговор.

– И травами лечит? – спросил доктор.

– И травами и кореньями, а главное – наговорами. Он слово знает...

– Какое слово?

– А это уж он знает... Наши мужички давно собираются его порешить, да только страшно: не прост человек.

«Старый шайтан» слушал и улыбался своей детской улыбкой.

– Шайтан, знаешь слово? – спрашивал его Люстиг.

– Знаю много слов... хорошие слова...

– Ён, ваше благородие, и зверя и птицу заговаривает... Идешь рядом с ним по лесу и ничего не видишь, а ён хлоп да хлоп из своей орудии. А рыбу удит перстом. Своими глазами видел: опустит руку в воду, оттопырит один перст, ну, рыба к нему и бежит.

– Может быть, рыба принимает его палец за червя?

– Нет, она тоже не бросится зря, значит, рыба... Хитрая она... А ён ее сцапает и тут же живую съест. Да вот у него и сейчас, ваше благородие, в заплечнике и тетерька и рыбина. Мы-то шли по лесу и ничего не видели, а он зацепил тетерьку.

Последнее всех обрадовало. Значит, будет и уха и жаркое. Все уже испытывали первые приступы голода.

Доктор только теперь вспомнил, что жена сидит у своего костра одна, и торопливо направился к ней с радостной вестью об ужине. Дарья Гавриловна встретила его с особенной суровостью.

– Это очень хорошо с вашей стороны бросать меня одну... Вы там деретесь, а я тут хоть пропадай... Очень корректно!..

– Никто не думал драться, а только вышел крупный разговор... да...

Он торопливо рассказал об интересном колдуне, о том, что они заблудились, что будет ужин. Дарья Гавриловна успокоилась. Она успела высушить свое платье и была довольна, что дождь перестал идти. А провести ночь в лесу у костра даже весело... Когда зашел разговор об ужине, она огорчила мужа хозяйственным вопросом:

– А где же у нас соль?

Доктор не нашел ничего сказать лучше, как обвинить председателя, который должен был предусмотреть все.

– Он кругом виноват, Даша... Ах, негодяй!.. А колдун – преинтересный субъект и ест рыбу живую без всякой соли... да...

– Ну, это уж совсем нецелесообразно!..

## V

Скоро вся компания собралась около костра под елью. Стояла темная июльская ночь. Где-то в болоте скрипел неугомонный коростель. Общее внимание сосредоточивалось теперь на «старом шайтане», который сидел перед огнем на корточках. Водка на него сильно подействовала, и он улыбался блаженной улыбкой.

– Сколько тебе лет, дедушка? – спрашивала Дарья Гавриловна.

– А я забыл... Парфен говорит, что больше ста...

– У тебя родные кто-нибудь есть?

– Все подох... Много было, а хлеба было мало... зверя мало, птицы мало...

«Старый шайтан» совершенно не к месту засмеялся, точно вспомнил какой-нибудь веселый анекдот. Он говорил ломаным русским языком, но его можно было понять.



– Совершенно дикарь... – брезгливо заметил Люстиг, пожимая плечами.

– А разве тебе их не жаль, покойных родственников? – продолжила экзаменовать Дарья Гавриловна. – Ведь не чужие были...

Слово «жаль» оказалось совсем непонятным старику, как ни старались его объяснить.

– Подох... окошел... – бормотал он, продолжая улыбаться. – И ты околеешь...

– А давно это было, когда подохла твоя родня?

– Ух, давно!.. Водка был дорогой тогда...

У «старого шайтана» была своя хронология: он считал по цене на водку, то есть когда был откуп и когда появился акциз. Всем это казалось очень забавным, и все чувствовали себя весело. Парфен сварил в чайнике уху, но не было хлеба и соли. Дарья Гавриловна захватила с собой только несколько пирожных и фунт карамелек.

– А что же, это будет очень оригинально, – заявил Люстиг. – Кажется, еще никто не ел уху с карамельками и пирожным.

– Сахар заменяет до известной степени соль, – прибавил доктор.

Уху съели и без соли, а затем съели зажаренную в золе тетерьку, причем как-то забыли, что «вож» Парфен и «старый шайтан» тоже хотят есть. Костылев почти все время молчал. Ему не нравился тон, каким разговаривали со стариком-вогулом цивилизованные люди. Потом зачем Дарья Гавриловна угощает старика водкой?

– Шайтан, а ты бывал в городе?

– Очень бывал... три раза бывал... Острог сидел...

– За что же тебя в острог садили?

– А не знаю... Бумагу требовал начальник, у шайтана бумага нет...

– За бесписьменность судился, – объяснил Парфен. – Значит, начальство паспорта требовало...

– Нехорошо в остроге, шайтан?

– Зачем плохо? Два раза в день кормили... Ух, хорошо!.. Потом шайтана на суде судили... лишили всех прав состояния...

– А какие у тебя права?

– Не знаю... начальство знает...

– Ну, как же ты теперь без всяких-то прав живешь?

– Ничего, живу...

Все хохотали. Что может быть, в самом деле, смешнее дикаря, лишённого каких-то мифических прав? Смеялся вместе с другими и «старый шайтан». У него было единственное право – умирать с голоду, – и этого священного права не могла его лишить даже самая сердитая власть.

– У нас сегодня этнографическая ночь, – заметил доктор, любивший научные определения. – Не правда ли, Григорий Семеныч? Что вы все время молчите?

– Да так... не говорится. Да и спать пора, господа. Завтра рано придется встать. Предупреждаю...

Был уже девятый час, и все охотно согласились с этой счастливой мыслью. Парфен очень искусно устроил «девственное ложе» для Дарьи Гавриловны. Он надрал моху, наломал мягких пихтовых веток и даже пожертвовал собственный зипун.

– Настоящая перина будет, барышня...

– Я боюсь одна спать, господа, – предупредила Дарья Гавриловна. – Пожалуйста, не бросайте меня на произвол судьбы, как давеча... Это будет некорректно с вашей стороны.

Кругом ели устроилось настоящее становище. Каждый устроился, как хотел. У огня оставались Костылев и «старый шайтан». Старик сильно захмелел, крутил время от времени своей головой и продолжал улыбаться.

– Зачем ты водку пьешь, шайтан? – спрашивал Костылев, раскуривая папироску.

– Ух, люблю!.. Шибко люблю!

– Потом будешь хворать... голова заболит...

– У меня не болит...

Молчание. Тихо-тихо кругом, точно в пустой церкви. Изредка эта тишина нарушалась только теми неясными звуками, которые по ночам слышатся в лесу и происхождение которых трудно объяснить. Осторожно ли крадется хищный зверь, шарахнулась ли шальная ночная птица, стучит ли собственная кровь в ушах – ничего не разберешь. Вековой лес стоит темной загадкой, в нем чувствуется что-то недосказанное, какая-то затаенная дума... Фантазия невольно разыгрывается, но – увы! – у цивилизованного человека она, как оципанная птица, бессильна подняться с земли. Костылев с завистью смотрел на дикаря-вогула, для которого лес был живым существом и

говорил с ним тысячью голосов. Да, тут было все живое, и незримо витали в воздухе добрые и злые духи. В каждом шорохе слышался их таинственный шепот, предупреждающий, повелительный, вещий.

– Почему ты остался здесь? – спрашивал Костылев начинавшего дремать «шайтана». – Ведь другие вогулы давно переселились за Урал, на Лозьву... Ты помнишь, как они уходили отсюда?

– Шибко помню... Там лучше – вот и ушли.

– А ты почему не пошел с ними?

– Мне нельзя... Они – простые вогулы, а я – князь.

– Ты князь?..

– Шибко князь... князь Кивакта... Меня русские шайтаном зовут, а я – князь. Когда начальник меня драл, я и ему не сказал, что я – князь Кивакта... Шибко драл, а мне смешно... Мне нужно его было драть, а я молчал. И в остроге молчал... Вот я и остался здесь. Все мое здесь, каждое дерево...

– Это казенная дача...

– Я не отдавал ее никому... Я ее берегу... каждое дерево берегу...

– А вот я проведу дорогу, и поселятся в твоём лесу русские?

– Пусть селятся, а все-таки все место мое... Я не могу его отдать никому.

– А когда ты умрешь, тогда что будет?

«Старый шайтан» посмотрел на Костылева своими темными глазками и засмеялся, как смеются над наивным ребенком.

– Тогда все вогулы вернутся сюда и прогонят всех русских, – уверенно проговорил он. – О, вогулов много, как листьев на дереве!.. Вогулы самый сильный народ... Вот ты строишь для них свою дорогу... И все другие будут работать для вогулов... Я уж видел в Усолье, какие для них устроены русскими железные лодки и железная лошадь... Все это для вогулов... Они только ждут, когда им идти... Вернутся и все покойники... они только отдыхают пока... Все покойники придут. Старый шайтан все знает, только молчит... И я буду управлять своим народом, а ты будешь мне кланяться... Все вогулы будут есть каждый день и все будут счастливы...

«Старый шайтан» долго говорил о светлом вогульском будущем и улыбался блаженной, детской улыбкой.

## В болоте\*

### *Из записок охотника*

На Урале есть целый ряд заросших озер. Если смотреть на них откуда-нибудь с возвышенности, можно отлично видеть сохранившийся уровень воды, линию берега, острова. Замечательно то, что образовавшиеся торфяники и болота сохранили прежний водяной уровень, тогда как обыкновенно он понижается в виде широких ложбин и неправильной формы ям.

Ходить по такому заросшему озеру опасно; почва так и колышется под ногами, точно идешь по натянутому полотну; в других местах нога проваливается совсем, а кое-где еще сохранились полузатянутые осокой и лапушником глубокие озерные «окна», которые даже не замерзают зимой. Растительность на таких мертвых озерах совершенно особенная, тоже какая-то мертвая: жесткая осока, ситник, белоус, мхи и разнообразный кустарник, начиная со смородины по краям и кончая вербой. Особенно замечательны болотные сосны и березы, по которым сразу узнаешь настоящее болото: деревья здесь превращаются в жалких карликов, точно золотушные дети, а между тем таким карликам бывает иногда лет за сто. Болотная дичь любит эти мертвые места и плодится здесь во множестве, тем более что есть такие болота, которые решительно летом недоступны охотникам.

Раз утром в конце июля я долго бродил с собакой по берегу такого болота, еще находившегося в периоде зарастания: торфяной слой залег всего на глубине полуаршина, а поверхность представлялась редким кочкарником, с водяными просветами. Под водой отчетливо можно было рассмотреть пестрый ковер прошлогодних водорослей, точно дно было выложено деревянной коричневой мозаикой. В девять часов уже сильно парило. Небо было совершенно безоблачно, и от болота поднимались тяжелые испарения. Становилось просто душно, и время было подумать об отдыхе; собака тоже устала и смотрела на расстилавшееся болото ленивыми глазами, опустив хвост. Недалеко

высилась каменистая горка с сосновой гривкой наверху и зеленой опушкой из рябин внизу; я направился к ней, чтобы отдохнуть где-нибудь в тени у ключика.

Я забыл упомянуть о страшном враге, который гнал нас из болота сильнее солнечного зноя; этот враг – болотный комар и какая-то мешка, бессовестно лезшая в рот, в нос и даже в уши. Приходилось постоянно отмахиваться, причем враг исчезал, как дым, а лицо, руки и шея начинали просто пухнуть от бесчисленных укушений. Люди с чувствительной кожей иногда возвращаются из такого болота с совершенно вздутыми лицами, так что даже глаза заплывают, но, конечно, привычка и некоторая опытность предохраняют несколько от подобных превращений. Шлепая по болоту, я думал с особенным удовольствием о разведенном огоньке-куреве, который разгонит болотных разбойников, но в этот момент собака глухо заворчала, предупреждая о присутствии чужого человека.

В десяти шагах от меня, по колено в воде, стояла низенькая старушка с глубоко надвинутым желтым платочком на голове; в подоле желтого сарафана она держала пучки какой-то желтоватой болотной травы.

«Какая-нибудь деревенская знахарка...» – мелькнуло у меня в голове.

– Бабушка, где здесь найти ключик? – спросил я, подходя к старушке.

– А вот сейчас под горкой, милый... вон черемуха где, – приветливо ответила знахарка, нагибаясь за новой травкой.

– Спасибо, бабушка... Травку собираешь?

– Травку, барин, травку... хорошую травку.

Я поплелся вперед к указанному месту, но старуха меня остановила:

– А там, барин, у ключика-то, у меня внучка махонькая покинута, – предупреждала она, заслоня морщинистое, высохшее лицо от солнца рукой. – Вот песик-то твой не напугал бы...

– Хорошо, бабушка, не испугаем.

– Спит она, внучка-то...

Под кустом черемухи я действительно нашел и ключик и спавшую внучку. Место было прелестное, но можно было пройти в двух шагах, не заметив его. В глубине сцены высился скалистый

гребень, обросший молодым сосняком, а ближе к воде тянулась опушка из черемухи, рябины и тальника. Нужно было раздвинуть ветви низкой черемухи, чтобы попасть на неправильной формы лужайку, поросшую густой зеленой травой. Ближе к болоту, где сочился из земли светлый, как горный хрусталь, ключик, была сделана даже ямка в песке и обложена по краям пестрыми камешками. Очевидно, старушка-знахарка частенько бывает здесь.

Найти спавшую девочку было тоже довольно трудно, хотя она спала почти совсем на виду, в тени той самой черемухи, на которую указывала старушка. Это была совсем еще маленькая девочка, лег четырех; она спала прямо на траве, покрытая поношенным ситцевым фартуком, из-под которого выставлялись только босые ножки, покрытые грязью и царапинами.

Устроить курево было делом минуты, и скоро едкий соломенный дым потянул кверху столбом, потому что день был безветренный и воздух стоял, не шелохнувшись. Я с наслаждением напился ключевой воды, умылся и, не торопясь, принялся готовить охотничий завтрак из убитых куликов.

– Дай-ка я тебе, барин, сама изжарю пташек-то... – проговорил за мной голос знахарки.

Я даже вздрогнул от неожиданности, и сконфуженная собака, прокараулившая подкравшуюся старуху, зарычала не на шутку и долго не могла успокоиться. Теперь я вспомнил, что я давеча совсем не заметил старухи, хотя она бродила по совершенно открытому месту и в момент встречи, как и теперь, точно выросла из земли. Признаюсь, меня всегда пугают эти неожиданные молчаливые появления, вырастающие из земли, как тени, и я каждый раз несколько времени испытываю неприятное чувство человека, который бродит в темноте и неожиданно наталкивается на совсем незнакомые предметы.

Пока я передумывал все это, знахарка с каким-то ласковым шепотом выложила собранную траву около спавшей внучки, а потом принялась за моих куликов; она, очевидно, умела обращаться с этой дичью, хотя крестьяне болотной дичи сами никогда не едят, считая ее поганой. Меня заинтересовало это обстоятельство.

– Бабушка, ты это где научилась куликов-то жарить? – спросил я, вынимая еще двух на ее пай.

– Нет, барин, я не ем... никакого мяса не ем, – отказалась старушка и как-то печально улыбнулась. – А где я научилась куликов-то жарить... Старая я, барин, больно старая. Мало ли чего знаю... Да, старая, даже на што комары – и те не едят. Тебя вот как накрасили, а меня не едят, потому и комар свой вкус знает: одно – старое, другое – молодое...

Знахарка опять улыбнулась и, не торопясь, принялась завертывать куликов в широкие листья какой-то травы, а потом зарыла их в золу. Я рассмотрел ее подробно только теперь.

Сгорбленная, но еще бодрая, она была одета в поношенный темный ситцевый сарафан и такую же рубашку; большой темный платок покрывал голову вместе с загорелой морщинистой шеей. Ноги были босы, со следами болотной тины. Сморщенное лицо смотрело ласковыми, светлыми глазами, сохранившими еще таившуюся в них искру жизни; когда-то это лицо, вероятно, было очень красиво, потому что и теперь еще не утратило известной приятности, особенно когда старушка улыбалась такой хорошей, спокойной улыбкой. Очевидно, она умела водиться с господами и держала себя с тем ласковым достоинством, с каким умеют обходиться заслуженные старушки-няни. Обыкновенные деревенские старухи как-то дичатся незнакомого барина и постоянно охают и стонут или ворчат.

– Какую это ты, бабушка, травку собирала в болоте? – спросил я, когда кулики были уже готовы.

– Травку-то?.. А хорошая, божья травка... Петров-Крест прозывается.

Старушка принесла несколько стебельков и подала мне; Петров-Крест походил на ландыш, только был длиннее и имел мясистый белый корень в форме раздвинутых пальцев.

– Почему эта травка Петровым-Крестом называется? – спросил я, продолжая рассматривать отдельные стебельки.

Старушка выбрала один стебель, повернула его вверх корешком и подала мне: корешок имел неправильную форму креста. Дальнейших объяснений не требовалось.

– Для чего же тебе эта травка?

– А хорошая травка, барин, полезительная... помогает во многих болестях: когда к сердцу подкатит, поясницу ломит, от головы... От всего пользует...

– Одну эту травку собираешь или еще и другие?

– И другие травы собираю, которые на пользу... Помогаю, кто попросит... Есть больно хорошие травки, барин. Ах, какие травы есть!..

Старушка благочестиво покачала головой и тяжело вздохнула.

Старуха сидела на самом припеке и жевала какую-то корочку, которую прикрывала ситцевым платочком; зубы у ней были еще крепкие, так что слышно было, как она смело разгрызала сухие места. Моя собака, прищурившись, все время следила за ней и несколько раз переводила глаза на меня, точно спрашивая, как ей быть. Курево дымилось по-прежнему; под кустами черной смородины толклись столбом комары, в траве стрекотали какие-то козявки, где-то далеко перекликались журавли. Летний зной все наливался, и даже в тени не было спасения – из кустов так и несло тяжелой, теплой струей, бросавшей в пот. Я надеялся уснуть, чтобы переждать самое жаркое время дня, но все попытки в этом направлении кончились полной неудачей, и в результате получилось чувство какого-то расслабления, точно после жаркой бани. А старушка все сидела, вытянув вперед ноги, и не думала уходить с солнечного припека.

– Бабушка, ты изжаришься на солнышке! – проговорил я наконец, чувствуя, как мне самому делается жарче при взгляде на эту жарившуюся на солнце старуху.

– Нет, милушка, я рада солнышку-то... люблю его. Кровь-то старая, не греет, а солнышком-то ее и разгоняет: все бы вот так-то сидела... хорошо... Больно я люблю это солнышко, милушка, ждешь не дождешься его зиму-то зимскую, а как солнышко начало пригревать – я все по лесу брожу, по лугам, по болотам. Дотоль буду ходить, поколь тела своего не изношу... На что оно мне теперь? Будет уж, пожила, погрешила...

– Да какие у тебя и грехи, бабушка... Так, пустяки какие-нибудь?

Старушка пылливо посмотрела на меня и тяжело-тяжело вздохнула.

В это время проснулась спавшая девочка; увидев чужого человека, она сделала серьезное лицо и вопросительно посмотрела на бабушку. Это был прехорошенький ребенок – круглолицая, с синими глазками и льняными волосиками, с румянцем во всю щеку, с таким детски-серьезным складом пухленького ротика и светлым, чистым



взглядом, каким умеют смотреть только дети. В крестьянской среде редко встречаются очень красивые дети, и я с особенным удовольствием рассматривал маленькую внучку.

– Красавица будет, – проговорил я как-то невольно.

Старушка вдруг нахмурилась и как-то ворчливо заговорила:

– Ох, милушка, не нужно это слово говорить... неладно ты сказал... нехорошее это слово, барин.

– Как нехорошее?

– Да уж так, видно... Танюшка, милушка, что ты так воззрилась на бари́на-то? Барин хороший... Хошь поесть-то? На-ка вот, дитя́тко, у мене тебе припасено было...

Старушка достала спрятанный под кустом узелок и вынула из него ломоть белого хлеба; девочка следила за ней с заспанной блаженной улыбкой и крепко ухватилась за ломоть обеими ручонками.

– Что же я нехорошее такое сказал? – допрашивал я, когда кусок хлеба был съеден и Таня опять успела заснуть, – Вот и в песнях про красоту-то поют...

– Ах, милушка, милушка... Погибель эта самая красота нашему брату, бабе... да! Ты думаешь, я всегда такая-то была: сморщенная, да желтая, да старая?.. Ох, нет, милушка! Красивая была в девках, а замуж вышла – еще краше стала. По шестнадцатому годку замуж-то вышла, так оно было из чего хорошеть-то... В Березовском заводе тогда мы жили, настоящие, значит, березовские были, а в те времена, ух, как строго было... Казенные были, а тут начальство сторожит, потому и с начальства тоже спрашивали. Давно это, милушка, было, тогда еще тебя и в помине-то не завелось, – ну, вот и присылают к нам в Березовск одного начальника, Павла Лександрыча... А как прислали его, народ весьма взвыл, волком взвыл, потому больно строг был Павел-то Лександрыч. Из немцев он; ну, и все требовать зачал, чтобы по закону, а тогдашние-то порядки хуже смерти были... Да и работа эта в Березовске на промыслах была самая проклятушая: золото добывали по шахтам, в земле, милушка, робили, как черви землю-то точили... Тяжелая была работа, ну, а начальство требует, а чуть что – сейчас палками... Нынче уж этого нет, а прежде у нас на промыслах за все палками мужиков колотили. Павел-то Лександрыч больно уж донял тогда весь Березовск: и работою и своими порядками...

Пробовали его подкупать, как других начальников, так куда тебе – приступу нет. Просто бедовенная беда, народу-то по приискам тыщи приколотились – все заведовали... И раньше начальство было, и взятки оно брало, сколько хотело, и вообще действовало не по закону, а жилось куда легче, чем при Павле Лександрыче; а он все по закону делал...

Да вот поди ж ты... и человек он был все-таки, надо сознаться, очень хороший, дай ему, господи, царство небесное! – жалобным голосом вставила старушка. – Давно уж его нет в живности-то... Работой он томил народ больно. Помаялись-помаялись наши мужики, а ведь тогда по-военному все было – везде солдаты стояли, казаки. Ну, старики, которые промеж себя поговорили, посоветовались и вырешили, что надо выручать мир, потому всем петля на шею. Избился народ-то, а Павел-то Лександрыч все нажимает, все нажимает...

А я тогда молода была, совсем глупа, – совершенно другим тоном заговорила старушка, мешая угольки в куреве. – Ну, известно, ничего этого не понимаю... Старики так промеж себя говорят, а нам какое дело? Баб разве спрашивают в этикие дела мешаться? А тут и до меня дошла очередь... Был у меня дедушка, совсем древний старик, под сто годов ему было, и разумом уже начал он мешаться и все больше с ребятишками возился. Вот этот дедушка и говорит мне: «Матушка, ты бы хоть ягоды продавала либо грибы... Наши бабы таскают к Павлу Лександрычу, и ты бы с ними». «Штой-то, – говорю, – дедушка, учить меня, у меня свой муж есть».

Прошло так малое время, он опять свое, я к мужу. Тот из лица так выступил да и сказал только всего: «Дедушке больше нашего с тобой знать»... Бабенка я в те поры была совсем молодая, бойкая на речах; ну, думаю, коли вы так, буду, мол, ягоды продавать. И точно, наберу круженьку земляники и к Павлу Лександрычу снесу, – он сам любил ягоды покупать у баб. Ну, таким манером покупал у меня ягоды и деньги платил, супротив других баб даже больше платил и все наказывал чаще носить... Гляжу я, стал Павел Лександрыч со мной заговаривать, слово за слово, а сам таково крепко в меня всматривается. Глупое место было: мне бы бежать, а мне это даже приятно было... Ей-богу, от глупости больше!.. Потом зачал он меня пощипывать да заигрывать, а я бросила с ягодами к нему ходить. Дома

ничего не говорю, а сама нейду к нему, и конец делу. Только дедушка меня опять донимать стал: ступай да ступай, – ну, я и повинилась ему во всем, как на духу. «Пустое, – говорит. – Надо терпеть, Матренушка...» «А муж?» – говорю. «А што, – говорит, – муж твой означает, коли тут целый мир терпит, может, тыщи народу томятся... а?» И пошел наговаривать, и пошел наговаривать, складно умел таково говорить. Тут уж и я поняла, к чему он речь-то подводит, и даже ужаснулась; ноженьки мои подкосились, свет из глаз... Конечно, по промыслам бабы везде балуются, а в Березовском это даже совсем нипочем, а мне-то стало обидно, што меня свои же в яму толкают. И вскинулась я на дедушку, так с кулаками над ним и хожу: «Ты, такой-сякой, чему меня учишь, а? Как у тебя, старого, язык повернулся?..» А он на меня. «Разве, – говорит, – я тебя из-за денег посылаю, глупая? Ежели, – говорит, – мир так порешил, потому как от Павла Александрыча житья нет... Мир-то больше нас с тобой. Послужи миру-то, а твоей вины тут никакой не будет». Я реветь, а дедушка смотрел-смотрел на меня, снял рубаху, повернулся спиной и говорит: «Смотри, дитятку, какие у меня узоры-то нарисованы, да я не ревел, когда миру надо было послужить...» А спина у дедушки вся исполосована белыми рубцами, точно вот обожжена чем, и кости даже знать, где были измочалены палками... Это его палками наказывали, когда он еще в шахте робил и шахту затопил, потому ему тоже от мира наказ такой был. Ему за это за самое пятьсот палок и всыпали... Подневольный народ тогда был, замаяли подземной работой, вот мир и порешил шахту у начальства затопить, а дедушка в штегерях ходил – его и заставили.

Старушка замолчала, с трудом переводя дух. Где-то далеко-далеко, как пушечный выстрел, прокатился глухой раскат грома; над горизонтом выплывало темное грозное облачко и быстро подвигалось к нам. Зной стоял прежний, но теперь порывами набегал легкий ветерок и качал черемухами и рябинами. Таня проснулась и заплакала.

– Слава тебе, господи... – крестилась старуха, рассматривая катившуюся по небу тучку. – Давно уж земля дождичка просит... травушка-то больно притомилась.

– Что же дальше-то было, бабушка? – спрашивал я, заинтересованный рассказом.

– Дальше-то? А ничего. Павел-то Лександрыч совсем стишал, точно другой человек сделался... Сначала я ягоды ему все носила, потом грибы, а потом и совсем к нему перешла жить. Вдовец он был, – ну, я и жила у него. До меня он больно добрый человек – одевал, дарил, баловал... А я все делаю, как дедушка учил, все за мир хлопотала. Мужа штегерем сделал Павел-то Лександрыч, родню в люди вывел. Ох-хо-хо!.. А я от хорошей жизни еще краше стала: идешь, бывало, по улице, так чужой народ любит. Кланяться стали, потому, што хочу, то и делаю – большую силу забрала у Павла Лександрыча. Чудной он какой-то был, прости его, господи... Сначала-то я даже боялась его, а потом привыкла, так привыкла, что и про мужа совсем забыла. Вот она, красота-то, куда завела: мужа не жаль, а Павла Лександрыча жалеть начала, точно вот приросла к нему. Даже какая-то злость на меня нашла: нарочно, бывало, дразню мужа, чтобы сн меня колотил, как других баб мужья бьют... А то, бывало, совесть зачнет мучить, ночи не спишь, богу все молишься, – нет, ничего не берет. Так-то раз мучилась-мучилась да и порешила: брошусь я от этой жизни в шахту, все одно – моченьки моей не стало. Совесть доняла... Похудела, задумываться стала, а дедушка-то все уж примечал за мной, што неладно, мол, што-то с бабой дется. Умственный был старичок... Ну, раз я вечерком и отправилась в лес, думаю, брошусь куда-нибудь в шахту, потому тошнехонько; иду это я болотом, а дедушка мне навстречу, так же вот разную травку собирал. Пользовал он народ травкой... Увидал меня и говорит: «Нехорошее у тебя на уме, внученька...» Я ему опять все и рассказала: реву и рассказываю, а он слушает и тоже плачет. Вот он тогда и добыл из-за пазухи эту самую травку, Петров-Крест, и говорит: «Внученька, вот тебе травка хорошая... пей ее с молитвой, может, господь и поможет, а рук на себя не накладывай. Это травка особенная, крестом в землю растет, божья травка; от наших грехов крест господень в землю ушел». Стала я эту травку пить – и точно, облегчало... В те поры и Павел Лександрыч помер, девочка у меня от него осталась, – ну, я из Березовска уж ушла: тяжело было на людей глядеть. С дедушкой все жила, он меня и травы научил собирать, и какая в какой траве польза... Дочка-то потом замужем была да померла, а мне вон Танюшку оставила.

– А муж?

– Муж?.. Совсем он свихнулся, водкой зашибал сильно... Давно уж его тоже в живых нет. Ох, грехи, грехи!.. Танюшка, милушка, оболокайся, может, еще успеем до дождя домой добежать.

Старушка заторопилась, связала свои травы, спрятала какой-то узелок в кусты и, простившись со мной, исчезла в кустах. Я тоже пошел и, взобравшись на каменный утес, долго провожал торопливо уходившую парочку: старуха тащила девочку за руку и скоро скрылась в березовой рощице. Мне с возвышенности видно было все мертвое озеро, тянувшееся верст на пять; направо, из-за соснового леса, выдвигался острый мысик, а за ним бурым пятном виднелась глухая деревушка, где жила старуха. Туча уже висела над головой и совсем закрыла солнце; было душно, недалеко пронеслась со свистом стая уток и пала в болото. Вот и первые крупные капли дождя застучали с сухим шумом по зелени, вот и глухой шум от надвигавшейся грозы, и молния, и раскатистый, гулкий удар грома, гулко грянувший около самого уха... Я шагал с собакой чрез кусты к лесу, чтобы укрыться от ливня где-нибудь под деревом.

Что может быть лучше светлого озера, когда оно летним утром все из края в край курится радужным туманом? В глубине синей стеной поднимаются горы, за которыми спрятались Чудские заводы – старый и новый; направо зеленой каймой подошли камыши и заливные луга, а налево шелковой скатертью уходит из глаз башкирская степь. На выдающемся в озеро мысу мохнатой шапкой стоит сосновый бор, а за лугами зелеными пятнами рассажались березняки. На откосе, где песчаный берег уходит в воду, как осиное гнездо, присела к земле своей сотней избушек деревня Кучки. Летом даже эта деревня красива, точно она сушится на своем откосе, а последние избушки совсем подошли к воде и смотрятся в озеро, как в зеркало.

Ранним утром, на самом берегу, из крайней избушки выходил сгорбленный, худенький мужик Матвей, садился в бот и плыл осматривать выкинутые с вечера снасти. Нужно было перекосить все озеро, обогнуть боровой мыс и попасть в курью, где у Матвея из года в год ловилась рыба. С гор всегда дул ветер, и волна шла к деревне, а в курье всегда затишье и вода точно застыла. Проплывая под мысом, Матвей останавливался у арендаторской избушки, где жил карауливший озеро сторож, и говорил:

- Ну, Ильич, за твоей рыбой поехал...
- А мне какая печаль сделалась?.. Твой грех, твой и ответ...
- Ладно, разговаривай да кланяйся арендателю.
- И то скажу: способу с вами нет. Где же мне одному с целой деревней управиться... Вот начальство выедет, так тогда поговорите.
- И поговорим.
- Мотри, Матвей, не миновать тебе острогу...
- А кто в остроге-то сидит, может, получше нас с тобой.

Кривой Ильич обыкновенно уходил в свою избушку, а Матвей плыл дальше. «На-ка, арендатель тоже выискался на озеро! – ворчал он, стоя в боту на нотах и ловко загребая воду одноперым веселком. – Этак и житья не будет: земля господская, вода арендательев...» Матвей промышлял на озере уже тридцать лет, а тут вдруг его озеро в аренду сдали. Еще надо спросить, чье оно, озеро-то. У арендатора, конечно, денег много, да всего деньгами тоже не купишь. И вся-то штука в том, что помещику покориться неохота, – вот и сдал озеро.

– Нет, брат, постой... – вслух говорил Матвей, вынимая из воды разную снасть и выбирая запутавшуюся в ней рыбу. – И земля твоя, и озеро твое – нет, погоди. Жирно будет... Еще покойник родитель на озере-то рыбачил, а тут здорово живешь. Нет, ты еще обожди маненько!..

В Матвее много было задорной энергии, выливавшейся в вечных спорах и пререканиях то с соседями, то со старостой, а то просто со своей собственной бабой Авдотьей. Особенно доставалось от него волостным. Староста Маркел иначе не называл Матвея, как язвой: «Ишь, наша-то язва зудит». Сборщики податей боялись его, как огня, потому что уж Матюшка подыщется к чему-нибудь, а потом не развяжешься. Когда поверяли волостные суммы и усчитывали старшину, Матвей был впереди всех и, жертвуя собственной работой, «достигал» каждую неустойку. Неугомонный мужичонка, одним словом, сидевший в Кучках, как заноза. Даже выбрать его старшиной или старостой было невозможно: первое – бедный человек, второе – дело у него такое, что оторваться нельзя, а третье – не уладит с начальством. В сельское начальство обыкновенно верстают тех, кто в силе и может постоять за себя, или же в наказание – пусть отдувается перед начальством за все общество, а Матвей не подходил ни под какую линию.

– Матюшка у нас, как кривое полено, – говорил старшина Судыгин, – никак ты его не укладешь.

– Ты у меня учись жить-то, Пал Андроныч, – отвечал Матвей, встряхивая головой. – Ума у меня против всего опчества много – вот главная причина. Все я могу смозговать... да...

Однообщественники в шутку называли его «козьими рогами», которые, по пословице, ни из короба, ни в короб. Матвей Козьи-Рога

сделалось уличным прозвищем. Под этой кличкой знала его вся волость, а дома донимала жена:

– Ну, заскулили Козьи-Рога...

Соседки давались диву, как это Авдотья живет с таким мужем: ведь он поедом ест бабу – и стала не там, и пошла не этак, и у других-то все не по-нашему.

– А вот он уплывет в курью, так я быдто и передохну без него... – говорила в свое оправдание безответная баба Авдотья. – Ежели бы да он все дома-то сидел – помереть!..

– Что уж и говорить, бабонька: трясухая осина, а не мужик.

Выслушивая эти жалостливые соседские речи, баба Авдотья однажды ответила:

– Да ведь он, Матвей-то, добрый... Так он кажется только, что все скулит. Я ведь его не больно слушаю...

Вся улица хохотала над Авдотьей: вот так нашла добряка! То-то глупая баба! Матвей такую и подобрал себе, чтобы можно было походя ее долбить, – дерево смолевое, а не баба. Конечно, надо и то сказать, что не пьянчуга он и не озорник – это правда, но все-таки душеньку вымотает одними своими наговорами. А баба Авдотья жила да жила, поглощенная своей бесконечной бабьей работой – и дома, и в поле надо поспеть, и огород и скотину доглядеть, а тут еще что ни год, то ребята. На что эти ребята и рождаются, когда в доме непокрытая бедность? Рожали бы одни богатые бабы, им есть кем заместиться, а на бедную бабу – чистая напасть с ребятами. Теперь бы вот и с рыбой этой: отстать бы Матвею от озера, а он тягается с арендатором. Конечно, Ахметов – богатеющий человек и затаскает по судам, а Матвей все ему наперекор. Когда помещик сдал Светлое в аренду, другие рыбаки мало-помалу и поотстали, потому где же тягаться с Ахметовым: сегодня кривой Ильич протокол с урядником составит, завтра к мировому, послезавтра на высидку – тут и рыбе не рад будешь.

Раз летним утром, когда Авдотья, изнемогая от натуги, стирала разное тряпье прямо в озере, с другого конца улицы подошла кучка мужиков. Впереди всех шел Судыгин, плечистый и высокий мужик в красной рубахе, за ним рыжий Маркел и несколько стариков. Когда Авдотья увидела мужиков, у нее сердце так и екнуло от страха перед



какой-то неизвестной бедой. Баба была на «тех порах» и едва разогнулась, чтоб поздороваться с мужиками.

– Авдотья, где у тебя Козьи-то Рога? – спрашивал Судыгин ласковым голосом, – богатырь любил баб и теперь с сожалением посмотрел на выпиравший живот Авдотьи.

– А куда ему деться: в избе, поди, валяется... Ночесь только с рыбалки воротился, Пал Андроныч, – ответила Авдотья, немея от страха.

– А ты опять, Авдотьюшка... – еще ласковее сказал Маркел и покачал головой. – Ишь ведь как тебя обмотало всю.

Высыпавшие из избы ребятишки обступили мать и со страхом глядели на переминавшихся мужиков.

– Эй, Матвей, где ты схоронился? – кричал Маркел, подходя к покривившемуся оконцу. – Выходи-ка, милаш, дело до тебя есть...

В окне показалась голова Матвея и недоверчиво поглядела на обступивших завалинку мужиков. Солнце так и светило во все глаза, а от озера наносило кружившим голову паром. Мужики переминались, не зная, с чего начать. Неестественная ласковость голосов еще более увеличила подозрительность Матвея, и он теперь смотрел в упор на рыжую, окладистую бороду Маркела.

– Насчет озера? – спросил Матвей, стараясь проникнуть в тайный замысел подступившего начальства. – От Ахметова?

Мужики недоверчиво оглянулись на Авдотью: она была лишняя и точно мешала всем своим вздутым животом.

– Входите в избу, – пригласил Матвей, желая сохранить свое достоинство плавя дома. – Чего на солнце-то торчать?

Мужики один за другим вошли в избу, стараясь не смотреть на Авдотью, которая провожала их испуганными глазами. Сознывая свое бабье положение, она пересилила себя, и валец громко захлопал по мокрым тряпицам, отдаваясь на озере гулким эхом, точно хлопала по воде крылатая какая-то деревянная птица. О чем будут мужики говорить с Матвеем? Зачем Судыгин и Маркел так ласково разговаривали с ней, Авдотьей? У бедной бабы кружилась голова, и она еще сильнее колотила свое тряпье, точно хотела выбить из него всю свою бедность. Оборванные и чумазные ребятишки окружили ее, как спугнутый охотником выводок, и тоже пугливо озирались на

избушку. Самый младший даже попробовал было зареветь, но мать пригрозила ему вальком.

А в избе в это время происходила такая сцена.

– Мы к тебе от опчества, Матвей, – заговорил Маркел, степенно разглаживая бороду. – Значит, послужи миру... Допрежь тебя не просили, а теперь невозможно. Прижимка идет большая от Миловзорова...

– Ну?..

– Так уж ты тово... Опять начальство наедет, учнут деревню драть, так вот старички на сходке и порешили: Матвей у нас за словом в карман не полезет – ему и быть в первой голове.

– А ежели я не хочу? – окрысился Матвей.

– А ежели невозможно? – ответил вопросом Судыгин. – Разве ты один в деревне? Всем не сладко приходится. Раньше Ипат выхаживал, а теперь твой черед... Главная причина: невозможно.

Наступила неловкая пауза. Кто-то широко вздохнул. Судыгин машинально оглядывал голые, закоптелые стены избушки, покосившуюся печь, полати – бедность так и глядела из каждой щели, та жуткая бедность, которую во всем объеме в состоянии оценить только опытный глаз.

– Вот избенку надо выправить... – вслух проговорил Маркел невольную мысль Судыгина. – Как же!.. На то и мир.

– А это как? – спрашивал Матвей, указывая в окно на свою бабу с ребятами.

– Опять же мир есть...

Этим вопросом Матвей себя погубил: в нем уже слышалась готовность послужить миру. Он испугался не своей смелости, а поспешности. Как же это так вдруг? Ночесь только вернулся человек с рыбалки, в курье на тычках еще сушатся мережи, а тут за здорово живешь... Матвей вдруг почувствовал себя оторванным от своей избушки, точно он уже не Козьи-Рога, а кто-то другой, и этот другой идет на верную погибель. Страшная жалость вдруг охватила сердце Матвея, и он опять глянул в окно на свою бабу, колотившую вальком, и на столпившихся около нее ребятишек.

– Главная причина – никак невозможно... – подхватил Судыгин, стараясь прогнать напавшее на Матвея сомнение.

– Невозможно? – переспросил тот машинально.

– Мир послал... Я бы и сам, да язык-то у меня, как лопата, – поддерживал Судыгин с фальшивой ласковостью. – Разговору во мне нет настоящего.

Этого было достаточно. Главное объявлено, и все загалдели разом. То, что говорилось раньше между строк, теперь пошло напрямки. Старики размахивали руками и не давали говорить друг другу. Маркел вытирал катившийся по широкому лицу пот. Один Матвей сидел на лавке, свесив голову, как приговоренный. В его мозгу стояла одна мысль: «невозможно».

– Съест нас Миловзоров, – повторял Маркел основную мысль. – Теперь вот наше озеро сдал, а там и до земли доберется... Так я говорю?.. Начальство наедет... Опять будут оконницы выставлять, крыши сымать со дворов, печки разворачивать, а наше дело правое. Отцы еще здесь жили, и потом правильный у нас ак... Покойник Ипат и скопню выправил с его, с ака-то. Так я говорю?

Авдотья все колотила вальком, когда мужики один за другим начали выходить из избы. Они шли в том же порядке, как и входили.

– Прощай, Авдотьюшка... – ласково проговорил Маркел, I поравнявшись с ней. – Эк тебя разнесло... а?.. Ты не нагирайся очень-то, милая.

Баба молчала и, тяжело дыша, смотрела на мужиков остановившимися глазами. Она чувствовала себя такой несчастной, точно ее что придавило. Матвей вышел также за ворота. Он был без шапки, в одной пестрядинной рубахе. Поглядев на свою бабу, на дымившееся под лучами утреннего солнца озеро и на удаляющуюся кучку односельчан, он с подавленным отчаянием махнул рукой; в этом жесте сказалось все, точно он им отмахнулся от всего своего прежнего существования.

Это был великий момент, вроде того, как вода, накопившаяся в таинственных недрах земли, прорывает последнюю преграду и вырывается на божий свет. Судьба Матвея была решена.

## II

Чтобы сделать понятным все происходившее в избушке Матвея, мы считаем нужным объяснить историю Кучек.

Происхождение этой деревушки отодвигалось в глубь времен не далее полустолетия. На берегу Светлого озера сначала поставлено было несколько рабочих балаганов, и потом на их месте выросли избы и целый поселок. Делалось все это как-то самой собой, так что даже помещик, на земле которого образовалось новое селение, открыл его уже после эмансипации. Администрация была изумлена не менее помещика: откуда, как, почему появились неведомые люди?.. Объяснением такой странности может служить то, что зауральский помещик никогда не бывал в своих владениях, а все дела вершили разные управляющие, доверенные и уполномоченные, как и вообще на Урале. Владелец являлся каким-то мифическим лицом, исчезающим в неведомых высях, – никто его не видал, кроме управляющего и поверенных. Да и вообще помещичье владение на Урале является каким-то мифом: есть крупные заводовладельцы, захватившие в свои руки десятки миллионов десятин, а помещики прошли сюда как-то бочком. В Загорском уезде из помещичьих земель образовался целый остров, втиснутый между дачей Чудских заводов и башкирской степью. Их было всего до десятка, и самым крупным являлся тот не известный никому Шмит, на даче которого выросли Кучки. Немец Шмит сделался зауральским помещиком совершенно случайно, именно когда женился на дочери отставного генерал-майора Кереметева и в качестве приданого получил двадцать тысяч десятин земли где-то в неведомых глубинах Зауралья. Генерал-майор Кереметев тоже сделался помещиком по жене и тоже не бывал в своих владениях, как и Шмит, потому что громадное поместье не приносило никакого дохода. Наживались одни управляющие и поверенные. После эмансипации, когда даровой труд отошел в вечность, имение стало приносить даже дефициты, и, кроме того, возникли неожиданные неприятности, вроде открытия неведомой деревни Кучек. Это произошло так: управляющий Миловзоров всучил бывшим крепостным даровой надел, и, когда подошла очередь подписывать уставную грамоту Кучкам, мужики наотрез отказались от всякого надела, потому что считали землю своей. Можно себе представить положение Мило-взорова, желавшего выслужиться пред своим мифическим патроном: под самым носом существовала никому не известная деревня, захватившая до полуторы тысячи десятин лучшей

земли! Это уже был скандал, и Миловзоров самолично отправился осматривать открытую Америку.

– Когда же эти подлецы успели выстроить целую деревню! – удивлялся он, проезжая по Кучкам.

– Мы вашими помещичьими и не бывали, Аркадий Евгеньич, – заявляли с своей стороны кучковские мужики. – Вы сами по себе, мы сами по себе... Мы еще до генерала здесь жили; отцовская у нас земля.

Миловзорова огорчила такая неблагодарность, но он тут же сделал второе открытие: купец Ахметов с незапамятных времен ловит рыбу в Светлом озере безданно и беспошлинно, тогда как озеро принадлежит Шмиту. Мало того, Ахметов вперед знал о прибытии Миловзорова в Кучки и встретил его здесь самолично.

– Ушки откушать милости просим, Аркадий Евгеньич, – приглашал купец, держа на отлет свой картуз. – Первый сорт ушка...

– Послушай, братец, что это такое: озеро мое, а ты тут хозяйничаешь? – озлился Миловзоров, знавший Ахметова по преферансу у протопопа Глаголева.

– Помилуйте-с, Аркадий Евгеньич... как можно-с! Еще покойный родитель мой озеро-то кортомили...

– Как кортомили?

– А у мужиков-с... в сам-деле, откушайте ушки, Аркадий Евгеньич!..

– Перестань ты, Ахметов, дурака-то валять... Ведь ты отлично знаешь, что земля и озеро мои, а мужики – бунтовщики. А ты заодно с ними: «покойный родитель»... Я вам покажу не только родителя, а и родительницу!..

Конечно, Ахметов обманывал – никакой кортомы он никому не платил, а просто хотел пугнуть Миловзорова. Уверенный тон последнего, однако, поколебал его купеческую сноровку, и Ахметов прибавил:

– Сурьезно бы поговорить с вами, Аркадий Евгеньич... Давно это следовало, да все как-то сумлевался я достигнуть вас. А мужики, точно, изрядно землицы прихватили... целая округа.

Они вместе объехали всю захваченную землю, и Миловзоров не мог надивиться: сотни десятин распаханы, леса вырублены, а на карте имения у него все это место покрыто зеленой краской, что, по

«объяснению знаков», означало строевой лес. И как это могло случиться?.. А тут шельма Ахметов тоже пристроился и может напакостить. Удивление управляющего перешло всякие границы, когда он самолично убедился, что кучковские мужики действительно никогда и не бывали крепостными Шмита, а набрались сюда со всего Урала – с горных заводов, из других помещичьих имений, с казенных промыслов и т. д. Что же, спрашивается, смотрела администрация? Да-с, администрация, которая должна знать все... Но администрация всегда останавливалась у Миловзорова и пользовалась доставленными им же сведениями. Вот так положение... Если поднять дело, то тот же мифический Шмит скажет: «А где вы, Миловзоров, раньше-то были?» С другой стороны, и администрацию подводить не приходится... Обыкновенным выходом во всех таких недоразумениях было то, что все прорухи и нелады сваливались на предшествовавшего управляющего, а тут под носом карта имения и зеленое поле, означающее строевой лес.

– Вам бы, Аркадий Евгеньч, хошь бы разок объехать было именье-то... – сожалел Ахметов, хрустя заплывшими пальцами. – В самом деле, объехать бы, то есть раньше бы объехать... В самую бы точку вышло.

– После свадьбы-то всяк тысяцкий... Черт его знал, что тут целая деревня стоит! Не сам же я ее выстроил... Ну, положение!

Нужно отдать справедливость, что Миловзоров горячо принялся за дело, выкупая свою прежнюю небрежность. Он открыл еще две спорных межи в имении: одну с Чудскими заводами, другую с башкирами. Но это были пустяки. Бельмом на глазу у него сидела самовольная и самозванная деревня, врезавшаяся в центр имения. Нужно было повести дело умненько, исподволь, посоветовавшись с знающими людьми. На поверку оказалось, что кучковские мужики тоже хлопчут в Загорье и как раз подведут какую-нибудь каверзу, а впереди новые суды.

– Вот что, Ахметов: ты будешь моим арендатором на озеро, – заявил Миловзоров после таинственных совещаний с нужными людьми, – и напишем так условие: «По примеру прошлых лет, я, нижеподписавшийся, арендую Светлое озеро у штабс-капитана Шмита на следующих условиях»... Понял?

– Понимаем-с... Только я, Аркадий Евгеньч, рыбную часть брошу. Ей-богу-с... Хлопотливое дело, а мы тут сгоношим заводишко винный. Это будет не в пример способнее. А озер-то по Зауралью, слава богу, весьма достаточно.

Пришлось уламывать прожженного человека и ему же платить за аренду, да еще на свой счет содержать на озере сторожа: все это устраивалось, чтобы прервать «течение земской давности». Вообще, стоило громадных усилий, чтобы всему делу придать известное положение и ввести его в оглобли до новых судов. Миловзоров лез из кожи, потому что защищал в этом деле самого себя. Кучки тоже не дремали. Мужики собрали денег, послали ходоков, и каша заварилась. На сцену появился какой-то таинственный «ак», по которому захваченная земля оказалась родовой собственностью не менее мифических Иванов и Сидоров, чем генерал Кереметев и штабс-капитан Шмит. Реальная деревня Кучки вступила в отчаянную борьбу с мифическим помещиком, земную тень которого составлял Миловзоров. Неопытные в кляузах и юридических тонкостях мужики положились главным образом на свой «ак», что было на руку Миловзорову: беспрепятственное владение землей в течение тридцати лет стушевывалось. Явилась на место действия администрация, явились сопротивление властям, протоколы, предварительная высадка ходоков – одним словом, дело пошло вперед полным ходом. Миловзоров торжествовал, пользуясь оплошностью противной стороны.

В этой стадии дела самым тяжелым для Кучек было то, что в одно прекрасное утро явилась власть и потребовала очистить место. Кучковцы оказали отчаянное сопротивление, ухватившись за родное пепелище с энергией утопающего человека. Собственно говоря, сопротивление выразилось в самой пассивной форме – в нежелании оставлять насиженное место. С своей стороны, власть тоже употребляла кроткие меры: разбирала крыши, выставляла окна, ломала печи в избах и водворяла на место жительства самовольных поселщиков. Кучки представляли самую жалкую картину разрушения: мужики разбежались, а оставались одни ревершие бабы с ребятами да ополоумевшая от разора скотина. Но стоило начальству отвернуться, как «выдворенные» являлись на старое место, и Кучки быстро реставрировались. Жертвой этого разгрома явился знаменитый

ходок Ипат, забранный властью в качестве вещественного доказательства. Нужно ухватить видимую причину беспорядков, живое доказательство затраченной энергии, – и ходок пошел по обычным в таких случаях мытарствам.

– Наше дело правое... – твердил Ипат везде. – Вся прижимка от Аркадия Евгеньча. Еще родители жили...

За энергичную деятельность и усердие Миловзоров получил «отличную благодарность» и праздновал полную победу. Но пораженного по всем пунктам неприятеля нужно было еще взять, а тут новый губернатор, новые суды и вообще усложняющие дело обстоятельства. Земские налоги подорвали окончательно экономическую правоспособность мифического зауральского помещика, и он очутился в разряде неплательщиков. Земля лежала совершенно непроизводительно; выпущенные на даровой надел крестьяне бедствовали, и единственной доходной статьей являлся недействовавший винокуренный завод, выстроенный Миловзоровым с единственной целью получить отступное с Ахметова и Ко. Легендарный «ак» выплыл с новой силой и пошел гулять по новым судам, а Миловзоров донимал врага мелкими исками о самовольных порубках, потравах и т. д. Эта партизанская война оказалась для Кучек горше недавнего одоления, потому что в самую горячую рабочую пору вырывала сотни поденщин и штрафы. Нашелся какой-то адвокат, который взялся вести дело кучковских мужиков, и этот процесс тянул из них жилы. Нужно было много стойкости и веры в свою правоту, чтобы выдерживать такую неравную борьбу. В решительный момент, когда нужно было отправляться в город, дело остановилось за ходоком. Старый Ипат, ходивший по делу лет двадцать и обтерпевшийся в своих мытарствах, умер года три тому назад. Он едва дотащился до родного пепелища, больной неопределенной мужицкой болезнью, когда человек «весь неможет», и умер через два дня. В нем Кучки потеряли неутомимого заступника и радетеля, который безропотно шел всюду, куда было нужно. Никто в Кучках не удивлялся подвигу этого Ипата, как и он сам: так было нужно. Если бы Ипат не пошел, за него пошел бы другой, а не другой, так третий. Есть вещи и положения сильнее каждой отдельной личности. Именно в таком положении очутился Матвей Козьи-Рога в то роковое утро, когда к нему явилась депутация односельчан.



– Надо собираться... – коротко и глухо проговорил он жене, не объясняя, куда и зачем собираться.

По своей бабьей приниженности Авдотья не спросила его, куда он уходит и по какому делу. Она только чуяла своим бабьим сердцем какую-то неминуемую беду, надвинувшуюся вдруг. Сборы Матвея были недолгие: новые штаны и рубаха, старый зипун да котомка – и весь тут. Обряжая мужа во все лучшее, точно она готовила его к принятию какого-то таинства, Авдотья не плакала, не жаловалась и не стонала: так нужно... Она это чувствовала, простая деревенская баба: дешевым бабьим слезам еще будет время, а теперь нужно думать о другом. Безответность и бабья покорность Авдотьи тронули Матвея больше всяких слез и причитаний. Эх, славная баба эта Авдотья, да и ребятишек жаль, ну, да ничего не поделаешь!

– Ну, даст бог, вернусь... – хмуро проговорил Матвей жене на прощание. – Мотри, соблюдай ребятенка, а ежели коли что... ну, к Пал Андронычу в правую ногу: не оставит.

Авдотья убежала в избу, чтобы спрятать свои непрошенные слезы, а Матвей опять махнул рукой и зашагал к избе Маркел а, где его ждали волостные старики с последними советами и наставлениями. А через час он уже шагал по проселку к городскому тракту, помахивая длинной палкой, с какими по всей Руси расхаживают странники, богомольны, нищие и всякие другие божьи люди. Выйдя за околицу, Матвей остановился, поглядел на Светлое озеро, на свою деревушку, отыскал глазами знакомую крышу и еще раз удивился: третьего дня он вон там в курье выметывал мережи, а сегодня идет куда-то в неведомую даль.

– Никак невозможно!.. – вслух проговорил он и зашагал с усиленной скоростью, точно хотел уйти от схвативших за сердце дум.

### III

Прошло лето, прошла осень, зима, а о Матвее ни слуху ни духу. Как в воду канул! Авдотья несколько раз «посыкалась» добиться от односельчан, куда задевался муж, но старички только мычали, чесали в затылках и бормотали что-то совсем несообразное, – надо же было как-нибудь отвязаться от пристававшей с ножом к горлу бабенки.

Правда, помощью ее не оставляли – то хлебом, то деньгами, то дровами. Но это была обязательная помощь, которую Авдотья принимала только в крайнем случае.

– Ежели тебе что надо будет, Авдотьюшка, так ты только мигани... – повторял каждый раз Маркел. – Обязанность свою весьма даже чувствуем.

– Есть у меня все, слава богу..

Ну, то-то. Мотри, соблюдай ребяенок, чтобы, значит, Матвей на нас опосля не судачил.

Авдотья низко кланялась и уходила в свою мурью. Пользоваться мирской помощью она вообще стеснялась. Матвей – гордый человек, не любил кланяться. Вот по соседству – другое дело: кто молочка ребятам принесет, кто дровец приволокет, кто что – все же свои люди. Раз, зимой, в самый лютый мороз, притащился с курьи кривой Ильич и привез с собой целый мешок рыбы.

– Это я тебе гостинец... – довольно сурово проговорил сторож, смущенный собственной нежностью. – Ребята-то привыкли к рыбе, когда отец был.

– А как я с тобой рассчитывать буду... – смутилась, в свою очередь, Авдотья.

– Да никак... Не стало ее, что ли, в озере, рыбы-то! Слава богу, вполне даже достаточно... Мы хоть и вздорили с Матвеем, а рыба тут не виновата. Я как, значит, обвязался Ахметову, ну, а он опять отступаться не хотел... Да и то сказать: свет я увидел без Матвея-то. Лежу себе в избушке и знать ничего не хочу. Помещик – помещикам... А то Матвей-то все у меня, как бельмо на глазу, сидел. Грешным делом, дирались мы с ним не одна...

Этот подарок заставил Авдотью прореветь целую ночь. Первый враг Матвея, и тот помянул его добрым словом, точно покойника... Да и рыба напомнила ей про мужа. Где-то он теперь, Матвей?.. Уж жив ли, а не то сидит где-нибудь за семью замками. Ребятишки малешеньки, несмысленны, а и те нет-нет да и припомнят тятку.

Кривой Ильич действительно был доволен больше всех невольным отсутствием Матвея, хотя это слишком эгоистическое чувство и претило ему. Нехорошо радоваться чужому безвременью. Конечно, Матвей пошел своей волей, ну, а все-таки не за себя пошел, а за мир. Станный был этот Ильич, с детства живший в лесу. Он

служил на соймах у арендаторов, лесником, сторожем, и совсем свыкся с лесной тишью. Несоразмерно длинная, сгорбленная спина, кривые, короткие ноги, длинные руки и лохматая голова делали его похожим на медведя. Зимой и лето Ильич ходил без шапки. Такой уж родился несообразный человек: в лесу ему и жить. Избушка, поставленная на мысу, была поставлена, как казалось, на живую нитку, но в ней было тепло, а это – главное. Сбитая из глины, широкая русская печь держала в себе жар по неделе. Всю жизнь Ильич провел бобылем, а под старость, чтобы не скучно было, обзавелся петушком и курочкой. Прежде спал Ильич, как убитый: стемнело – лег, забрезжилось – встал. Какая ночь, такой и сон, а под старость не стало прежнего сна: то ноги заноят, то поясницу ломит. Ворочается, ворочается Ильич на своей печке, а кругом темь стоит, хоть глаз выколи. Вот и завел старик петушка с молодкой, потому все-таки ночью петушок вспоет, и сторож знает, какой час на дворе. По весне наладит курочка яичек, выведет гнездо, и пойдет у Ильича настоящее хозяйство. Петушок с молодкой жили под печкой. Была еще у Ильича собака Белка, такая же лохматая и кривоногая, как хозяин; у нее даже и глаз был кривой, тоже как у хозяина. Славная прежде была собака, а теперь годы ушли – лежит себе под лавкой день и ночь и чуть брехает на волков или когда бродяжки подойдут к избе. В подполье проживали ужи. Свистнет Ильич, и поползут молоко пить.

По своему общественному положению Ильич был озерной сторож, а в действительности он проживал так, изо дня в день. Жалованья ему никто не платил, хотя и была рядом с Ахметовым. Разбогател, раздулся Ахметов и слышать ничего не хочет о жалованье. Придет к нему Ильич в Чудской завод и начнет просить хлеба, а купец примется ругаться:

– Какой тебе хлеб, старому черту? Задарма проедаешься на озере... Рыбу я не ловлю. Ступай, выправляй жалованье с Миловзорова...

– Ты арендатель-то, с тобой рядом была... Вот лопать<sup>[9]</sup> обносила, сапоги развалились, то-се... И то кучковские мужики посыпались осенью убить, зачем рыбу препятствую ловить.

– Бродяг хлебом кормишь, старый черт! – ругается Ахметов.

Ильич смолчал: было дело. Да и как не дать бродяжке, когда хуже волка человек придет. Ахметов все знает, прожженная душа... Но

сколько ни ругается, а все-таки велит отпустить муки, завалившие сапоги выкинет, одежонку и еще раз обругает. Вот и все жалованье. Пробовал Ильич толкнуться к Миловзорову, но тот так затопал на него ногами, так заорал и еще хотел в кутузку посадить – хуже собаки. Уйти с озера Ильичу было некуда: крестьянская работа не под силу, да и привык он к своему лесному житью. Сам большой, сам меньшей в избешке своей. Конечно, зимой скучно бывает, а пройдет зима, и точно праздник какой откроется. Вспухнет и надуется лед на озере, по лесу пойдут проталинки, выступит вода в низких местах, нальется почка, а потом, когда вскрыется лед, пролетит птица. Много бб летит по весне с полудня и, стая за стаей, отдыхает на Светлом озере. Гуси, лебеди, утки, чайки – стоном стон стоит на воде. Много озер по Зауралью, и весной везде тьма-тьмущая дикой божьей птицы; заходит рыба в воде, начнет икру метать по затонам и мелким речонкам, а в ясные дни по озеру гул идет: рыба мечется. А тут уж первые цветики пошли по лесу, зазеленела травка, пахарь выехал в поле... Все это видит Ильич – видит и радуется, и славит бога: у бога всего много.

Лежал таким образом! Ильич весенней ночью в своей избешке и совсем начал засыпать, как Белка ни с того ни с сего заворчала и брехнула.

– Цыц ты, кривая ерѣхта! – обругал ее вслух Ильич. Собака повиляла хвостом и опять брехнула. По лаю Ильич знал, что к избешке человек подходит. Кому бы быть о такую пору? Бродяжки идут по осени – разве заблудился кто? Слез Ильич с печи, вышел из избежки – действительно человек подходит и палочкой помахивает. Выскочила Белка и бросилась навстречу.

– Кто, крещеный? – спросил Ильич, разглядывая темную человеческую фигуру.

– Так, заплутался...

– Ты бы подальше плутал-то, а то возьму орясину...

– Буде, Ильич... ну тебя.

Голос знакомый, и Белка унялась. Только хвостом виляет, тварь – узнала кого-то, подлая.

– Не угадал, что ли? – спрашивает знакомый голос. – Матвей из Кучек.

– Нно-о?!.

Ильич вдруг чего-то испугался и бросился в избу вздуть огня. Матвей вошел за ним, перекрестился в передний угол, сел на лавку к столу и молчит, а Ильич стоит с зажженной лучиной и смотрит на него.

– Откедова путь держишь, Матвей? – спросил наконец старик.

– Издалече будет... Отсюда не видать.

– Пошто мимо деревню-то свою обошел?

– А не рука мне... По волчьему паспорту, значит. Убег я из острогу... К озеру потянуло – вот и пришел поглядеть. Ох, моченьки моей не стало... тошнехонько!

– Ах, Матвей, Матвей...

– Ну ладно. Ежели опасешься – уйду.

– Да куда уйдешь-то, голова с мозгом?

– А в лес... Небось, места в лесу всем хватит.

– Да ты, поди, поесть хочешь?..

– А не знаю... два дня не едал, пожалуй, отвык. Ну, что Авдотья моя?..

– Ничего, живет... Славная баба.

Поел Матвей и сейчас же заснул, точно его гвоздями приколотили к лавке, а Ильич проворочался до самого света. Вот так гостя господь послал... Да не надумал ли чего Козьи-Рога?.. Пока бродяга спал, Ильич осмотрел снасти и навез рыбы. А Матвей уж встал и смотрит на него с берега, как он в боту по камышам ездит.

– Вот что, Ильич, спасибо тебе на добром слове, а я того... – заговорил Матвей, глядя в сторону. – Не хочу тебя под ответ подводить. Еще начальство присыкнется к тебе, того гляди...

– Перестань... Места не просидишь, а там и уйдешь, когда следоват.

Одежонка на Матвее была плохонькая, на ногах лапти, да и сам он сильно исхудал, пожелтел, оброс диким волосом и поседел. Долго, видно, сердяга, в остроге высидел. Напоил его, накормил Ильич, а спросить про дело не смеет: как бы не обидеть человека. Как раз по напряженному месту попадешь... Матвей ничего не говорил до вечера, а потом уже все обсказал.

– Доходил до самого... – глухо начал он. – До Шмита до этого... В Питере был. Агромаднеющий город...

– Ишь ты, куды махнул!

– Было дело... Сперва-то я в Загорье выправлял дело. Ну, вижу, пользы мало: тот одно скажет, другой – другое... Путают, а дело наше правильное. Ну, я в Питер. Достиг и самого Шмита... Думаю, человек ведь тоже, пожалеет. Целую деревню зорят, а ему что: плюнуть! Все одно земля-то так же пустеет, а вся прижимка от Миловзорова. Ну, и достиг...

– И обсказал?

– Все, как на ладонке выложил... Разве это порядок: у Чудских заводов пятьсот тыщ земли пустует, в орде, может, не один мильонт ее тоже задарма лежит, а тут еще двадцать тыщ у Шмита и тоже зря – Миловзоров, мол, зайцев гоняет. Выискалась, мол, всего-навсего одна деревнюшка, произошла она горбом, опахалась, обсеялась – ну, зачем зорить?.. В жалость хотел его привести: бабы, говорю, ребятенки милые... Разор, говорю, и вам и нам, ежели мы будем еще дальше тягаться. Все ничего, выслушал, а как я помянул про ак...ну, по этапу меня и предоставили в Загорье, а там в острог. В остроге-то, как своего, приняли: «говорка привели», – кричат рестанты. Конечно, ихнее дело привычное, как присмотрелись, значит, они ко всякому народу и всех ходоков говорками зовут. Цельную зиму я высидел, а как подошла весна, как ударила оттепель, – ну, не вытерпел... Всего-то оставалось с месяц досидеть. Тошно стало... чуть рук на себя не наложил...

– Досидел бы лучше, Матвей.

– А ежели тошно мне?..

Матвей поселился опять в своей курье, тщательно избегая всякой встречи с односельчанами. Два раза ночью он на боту переплывал озеро, обходил свою избушку, но войти в нее не смел: Авдотья испугается и перебудит ребят. Одна собака Жучка узнала хозяина и подползла к нему, из покорности, на брюхе. Раньше Матвей совсем не замечал эту собачонку, которую щенком притащили откуда-то ребятишки, а теперь он обласкал ее со слезами на глазах, как родного человека. Во второй раз собака уже дожидалась его на берегу и бросилась под ноги с радостным визгом. У него захватило дух от прилива нежных чувств, но и на этот раз он не решился войти в избу. Увидал он жену только в следующий раз, когда она выглянула в окошко, чтобы посмотреть, кто это бродит около избы.

– Зачем ты ушел без спросу? – повторяла Авдотья в сотый раз и ломала в отчаянии руки, – Засудят тебя... ох, горемычная моя головушка, пропали мы все!

– А ты молчи и никому виду не подавай... Лошадка-то в поле, видно?..

– В ночное угнали... Телочку без тебя принесла Пестрянка... ярочку одну волк зарезал... у Марфушки огневица зимой прикинулась... Матвеюшка, родимый, поди ты по начальству и объявись – может, лучше будет.

Матвей молчал, как пришибленный. Раньше было тяжело, а теперь вдвое. Приходилось скрываться от людей, как лесному зверю. Эх, если бы не жена да не ребяташки, ушел бы на Кукань, где земля вольная и паспортов не спрашивают, – все равно пропадать! Сидя в остроге, он произошел в тонкости всю острожную географию. Но другим было все равно, куда ни идти, а его неудержимо тянуло домой, к Светлому озеру.

Почти каждую ночь стал ездить Матвей к жене, надрывая свою и ее душу. Он теперь уже знал все, что делалось в Кучках. Односельчане не оставляли своих хлопот, и вместо него ходоком ушел брат рыжего старосты Маркела. Нельзя, нужно идти... А Миловзоров грозился пуще прежнего и обещает разметать все избы по бревнышку, так что крестьяне прозвали его Мамаем. В случае чего кучковцы грозились прогнать его кольями из деревни. Дело принимало скверный оборот.

– За что же это напасть такая? – удивлялся Матвей, беседуя по вечерам с Ильичом у огонька. – Ведь живут же другие люди на белом свете... Кругом такая тьма земли, а нам места нет. Найдем же и мы правду...

На себя Матвей смотрел, как на обреченного, и не рассуждал, зачем и почему: *так нужно!* Но его удивляла бессмыслица окружающей обстановки. Земли пустуют на сотни верст, а их гонят от своей работы. Неужели один Миловзоров на свете будет жить?

Однажды, когда Матвей сидел таким образом с Ильичом у огонька, его схватили.

– Хоть бы до осени дали погулять... – простонал говорок, не пытаясь сопротивляться. – Ильича-то не троньте. Мой грех – мой и ответ.

Возвращенный в тюрьму, Матвей как-то совсем потерялся, замолк и начал сторониться от других. Любимым его местом было окно – встанет и смотрит сквозь железный переплет на клочок неба, а сам шепчет: «Эх, до осени бы!» Его душу охватывала смертная тоска. Ночами являлся бред Матвей вскакивал, оглядывал окружающую его тьму и тихо-тихо плакал. Каждую ночь, как желанный гость, к нему приходил все один и тот же сон: он видел свое Светлое озеро, Кучки, курью, где тридцать лет ловил рыбу, свою избушку, балаган Ильича. Недалекое прошлое заволакивалось для него таким радужным туманом. Днем иногда перед ним с такой яркостью вставала какая-нибудь своя деревенская забота, что он несколько времени совсем не видел окружающего.

– Эй, говорок, очумел!

Арестанты от нечего делать часто потешались над Матвеем с его неумолкавшей тоской по родине и ждали, когда он опять уйдет. Такие молчаливые и скромные арестанты для тюремного начальства были чистым наказанием: за ними приходилось смотреть в десять глаз. И сам Матвей отлично знал, что он уйдет, и выжидал свое время. Осторожные юристы вперед объяснили, что его ожидает: за «бунт» его сошлют на поселение, а за побег не миновать каторги.

– Кому что господь пошлет, – повторял Матвей, выслушивая осторожных правоведов, – так, значит, нужно.

Покорность судьбе, с одной стороны, и сознание необходимости сделанного – с другой, страшным образом уживались в душе Матвея, разделяя общественного человека от личности. Общественный человек безропотно делал то, что было нужно, а «только Матвей» думал о своем. Что-то теперь делает Авдотья?... Вытянулась бабенка на работе, а подмоги никакой.

Теперь и однообщественники как-то помогать ей будут, если он от себя попал в острог. Ах, нехорошо! Тоже вот и кривой Ильич был на совести у Матвея: подвел он мужика ни за грош.

Иногда Матвею начинало казаться, что Авдотья точно умерла, и он припоминал всю свою жизнь. Побил ее как-то пьяный, потом всегда так грубо обращался с ней, как с домашней скотиной, – нет,



хуже, чем со скотиной. В душе Матвея накопились те ласковые и душевные слова, каких он не выговорил бы вслух при Авдотье. Истомилась, поди, сердечная, а он сидит, как птица в клетке.

Суд приговорил Матвея на поселение. Он выслушал приговор совершенно бесстрастно и только ждал, когда его отправят.

С дороги Матвей бежал и долго скрывался вместе с другими бродягами, но к весне следующего года был опять на Светлом озере. На этот раз он был осторожнее и далеко обходил пустовавшую избушку кривого Ильича, который за пристанодержательство отсиживал где-то в тюрьме. Матвей скрывался больше на Урале, на даче Чудских заводов, где на сотню верст шубой стоял лес. Только временами он появлялся в Кучках, чтобы повидаться с женой. Авдотья как ни любила мужа, но боялась этих посещений, как огня.

– Матвеюшка, пымают тебя... – жалилась она каждый раз.

– Не пымают... Мы тоже достаточно учены.

– А как попадешь?..

На заморозках Матвея действительно поймали. Его накрыли в его собственной избушке, где он заночевал. За лето он совсем одичал в лесу и смотрел волком, но сопротивления не оказал.

– По весне опять жди... – успел он шепнуть жене. – Теперь мы знаем все ходы и выходы.

А в Кучках было не до Матвея. Дело принимало самый острый характер. Зимой у Миловзорова сожгли молотягу и несколько скирдов хлеба. Обещали поджечь и дом в самом имении. На сцену выступало глухое чувство общего отпора. Заговорила упрямая сибирская складка характера. Появившееся на место действия начальство было встречено глухим молчанием. Возникло крупное дело о сопротивлении власти, но кучковцы твердо стояли на своем: Все юридические права мифического помещика оказывались бессильными пред реальной и живой силой. Новый губернатор выехал расследовать дело на месте и долго толковал мужикам, что они не правы и что их выселят силой. Кучковцы продолжали стоять на своем.

– Родители наши жили здесь, и мы здесь же помрем... – гудела толпа.

Миловзоров струсил и бросил место. Он нажил кругленький капиталчик и уехал отдыхать от понесенных трудов на благословенный юг, где у него было приобретено свое имение и где

совсем нет таких упрямых сибирских мужиков. Новый управляющий, хотевший уладить дело миром, не ужился на месте. Кучковцы продолжали стоять на своем. Оказался в бегах и другой ходок, заступивший место Матвея. И его так же тянуло с неудержимой силой к своему месту, и так же безропотно он переносил свою участь.

Авдотья по-прежнему жила в своей развалившейся избушке и с бабьим терпением ждала, когда поднимет на ноги старшего сына. Она сама пахала и боронила, сама косила и кое-как сводила концы с концами. Всякое горе притупляется, и Авдотья покорно вытягивала свою непосильную ношу. Было у нее свое «нужно»... Общественники иногда помогали ей по старой памяти, но она крепилась и сама не напрашивалась на помощь.

За второй побег Матвей был приговорен к каторге, и о нем не было ни слуху, ни духу около двух лет. Но через два года он появился опять в Кучках. В деревне все было по-старому, и по-старому шла бесконечная тяжба с мифическим помещиком. Сам Шмит умер, и на его место выступили наследники. Имение не приносило доходов, и поэтому не было даже управляющего. Дело с кучковскими мужиками на время замолкло: обе стороны настолько обессилели, что требовалось перемирие. Бродя по лесу, Матвей встретился с братом Маркела, заступившим его место. Вдвоем все-таки было веселее. Они никого не трогали и летом перебивались по покосным избушкам. Односельчане при встречах делали вид, что не узнают их, и давали хлеба, как всем бродяжкам. На покосе Матвей видал и свою жену, которая страдовала недалеко от озера.

– Докуда же это будет, Матвей? – спросила она однажды мужа, бессильно опуская руки. – Ведь вся душенька моя изболела... тошнехонько на белый свет плядеть, а ты тут надрываешь меня... ох, спобедная моя головушка!..

Еще первый раз безответная Авдотья взъелась на судьбу. Матвей молчал, придавленный безвыходностью собственного положения. Кому какое зло он сделал?.. Ропот Авдотьи даже как-то облегчил его... Сколько лет молчала безответная баба, а теперь сказала скорое слово и сейчас же раскаялась в нем. Чем Матвей-то виноват, что так все вышло?

– Будет правда, Авдотья, погоди... – бормотал Матвей, схваченный за сердце словами жены. – Не мы одни с тобой на свете

живем. Говорю тебе: погоди... Выйдет земля хоть детям.

Свои места, к которым так неудержимо тяготела душа Матвея, казались ему теперь постылыми. Сколько он перенес из-за них, а что толку?.. Лежит Матвей в лесу у ключика и думает. Около курится в ямке бродяжнический огонек, где-то насвистывает птичка... Тошно Матвею, словно он умирает. Сколько места исхожено, сколько горя перенесено, а легче все нет. Ушел бы он туда, куда ворон костей не заносит, да только не уйти ему от своего Светлого озера – прирос он к нему всей душой. Много земли кругом пустует, исходил ее Матвей и все думает, все думает... Сколько народу тут жило бы, если бы все шло по-божески, по правде! Иногда ему начинало казаться, что он сходит с ума или видит все во сне. Опять его поймают, опять будут судить и опять в каторгу – теперь уж без срока. А может, и так господь пронесет: мало ли по лесам да разным трущобам народу скрывается.

Однако Матвею недолго пришлось гулять на своей зольной воле. Наступали первые заморозки. Он жестоко простудился и долго пролежал в лесу без всякой помощи, как лежит раненый зверь. Поправившись, он побрел прямо в Кучки.

– Предоставьте меня по начальству... – просил он, как милости, – Больше мочи моей не стало.

Его опять судили. Когда подсудимому предоставлено было последнее слово, он, едва держась на ногах, проговорил:

– Господа присяжные, за что?..

Авдотья сидела в публике и тихо плакала.

## Комбинация\*

### Рассказ

#### I

Дети ужасно шумели, как они умеют шуметь только в больших семьях, где на них никто не обращает внимания. Тут были представители всевозможных возрастов обоего пола, начиная с младенца, едва перебиравшегося от одного стула до другого, и кончая взрослыми гимназистами. По утрам половина была занята делом: большие уходили в гимназию, подростки занимались в классной, а мелкая детвора сбивалась в детской, около старухи-няньки. Зато вечером начинался целый ад, особенно когда к Катеньке приходил «жених»... Невинное детство было изобретательно и умело отравить Катеньке каждый шаг.

Сегодня было, как вчера, как третьего дня – как всегда. Когда жених, учитель латинского языка Владимир Евгеньевич Кекин, явился вечером со своим дежурством к невесте, Катенька встретила его в передней с красными пятнами на лице. Жених приписал это радостному волнению, которое вызвано было его присутствием. Он даже поцеловал руку у девушки и задержал ее в своей холодной и потной руке.

– Вы взволнованы, Екатерина Васильевна? – спрашивал он, глядя на нее через золотые очки, отпотевшие на морозе.

– Нет... так...

Катенька вспыхнула до ушей и потупилась, что привело Кекина в восторг: этакая миленькая барышня... Он даже причмокнул и посмотрел на ее статную фигуру с чувством собственности. А девушка в это время была как на иголках: за спиной у ней, за косяками у дверей шушукала и хихикала целая толпа маленьких мучителей. Дети ждали, как праздника, появления жениха и тешились смущением Катеньки.

Здравствуйте, Владимир Евгеньич! – приветствовала эта маленькая орда, когда Кекин вошел в гостиную.

– А, здравствуйте, милые дети, – протянул он, щуря близорукие глаза.

Когда он из зала проходил в гостиную, вслед ему донесся петушиный бас одного из гимназистов: «Комбинация!». Это была его классная кличка в гимназии, потому что Кекин к месту и не к месту употреблял это полюбившееся ему почему-то словечко. Катенька еще больше покраснела, точно это крикнула она сама, а не эти сорванцы. Как она сейчас ненавидела и эту голубую гостиную, и Кекина, и самое себя, и тот вечер пытки, который ей предстояло вынести с глазу на глаз с женихом! Отвратительного, впрочем, в женихе ничего не было, а скорее, это был видный мужчина лет тридцати, плотный и здоровый, с большим лицом, крупным носом, большими руками и тяжелой походкой. Правда, в выражении его свежего лица было что-то неподвижное, точно он раз застыл да так и не мог оттаять, но с этим маленьким недостатком положительно можно было помириться ввиду остальных наружных достоинств. Конечно, рядом с ним Катенька являлась, может быть, слишком эффектной – среднего роста, грациозная, гибкая, с задумчивой красотой типичного русского лица. Мягкий шелк русых, слегка вившихся волос эффектно оттенял белизну кожи, а из серых лучистых глаз ласково и призывно глядели ее восемнадцать лет. Маленьким противоречием являлся только серьезно сложенный рот, говоривший о том, что старит человека прежде времени.

Кекин был влюблен в Катеньку, влюблен, конечно, настолько, насколько позволяла ему его солидность и общественное положение. Он теперь еще раз обвел девушку таким взглядом, точно делал ей экзамен, и остался доволен. Как, однако, она изменилась с тех пор, как он ее знал еще гимназисткой: женщина развертывалась на его глазах. При вечернем освещении она казалась ему всегда лучше, чем днем, как было и теперь, – голубая гостиная освещалась всего одной лампой под розовым абажуром, и на всем лежали такие мягкие, ласкающие тени. Конечно, в этой гостиной всегда царил страшный беспорядок благодаря детям; но Кекину нравился даже он, этот беспорядок, на фоне которого еще рельефнее выступала девичья

красота, и притом являлась невольная мысль о другой маленькой гостиниой, где будет и тепло, и светло, и уютно, как в гнездышке.

– Отчего вы сели так далеко? – спрашивал Кекин, стараясь говорить ласково.

– Мне все равно... я могу подвинуться.

– То есть как все равно?... Тогда лучше я подвинусь. Знаете, есть такой анекдот про Магомета. Да, именно про Магомета... Однажды он сказал своим последователям: «Дети мои, видите вон ту гору, – я скажу ей, и она подойдет ко мне...» Тогда один из родственников шепнул ему на ухо: «Учитель, а если она не подойдет?» Магомет улыбнулся и ответил: «Тогда я подойду к ней...» Так и я, Екатерина Васильевна.

Довольный своим анекдотом, Кекин первый засмеялся, а в зале послышалось сдержанное детское хихиканье: у самых дверей кто-то подслушивал. Но слишком счастливый Кекин ничего не хотел замечать и даже потянулся своей большой рукой, чтобы обнять оглянувшуюся к дверям девушку, – она всегда так мило и наивно сопротивлялась его ласкам, возбуждая в нем желание обнять ее еще раз и еще.

– Я думаю, что нам сегодня всего лучше закончить наш вчерашний разговор, – заговорил Кекин, спохватившись, что очень уж разнежился; тон голоса у него был совсем другой, каким он в классе читал Овидия, и глаза посмотрели так тускло, как у замороженной рыбы.

«Началось...» – в ужасе подумала Катенька, стараясь сделать внимательное лицо.

– Да... между людьми, которые сходятся на всю жизнь, не должно оставаться ничего недосказанного, неопределенного. И я лично считаю своим долгом... да, долгом, вернее сказать – обязанностью, выяснить свои взгляды на жизнь вообще и на женщину в частности.

Ему самому понравилась закругленность фразы, и он посмотрел на Катеньку, какое впечатление на нее произвела она. Но девушка рассеянно смотрела в потолок, по которому бродили колебавшиеся пятна света.

– Прежде всего женщина – человек... – тянул Кекин, ерзая рукой по спинке дивана. – Это уж целая идея... В женщине я прежде всего

уважаю именно человека, как уважаю сам себя. Это не прихоть, не игрушка... одним словом, получается целая комбинация!

В зале опять послышался смех и шептание. Затем невидимые руки вытолкнули в гостиную девочку лет восьми. Она неловко присела у дверей, делая гостю реверанс, и потом бегом бросилась в следующую комнату, закрыв рот рукою.

Начиналось представление... Катенька быстро поднялась и вышла в зал, где около рояля стояли большой гимназист, две девочки и несколько мальчиков в курточках. Она молча погрозила им пальцем, на что гимназист сделал ей реверанс и показал язык.

– Негодяи! – прошептала Катенька, возвращаясь в гостиную. – Господи, когда же этому будет конец!

– Комбинация!.. Комбинация!.. – несло ей вслед.

– Да... так в женщине я прежде всего уважаю человека, – тянул Кекин, точно пережевывая свою мысль. – Это значит вместе с тем, что, уважая человека в другом, я уважаю его и в самом себе... Если разобрать сложную природу каждого чувства, то на поверку окажется, что наш ум скользит только по поверхности явлений и точно боится заглянуть внутрь, в самый корень... Например, возьмем... возьмем хоть любовь.

Последнюю фразу Кекин сказал с трудом по возможности сладким голосом и сбоку посмотрел на свою слушательницу, – девушка сидела с опущенной головой, как сидела когда-то в классе на скучном уроке геометрии. Кекину был виден только профиль ее лица и белая рюшка, охватывавшая нежную круглую шейку, точно венчиком цветка, – о, эти женщины умеют одеваться и из каких-нибудь пустяков, как рюшка, сумеют сделать такое... такое... Позвольте, на чем он остановился?

– Да, любовь... – уже шепотом продолжал Кекин, придвигаясь ближе к своей жертве, – это всесильное, мировое чувство... Конечно, я не имею в виду физической стороны, а то высшее, неуловимое духовное родство, которое заставляет биться два сердца в унисон. Женщина особенно велика в этом чувстве, это ее нормальная сфера... Да, любовь творит чудеса, любовь все понимает, любовь все прощает...

– Комбинация! – громко крикнул детский голос в зале, и затем послышались торопливые шаги улепетывавшего неприятеля.

Катенька быстро поднялась, но Кекин удержал ее, – он не любил, когда его прерывали, и нахмурился.

Девушка осталась. Глаза у ней расширились, и лицо побледнело. О, она отлично знала, что ее ждет впереди, – этот деревянный чурбан задушил ее одними своими разглагольствованиями! И какое самодовольство: он вперед уже прощает ее... Да ведь это не жизнь, а какая-то насмешка, и она все-таки должна быть его женой, потому что другого выхода нет.

– Все понимать – все прощать, – продолжал Кекин. – Это сказала умнейшая женщина.

Раздавшийся в передней звонок заставил Катеньку вздрогнуть, и она слышала, как дети всей гурьбой бросились через гостиную. Это, наверно, был Тихменев, – он приходил к ним именно в это время. Конечно, он, потому что дети шумят, как сумасшедшие.

– Я сейчас, Владимир Евгеньич... – проговорила Катенька, торопливо поднимаясь с места.

Кекин только пожевал губами и посмотрел на нее через очки злыми, остановившимися глазами. «Я понимаю...» – мелькнуло в этом взгляде. Девушке стоило большого труда, чтобы не выбежать из гостиной навстречу гостю.

– Комбинация сидит с невестой... – кричал в передней детский голос. – Он про любовь говорит...

Катенька остановилась на полдороге, точно ее ударили. «За что? – стучало у ней в голове, – Ах, все злые, все...» Она быстро повернулась и пошла назад в гостиную, когда из передней показался Тихменев.

## II

– Аркадий Борисыч!.. Аркадий Борисыч!.. – кричали дети на все голоса, хватая гостя за руки, за фалды серой визитки и забегая вперед.

– А где папахен? – спрашивал он грудным тенором, отбиваясь от облепившей его детворы. – И мутерхен тоже дома?..

Невысокого роста, с широкой грудью и курчавой головой, Тихменев выглядел настоящим молодцом. Едва опушенное русой бородкой бледное лицо нравилось всем, и только серые большие глаза



смотрели немного жестоко. Он одевался с рассчитанной небрежностью, как человек, готовившийся «посвятить себя сцене». Пока Тихменев служил в акцизе и пожинал дешевые успехи на любительской сцене, по чиновничьим вечеринкам и особенно в кружке скучавших провинциальных дам. Его находили интересным – чего же больше? Тихменев везде был желанным гостем и ухаживал за всеми женщинами. Единственным его недостатком – людей без недостатков, как известно, не существует – было то, что он был женат на гимназической подружке Катеньки и, как семейный человек, терял много в глазах мамаш и дочек.

У Вициных он чувствовал себя, как дома, и без всякого доклада отправился из гостиной в столовую, а оттуда в кабинет к папахену, то есть к самому Вицину.

– А, вертопрах, здравствуй!.. – встретил его старик с остриженной под гребенку седой головой. – Ну, что можешь сказать в свое оправдание?

– Не виновен, доктор, но заслуживаю снисхождения... – бойко ответил Тихменев, усаживаясь в кресло. – Хотел повидать Катеньку, жена ей поклон посылает, да эта Комбинация у ней завелась...

Оба посмотрели и захохотали. Когда в дверях кабинета показались головы ребят, старик вскочил и, замахнувшись книгой, крикнул:

– Эй, вы, челядь... к черту!..

Успокоившись и запахнув поношенный халат, он опять опустился в кресло и проговорил совсем другим тоном:

– Ну, ты, Аркашка, смотри... того...

– Чего?

– А вот этого... Зачем девку смущаешь? Не оправдывайся: все знаю. Выйдет замуж, тогда дорога открыта, а теперь пусть их потешатся... Вот у нас новая горничная, так можешь изощрять на ней свои таланты.

Пока доктор говорил все это, Тихменев равнодушно оглядывал незавидную обстановку докторского кабинета: заваленный книгами и бумагами письменный стол, у стены шкаф с медицинскими книгами, другой шкаф с инструментами и походной аптечкой, железную кровать и т. д. Вицин доживал век военным врачом, и окружавшая его

бедность кричала из каждой щели. Семья была большая, а казенное жалованье микроскопическое.

– Только? – насмешливо спросил Тихменев, ероша свою бородку, когда доктор кончил.

– Кажется, достаточно? Ведь Катенька не родная мне дочь, и даже не разберешь, как она мне приходится: жена вышла за Ордина уже за вдовца, значит, Катенька была дочерью от первой жены и приходилась ей падчерицей, а когда Ордин умер и я женился на ней... одним словом, черт знает, какая путаница. А я тебе скажу одно: Катенька очень уж ласково на тебя поглядывает... скажу больше: прямо влюблена... Как порядочный человек, ты...

– Понимаю, пожалуйста, без нравоучений... Вы, как порядочный человек, считаете своей обязанностью ловить Катеньку в коридорах и обнимать ее очень уж... по-родственному!..

– Ради бога... шш... – зашипел старик, оглядываясь на дверь.

– Ха-ха... Испугались, ваше благородие?... Ничего, не беспокойтесь: я Антонида Степановне не выдам, если будете вести себя хорошо. Кстати, признайтесь, вы очень боитесь Антонида Степановны?

– Послушай... ты уж слишком, Аркашка!.. А Катеньку действительно раз обнял в коридоре...

– Потому что принял за жену? Ха-ха...

Когда в кабинет вошла сама Антоида Степановна, рыхлая и вечно больная дама с желтым лицом, разговор принял серьезный оборот. Говорили о приданом для Катеньки, о дне свадьбы, разбирали жениха и тому подобное, что говорится в таких случаях.

– Уж, кажется, я и не дождусь, – повторяла Антонида Степановна, вздыхая, – когда пристрою Катеньку... Девушка на возрасте, того гляди, сядет на руках Христовой невестой – тогда куда я с ней? Конечно, она в доме была необходима – занималась с детьми, помогала мне, но пора ей и о себе подумать... Не с нами же ей век вековать, а женихов-то нынче и с огнем не найдешь. Пойдемте, господа, чай пить, а Катеньке я пошлю чаю туда...

Действительно, Антонида Степановна велела горничной подать чай жениху и невесте в гостиную. Катенька даже побелела вся, когда увидела поднос со стаканом чая и свою чашку, – у ней оставалась единственная надежда на вечерний чай, чтобы хоть на час избавиться

от своего уединения, но и эта надежда оказалась разбитой. Зато Кекин был предоволен и смешно вытягивал губы, прихлебывая горячий кипяток. Как он противно чмокал губами, а потом облизывал их. Девушка вперед переживала всю свою жизнь с этим ненавистным уродом, и глухие слезы подступали к самому горлу. Что она такое – хуже сироты, а чужой хлеб горек. Когда была маленькой, то это еще не так выделялось, но потом... Конечно, Антонида Степановна добрая женщина, если бы не избывала ее замуж за первого встречного, а остальных она ненавидела. Старик Вицин, бесхарактерный, боявшийся жены человек, преследовал ее своими родственными любезностями с седьмого класса гимназии и, когда жены не было, одолевал ее скабрзными анекдотами, объятиями и поцелуями. Старшие гимназисты писали на ее тетрадках непонятные ей слова и подсовывали неприличные фотографии. А она должна была молчать, чтобы не тревожить напрасно Антонида Степановны. В последнее время она просто боялась оставаться дома одна.

Единственное место, где она отдыхала, – это был дом замужней подруги Любочки Тихменевой, – как у них всегда хорошо, уютно и как-то вообще тепло! Конечно, Аркадий Борисыч был ветреный человек и редко засиживался дома, но он всегда являлся таким веселым, остроумным. Особенно любила Катенька, когда он пел. Между прочим, он и ее учил пению, и они исполняли даже один дуэт на любительском спектакле. Вот единственное светлое место в ее молодой жизни, и понятно, что в Катеньке проснулись к мужу подруги те чувства, какие она боялась назвать их настоящим именем, – она просто чувствовала себя необыкновенно тепло в его присутствии, скучала, когда его не было, и жила только ожиданием, когда он придет. Никаких расчетов на Тихменева она, конечно, не могла иметь и старалась не думать, к чему ведет такое сближение, – ей было приятно, что он выделяет ее из среды других женщин и так необидно ухаживает.

Сейчас после чая Тихменев перешел в зал, сел за рояль и привычной рукой взял несколько громких аккордов. Дети опять столпились около него и заглядывали прямо в рот. Катенька вздрогнула, заслышав знакомые рулады. Потом он запел один из тех романсов, какие так любят провинциальные барышни. Пел он недурно, хотя и кривлялся порядочно. Как назло, попадались именно

те романсы, которые любила Катенька. Когда Тихменев запел «Не говори, что молодость сгубила...», у ней на глазах показались слезы.

– О чем вы плачете, Катенька? – спрашивал Кекин, напрасно сдерживая поднимавшуюся в нем злость.

– Так...

– Это не ответ...

– Да просто потому, что так принято: все невесты плачут.

Она пересилила себя и даже улыбнулась сквозь слезы. Кекин успокоился, – действительно, все невесты плачут. А в зале полный мужской тенор так и выводил жестокие слова:

«...Близка-а-а ммоя ммo-ги-ла-а!...»

Потом Кекин опять говорил что-то долго и убедительно, но Катенька уже не слушала его. Когда Тихменев кончил свое пение и с шумом захлопнул крышку рояля, Катенька без всяких предисловий выбежала к нему, взволнованная, бледная, с горевшими глазами.

– А, вы дома? – удивился Тихменев, крепко пожимая маленькую дрожащую ручку. – Любочка вам кланяется...

У него улыбались одни глаза, но Катенька прощала ему и фальшивое удивление и фальшивые слова, потому что он сейчас пел для нее, ее любимые вещи, точно хоронил ее заживо.

– Мне нужно вам сказать одно слово... – прошептала она, опуская глаза.

– Як вашим услугам.

– Вы сейчас уходите?.. Я скажу в передней...

– Вы меня гоните, Катерина Васильевна... – заметил Тихменев, пожимая плечами.

В передней, когда он наматывал себе на шею шелковый платок, она припала к его груди русоволосой головкой и глухо зарыдала.

– Я... я... люблю вас... – шептали побелевшие губы.

– Милая... – ласково прошептал он, обнимая ее и целуя, – Милая...

Этот поцелуй заставил девушку опомниться. Она посмотрела на него совсем дикими глазами, быстро повернулась и убежала... Тихменев несколько времени постоял в передней, улыбаясь довольной улыбкой, тряхнул головой и вышел.

Кекин по-прежнему сидел на диване в гостиной и начинал терять терпение. Черт знает, в самом-то деле, какое глупое положение... Куда

Катенька убежала?.. Но в этот момент вошла Антонида Степановна.

– Мы еще с вами не видались сегодня, Владимир Евгеньич... – проговорила она, тяжело опускаясь в кресло. – Катенька сейчас выйдет... Знаете, молодая девушка... все для нее так ново... нервы... ведь все мы, женщины, одинаковы.

Она уговаривала рассерженного жениха, как ребенка, и Кекин постепенно отошел. Если уж действительно все женщины одинаковы, то что тут поделаешь?..

– Вы поставьте себя на место Катеньки... – продолжала Антонида Степановна, прикладывая платок к глазам. – Она еще так молода... не понимает своего счастья...

– О, я понимаю... все понимаю... – растроганно отвечал Кекин и даже поцеловал руку у Антониды Степановны. – Вообще: комбинация...

### III

Семья Вициных сложилась довольно оригинальным образом, как складываются семьи, может быть, только на Руси.

Антонида Степановна за доктора Вицина вышла уже вдовой. Первый ее муж, отец Катеньки, был вдовец, и она «вышла на детей», как говорят свахи. У Ордина осталось от первой жены двое детей – старшая дочь Катенька и сын Семен. Антонида Степановна пригрела сирот и прибавила еще от себя троих детей, так что, когда Ордин волею божьей помре, у ней осталось на руках целых пять сирот. Положение было совсем безвыходное, если бы она не вышла замуж во второй раз за доктора Вицина и опять «на детей» – у доктора сиротело целых четверо ребят.

– Что же, нам уж заодно возиться с ребятами, Антонида Степановна, – говорил Вицин, когда делал предложение. – Такая уж судьба... Бог даст, не съедят, пока мы живы.

У «молодых» образовался с первых дней воспитательный дом, а потом Антонида Степановна подарила мужу еще троих. Получился настоящий муравейник, причем трудно было разобрать чужих от своих, да Антонида Степановна и не делала между детьми различия – всех бог дал, что же тут разбирать. Сам Вицин был не злой человек,

но на детей он не обращал никакого внимания, предоставил все жене: это ее бабье дело. У него служба, дела, а ребятишки только мешают. Он заметил Катеньку уже в седьмом классе гимназии, когда она совсем выровнялась и сделалась взрослой, красивой девушкой. Даже и по жене Катенька была доктору чужая, и он часто поглядывал на нее прищуренными глазами. Женщин он всегда любил, но жизнь так сложилась, что пришлось удовольствоваться самой серенькой обстановкой, а тут постоянно на глазах вертится такая свеженькая и красивая девушка. Дурных, мыслей старик не имел, но его так и тянуло обнять это цветущее молодое тело, которое точно говорило ему о собственной старости и неудовлетворенной жажде жизни. Антонида Степановна хорошо знала слабости мужа и поэтому никогда не держала в доме красивой женской прислуги – ведь все мужчины одинаковы, как и женщины. Это было ее философией, которая каждый день приносила какое-нибудь новое подтверждение. Старший сын доктора, гимназист седьмого класса, тоже ухаживал за Катенькой и не пропускал удобного случая и поймать ее где-нибудь в темной комнате, ущипнуть и прошептать на ухо что-нибудь скабрезное. Раз Антонида Степановна наткнулась на сцену, когда Сережа обнимал Катеньку, загнав ее в угол гостиной.

– Дети... что вы делаете?! – ужаснулась Антонида Степановна, пораженная, как громом. – Ведь вы брат и сестра...

Сережа, конечно, убежал, как и следует мужчине, а Катенька осталась, сконфуженная, обиженная, жалкая.

– Разве можно себя так держать? – обрушилась на нее Антонида Степановна. – Ты самая большая в семье и должна подавать пример другим... Наконец, каждая женщина сама заслуживает того, как с ней обращаются. Я сама была девушкой и могу сказать, что никто не смел обнимать меня, как горничную.

– Я... я не виновата... – бормотала Катенька, стора от стыда и новой несправедливости. – Если они сами лезут... не дают прохода.

– Кто это «они»? Сережка?.. Да ведь он мальчишка, которого нужно за уши еще драть... И не оправдывайся: для меня все вы равны, и за всех я должна дать ответ богу. Да...

Из этого случая Катенька вывела только одно заключение, что женщины всегда, везде и во всем виноваты, а мужчины всегда, везде и во всем правы. Им все можно, а женщины должны все переносить.

Это было несправедливо. И она возненавидела сильнейший пол, больше – она почувствовала к мужчинам чисто физическое отвращение, как к чему-то неприличному и вообще гадкому.

Средства доктора Вицина были очень ограниченные, а поэтому громадная семья, как тыном, была окружена тысячью неотступных нужд. Одна обувь чего стоила, а потом всех нужно было одеть и накормить. Квартира была мала и неудобна, а дети сбились в двух комнатах. Катенька, в качестве старшей в семье, должна была помогать мачехе и по хозяйству и по части первоначального обучения. Эта орава детей требовала страшного напряжения, чтобы все было в порядке, да еще сама Антонида Степановна постоянно прихварывала. С подраставшими детьми увеличивались и нужды. Недостаток надзора отзывался, конечно, на детях прежде всего тем, что они никого знать не хотели в доме и забрали незаметно такую волю, что посторонний человек, в первый раз попавший в докторскую квартиру, в ужасе затыкал уши. Это был настоящий ад, где голосили, ревели, орали и выкрикивали на все тона неугомонные детские рты.

Как мы уже сказали, Катенька отдыхала только у Тихменевых, куда ей редко приходилось попадать. Ее подруга Любочка была пухлая и избалованная девушка, которая еще гимназисткой увлеклась талантами Тихменева и вышла за него замуж против воли родителей, убегом. Она была молода и красива, ничего не делала и по-своему чувствовала себя счастливой, потому что ни о чем не нужно было думать. Сам Тихменев редко бывал дома, потому что вечно пропадал где-нибудь по чиновничьим вечеринкам, на холостых пирушках, по любительским спектаклям, а если некуда было идти, то коротал время в клубе или в театре. У него весь город был знаком, а за кулисами он был, как у себя дома. Такая рассеянная жизнь не удивляла Любочку, потому что у ней вечно кто-нибудь вертелся из хороших знакомых, и она удовлетворялась легкими ухаживаниями этих гостей. Все-таки в результате получался хотя призрак счастья, и Катенька завидовала этой Любочке, у которой был свой угол, известное общественное положение и условная свобода замужней женщины. Тихменев всегда был внимателен к жене, весел, и день за днем время катилось незаметно. Катенька с удовольствием поменялась бы с Любочкой житейскими ролями.

Тихменев со всеми женщинами усвоил себе то свободное и полушутливое обращение, какое полагается таким добрым малым; поэтому Катенька не обращала внимания, когда он по ошибке обнимал ее.

– Я вас все смешиваю с женой... – отшучивался он с развязностью избалованного человека. – Что делать: проклятая-близорукость.

Близорукости никакой не было, но Тихменев носил пенсне для шика, особенно когда бывал в театре.

Раз на масленице они катались целой компанией. Катенька попала в одни сани с Тихменевым. Он был слегка навеселе и фамильярно обнял ее.

– Послушайте, Аркадий Борисыч... – строго заметила Катенька, освобождаясь от этих объятий. – Вы так себя ведете, что я должна буду пожаловаться Любочке...

– Что же, жалуйтесь, – засмеялся он, привлекая ее к себе и целуя в щеку. – Во-первых, бог велел любить ближнего, во-вторых, сегодня масленица, в-третьих, я катаюсь с дамой, и, наконец, я просто пьян. Для чего же устраиваются такие пикники, на которых мужей и жен рассаживают по равным экипажам?.. Перестаньте, пожалуйста, разыгрывать из себя недотрогу-царевну, а то я сам должен пожаловаться на вас Любочке...

Потом Катенька узнала, что Тихменев вел вообще очень свободную жизнь и потихоньку от жены разыгрывал свои дешевенькие романы, не пропуская ни одной горничной. К Антониде Степановне время от времени завертывали разные старушки и своя сестра чиновница. Эти женщины всегда приносили с собой целый ворох самых свежих новостей, и городская жизнь делалась известной до последних интимных новостей.

Гости не стеснялись присутствием Катеньки, – что же, девушка большая, того гляди сама замуж выскочит, – и рассказывали всю подноготную. Антониде Степановне почти нигде не бывала и сама говорить о других дурное не любила, но послушать чужие толки и пересуды была не прочь. Благодаря этим разговорам кумушек Катенька окончательно убедилась в своем мнении, что все мужчины – мерзавцы, и если есть среди них порядочные люди, то это потому только, что это или круглые дураки, или такие редкие исключения,



какие не могут идти ни в какой счет, да и своих живых примеров было достаточно – тот же *rara* Вицин, Сережка, Тихменев.

Это с одной стороны, а с другой – Катенька уже была сформировавшаяся девушка, и в ней иногда просыпались чувственные порывы. Вся окружающая ее обстановка наталкивала ее мысль и чувство именно в эту сторону. Являлись тоска, апатия и припадки уныния. Мечтать она не любила, как другие девушки, может быть, потому, что у ней не было подруг да и времени свободного тоже. Появление Кекина не обрадовало ее и не опечалило: не все ли равно, за кого ни выходить замуж. Когда Антонида Степановна приступила к ней с предварительными объяснениями, Катенька откровенно сказала:

– Мама, ведь я не маленькая и понимаю, зачем он ходит к нам.

Конечно, Антонида Степановна прослезилась, начала крестить Катеньку и все повторяла, что она не гонит ее, как другие мачехи, не избывает, а как она сама хочет. Кекин не красавец и не первой молодости, но человек хороший и т. д.

Но, чем ближе делался роковой момент, Катенькой начинало овладевать безотчетное беспокойство. Хотя она и не ждала ничего особенного от жизни, но провести ее с глазу на глаз с Кекиным, сделаться матерью его детей – это ее пугало все больше и больше. Она его не только не любила, но и не уважала, – что же это будет за жизнь? А тут еще Тихменев зачастил к ним в дом и все распевает свои романсы... Она чувствовала, что он приходит именно к ней, поцеловать у ней руку, вообще ухаживает. Сначала ее это злило, а потом она сама не могла дать себе отчета, как произошел в ней переворот, и она с какой-то жадностью пошла навстречу к нему. Пусть будет, что будет...

В роковой вечер своего объяснения с Тихменевым в передней Катенька была окончательно разбита. Она не спала всю ночь напролет и все думала, думала, думала... Она уже видела себя *m-me* Кекиной, видела обстановку своей новой жизни и ту страшную пустоту, которую она принесет туда. Все равно, Кекин получит то, чего искал, – ее молодость и девичью красоту, а что же ей останется?.. Катенька плакала и ломала руки в отчаянии. Скверно было оставаться здесь, и скверно было впереди. В забытьи она звала Тихменева и чувствовала, как над ней наклонялось его молодое, красивое лицо, а в ушах стояли страстно призывавшие строфы его романсов. Ведь за миг

такого счастья можно отдать всю жизнь, чем зачехнуть с этой деревяшкой.

– А, так вы вот как... – корила она кого-то. – Так я же знаю, что мне делать. Да... У меня есть своя комбинация.

Мысль, ударившая ее, как молния, действительно, была дикая и нелепая, но Катенька ухватилась именно за нее: хотя что-нибудь взять у мачехи-судьбы. Она и встала с веселым лицом, полная отчаянной решимости привести в исполнение свой план. Все равно, ведь она уже сказала Тихменеву, что любит его.

#### IV

Вечером Кекин пришел в свой час и занял свое место на диване в гостиной. Катенька встретила его в передней с бледным и встревоженным лицом.

– Вы не совсем здоровы? – заметил Кекин, заглядывая в лицо.

– Да... я плохо спала ночь.

– Нужно беречь здоровье. *Mens sana in corpore sano...* [10]

Девушка молчала, по-гимназически перебирая пуговицы платья.

Гостиная так же была освещена одной лампой, и так же Катенька села далеко от своего жениха. Разговор как-то плохо клеился, и шмыгавшие чрез гостиную дети мешали Кекину подсесть ближе. Он два раза протер свои очки и улыбнулся в пространство. У него сегодня выдался счастливый день: в седьмом классе написали прекрасный *emendatum*, потом директор поздравил с женитьбой, лукаво подмигнул, и, наконец, он после обеда заходил на будущую свою квартиру, где уже делались необходимые приготовления. Вообще все шло отлично, и Кекин, шагая по тротуарам к квартире Вицина, даже бурчал какой-то мотив неизвестного происхождения.

– Итак, я считаю, что мы объяснились вполне... – заговорил он, протягивая руку по спинке дивана. – Это главное. Не правда ли?..

Он забыл только одно, что говорил все время он один, а Катенька только слушала и соглашалась. Но – ведь это все равно: он так привык, чтобы его все слушали. Мир в его представлении рисовался чем-то вроде громадного класса, где одни учат, а другие учатся.

– Вы, Владимир Евгеньич, говорили, что в женщине уважаете прежде всего человека... – начала нерешительно Катенька, чувствуя, что лицо у ней покрывается розовыми пятнами.

– Да, говорил...

– Потом вы говорили... Как это сказать?.. Все понимать. – Она остановилась и посмотрела на дверь в зал, за которой уже слышался сдержанный шепот и топтание детских ног.

– Что вы хотите сказать? – удивился Кекин и еще раз протер очки.

– Я говорю, что иногда страх удерживает человека от желания высказаться... В обществе так много предрассудков и вообще несправедливости. Наконец, есть известные требования, которые почему-то предъявляются одной стороне... Мужчина, когда женится, идет с открытым лицом, и никто не спрашивает... не спрашивает, как он провел свою молодость. Даже больше: его самые некрасивые поступки сходят за какое-то молодечество... Мужчины думают, что женщины, то есть девушки, ничего не понимают и верят их каждому слову.

– Ну да... конечно, бывают случаи... – мычал Кекин, с удивлением глядя на заговорившую в первый раз Катеньку. – Но мне не ясно одно... Да, одно. К чему вы ведете речь в таком именно направлении?

– Я хочу сказать только то, что мужчина все себе может позволить и ни за что не отвечает...

– Вы хотите сказать: холостой мужчина?

– А разве это не все равно? Холостой будет женатым... Разве невеста не вправе спросить его откровенно... то есть я, конечно, вас не буду спрашивать, Владимир Евгеньич, потому что такой вопрос для девушки считается неприличным. Женщины должны удовлетворяться тем, что им достанется...

«Вот тебе и откровенность: сам навязал», – думал Кекин, предчувствуя какую-то неприятность.

Катеньке вдруг сделалось дурно, и Кекину пришлось в первый раз в жизни бежать за стаканом воды для женщины. В зале он наткнулся на кучу ребят, которые бросились от него врассыпную. «Комбинация!» – едва успел крикнуть кто-то, удирая во все лопатки. Когда он вернулся с водой, Катенька сидела на диване бледная, как полотно. Выпив воды, она заметно успокоилась.

– Оставимте этот разговор... – просил Кекин, расхаживая по гостиной. – Я лучше расскажу вам о квартире, то есть о *нашей* квартире. Да. Всего пять комнат, мебель я беру напрокат, улица тихая и недалеко от гимназии, одним словом – все условия... да, все условия.

– Нет, мне необходимо закончить этот разговор... – перебила Катенька с непонятной для него настойчивостью.

– Не лучше ли в другой раз, Катерина Васильевна?

– Нет, сегодня или никогда.

Кекину пришлось занять свое место на диване и приготовиться слушать, но им помешала горничная, подававшая чай. Чайная ложечка жалобно зазвенела в руках Катеньки, точно она дрожала со страха.

– Вот вы говорите о справедливости, об уважении к женщине... – заговорила девушка, переводя дух, – Но этого нет...

– Нет, уж извините... я знаю такую женщину, то есть девушку, которую уважаю и люблю больше всего на свете! – выпалил Кекин неожиданно для самого себя.

– Дайте мне кончить... Все это одни хорошие слова. Уважение к женщине вращается в таком тесном кругу и не переходит границ... как это сказать? Ну, да это все равно... Возьмите такой случай: -может быть, так называемая девушка с прошлым...

– Как вы сказали?

– Разве вы не знаете, что называется девушкой с прошлым?

– Ах, да... виноват... – смутился Кекин и как-то вдруг съежился.

– Мужчины все с таким прошлым, а девушки являются исключением... Может быть со всяким человеком известная ошибка, увлечение, просто случайность, вообще несчастье, но разве девушке прощается что-нибудь?

Теперь Катенька смотрела уже прямо в глаза Кекину и даже придвинулась к нему. Глаза у ней горели, а рука, лежавшая на столе, вздрагивала.

– Такая девушка покрыта вечным позором... Ее казнят... и кто же? Тот человек, который сделал девушку несчастной, остается в стороне, и у него только одним приятным воспоминанием больше, да и общество на такие шалости смотрит снисходительно... Есть жертва, на которой и вымещается все. Позвольте... Если простая физическая ошибка – заметьте, всего одна ошибка – навсегда губит девушку, то

что же нам говорить об уважении к женщине, о все-прощении – вообще о том, чего нет и не бывало. На чем же держится вся наша нравственность и уважение?.. Ведь это, наконец, обидно...

– Позвольте... что вы хотите этим сказать, Екатерина Васильевна? – бормотал Кекин, отодвигаясь от нее.

– Вы не догадываетесь, Владимир Евгеньич, а еще столько говорили об откровенности... вы вперед готовы возненавидеть человека, которому проповедовали эту мораль...

– Вы... вы... вы...

– Да, я именно такая девушка... с прошлым...

Последние слова Катенька проговорила уже стоя, ухватившись одной рукой за стол. Роковое слово точно остановилось у нее в горле... Кекин предчувствовал удар и старался не смотреть на нее. Когда он открыл глаза, Катеньки уже не было в гостиной.

– Вот так комбинация... – растерянно бормотал он, не зная, что делать: убежать как-то неловко, оставаться – того хуже.

На выручку ему явилась Антонида Степановна, – она прибежала встревоженная, испуганная, жалкая.

– Что такое случилось, Владимир Евгеньич: с Катенькой истерика...

– Истерика? – переспросил Кекин. – Ах, да... До свидания, Антонида Степановна.

– Да куда же вы, Владимир Евгеньич? Нет, я вас не пущу... Может быть, какие-нибудь пустяки... Катенька еще плула и ничего не понимает...

– Потом... потом... – бормотал Кекин, отыскивая свою шапку.

Так он и не сказал ничего Антониде Степановне, как она ни удерживала его. Разве он имел право выдавать чужую тайну, а Катенька ему сейчас была чужая... А он и квартиру нанял, и директор поздравил – вот так комбинация в самом-то деле.

В передней Кекин лицом к лицу столкнулся с Тихменевым. Они посмотрели друг на друга, смерили с головы до ног и отвернулись, – Кекин, как виноватый, выскочил из передней, а Тихменев только развел руками.

– Спятил, голубчик... – даже пожалел он.

– Ну, брат, у нас истерики... – объяснил все доктор, когда Тихменев вошел в кабинет. – Моя старуха катается в гостиной, а

Катенька упражняется в своей комнате, то есть в детской... Ничего не пойму. И все это болван Кекин наделал...

– Он меня чуть с ног не сшиб в передней...

– Дикарь, одним словом.

Вечер в доме Вициных, несмотря на присутствие Тихменева, прошел скучно. Антонида Степановна ходила с заплаканными глазами и несколько раз напрасно стучалась в комнату к Катеньке – добрая женщина уже вперед обвиняла падчерицу во всей истории.

Когда Тихменев уходил, Катенька, наконец, показалась из своего заточения. Она улучила минутку, чтобы рассказать ему все.

– Катерина Васильевна, – бормотал он, пораженный всем случившимся. – Да как это вам в голову-то пришло?.. Да это что же такое?..

– Ах, не спрашивай... Все равно пропадать... – шептала она. – Он глуп и, посмотри, сам же придет ко мне... Я его ненавижу... он поверил, что я девушка с прошлым... ха-ха!

– Катенька... Катя... Катька...

– Ты теперь мой, мой, мой... хоть на день, на неделю, но мой... Уедем куда-нибудь... Я вперед пережила свой позор, свой девичий стыд...

На Тихменева вдруг накатило раздумье: если эта Катенька была способна выкинуть такую штуку, то потом от нее нескоро отвяжешься... Такие бабы прямо с револьвером охотятся за своими аманами: цок – и амана как не бывало. Но, с другой стороны, его захватила самая смелость Катенькиной выдумки, и потом, в каких дураках Кекин-то останется!

– Завтра я получу от него письмо и выговорю себе условием одну неделю... нет, две... У меня есть какая-то тетка, так будто к ней съездить. Ты будь готов.

Она теперь целовала его уже сама, как сумасшедшая, плакала и смеялась, и опять плакала, улыбаясь сквозь слезы.

– Люблю, люблю... тебя люблю... – шептала она, прижимаясь к нему всем телом, точно хотела прирасти к нему. – Я погибла, не живя... не любя... я гадкая... Ах, как мне было стыдно лгать на себя и обманывать его... я что-то такое много говорила и даже на него нападала...

Письма от Кекина не было три дня, но Катенька была спокойна – шла вперед очертя голову. Объяснение с Антонидой Степановной ни к чему не повело, и Катенька повторяла только одно:

– Оставьте меня, мама... М-ме Кекиной я еще успею быть.

На четвертый день явилось наконец письмо. Его принес почтальон вечером, когда Тихменев сидел за роялем, а Катенька разучивала под его руководством цыганский романс: «Ночи безумные, ночи бессонные...». Катенька ниоткуда не получала писем, поэтому все ребята смотрели на почтальона с разинутым ртом.

– Екатерине Васильевне Ординой... – громко провозгласил гимназист, подавая письмо. – От Комбината...

Тихменев сделал вид, что ничего не замечает, и продолжал разбирать ноты.

Катенька равнодушно взяла письмо, разорвала конверт, пробежала небольшой листик почтовой бумаги и подала Тихменезу.

«Милостивая государыня, Екатерина Васильевна, – писал Кекин мелким, сливавшимся почерком. – За эти три дня я так много пережил... Вы поймете мои чувства. Но не будем говорить о прошлом, а будущее зависит от Вас. Обдумайте свое положение, загляните в собственную душу и решите, в состоянии ли Вы принять на себя священные обязанности жены и, может быть, матери. От своих слов я не отказываюсь, потому что слишком любил Вас и люблю... У всякого, видно, есть своя судьба, от которой не уйдешь. Греки называли это „ананки“, а римляне – fortuna adversa... Мне страшно не за себя – я проверил себя и приготовился, но страшно за Вас. Уважающий в Вас свою будущую жену Владимир Кекин».

– Дурак... – решил Тихменев, возвращая письмо. – Эткими болванами тын подпирать.

Катенька ответила только через день и поставила непременно условием, что перед свадьбой уедет на две недели к тетке. «Мне тоже нужно подумать и прийти в себя, – писала она своим ученическим почерком, – а при нашей обстановке это невозможно... Я тоже много пережила за эти дни и не думаю, чтобы Вам было тяжелее. Во всяком случае, я не желаю и не имею права связывать Вас данным словом: Вы

ошиблись в том, чего искали... Не лучше ли будет, если мы расстанемся навсегда?»

Уверенная в чувствах Кекина, Катенька писала эти строки с легким сердцем: нужно выдержать свою роль до конца. Только когда письмо совсем было готово, на Катеньку напало раздумье, – она еще раз перечитала письмо Кекина, и ее точно кольнул его простой, душевный тон. А она, что она делает? Но теперь уже поздно...

Вместо ответа Кекин явился сам, желтый, растерянный, жалкий. Он соглашался со всем, только бы скорее все кончилось.

– Вы были больны? – спрашивала Катенька, проникаясь участием к нему. – У вас такой цвет лица нехороший.

– Это так... это пройдет... Пришел взглянуть на вас... Соскучился, не могу...

Ей сделалось вдруг жаль его, но это было мимолетное чувство, погасшее так же быстро, как вспыхнуло. Опять та же гостиная, та же лампа, тот же *tete-a-tete* и тот же шепот за дверями. Кекин больше не читал наставлений и не заводил поучительных разговоров, а только потирал очки и тер себе лоб.

– Я вам расскажу когда-нибудь о лучшем римском императоре... – говорил он ни к селу ни к городу. – Марк Аврелий... да. Замечательный человек... Кстати, вы позволите мне проводить вас, Екатерина Васильевна?.. Я непременно приду... Ведь две недели одиночества для меня – это ужасно долго.

– Нет, лучше не приходите: мне будет тяжело прощаться с вами.

Он согласился. Это было наконец возмутительно: в этом плупом человеке даже не было мужского самолюбия, именно настоять на своем.

Катенька уехала по железной дороге. Тихменев уехал днем раньше и ждал ее на одной из промежуточных станций. Кекин прибежал к Вициным в тот же вечер, «повернулся» с четверть часа и ушел.

– Какой-то он чудной, Христос с ним, – решила Антонида Степановна, качая озабоченно головой.

– Не забыла ли она калош? – спрашивал Кекин. – И плед взяла? Ну, отлично...

Он еще завертывал раз пять и смотрел выжидательно на Антониду Степановну. Она понимала этот немой вопрос: бедняга



ждал письма, но письма не было. Настоящий петух, у которого курица убежала в чужой двор...

Ровно через две недели, в назначенный срок, Кекин забрался на вокзал за час до прихода поезда. Публики было мало, и он то ходил по залу, то заглядывал на часы. Мало ли что может быть: сойдет поезд с рельс, стрелочник перепутает сигнал...

В довершение несчастья поезд действительно опоздал на целых десять минут благодаря какому-то снежному заносу.

Ведь вот, ни раньше, ни позже явился этот занос. Наконец часы показали 7 часов и 11 минут. Вдали, где-то точно под землей, раздался хриплый свисток, потом длинная пауза, и; поезд с лязгом и шипением подполз к платформе, точно железная змея, собиравшая свои кольца. Она весело выпорхнула из вагона второго класса и немного смутилась, когда увидела его счастливо-встревоженное лицо. За ней показался Тихменев, который сейчас же спрятался, увидев Кекина.

– Наконец-то... – счастливо шептал Кекин, отнимая у невесты какой-то кожаный мешочек. – Ну, что, как твоя тетка?..

Он еще в первый раз сказал «твоя» и точно сам испугался собственной смелости. Но она так устала с дороги, что не заметила этого смущения и только чуть не спросила: какая тетка? Лицо у нее было такое утомленное, движения вялые.

– Это пройдет... – устало ответила она, когда он спросил о здоровье.

Через неделю Катенька была уже т-те Кекина. Свадьба была скромная, так что доктор Вицин не успел даже рассказать тех пикантных анекдотов и намеков, какие говорят в таких случаях.

Молодые устроились на новой квартире. Как сжалось сердце у Катеньки, когда она в первый раз переступила порог своего нового гнезда! Предчувствие чего-то тяжелого и нехорошего явилось у ней при виде этой пустой квартиры, которую она должна была оживить. Но она не плакала, не горевала, а точно вся застыла. Кекин объяснял такое состояние по-своему и старался развлечь жену. О, теперь он отвечает за все – есть (только одно настоящее. У него есть свой home есть жена, а остальное все пустяки: подозрение да не коснется жены цезаря, а в своем home каждый человек цезарь. Эти ласки и внимание смущали Катеньку больше всего, и она краснела каждый раз. Такая

застенчивость приводила Кекина в восторг: жена – сразу поддавалась ему и входила в круг его влияния.

– Не хочешь ли ты чего-нибудь, Катя? – повторял он каждый день, возвращаясь с уроков в гимназии.

– Нет, мне ничего не нужно... – отвечала она с какой-то торопливостью.

Это его огорчало, и он напрасно старался угадать ее вкусы и маленькие желания.

Когда в первый раз явилась к Кекиным Антонида Степановна, она сделала строгую ревизию всему хозяйству и высыпала целый ряд советов. Кекин был в восторге и во всем соглашался.

– Что же ты все молчишь? – спросила Антонида Степановна молодую хозяйку и посмотрела на нее строгим и проницательным взглядом: ее любящее материнское сердце подсказало ей, что здесь что-то не ладно.

Когда Кекин уходил на службу, наступали такие томительно долгие часы. Катенька ходила по комнатам, пробовала читать, но ничего у ней не клеилось. Эти стены были для нее чужие, да и сама она чувствовала себя чужой, какой-то тенью, призраком той женщины, которая по праву заняла бы здесь свое место. Она просто боялась оставаться одна, но вместе с тем никуда не желала ни выходить, ни выезжать. Тихменев посылал к ней несколько записок, назначал свидания, но ответа не получал. Катенька точно в воду канула.

Однажды, когда Кекин вернулся из своей гимназии, Катенька встретила его в передней и бросилась к нему на шею. Она с нетерпением ждала его целое утро и теперь, краснея и сбиваясь, объяснила, что, может быть, скоро он будет отцом. Кекин даже уронил очки от радости.

– Я?.. Отцом?.. – бормотал он, обводя глазами комнату. – Да я сейчас счастливее десяти Марков Аврелиев...

Эти ожидания оправдались. Опять явилась Антонида Степановна со своими советами, но отнеслась к этой семейной радости как-то холодно и как-то все подозрительно поглядывала на Катеньку.

– Что же, дай бог... – повторяла она, – Дело житейское...

В следующий раз она явилась в сопровождении своей знакомой акушерки Маремьяны Петровны, которая походила на монахиню.

Женщины приняли самое деятельное участие в положении Катеньки и долго что-то шептались между собой, многозначительно переглядывались и качали головами. Кекин от радости расцеловал вместо Антонида Степановича акушерку, которая даже отплюнулась.

Катеньке были прописаны прогулки. Она протестовала, но Маремьяна Петровна была неумолима: нужно – значит, и говорить не о чем.

– Нечего привередничать... – говорила Антонида Степановна. – Пока муж в гимназии, ты и гуляй.

Чего Катенька боялась, то и случилось. На одной из таких утренних прогулок она встретила с Тихменевым. Он сначала издал раскланялся, а потом пошел за ней. Она слышала его приближавшиеся шаги и остановилась.

– Чего вам еще нужно от меня? – спросила она, тяжело переводя дух.

– Катенька, да что с вами?

Она с удивлением посмотрела на него широко раскрытыми, испуганными глазами и сделала шаг вперед.

– Катенька...

– Не смейте меня так называть... – остановила она его.

– Да перестань, пожалуйста: все это глупые сентиментальности... Нужно смотреть на вещи прямо.

– Послушайте, Аркадий Борисыч... – заговорила она, тяжело переводя дух. – Знаете ли вы, что он, этот смешной Владимир Евгеньич, лучше нас обоих в тысячу раз?

– Это и нетрудно, Катерина Васильевна...

– Да, лучше, – повторяла она, не слушая его. – Он действительно любит меня... он так добр... а я... я должна еще раз обмануть его: он будет отцом чужого ребенка. Прощайте навсегда... навсегда...

Тихменев остался один на тротуаре и долго провожал глазами уходившую от него Катеньку. «Все эти бабы походят одна на другую... – думал он в огорчении. – Ну с чего она так размякла?..»

Стояла глубокая осень. Земля промерзла и звенела под колесами экипажей, как стекло. Начинал выпадать снег, но сейчас же таял, превращаясь в тонкий слой льда. Пешеходы падали, лошади спотыкались, и движение даже по главной улице заметно уменьшилось. Вообще весь город точно спрятался. Это была пора семейных радостей и маленьких домашних удовольствий. Никого не тянуло вон из дома, как летом, и люди сгрудились, как сбившаяся на зимних становищах перелетная птица.

Когда по улице катился экипаж, особенно ночью, Катенька с болезненным напряжением прислушивалась к приближавшимся и исчезающим звукам. Вот это стучит колесо, а это лязг копыт по обледеневшей мостовой. Странно, что теперь все звуки, как в центре, сосредоточивались у ней в ухе, а потом отдавались внутренней болью. Раньше Катенька не чувствовала, что она слушает и что у ней есть уши, – процесс слуховых впечатлений совершался помимо сознания, которое пользовалось только готовыми материалами. То же было и с глазами: тогда Катенька только видела то или другое, а теперь чувствовала, что она смотрит. Вообще нервная чуткость развивалась в ней все сильнее. Катенька даже удивлялась, что другие могут так спокойно ходить и вообще двигаться, когда она должна лежать совершенно неподвижно, и боялась шевельнуться, – раздавленный человек, вероятно, испытывает то же.

Всякое постороннее движение ее раздражало, особенно когда по комнате мимо ее кровати своими неслышными шагами двигалась Маремьяна Петровна. Катенька закрывала даже глаза, чтобы не видеть ее.

– Не нужно шевелиться, милая, – повторяла акушерка по тысяче раз на день. – Потерпите, голубушка, еще пять дней. Много терпели – немножко остается дотерпеть.

Неужели Катенька опять будет ходить, двигаться, даже танцевать? Эта мысль ее удивляла. Назади оставалось что-то такое страшное, бессмысленное, жестокое и вообще ужасное, что она старалась о нем не думать. Первые муки материнства на время уничтожили начинавшийся в ней внутренний перелом. Она даже не боялась умереть, только бы все это случилось скорее. Те радости матери, когда она слышит первый крик первого ребенка, для нее остались неиспытанными.

Она даже не полюбопытствовала узнать, кто родился – мальчик или девочка. Не все ли равно? Это равнодушие очень беспокоило Маремьяну Петровну, и старушка смешно поднимала одну бровь. Антонида Степановна завертывала проведать больную каждый день и таинственно шепталась с акушеркою.

– Конечно, мальчик бы лучше... – повторяла грустно акушерка. – Ну, да ничего, девчонка такая славная, как огурчик.

Роды были трудные, и доктор удивлялся терпению больной, не проронившей ни одной жалобы. Когда ей показали родившуюся девочку, Катенька взглянула на ребенка как-то мельком и даже не поцеловала, а знаком руки попросила унести его: она узнала в нем того, о ком боялась думать. Это было страшное наказание, которое останется на целую жизнь и переживет ее. Только мать могла почувствовать то, что чувствовала она, угадывая чутьем по форме лба и разрезу глаз настоящего отца ребенка. Шумная радость Владимира Евгеньича приводила ее в отчаяние, хотя он, по эгоизму всех молодых мужей, радовался не за ребенка, а за мать: ведь он так любил ее, а она могла умереть.

А он так радовался и постоянно бегал в детскую, вызывая покровительственную улыбку Маремьяны Петровны. Когда он в первый раз захотел взять ребенка на руки, акушерка предупредила его:

– Пожалуйста, осторожнее, а то некоторые отцы берут детей за голову...

Да, он был отец и переживал целый ряд еще не испытанных ощущений, начиная с какого-то виноватого чувства перед женой. Ведь она одна своими муками выстрадала его радость, и он пользовался как бы краденым счастьем. По ночам он часто приходил в спальню, чтобы узнать, спит ли жена и не нужно ли ей чего. О, она никогда ничего не просила у него и оставалась такой же и теперь. За время болезни она очень изменилась, и он заметил, что она рада, когда он заходит к ней в комнату. Она встречала и провожала его глазами, улыбаясь печальной улыбкой.

– Все идет отлично... – успокаивал доктор, когда Кекин приставал к нему с теми глупыми вопросами, какие рождаются в голове встревоженных людей и ужасно сердят докторов. – Вы, кажется,

воображаете, что на всем земном шаре вы единственный отец? Даже в болезнях люди повторяются, как во всем другом.

– Я больше не буду, доктор... – по-школьнически оправдывался Кекин.

А больная все лежала и думала. Старое возвращалось к ней с новой силой. Она чувствовала, что с ней что-то делается, чего не замечают другие и чего не проверить никакими термометрами. Иногда начиналось головокружение, являлась острая боль в спине, а в глазах предметы расплывались в пятна. Однажды, когда она проснулась утром, Маремьяна Петровна посмотрела ей в лицо и встревожилась.

– У вас, голубушка, глаза не хороши... – прошептала она, поднимая уже обе брови.

– Пустяки, это вам так кажется... – оправдывалась больная.

Но эти пустяки оказались серьезнее, чем в первый раз предположила старая акушерка. У Катеньки открывалась родильная горячка... Экстренно приглашенный доктор только покачал головой.

– Что, доктор? – спрашивал Кекин, дожидавшийся в передней.

– Хорошего ничего нет... Кекину показалось, что он ослышался, и он посмотрел на доктора остановившимися глупыми глазами.

– Нужно терпение и... и твердость, – посоветовал доктор, надевая калоши. – Жизнь – плохая шутка.

Кекин в ужасе почувствовал себя несчастнее десяти Марков Аврелиев... В одной России родятся миллионы детей, и неужели она, Катенька, должна умереть? Нет, это глупо, бессмысленно и дико. Его так и тянуло взглянуть на больную, но он боялся идти в спальню, чтобы не выдать себя печальным выражением лица, вздохом, вообще движением. Он чувствовал себя виноватым, как провалившийся из главного предмета на экзамене школьник.

– Вот оно, спокойствие-то, и объяснилось, – шушукала акушерка.

Катенька сама позвала мужа в спальню. Когда он вошел, она лежала вся красная от охватившего ее жара, а потом сейчас же начался пароксизм лихорадки, так что он слышал, как стучали у ней зубы. Боже мой, а давно ли они сидели вдвоем на диване там, в гостиной у Вициных, а она так мило краснела, слушая его! Счастье разваливалось на его глазах, а он мог только смотреть и страдать, молча и глубоко страдать.

– Подойди ближе... – шептала она. – Наклонись.

Она взяла его за голову и долго смотрела ему в глаза, – неужели это тот Кекин, какого она знала раньше? Он ее так любил...

– Ты добрый... хороший... – продолжала она. – Спасибо за все...

– Катя, ты точно... точно прощаешься... зачем?

У ней лицо вдруг сделалось серьезным, и явилось то детское выражение, которое так любил Кекин.

– Я не боюсь смерти... Ты мне скажи, Володя, когда пойдет первый снег.

– Для чего это тебе?

– О, нужно... очень нужно...

Кекин выбежал и долго рыдал в своем кабинете. Это были те бессильные, жалкие слезы, какими плачут только мужчины.

А больная всех спрашивала, когда пойдет первый снег, и ждала этого момента с лихорадочным нетерпением. Даже в бреду, когда она металась на своей кровати, мысль о снеге не покидала ее... Наконец в одно утро показался снег – Маремьяна Петровна даже распахнула занавески, чтобы показать больной, как в воздухе кружились пушистые снежинки. Катенька как-то вдруг успокоилась и затихла, – о, ей еще в первый раз сделалось так легко, точно она сбросила с себя давившую ее тяжесть. В окно врывался какой-то белый свет.

– Позовите мужа... – просила больная.

Он пришел, стараясь не выдать душивших его слез. На этот раз больная не просила его садиться ближе, а несколько времени молчала, точно собираясь с силами. Обведя комнату глазами, она сделала Маремьяне Петровне знак, чтобы та вышла из комнаты.

– Тебе лучше, моя дорогая...

– Да... лучше!

В нем вспыхнула на мгновение какая-то безумная надежда на возможность благополучного исхода: недаром же она так ждала первого снега. Он жаждал чуда, потому что ум отказывался понимать.

– Владимир Евгеньич...

– Я, моя хорошая, здесь... тебе трудно говорить..?

Но она с непонятной для него энергией облокотилась на подушку и заговорила – как его душа жаждала чуда, так ее душа искала исповеди, прощения, покоя. Прежнее спокойствие сменилось страшной тоской.

– Как я жить хочу... – шептала она. – Но все равно: я скоро уйду от тебя совсем... и мне не хотелось бы оставить тебя...

Бросив всякие предисловия, она вдруг высказала ему то, что ее давило камнем. Да, нужно скорее, сейчас все сказать, потому что время не ждет и каждая минута дорога... Ведь она была такая дурная, так ловко обманывала его до последней минуты, но не хочет уносить с собой обмана в могилу. Кекин оторопел, точно его вели на казнь, – такое выражение бывает только у приговоренных к смерти преступников. А она все говорила, припоминая малейшие подробности своей «комбинации».

– Теперь все... – закончила она, падая на подушки. – Я не сказала бы вам ничего, если бы... если бы не полюбила вас в последнее время... дайте мне унести это хорошее чувство с собой...

Когда Маремьяна Петровна вошла в спальню, Кекин сидел все на том же стуле в каком-то столбняке.

Через пять дней Катеньку похоронили, но он пришел в себя только через месяц и, встретив Маремьяну Петровну на улице, проговорил:

– Ведь это был бред... да, ужасный бред!



## Пан Копачинский\*

### I

В кабинете Суходоева всегда дарил приятный для глаз полумрак. Два больших окна были почти совсем закрыты драпировками, а снизу свет мог проникать в них только через шелковые синие ширмочки. Темные обои, темная мебель, несколько фотографий на стене, два шкапа с книгами, широкий диван, обитый тисненой кожей, – все было просто, солидно и очень дорого, как в кабинетах у настоящих дорогих дельцов. Когда пан Копачинский вошел сюда, он сразу оценил опытным глазом мельчайшую подробность. О, уж если кто знал толк в обстановке, то, конечно, он, пан Йозеф, и никто больше! Копачинский даже прищурился и понюхал подкуренный послеобеденной дорогой сигарой воздух. Да, отлично, как и следует быть у порядочного человека, который имеет два кабинета: один для обыкновенных посетителей, а другой для интимных бесед и дорогих клиентов. Копачинский сразу попал именно в этот второй кабинет, хотя и почувствовал с первого раза на себе пытливо-недоверчивый, с легким оттенком брезгливости взгляд хозяина. Э, пусть его морщится: пан Йозеф видал и не такие приемы.

– Игнатий Савельич поручил мне вести с вами переговоры относительно городского выгона, который необходим для нашего вокзала, – начал деловым тоном Копачинский, ловко бросая в правый глаз монокль. – Да, это дело необходимо наконец вырешить в ту или другую сторону... Вообще мы должны объясниться, Илья Васильич.

– Что касается лично меня, то я не избегаю объяснений, сухо ответил Суходоев, вопросительно глядя из-под золотых очков на своего гостя. – Если вы...

– Не я, ах, совсем не я, а Игнатий Савельич... – быстро поправил Копачинский и даже отмахнулся рукой, точно одно сопоставление его имени с именем Игнатия Савельича являлось по меньшей мере святотатством. – Моя роль самого скромного характера: твори волю пославшего...

Копачинский говорил с сильным польским акцентом, который заставлял Суходоева ежиться и фукать носом. Эти два человека являлись полным контрастом. Суходоев был кряжистый, полный господин с широким русским лицом и небольшими умными глазами; его характерную голову с угловатым выпуклым лбом портила только преждевременная лысина и усталый взгляд. Одет он был в просторный домашний костюм, как одеваются старинные баре, не привыкшие себя стеснять. Но в глазах Копачинского он являлся все-таки кацапом, в лучшем случае – parvenu<sup>[11]</sup> глухого губернского городка. Сам Копачинский являлся сильно изношенным старым джентльменом с претензиями на изысканность. Когда-то он был очень красив, но сейчас от прежней красоты остались только одни морщины, желтый цвет лица, слегка дрожавшие руки и дурные привычки дамского баловня. Типичное польское лицо, сухое и вытянутое, с римским носом и крашеными усами, сохранило живыми одни глаза, большие и темные, глядевшие беспокойно и вопросительно, как у насторожившейся птицы. Вообще подвижность изношенного пана рядом с тугой солидностью доморощенного дельца являлась резким контрастом, и Суходоев выдерживал с гостем деловой, солидный тон только благодаря магическому имени самого Игнатия Савельича. «Прохвост какой-то...» – думал Суходоев, глядя куда-то в угол.

– Я вас не буду задерживать, – продолжал Копачинский со своей обычной торопливостью. – По-моему, дело ясно, как день... Если хотите, Игнатий Савельич тоже хлопчет в интересах города: чем ближе будет вокзал к черте города, тем лучше для вас, то есть для обывателей. Я говорю совершенно откровенно, потому что чем скорее мы кончим, тем лучше для обеих сторон.

– Откровенность за откровенность: зачем Игнатий Савельич ведет переговоры с Кичигиным? – ответил Суходоев вопросом и посмотрел на гостя в упор. – Это называется: двойная игра... Кичигин – наш враг, потому что его имение врезывается в городской выгон. У нас идет с ним процесс уже лет двадцать, то есть у города. Мы, без сомнения, выиграем дело, но пока вопрос остается все-таки спорным... По-моему, Игнатию Савельичу вернее и выгоднее было бы иметь дело с городом, а не с спорным землевладельцем. Вот мое мнение.

– О, вы совершенно правы!.. Представители города забывают только одно, именно – что Игнатий Савельич здесь совершенно новый человек, который имеет право и не знать некоторых обстоятельств... Сегодня он выстроит вам железную дорогу, а завтра он в Самарканде или в Архангельске.

– Тем более ему следовало иметь дело с городом и только с городом.

Пан Копачинский съезжился и лукаво прищурился, что заставило Суходоева подумать, уж не сказал ли он чего-нибудь лишнего. Ему показалось, что изношенный пан только ждет малейшего повода, чтобы заговорить с ним амикошонским тоном, как с любым из железнодорожных подрядчиков. Гость решительно не хотел замечать производимого его словами впечатления, подвинулся вместе со стулом к гостеприимному хозяину и улыбнулся, показывая вставные зубы, совсем весело.

– Говоря между нами, все это вопрос самолюбия... – вкрадчивым полуголосом продолжал Копачинский, улыбаясь одними глазами, – да, самолюбия... И вы должны согласиться со мной, Илья Васильич. Город ждал, когда Игнатий Савельич придет к нему с поклоном, а Игнатий Савельич ждал, в свою очередь, когда город к нему придет... Вопрос первого шага – не больше... Да. Конечно, в интересах города, чтобы вокзал был построен ближе, и, как мне кажется, Игнатий Савельич имеет некоторое право на ваше внимание, хотя, как видите, и делает сам этот первый шаг. Признаться сказать, мне не особенно было лестно принять эту щекотливую миссию, но Игнатию Савельичу стоило только выразить желание, и я немедленно отправился к вам. Полагаю, что в моем лице вы уже получили достаточное удовлетворение для первого раза.

Изношенный пан был или безнадежно глуп, или уж слишком умен. С другой стороны, почему-то Игнатий Савельич послал его, а не кого-нибудь другого из своих «железнодорожных молодцов». Эта мысль обезоружила подозрительность Суходоева, и он без обиняков приступил к делу.

– Обратите внимание, что Игнатий Савельич послал меня не к городскому голове, а именно к вам, – повторял Копачинский, начиная чувствовать под своими ногами твердую почву. – Я не буду объяснять этого особенным почтением к вам, а простым

коммерческим расчетом... Для уважения необходимо слишком хорошо знать человека, а здесь только вопрос скорейшего разрешения возникшей путаницы. Ни для кого не тайна, что городские дела вершатся под вашим сильным влиянием...

Кора неприступности провинциального дельца растаяла, и последовал переход к делу. Появился на сцену план города, отчеты думских заседаний, какие-то сметы и соображения, примерные выкладки и проекты. Копачинский, как оказалось, был в курсе дела, и соглашение, тянувшееся несколько лет, состоялось в несколько минут. Условия, предложенные городом, не противоречили намерениям Игнатия Савельича. В заключение этой сделки последовал легкий завтрак, и Копачинский, попивая подогретое красное вино, добродушно говорил:

– А какое я пил вино, когда жил в Париже в шестидесятых годах!..

Он даже закрыл глаза и причмокнул. Эта выходка опять заставила Суходоева съежиться, и он простился с гостем довольно сухо.

– Могу считать мою миссию законченной? – спрашивал Копачинский уже в передней.

– О, совершенно... Мой поклон Игнатию Савельичу.

## II

Постройка железной дороги для города Пропадинска являлась целым событием: он входил в семью других русских городов, переставших быть захолустными. Всех охватила какая-то лихорадка и смутные предчувствия чего-то лучшего, точно первый свисток паровоза мог разбудить мирно дремавшее захолустное болото. Наехавшие инженеры окрестили Пропадинск кличкой «лягушатника». Проснувшиеся обыватели подняли цены на квартиры и на свои «продукты», торговля оживилась, а местный общественный клуб буквально процвел. В Пропадинске, конечно, было два клуба – благородный и общественный, но инженеры-строители примкнули к последнему. По вечерам в нем шла настоящая толкучка: играла музыка, танцевали дамы, в бильярдной щелкали шары, а в отдельных кабинетах резались в штос. Одним словом, закипала настоящая жизнь,

точно неизвестная благодетельная фея пролетела незримо над Пропади иском и взмахнула своей волшебной палочкой.

Мы уже сказали, что жизнь сосредоточивалась главным образом в общественном клубе. Суходоев приезжал туда часов около десяти, чтобы повидаться кой с кем из нужных людей и поужинать; он держал себя особнячком, как и приличествует деловому человеку. Сегодня Суходоев чувствовал себя особенно хорошо и вошел в клуб маленьким победителем. Снимая в передней пальто, он заметил игравшего на бильярде Копачинского и прошел прямо наверх, не желая встречаться с прохвостом, каким в его глазах остался этот сомнительный пан. Обойдя несколько комнат, где играли в винт, и заглянув в танцевальный зал, он остановился в дверях буфета. Половина стола была занята инженерами-строителями, являвшимися в клуб каждый вечер полным составом: тут были и Бринк, и Кельш, и Леке, и Горбатович, и фон-Укке.

– Илья Васильич!.. – послышалось разом несколько голосов.

Это общее внимание польстило Суходоеву: он был самолюбив, как все самородки, и кокетничал своей деловой неприступностью.

– Весь железнодорожный иконостас в сборе, – сострил он, здороваясь с «молодцами». – Недостает только протодьякона...

Протодьяконом Суходоев называл Игнатия Савельича, что вызывало каждый раз дружный смех, но сейчас все лица обернулись к закрытым дверям отдельного кабинета, и послышалось предупредительное шипение: *сам* был здесь... И Бринк, и Кельш, и Леке, и Горбатович, и фон-Укке делали Суходоеву телеграфные знаки, что его окончательно развеселило.

– Такая провинция! – ругался фон-Укке, когда Суходоев подсел к нему, – Так нельзя, Илья Васильич... Услышит, пожалуй, наш-то принципал.

– Так что же из того? И пусть слышит... Мне все равно. Хорошо я испугал вас всех...

– Ну, будет, Илья Васильич. Ведь мы верим, что ты остроумный человек.

«Молодцы» были веселый народ и не любили терять время даром. Появление Суходоева оживило веселую компанию еще больше, и посыпались шутки и остроты по адресу «лягушатника». Суходоев

только улыбался и, в свою очередь, отшучивался. С фон-Укке он был на «ты».

– Я слышал, что ты получил командировку в Петербург? – спрашивал Суходоев приятеля. – Говорят, Игнатию Савельичу понадобились десть бумаги и дюжина карандашей, так тебя и командировали... Одних прогонов получишь больше тысячи рублей.

«Молодцы» весело смеялись, а Горбатович громко хохотал, откинув голову назад. Немного задетый фон-Укке отделался обратной шуткой:

– Я ведь не Горбатович, Илья Васильич... Это Горбатович в третьем году ездил в Лондон посмотреть, в котором часу отходит поезд в Бирмингам.

– Что же, действительно ездил, – согласился Горбатович, не смущаясь.

Выпив красного вина, Суходоев подхватил фон-Укке под руку и повел из буфета.

– А ведь протодьякон-то сам ко мне пришел, – сообщил он по секрету. – Да... то есть он подослал «молодца».

– Не может быть!

– Я тебе говорю... – Да сегодня же утром был об этом разговор, и Игнатий Савельич заявил категорически, что первый одного шага не сделает.

Суходоев рассказал о визите Копачинского, и фон-Укке развел только руками. При чем тут Копачинский? Он, собственно говоря, черт знает зачем и живет здесь. Так, околачивается около Игнатия Савельича... Что-нибудь да не так. Наконец, это просто глупо. Освободившись от Суходоева, фон-Укке полетел с докладом к Игнатию Савельичу, который ужинал в отдельном кабинете со своей содержанкой Марьей Андреевной tete-a-tete. Это был среднего роста, седой, плотный старик купеческого склада. Русское бородатое лицо смотрело хитрыми карими глазами насквозь. Марья Андреевна, представительная полная дама, всюду следовала за ним и слыла в среде «молодцов» под именем «мамаша». Выслушав доклад фон-Укке, Игнатий Савельич даже покраснел от волнения и коротко сказал:

– Позвать его сюда...

Фон-Укке полетел в бильярдную за Копачинским; он, как охотничья собака, понимал каждый жест владыки-концессионера. Копачинский «делал шара», когда фон-Укке потащил его наверх.

– О, сто тысяч дьяблов! – ругался Копачинский, смахивая дорогой мел с сюртука. – Дайте кончить партию...

– Приказано доставить вас немедленно, живого или мертвого.

В кабинете Игнатия Савельича собрались все «молодцы»: и Бринк, и Кельш, и Леке, и Горбатович. Появление сконфуженного Копачинского вызвало несколько улыбок и сдержанный шепот. «Мамаша» тихонько толкала своей полной рукой Горбатовича, – это был ее фаворит. Суходоев мельком видел, как фон-Укке протащил Копачинского, и в волнении ждал, чем разыграется вся комедия.

– Тебя кто посылал к Суходоеву? – в упор спросил Игнатий Савельич, не глядя на Копачинского.

– Я, Игнатий Савельич... меня... я...

– Дурак!.. – оборвал его старик и даже ударил кулаком по столу, так что Марья Андреевна вздрогнула всем своим грешным телом. – Суешься не в свое дело, болван...

«Молодцы» переглянулись, довольные даровой комедией. При всяких недоразумениях Копачинский являлся козлом отпущения, и на его голову валилось все.

– Нет, вы посмотрите на него! – кричал Игнатий Савельич, бегая около стола. – Посмотрите на него... Да разве таких болванов посылают с какими-нибудь поручениями? Меня-то в какое положение поставил... Я пойду с поклоном к какому-нибудь Суходоеву? Ха-ха... Они должны прийти ко мне и придут, если не хотят, чтобы я кончил с Кичигиным...

– Конечно, Игнатий Савельич, – хором подтвердили «молодцы».

Копачинский стоял в самом жалком виде, точно он сразу состарился на десять лет. Он и ростом казался ниже, и лицо как-то осунулось, и ноги дрожали. Даже Марья Андреевна сжалилась над стариком и своим ленивым певучим голосом за метила:

– Будет тебе, Игнатий Савельич... Рябчики совсем остынут. Надоел...

– Вон! – крикнул Игнатий Савельич и еще раз стукнул кулаком по столу так, что Марья Андреевна даже вскрикнула и схватилась за руку Горбатовича. – Нет, каков гусь? – ругался Игнатий Савельич,

когда Копачинский исчез. – Я буду посылать такого мерзавца к Суходоеву?.. Да я... тьфу!

Неистовствовавший старик еще хотел что-то прибавить по адресу несчастного пана, но Марья Андреевна торжественно поднялась с места, и он сразу утих.

– Ну, не буду, Маша... – слащаво заговорил он. – Виноват... Святого выведут из себя...

Когда фон-Укке сообщил результаты этой очной ставки Суходоеву, тот, в свою очередь, остолбенел. Что же это такое в самом деле? Какая-то глупая комедия... И кто из них троих дурак?..

– Да что он у вас такое, этот Копачинский? – обратился он к фон-Укке.

– Никто. Так, ходит кругом да около. Просто дурак...

– Однако с чего он придумал такую штуку?

– Да так, от нечего делать...

### III

Суходоев чувствовал себя скверно. Вернувшись из клуба домой, он категорически заявил лакею, чтобы Копачинского не принимать.

– Так и скажи ему: «Дома, а принимать не приказано», – повторил Суходоев особенно внушительно.

– Слушаю-с...

Действительно, Копачинский явился на другой же день и был искренне огорчен ответом лакея.

– Как же так, братику... – растерянно бормотал он. А мне нужно видеть твоего барина... Очень нужно!..

– Не могу знать-с...

Из окна своего второго кабинета Суходоев видел, как проследовал Копачинский к нему и обратно. Это его взволновало до такой степени, что он даже огорчился собственным малодушием. Конечно, он, Суходоев, вчера разыграл с этим прожженным паном порядочного дурака, но ведь черт его знал, что он за человек... И человек имеет нахальство являться еще раз в дом, откуда его выгонят в шею? Нет, это, воля ваша, хоть кого обескуражит...



Целый день для Суходоева как-то не удался: утром прогнал двух клиентов, за обедом поссорился с женой и должен был просить прощения, после обеда не мог заснуть, как это делалось обыкновенно. Одним словом, целый день был испорчен. Вечером, разбирая какое-то дело, Суходоев чувствовал, что сегодня не может работать, но из упрямства хотел пересилить это дурацкое настроение. Было всего часов семь, когда так хорошо работается. Сделав над собой усилие, Суходоев наконец сосредоточился над работой и совсем не слышал, как отворилась в его кабинет небольшая дверка, выходящая в коридор. Кто-то вошел осторожными шагами и еще осторожнее кашлянул: это был Копачинский, пробравшийся в дом черным ходом.

– Вы... вы... – забормотал Суходоев, вскакивая.

– Нет, вы... что вы со мной делаете, Илья Васильич? – накинулся, в свою очередь, Копачинский. – Вы заставляете меня попадать к вам с заднего крыльца...

– Послушайте, вы сошли с ума или меня считаете за дурака...

Суходоев протянул руку к колокольчику, но Копачинский остановил его умоляющим жестом.

– Выслушайте меня, Илья Васильич... всего два слова...

– Не желаю!.. Убирайтесь вон, если не хотите, чтобы вас выгнал лакей... Всему есть границы, милостивый государь! Понимаете? Только нахалы могут врываться в дом подобным образом, как это сейчас сделали вы.

Копачинский побледнел, выпрямился, заложил руку за борт сюртука и с достоинством ответил:

– Благодарите бога, милостивый государь, что вы имеете дело с человеком хладнокровным... да. Я пришел к вам требовать удовлетворения.

– Что-о?! Ха-ха... Это еще что за комедия?..

– Да-с... И вы мне его дадите. Давеча оскорбил меня Игнатий Савельич, а сейчас оскорбили вы... Еще раз: благодарите бога, что я могу выдержать характер до конца. Да, вы поступили два раза бестактно и кругом виноваты... Я еще мог бы извинить вашу вчерашнюю выходку женщине, но мужчину я привык считать за равного... С какой стати вы вчера, милостивый государь, разболтали все о нашем соглашении фон-Укке? Да, повторяю, разболтали... Вы, серьезный человек, поступили, как женщина. Что же осталось делать

Игнатию Савельичу? Чтобы сохранить свой престиж, он, конечно, пожертвовал мной и сделал это с приличной помпой... Да-с, я краснел, и краснел не за себя, а за вас! Понимаете вы наконец меня, черт мою душу возьми?

Не дожидаясь приглашения, Копачинский подошел к столу и занял тот стул, на котором сидел во время происходившего соглашения. Суходоев смотрел на него широко раскрытыми глазами и не мог сказать ни одного слова.

– Вас удивляет моя роль при Игнатию Савельиче? – ответил на его немой вопрос Копачинский и горько усмехнулся. – Вы угадали: роль жалкая... Я понимаю это и сам, понимаю, может быть, в тысячу раз лучше, чем все те, кто радуется моему позору. Что делать, так сложились обстоятельства...

– Что же вам нужно от меня? – спросил Суходоев после некоторой паузы. – С своей стороны, могу только пожалеть вас за ваше неудобное положение... Согласен: скверное положение. Но я-то при чем тут? Другое дело, если бы вы предупредили меня в момент соглашения...

– А сами вы не могли догадаться, Илья Васильевич? – как-то грустно спросил Копачинский. – Французы называют это ставить точку над буквой i... Для меня лично некоторым оправданием является то, что на мое место при Игнатию Савельиче нашлись бы десятки желающих; наконец, я несу свой позор по грустной необходимости: нужно же чем-нибудь жить. На какую другую службу примут меня?.. Вообще могу сказать, что я ем очень горький кусок хлеба... да. Но и при всем том я считаю себя все-таки выше хоть того же фон-Укке, который бежит наушничать Игнатию Савельичу на меня... Вы согласны?

– Просто мог быть простой разговор...

– Нет, извините, Илья Васильевич!.. Ох, как хорошо я знаю эти простые разговоры! Мне ведь приходится отдуваться за них. Да... Я вас задерживаю? Сейчас кончу. Всего одну минуту терпения. Мне хотелось бы знать, за кого вы меня считаете? Вот и смотрите на меня и думаете: «Мерзавец этот пан Копачинский...» Так?

Суходоев даже покраснел и в волнении заходил по своему кабинету. Нет, это уж слишком... Видал он всякие виды на своем веку, но такой случай выпадал на его Долю еще первым. Дельцу вдруг

сделалось как-то совестно и за свою богатую обстановку, и за ошельмованного пана Копачинского, и вообще за всю ту грязь, которая окружала их обоих.

– Извините, нескромный вопрос: вы человек семейный? – спрашивал Суходоев, останавливаясь.

– Ах, да... – каким-то упавшим голосом залепетал пан Копачинский и полез в карман за бумажников. – Вот тут все... Жена мерла давно, но есть дочь Гедвига... она в институте... Боже, если бы она могла только подозреть.

Он подал Суходоеву несколько фотографий. Одна особенно была характерна: такое смелое и наивное женское личико с ясными глазами и тонким очерком носика и рта. Да это на стоящая польская красота... Подержав карточку в руках, Суходоев возвратил ее и сказал:

– Вы несчастный человек, пан Копачинский. – У старика от этого теплого слова выступили слезы на глазах.

## Комментарии

Начало существованию цикла «Сибирские рассказы» было положено в 1895 году выпуском книги, объединившей под этим общим заглавием двенадцать очерков и рассказов на сибирские темы. Большинство вошедших в книгу произведений впервые было опубликовано писателем в газетах «Русские ведомости» и «Новости» в конце восьмидесятых – начале девяностых годов без указаний на то, что эти произведения входят в какой-либо цикл.

Книга выдержала при жизни писателя еще два издания (1898 и 1902), что, несомненно, свидетельствовало об определенном успехе этой серии у широкого читателя; состав книги и порядок расположения произведений, вошедших в нее, при переизданиях оставались неизменными. Очевидный успех книги побудил писателя к расширению цикла. Ко времени третьего издания накопилось большое количество небольших произведений Мамина-Сибиряка, рассеянных по различным сборникам и периодическим органам (в том числе провинциальным). Среди них было немало и таких, которые по ряду мотивов, образов, проблематике имели много общего с «Сибирскими рассказами». В 1905 году появились еще три книги «Сибирских рассказов» (изд. Д. П. Ефимова, Москва), и количество произведений, объединенных в этом цикле, теперь достигло сорока.

Следует указать, что в сборниках, выпущенных в 1905 году, Мамин-Сибиряк не ограничился только специфически «сибирскими» темами, но основные проблемы, мотивы, образы оставались глубоко родственными для всего цикла. Новое издание «Сибирских рассказов» последовало в 1916 году, уже после кончины писателя (Д. Н. Мамин-Сибиряк Полное собрание сочинений, т. V, книги 19–22, изд. т-ва А. Ф. Маркса, П., 1916; приложение к журналу «Нива»).

В советские годы «Сибирские рассказы» не переиздавались, лишь некоторые очерки и рассказы («Говорок», «Пир горой», «Крупичатая» и др.) включались в сборники избранных произведений и собрания сочинений Мамина-Сибиряка. В настоящем издании они воспроизводятся в том их виде и составе, в каком определил сам

писатель, и занимают данный, пятый и часть следующего, шестого тома.

Идейная и художественная проблематика «Сибирских рассказов» весьма разнообразна. Термин «сибирские» здесь в значительной мере условен. Как и в главнейших своих произведениях, в этих рассказах Мамин-Сибиряк на хорошо знакомом ему сибирском и уральском материале освещал явления, характерные для всей русской пореформенной жизни, хотя специфичность выражения этих явлений в Сибири и на Урале всегда отмечается писателем. Вот почему в «Сибирских рассказах» мы не раз встретим картины, относящиеся как к сибирской (у Мамина-Сибиряка речь идет главным образом о приуральской Сибири), так и уральской и да-же столичной жизни.

Значительное место в творчестве Мамина-Сибиряка заняла, как известно, золотоискательская тема, являющаяся, в свою очередь, частью большой, всеохватывающей темы развития капитализма в России. Обобщающим произведением, объемлющим комплекс проблем, связанных с добычей золота, явился роман «Золото». Но круг произведений, подготовлявших и затем развивавших многие образы и картины романа, чрезвычайно широк. В «Сибирских рассказах» произведения, посвященные теме «Золота», составляют самую большую группу («В болоте», «Клад», «Подснежник», «Глупая Окся», «Пир горой», «В последний раз» и др.). Быт рабочих-золотоискателей, «золотая лихорадка», охватывавшая самые различные круги, причастные к «золотому делу», растлевающее воздействие на быт и нравы атмосферы легкой наживы, стяжательства, лихоимства – все это находит на страницах «Сибирских рассказов» свое яркое воплощение.

Большое место в «Сибирских рассказах» занимает и другая важнейшая тема в творчестве Мамина-Сибиряка – тема судеб горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири, положения трудовых масс. С этим связано в его произведениях обличение глубоко корыстных методов эксплуатации заводладельцами-капиталистами принадлежащих народу природных богатств, показ отвратительного облика «хозяев» буржуазной России, их паразитизма, уродливого быта, развращенности, физического вырождения. Такие рассказы, как «Не у дел», «Самородок», «Морок», «Сократ Иванович» и другие, находятся в несомненной творческой связи с крупнейшими и

программными произведениями Мамина-Сибиряка о капиталистическом Урале – романами «Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Три конца» и др. Особый интерес представляют помещенные в «Сибирских рассказах» главы из романа «Железный голод»: «Сократ Иванович» и «По дешевой цене».

Эти главы, мало известные современному читателю, раскрывают значительный и интересный творческий замысел Мамина-Сибиряка, к сожалению, до конца не осуществленный. В них углубляется анализ корыстной практики буржуазных дельцов, их полной враждебности по отношению к народу, к родине. С особой остротой антинародная, антипатриотическая практика этих дельцов вскрывается в главе «По дешевой цене». Адвокат Моников, занимающийся оформлением сделок по продаже иностранным капиталистам русских земель, заводов и других ценностей, с циничной откровенностью говорит: «У нас... нынче настоящая дешевка, как в гостином дворе. Продаем всю матушку Русь по частям...», О проникновении в Россию иностранного капитала говорится и в произведениях «Дорогие гости», «М-м Квист, Блике и К°».

Вопросы развития капитализма в пореформенное время освещаются на страницах «Сибирских рассказов» в самых разнообразных аспектах: здесь и судьбы обездоленного заводского рабочего человека («Не у дел», «Морок», «Крестник» и др.), и воздействие на жизнь захолустных городов и деревень железнодорожного строительства («Главный барин», «Пан Копачинский»), и положение пореформенной деревни («Говорок», «Крупичатая», «Не укажешь»), и проникновение власти золота, денег в такой, казалось бы, кондовый, нерушимый мир, как уральское старообрядчество («Последняя веточка», «Пир горой» и др.).

В «Сибирских рассказах», естественно, нашли отражение и специфически «сибирские» явления как старого, так и нового времени: произвол сибирской администрации («Сибирские орлы», «Удивленный человек»); каторга, ссылка и связанные с этим бродяжничество, разбой («На перевале», «Оборотень» и др.). Вместе с известными произведениями на сибирские темы В. Г. Короленко, Н. И. Наумова и других писателей демократического направления «сибирские» произведения Мамина-Сибиряка существенно пополняют представления читателя о мрачном прошлом Сибири.

Значительное место в «Сибирских рассказах» занимает тема старообрядчества: «Последняя веточка», «Седьмая труба», «Пир горой». Данные рассказы также существенно дополняют картины, созданные в русской литературе на эту сложную тему прошлой жизни народа (к ним относятся известные произведения П. И. Мельникова-Печерского, Н. С. Лескова и др.).

Жанровая природа «Сибирских рассказов» весьма многообразна. Здесь и рассказ, и очерк, и повесть, и главы из романа, а то и произведения, которые определить затрудняется сам писатель, обозначив как «эскизы», «этюды», «монологи», заметки «из записной книжки». Это часто, действительно, или «эскизы» для последующих творческих разработок, или «этюды», развивающие темы, уже ранее освещавшиеся писателем, и т. д. Непосредственная связь ряда «Сибирских рассказов» с романами Мамина-Сибиряка не раз отмечалась в литературе: таково отношение золотоискательских рассказов и очерков к роману «Золото», рассказа «Попросту» к роману «Хлеб», рассказа «Самородок» к роману «Три конца» и т. д.

Первое издание «Сибирских рассказов» вызвало несколько рецензий. Высокая оценка их была дана в небольшой рецензии на страницах «Русской мысли» ( № 1, 1895). Критик отмечает превосходное знание писателем материала, широту и многосторонность ярко и правдиво написанных картин. Положительно оценил «Сибирские рассказы» и журнал «Новое слово» ( № 5, 1895). «Сибирское приволье, – говорится в рецензии, – дух свободы, дух бродяжничества, бесконечные почтовые тракты, степи, непроходимая тайга, – все это встает перед вами словно живое, поражает новизной и оригинальностью». Тепло охарактеризованы «Сибирские рассказы» и в небольшой заметке, помещенной в журнале «Новости печати» ( № 2, 1895): «Лица, выводимые в... рассказах, типичны и очерчены рельефно».

Второе издание «Сибирских рассказов» вызвало хвалебный отзыв в журнале «Русское богатство» ( № 5, 1898). «...За каждым даже маленьким очерком, – говорится в рецензии, – чувствуется нечто большое, важное, прямо из глубины жизни выхваченное, – чувствуется вдумчивое, чае страдальческое отношение к своим темам». Особенно убедительно, по мнению критика, писателем изображается

ломка старого консервативного уклада, «жизненный перелом», наступивший в пореформенную эпоху.

Следует все же признать, что современная писателю критика не попыталась всерьез раскрыть все идейное и художественное содержание «Сибирских рассказов», их своеобразия и места в творческом пути писателя. Не сделало это, к сожалению, и позднейшее литературоведение.

Между тем большое познавательное и художественное значение «Сибирских рассказов» не подлежит сомнению. М. Горький, высоко ценивший Мамина-Сибиряка, отмечал: «Очень хороши его сибирские и уральские вещи...» (М. Горький. Собр. соч., т. 28, М., 1954, стр. 273).

### **Сибирские орлы\***

Впервые рассказ опубликован в газете «Новости», 1888, № 360, 31 декабря. Затем при жизни писателя включался во все издания «Сибирских рассказов»: в 1895, 1899 и 1902 годах. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», М., 1902.

Как видно из пометы автора на рукописи, хранящейся в Свердловском областном архиве, произведение было закончено в октябре 1888 года в Екатеринбурге. Первоначальное заглавие рассказа – «Сибирские люди». В образе бывшего полицмейстера Неупокойникова нетрудно обнаружить некоторые черты исправника Полуянова из романа «Хлеб» (1895).

Рассказ положительно отмечался в критике («Новости печати», 1895, № 2, стр. 18).

*Евангельский богач и убогий Лазарь* – по евангельскому рассказу, нищий Лазарь лежал больной и голодный у ворот богача и рад был напитаться хотя бы крохами с его стола.

*Заторный чан* – в винокурении чаны с затором из тертого картофеля или растворенной в воде муки.

*...уволили с волчьим паспортом, по третьему пункту* – имеется в виду увольнение за должностное преступление без права на пенсию и новое поступление на государственную службу.

### **Главный барин\***

Впервые опубликован в газете «Русские ведомости», 1893, № 267, 28 сентября. При жизни писателя включался во все издания



«Сибирских рассказов». Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», М., 1902.

### **Зверство\***

Впервые опубликовано в газете «Новости», 1890, № 174, 27 июня. При жизни писателя включалось во все издания «Сибирских рассказов». Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», М., 1902. Рукопись хранится в Свердловском областном архиве.

### **На перевале\***

Впервые опубликовано в газете «Новости», 1887, № 284, 16 октября. При жизни писателя включалось во все издания «Сибирских рассказов». Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», М., 1902. Рукопись хранится в Свердловском областном архиве.

*Осман-паша* – турецкий генерал и военный министр, известен по обороне города Плевны во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов.

*Винтовка Лебеды* – охотничье ружье системы чешского оружейника Лебеды.

### **Не у дел\***

Впервые опубликован в газете «Русские ведомости», 1888, № 113, 24 апреля. При жизни писателя включался во все издания «Сибирских рассказов». Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», М., 1902.

Рассказ написан на основании личных воспоминаний писателя о Висимо-Шайтанском заводе.

*Майдан* – здесь водоворот.

### **Подснежник\***

Впервые опубликован в газете «Новости», 1889, №№ 296 и 298 от 27 и 29 октября. При жизни писателя включался во все издания «Сибирских рассказов». Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», М., 1902. Рукопись (с пометой «28 июля 1889 г., Екатеринбург») хранится в Свердловском областном архиве.

Очерк был положительно оценен в рецензии на «Сибирские рассказы» в «Русском богатстве» (1898, № 5).

### **Клад\***

Впервые напечатан в газете «Новости», 1889, №№ 180, 183, 185 и 189 от 3, 6, 8 и 12 июля. При жизни писателя включался во все издания «Сибирских рассказов». Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», М., 1902. Рукопись (с пометой «1 мая 89 г., Екатеринбург») хранится в Свердловском областном архиве.

Рассказ был отмечен критикой. М. Круковский в рецензии на первое издание «Сибирских рассказов» писал о «Кладе»: «Типы здесь в высшей степени интересные, цельные, словно живые, да и фабула увлекательная». («Новое слово», 1895, № 5).

*...с машинкой в руках* – речь идет о бильярдной подставке.

*Аман* (фр. *amant*) – любовник.

*Шильник* – мошенник, плут.

*Синельщик* – красильщик.

### **Морок\***

Впервые опубликован в газете «Русские ведомости», 1888, № № 215 и 218, от 6 и 9 августа. При жизни писателя включался во все издания «Сибирских рассказов». Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», М., 1902. Рукопись хранится в Свердловском областном архиве.

Морок в диалектных говорах означает «шалун, баламут, повеса». Очерк рядом своих мотивов перекликается с другими произведениями Мамина-Сибиряка: «Озорник», «Сестры», «На шихане» и др.

### **Приисковый мальчик\***

Впервые опубликован в газете «Русские ведомости», 1891, № 38, 8 февраля. При жизни писателя включался во все издания «Сибирских рассказов». Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», М., 1902. Рукопись (с пометой «1890 г., 21 октября, Екатеринбург») хранится в Свердловском областном архиве.

### **Крестник\***

Впервые опубликован в газете «Русская жизнь», 1891, № 198, 24 июля. При жизни писателя включался во все издания «Сибирских

рассказов». Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», М., 1902.

Рассказ отмечался критикой в числе лучших из «Сибирских рассказов» («Русское богатство», 1898, № 5).

*...притянули «к Анне и Кайафе»* – Анна и Кайафа, по евангельскому сказанию, иудейские первосвященники, вершители суда, приговорившего Христа к распятию.

### **Удивленный человек\***

Впервые опубликован в газете «Русские ведомости», 1890, № 2, 3 января. При жизни писателя включался во все издания «Сибирских рассказов». Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», М., 1902. Рукопись (с пометой «17 ноября 1889 г., Екатеринбург») хранится в Свердловском областном архиве.

Очерк отмечался критикой в числе лучших из «Сибирских рассказов» («Новости печати», 1896, № 2; «Русское богатство», 1898, № 5).

*Судили «по-новому»* – то есть согласно правилам судопроизводства, установленным судебной реформой 1864 года.

*Шалыган* – шалопай, бездельник.

### **Мизгирь\***

Впервые опубликован в «Книжках» «Недели», 1891, № 12. При жизни автора включался во все издания «Сибирских рассказов». Печатается по тексту: «Сибирские рассказы». М., 1902.

*Курень* – здесь выжженное место в лесу.

### **Пир горой\***

Впервые опубликована в журнале «Вокруг света», 1894, №№ 12–21, 23–25. Включена автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 году. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. II, М., 1905.

*Берестяное обочье* – полоска из березовой коры.

*Волоковое оконце* – задвижное окно.

*Келарня* – кладовая для монастырских припасов

*Положил начал* – прочитал молитву с поклонами согласно раскольническому обряду.

*Уговор на берегу* – поговорка: «Уговорившись на берегу, плыви за реку!».

*Лестовка* – кожаные четки.

*«Сорока»* – старинный женский головной убор.

*Шарник* – рабочий по выемке земли на золотых приисках.

### **Не укажешь...\***

Впервые опубликован в газете «Русские ведомости», 1894, № 153, 5 июня. Включен автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 году. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. II, М., 1905.

### **Оборотень\***

Впервые опубликован в журнале «Природа и жизнь», 1903, № 1. Включен автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 году. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. II, М., 1905. Рукопись рассказа неизвестна.

### **Семейная радость\***

Впервые опубликован в журнале «Вокруг света», 1895, № 1. Включен автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 году. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы» т. II, М., 1905.

### **Старики не запомнят\***

Впервые опубликован в газете «Уральская жизнь», 1900, № 6. Включен автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 году. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. II, М., 1905.

### **Ночевка\***

Впервые опубликовано в газете «Русская жизнь», 1891, № 212, 7 августа. Включено автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 году. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. II, М., 1905.

*Крыта* – хитрый, ловкий человек, пройдоха.

### **Друзья детства\***

Впервые опубликовано в газете «Сибирская жизнь», 1902, № № 68 и 71, от 24 и 29 марта. Включено автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 году. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. II, М., 1905.

### **М-те Квист, Бликс и Ко\***

Впервые опубликован в «Самарской газете», 1894, № 249, 4 декабря. Включен автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 году. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. II, М., 1905.

### **Последняя веточка\***

Впервые опубликовано в «Журнале романов и повестей» (издаваемом редакцией «Недели»), 1885, № 7. Включено автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 году. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. II, М., 1905. Рукопись (с пометкой «19 апреля 85 г., Екатеринбург») хранится в Свердловском областном архиве.

Страницы рассказа, относящиеся к описанию «древлей» иконописи, раскольничьего быта (в том числе и мотив исчезновения особенно ценной иконы), перекликаются с «Запечатленным ангелом» Н. С. Лескова.

*Стаи* – конюшни, сараи.

*Повалуши* – общие спальни.

...«фрязи» XVII века, иконы новгородского пошиба, строгановское письмо и особенно много икон так называемого сибирского письма – речь идет о школах русского иконописания.

...окладами оброчного и басменного дела, с разными поднизями, рясно и цатами – старинные названия различных украшений икон; оклад иконы – серебряная или золотая риза; обронный – чеканной работы; басменный – тонкий, листовой (из серебра); поднизь – жемчужная или бисерная сетка, бахромка; рясно – ожерелье или подвески; цата – приклад, подвеска. Стр. 255. «Отъинуд» – из другого места, от иной стороны.

### **Сократ Ивановч\***

Впервые опубликована в газете «Уральская жизнь», 1899, №№ 70, 74, 77. Включена автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 году. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. II, М., 1905.

Глава является частью неосуществленного замысла, перекликающегося с крупнейшими произведениями Мамина-

Сибиряка о горнозаводском Урале («Приваловские миллионы», «Горное гнездо» и др.). Образы заводовладельцев Мутновых принадлежат к той же группе, что Приваловы в «Приваловских миллионах», Лаптевы в «Горном гнезде»; сходно изображается и окружающая заводских магнатов клика. Так, образ самого Сократа Ивановича есть, несомненно, дальнейшее развитие образа Родиона Антоныча Сахарова из «Горного гнезда»; упоминаемая в главе заслуга Сократа Ивановича по составлению уставной грамоты, сама кличка Ришелье – все это восходит к соответствующим страницам «Горного гнезда» (ср. слова Раисы Павловны в «Горном гнезде» о Сахарове: «... нет, это положительно Ришелье»). С проблематикой «Горного гнезда» перекликается и тема «железного голода», связанного с хищническим хозяйствованием уральских заводопрмышленников.

*После эмансипации* – то есть после отмены крепостного права в 1861 году.

### **В последний раз\***

Впервые опубликована в «Журнале для всех», 1903, № № 1–3. Включена автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 году. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. III, М., 1905.

### **Старый шайтан\***

Впервые опубликован в газете «Русские ведомости», 1903, № № 142 и 144, от 25 и 27 мая. Включен автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 году. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. III, М., 1905.

### **В болоте\***

Впервые рассказ опубликован в газете «Волжский вестник», 1885, № 3, 4 января. После некоторой стилистической правки включен автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 году. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. III, 1905.

*Казенные были* – казенными здесь названы рабочие из государственных крестьян, приписанные к заводу.

### **Говорок\***

Впервые опубликован в журнале «Наблюдатель», 1889, № 1. Включен автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 году. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. III, М., 1905. Рукописная копия очерка, снятая братом писателя Н. Н. Маминым, хранится в ЦГАЛИ в Москве.

В литературе о Мамине-Сибиряке указывалось, что очерк «Говорок» по своим идейным и художественным мотивам близок известному рассказу Г. И. Успенского «Книжка чеков», где также говорится о деревне, переселяемой по произволу помещика и властей, и о безуспешных попытках крестьянских ходоков добиться отмены изуверского решения. Деталь очерка, касающаяся сдачи в аренду купцу Светлого озера, в котором издавна рыбачили крестьяне, перекликается с очерком Н. И. Наумова «Святое озеро».

*Курья* – заводь, речной залив. Стр. 345. *Кортомить* – арендовать.

*«Течение земской давности»* – имеется в виду закон, по которому после десяти лет владения имуществом право собственности на него не могло оспариваться.

*Мурья* – лачуга, конура, землянка.

*Соймы* – луга, снятые в аренду.

*Ерѣхта* – задира, придира.

### **Комбинация\***

Впервые опубликован в газете «Саратовский дневник», 1889, № № 48, 51, 52, 54, 57, 59. Включен автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 году. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. III, М., 1905. Рукопись (с пометой «24 января, 89 г., Екатеринбург») хранится в Свердловском областном архиве.

*М-ме Сталь* Анна-Луиза Жермена де (1766–1817) – французская писательница.

### **Пан Копачинский\***

Впервые опубликовано в газете «Саратовский листок», 1890, № 249, 21 ноября. Включено автором в состав «Сибирских рассказов» в 1905 году. Печатается по тексту: «Сибирские рассказы», т. III, М., 1905.

*Я. Соколов*

---

**notes**



## **Примечания**

# 1

Поносным, или потесью, называется бревно с «пером» на одном конце, – оно на барке заменяет руль и весло; толстый конец поносного, у которого стоят бурлаки, заканчивается «губой». В подгубщики ставятся самые сильные и опытные бурлаки. (Прим. автора.)

Жило – селение. (Прим. автора.)

Байга – скачки у башкир. (Прим. автора.)

4

Кивакта и Эншамо – названия двух речек в тайге. (Прим. автора.)

Ордой заводские называют и Башкирию и казачьи земли Оренбургской губернии. (Прим. автора.)

На Урале называют всякое селение «жилом»: «у нас в жиле...», «осередь самого жила...» и т. д. (Прим. автора.)

Натакались – попали, нашли. (Прим. автора.)



8

Чтобы быть красивой – надо пострадать (*франц.*)

Лопать – одѣжа. (Прим. автора.)

В здоровом теле – здоровый дух (*лат.*).

Высочка (*франц.*)